

2

КОМЧЕА ИЛИОУИ

БОРОБЕР

**КОНСТАНТИН ВОРОБЬЕВ**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ТРЕХ ТОМАХ**

# Константин ВОРОБЬЕВ

---

СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ  
В ТРЕХ ТОМАХ

Москва  
«Современник»  
1991

# Константин ВОРОБЬЕВ

---

**ТОМ ВТОРОЙ**

**ПОВЕСТИ, РАССКАЗЫ,  
ИЗ АРХИВА ПИСАТЕЛЯ**

**Москва  
«Современник»  
1991**

ББК 84Р7  
В75

Составитель В. В. Воробьева

В75 **Воробьев К. Д.**  
Собрание сочинений. В 3 т. Т. 2. Повести, рассказы, из архива писателя /Сост. В. В. Воробьева.— М.: Современник, 1991.— 479 с.

ISBN 5—270—01212—X

ISBN 5—270—01215—4

Во второй том Собрания сочинений К. Воробьева кроме широко известных повестей и рассказов вошли дневниковые записи и письма писателя.

В 4702010201—088 подписное  
М 106(03)—91

ББК 84Р7

ISBN 5—270—01212—X (т.2)  
ISBN 5—270—01215—4

© Составитель В. В. Воробьева, 1991  
© Оформление. Издательство «Современник», 1991

# Повести

## ГЕНКА, БРАТ МОЙ...

*Записки таксиста*

Я минут на двадцать опоздал, но Генка не ушел — сидел в машине и ждал. Она была пыльная, неприбранная, и я помыл ее снаружи и протер внутри. Из паза отопления торчал красный лист клена, и я выкинул его вон.

— Мешал он тебе, да?

Генка глядел на меня заморенно и жалобно. Брюки его вздулись на коленках пузырями. Такую дешевку надо гладить каждый день, а не раз в месяц. Рубаху б тоже можно было не занашивать черте до чего, но это его личное дело... Я выкинул кленовый лист и не стал объяснять, что он похож на огонь. Будто забыл, как мы горели! А машину Генка мог бы сдавать мне чистой, — как ни опасайся, но шлангом все равно что-нибудь испачкаешь на себе, а потом всю смену ездил в плохом настроении...

— Тебе куда? Домой?

Мне хотелось сказать это как-нибудь порезче, — нашел дурачка, чтоб мыть каждый раз, — а получилось ни то ни се. Эти его какие-то сиротские черные глаза. И пузыри на коленках. И рубаха. И весь он сам...

Я вырулил за ворота парка, и Генка сказал:

— Мне, пожалуй, следует закусить. Ты не против?

Это чтоб в машине. Чтоб мы выехали за город в наш перелесок, где когда-то горели. Там я должен остановиться и подождать, пока он высосет четвертинку и съест халу с ливерной колбасой. Он будет есть и отрешенно глядеть сквозь ветровое стекло, и я скажу ему тогда что-нибудь ласково-остервенелое, утешительное для обоих. Потом Генка до ночи будет ездить со мной, и план я не выполню. Впрочем, это пока неизвестно. План смены зависит не от шофера, а от первого пассажира. Не знаю, как там другие таксисты, а мы с Генкой хорошо знаем, что дело — в первом пассажире. Смотря как он тебя остановит. Как откроет дверцу, как сядет, что скажет и как на тебя

взглянет... Конечно, мне трудно объяснить это, потому что научной основы под такое не подведешь, но и суеверия в этом никакого нету. Может, причина тут заключается в том, что от хорошего человека всегда исходит только хорошее — настроение, удача, надежда — и мало ли что еще! Все дело в щедрости таких людей, и речь не о чаевых, а совсем о другом,— разве ты сможешь взять с него лишнее и показаться хуже его?! Речь совсем о другом, чего я не могу выразить словом. Просто мы знаем с Генкой, что такое хороший и плохой пассажир и что он несет людям вообще и нам с ним, таксистам, в частности...

Я ехал тихонько, прижимаясь к тротуару. Было пыльно и по-полуденному душно. В городе желтели липы, хотя стоял август. В лесу они еще зеленые, а тут... Что значит неволя! Их ведь перевезли сюда силком, взрослыми, с оборванными корнями.

— Сочинил что-нибудь?— спросил я у Генки. Я спросил об этом, как всегда — безразлично: по-другому почему-то не мог. Возможно, во мне скрывалась зависть? Может быть... Генка не шелохнулся, но по тому, как сузились и блеснули его глаза, я понял, что сочинил.

— Она там?— показал я на багажник. Он кивнул и отвернулся, а я прибавил газ и свернул в переулок, ведущий к загородному шоссе. Мы оба знали тут продовольственную лавчонку-полуподвал. Там работали две продавщицы — уже пожилые, веселые и добрые: у них, например, всегда можно было получить алкогольный напиток раньше десяти часов утра. Генка побежал и вернулся с халой, колбасой и четвертинкой, но я забыл потушить зеленый глаз, и минуты за две раньше Генки к машине подошел пассажир. Первый. Мой. Это была приземистая толстая дама в дорогом шелковом платье. Она подошла и зачем-то постучала свернутым зонтиком по капоту машины, хотя дверные стекла были опущены. Конечно, я открыл бы ей дверцу, но она стучала, а сама глядела куда-то в сторону, и я попросил ее не портить облицовку.

— Свободен аль нет?— спросила дама, гневаясь. Я выключил зеленый глаз и завел мотор, но Генка уже все видел и слышал. Он сложил снесь на заднее сиденье и кивнул мне, чтоб я пересел туда.

— Куда вам надо?— галантно спросил он пассажирку, но она сначала внедрилась в машину на переднее сиденье, а затем уже сказала «давай на Заречную». Это было недалеко, хотя и не по пути нам, и Генка сказал



«слушаюсь» и развернул машину. Зареченская мостовая — гибель для покрышек и амортизаторов, и все же Генка — как и любой шофер — мог проехать по ней неощутимо, если б хотел, но мы сквозили, что называется впронос, и пассажирка раза два искоса взглянула на Генку, а когда он чересчур резко тормознул, спросила нас обоих:

— Вы чево это?

— А чево?— осведомился Генка.

— Трясете, как незнамо кто!

— Чай, она отечественная, дорога-то! — в тон ей объяснил Генка.

— Вот и ехай, как надо! А то нахрюкался и прёт! — сказала дама. Генка подрулил к тротуару и прокрутил рукоятку счетчика.

— Дальше, миледи, не едем. С вас двадцать шесть копеек,— изысканно сказал он. Дама нехорошо выругалась и пригрозила милицией, а я вежливо спросил, есть ли у нее дочка.

— А тебе чо?— обернулась она. Я немного помолчал,— на таких, как она, всегда почему-то пугающе действовали моя ослепительная финская нейлоновая рубашка и французский галстук, заколотый старинной русской булавкой с настоящей золотой цепочкой. Кроме того, на мне были брюки из стопроцентной английской шерсти и югославские башмаки... Я помолчал и затем серьезно сказал:

— Понимаете, это очень нужно. Пожалуйста!

— Ну есты! Ну и чо?

— Не дай бог такую тещу, правда, Ген?— сказал я Генке.

До своего перелеска мы ехали молча. Там Генка вдруг засмеялся и сказал:

— Думаешь, она запомнит номер? Она ж передний и задний смотрела. Они для нее разные, понял? А двадцать шесть копеек я отдам тебе в получку...

Ему почему-то было весело, а мне нет.

Мы загнали машину под свой крушиновый куст, где когда-то горели, и Генка принялся за еду, а я пошел побродить по воле. Орехи уже поспевали, но попадались редко: всюду валялись лещиновые ветки и молозиевая ореховая скорлупа, будто тут промчалось кочующее стадо обезьян, а путь назад им был заказан. Над полянами крутыми спиралями летали шмели и шершни. В верхушках сосенок стрекотали сороки. В тени дубовых

пней отыскивались высокие былинки запоздалой земляники, а липы были зеленые и сочные и от них пахло медом. Нет, осень придет сюда еще не скоро...

Генка двумя короткими условными ударами посигналил мне, и я пошел к машине. Мы всегда так делали: если один, сменившийся, выпивал и закусывал, то другой — раз ему надо было выезжать на линию — уходил прочь, чтоб не согрешать и не расстраиваться. Генка сидел на заднем сиденье задумчивый и сытый. Я открыл багажник и достал гитару. Она была одета в мою старую итальянскую куртку с белым искусственным ворсом внутри. Гитаре было хорошо в этой куртке — мягко и безопасно. Я передал ее Генке, а сам сел к рулю. В стороне по шоссе проносились невидимые МАЗы, — километрах в пяти от него был песчаный карьер. Я прислушивался то к натужному вою машин, то к лесной тишине и ждал, когда взвизгнет молния на куртке и Генка разденет гитару. Его нельзя было торопить ни словом, ни жестом. Тут он должен был делать все сам, один, когда захочет.

— Ну, будешь слушать? — ворчливо спросил Генка. Это, наверно, тоже нужно было ему — сперва спросить, а потом спеть свое новое. Я знал, что отвечать ему просьбой нельзя, — тогда у него «съеживался» голос, — и промолчал. На наш куст села сорока — никель машины, наверно, привлек — и заверещала, будто ее раздирали надвое. Я высунулся и шугнул на нее, а Генка в это время попробовал лад гитары и запел:

Небо серое, небо синее,  
небо алое от зори.  
Погляди в него,  
полюби его  
и судьбу свою не кори.  
У тебя под ногами земля,  
и в душе словно тысяча звезд...  
По мирам пройди  
и любовь найди  
и в себе ты ее сохрани.  
Ты узнаешь и счастье и горе,  
ты приветешь тоску и печаль,  
ты облазишь и горы и море,  
и тогда ты меня повстречай...  
Небо серое, небо синее,  
небо алое от зори.  
Погляди в него,  
полюби его  
и судьбу свою не кори!..

Мне и самому показалось диким, что я заплакал. Наверно, причина тут крылась в самом Генке, в его корот-

кой, как детская рубашонка, судьбе, а не в словах и мотиве песни, хотя они тоже что-то значили,— до этого Генка сочинял какие-то похоронные куплеты. Мне они не нравились. Кому ты нужен, если слаб? Подумаешь, развел нуду! Вот я и толковал ему про небо над головой и про землю под ногами. И чтоб он считал ее своей личной, а тогда пускай кто-нибудь попробует отнять это у него!..

Мы сидели и молчали — я за рулем, а Генка там, сзади. Мне не хотелось, чтоб он заметил, как я плакал. Это ему ни к чему: кто-то из нас должен быть сильным, иначе мы не то что пропадем, но потеряемся в жизни, и она излохматит нас обоих... Я завел мотор и двинулся к шоссе. Была та предвечерняя пора, когда фары зажигать рано, а глазам уже трудно. Я украдкой заглядывал в зеркало и видел Генку. Он какими-то расслабленно-нежными движениями одевал гитару, и рожа у него была странная: наполовину мечтательная, наполовину хитрая,— заметил, значит, что я плакал. Мне надо было сказать ему что-нибудь такое, чтобы мы опять оказались каждый на своем месте, и я выбрался на шоссе и тоном старшего сказал:

— Слова годятся, а мотив не тот. Надрыв тут ни при чем, понял?

— Да ну?— засмеялся Генка.

— На руле баранки гну! — сказал я.

— Ну дай одну,— объявил Генка. Я развил бешеную скорость, достиг города и затормозил у подъезда своего дома. Генка пересел ко мне вместе с гитарой и сказал:— Ладно, критик-шитик, давай сдвинем поцелуй!

Мы поцеловались дважды. От Генки пахло «ерофеичем», маком и ливеркой. Я сказал, чтобы он никуда не уходил, вымыл в комнате пол и погладил свои брюки и мою рубашку.

Наш город не какая-то там Гавана,— кроме трех центральных магистралей да площади в нем не только подфарниками, но и ближним светом не обойдешься, и на первом же перекрестке я не вовремя переключил фары. Старшина-регулировщик выдал мне квитанцию стоимостью пятьдесят копеек, сверил свои часы с моими и попросил подкинуть его домой. Я сказал «ради бога», и мы поехали к чертям на кулички — в пригород. Настроение у меня было железное: план ведь рухнул еще в начале смены,— на то и существуют первые неприятные пассажиры. А старшина оказался из вежливых,— он попрощался со мной за руку и поинтересовался, как жизнь...

Я намотал уже тридцать шесть километров холостого пробега, что на языке нашего таксопаркового начальства называется плохим коэффициентом, халтурой и рвачеством. Что ж, начальству с горы жизнь видней. Я тихонько ехал в центр, к главной своей стоянке, притормаживая у автобусных остановок, редких тут закусовых и пивных, но пассажиры не попадались. Недалеко от привокзальной площади меня суетливо остановила старушка, одетая по-зимнему,— в валенки и телогрейку, опоясанную льняным полотенцем, расшитым красным гарусом. У нее была кладь — широкий, сшитый из рябой попонки мешок, набитый чем-то тяжелым и мягким. Я втиснул его в багажник, и старушка села на заднее сиденье, чтоб поближе, наверно, быть к мешку. Я спросил у ней, куда ехать. Она сказала «на железную станцию» и попытала, дорого ли запрошу. До вокзала было метров восемьсот. Старушка сидела, напрягшись, обратив ко мне ухо.

— Говорю, чи много ль возьмешь?

— Рублей пять, не больше,— сказал я. Она, видать, собралась в дальнюю дорогу, раз оделась в зимнее, и я не стал включать счетчик,— с гривенника начинать план не стоило.

— Милый, да как же это? Погоди-ка... Со мной всего-то капиталу одиннадцать рублей! А мне аж до города Талпеды ехать...

— Как-нибудь доберешься,— сказал я. Мы уже подъехали к вокзалу. Я вылез и достал из багажника мешок. На весу нести его было трудно, а на плече — нельзя: что потом станет с моей рубашкой? Нужна была газета — старая, с засохшей краской, и я побежал за ней в вокзальный киоск. Когда я вернулся, старушка в прежней позе сидела в машине.

— Не доеду теперь... Пропаду,— покорно, на одной ноте сказала она, глядя на меня беспомощно и ласково,— наверно, древние верующие люди встречали таким взглядом свою смерть. Бабка протягивала мне темную сморщенную жменю, и я разглядел там ветхую чистенькую пятерку, сложенную в три сгиба.

— Ты чего это надумала?— сказал я.— Как же ты прожила жизнь? Я пошутил, а ты... Как же ты прожила?! Спрячь деньги!

— Как неш я знаю? Ты на меня не сердись, милой... Я в город Талпеду, к зятю еду.

Я не слыхал, чтоб на свете был такой город, и сказал:

— Сволочь твой зять, вот кто!

— Да не-ет,— не согласилась она,— Михалыч-то хороший! Он там на корабле рыбу полонит.

— В Клайпеде, что ль?— спросил я.

— Ага, в ей, в Талпеде... А ты не сердись, ладно?

— Сама ты Талпеда,— сказал я, и мы пошли в вокзал — она впереди, а я с мешком сзади. Настроение у меня было то самое, что мы с Генкой называем железным...

Пока я пристраивал в вокзале мешок и его хозяйку, пошел дождь. Осадки таксистскому плану не помеха, если они затяжные,— людям все равно надо жить и передвигаться, но короткий тучевой дождь — плохо: жители нашего города предпочитают переждать его дома или в подъездах и не тратиться на вынужденное такси. Я поехал на ближайшую стоянку. Там уже припухали три наши машины, и в последней горел плафон: ребята забивали козла. Они позвали меня «четвертым», но я не пошел. Эту игру, наверно, выдумали природные калеки или каторжане. Во всяком случае не сильные и не свободные в выборе развлечений люди.

В «Экране», что я захватил в вокзальном киоске, рекламировались съемки «Анны Карениной». Вронский с Анной тут были похожи «на себя» в такой же степени, как похожи мы с Генкой на испанских рыцарей. Не больше. Что ж, наверно, трудно актеру или актрисе подделаться под каких-то там князей и княгинь. Наверно, не простое это дело... А вообще-то в настоящей жизни подделаться под кого-то можно. И легче подделаться слабому под сильного, чем наоборот. Тут нужно только «напустить» на себя вид — заучить жест и слово, а вот сильному под слабого сыграть в жизни труднее, потому что в этом случае надо «спускаться», а полностью спуститься с «себя», по-моему, невозможно... Мне, например, легко играть перед Генкой роль сильного, потому что на самом деле мы с ним ровня. Во всем, кроме внешности: у меня серые глаза, русые волосы и рост сто восемьдесят сантиметров. Генка ж мне по плечо. Глаза у него карие, с цыганской поволокой, а нос трепетный, как у девчонки. Генка сентиментален. Он любит музыку, цветы, стихи и птиц. Его легко обидеть. Ну и что было б, если бы ему пришлось убедиться в том, что я в точности такой же, как он? Нет, Генке это не надо знать. Кто-то из нас должен быть сильным...

Нам с ним неизвестно, чьи мы родом и откуда мы,— судьба свела нас в детдоме, в войну, когда наши освободили Одессу и подобрали там беспризорников. Тогда нам

было года по три, и с тех пор я старшинствую над Генкой...

Дождь прошел, а пассажиры не подходили, и я решил поискать их сам. В центре, возле редакции местной «Правды», ко мне сели двое в одинаковых белесых плащах-пыльниках и синих беретах. Мы поехали к шашлычной. У клиентов были поразительно схожие голоса — какие-то крикливо-перепальные, без переходных интонаций. Они всю дорогу ругали кого-то подонком и свинокожим мешком, набитым патологическими позовами к предательству. У шашлычной пассажиры одновременно начали обшаривать свои карманы. Мне следовало всего лишь девяносто пять копеек, а они все суетились и суетились, и движения их рук были расчетливо спутаны и безадресны, и я знал, что это значит — оба уклонялись от платежа. В таких случаях от того, кто первым не выдерживает и расплачивается, обычно следует щедрое «Сдачи не надо» и резкий захлоп дверцы. От таксиста в этих ситуациях требуется как бы бездоговорная солидарность с потратившимся, — таксист, видите ли, должен тогда оценить «жест широты», благодарно улыбнуться и сказать «спасибо». Я ничего этого не сделал, потому что настроение у меня было железное, и вместо переплаченных мне пяти копеек вернул шесть. Тому, кто платил. Он машинально взял у меня две трехкопеечные монеты и швырнул их на заднее сиденье. Я попросил его не сорить в казенной машине советскими полноценными копейками, и его непотратившийся приятель опасливо взглянул на меня и поспешно подобрал монеты.

— Вот таким путем! — сказал я. — Желаю приятно кутнуть.

— До свидания, товарищ водитель, — ответил тот, что подбирал копейки. — Рады были познакомиться с вами!

Он сказал это угодливо и вполне серьезно: решил, видно, что я стукач. Любопытно, а кто тот, кого они называли подонком? Наверно, приличный малый...

Я снова выбрался на центральную улицу и ехал медленно, у самого тротуара. Мне подумалось, что такси надо бы как-нибудь украшать внутри и снаружи чем-нибудь устойчиво радостным, чтобы людей тянуло к ним как на праздник, — недаром же гондольеры в Венеции сплошь гитаристы и песенники! Я до предела сбавил скорость и включил радио. Неведомый солист гремел-рассказывал каким-то бодро-бездумным голосом о том, что он не знает номера хотя бы, и на каком, не знает, этаже, что жизнь

его — квартира — у прораба на сложенном гармошкой чертеже!

Удивительно, как это такое проходит? Разве Генкина нынешняя песенка хуже? Черта с два!

Мне пора было перекусить, и я поехал на Набережную, к дежурному гастроному. Это самая красивая улица в нашем городе, потому что дома тут старинные, приземистые и покойные, со своим обликом и цветом, и тут много каштанов и травы меж ними. В конце Набережной стоит древний белый собор. Колокольный звон ему запрещен в одно время с нашими сигналами, и собор служит втихую. В его монастырском здании — под каштанами и тополями, унизированными грачиными гнездами — размещен роддом. Говорят, будто бабы легче всего рожают тут весной, когда выводятся грачинята. За все это — немой собор, каштаны и тополя с прочернью гнезд, грустная и кволая городская трава, рождающиеся дети, у которых есть и надолго останутся отцы и матери — я люблю Набережную. Я нарочно, чтоб проехать по ней из конца в конец, свернул вначале к собору, и там меня остановил пассажир. Он стоял на мостовой и обеими руками взмахивал мне навстречу, будто отбивался от ос. Я уже затормозил, а он все взмахивал и пятился назад, — наверно, до этого мимо него прошло несколько занятых машин и теперь он не верил удаче. Я открыл переднюю дверцу и спросил, куда ему надо.

— Пожалуйста, прямо, — сказал он. На нем был какой-то немислимый пиджак горохового цвета. Крахмальный воротничок рубашки приходился ему не то широким, не то тесным и влезал к ушам — большим, розовым и оттопыренным. Очки, по-моему, тоже были ему малы, а может, велики, потому что то и дело спадали, и на безымянном пальце его левой руки я заметил толстое железное кольцо с большим черным глазком. Я тогда в третий раз читал «Войну и мир», и мой пассажир был не двойником и не копией, а настоящим, живым Пьером Безуховым, каким тот сформировался в моем мозгу. Мне уже не раз — особенно по ночам — приходилось возить героев из больших книг, но эта иллюзия обычно продолжалась до тех пор, пока не начинались разговоры. «Пожалуйста, прямо» — по интонации голоса и нечеткости смысла было пьеровское, но мало ли что могло последовать за этим, и я молча проехал мимо своего гастронома, а в конце Набережной притормозил и взглянул на пассажира. Он ни к чему не готовился, и я пересек площадь и выехал на

Степную улицу — длинную, неприбранную и затемненную, как наше с Генкой беспризорство.

Я уже признавался, что не всех мы возим одинаково, что все зависит от того, кто сидит, но теперь я ехал совсем особенно: машина шла бесшумно, неторопливо-плавно и по-живому свободно; она была чутко послушна мне, а я ей. Мне все еще хотелось молчания, — было хорошо в полутьме и втайне считать себя... ну, скажем, князем Андреем, подвозящим в своей карете Пьера куда-нибудь в пригород Петербурга на заседание масонской ложи. Он сейчас выйдет там, потрогает очки и невнятно скажет мне, шурясь и клоня вниз голову:

— До свидания, князь. Я непременно буду у вас завтра в полдень...

— Послушайте, а нельзя ли вместо красного зажечь зеленый? — неожиданно сказал пассажир. Я не понял смысл просьбы, и он дотронулся рукой до ветрового стекла. Я объяснил, что в таком случае придется выключить счетчик, а это привлечет к нам контрольную машину.

— Контрольную? Этого не нужно, — сказал он. Я засмеялся, а он смутился, и машина пошла еще плавней. Мне можно было уже не опасаться разрушения своей шальной ребяческой мечты, потому что наполовину она как бы сбылась, и я стал внимательней приглядываться к своему соседу. Нет, он ехал не на заседание братьев каменщиков, а совсем в другое место: к Ростовым, и ему было не то что хорошо и радостно, но прямо-таки изнурительно и щекотно, — это угадывалось по тому, как он бессмысленно улыбался и шевелил пальцами рук, будто ворожил; как не находил нужного ему положения, ерзая на сиденье; как украдкой взглядывал на меня, решая, видно, способен ли я постичь что-нибудь в этом изменившемся, обновленном для него мире. Ему, наверно, хотелось поговорить, — не обязательно о причине своей радости, а так, о чем угодно, и, конечно же, он не предполагал найти во мне достойного собеседника или хотя бы слушателя, — шофер есть шофер, и это несколько меня не обижало. У силикатного завода, в который упиралась Степная, я на секунду осветил кабину, чтоб пассажир смог разглядеть табло счетчика. Он и посмотрел туда, но ничего не сказал. Тогда я приглашающе спросил, куда нам двигаться отсюда. Он, наверно, не расслышал или не понял вопроса, и я сделал круг и поехал назад.

Это трудно объяснить, почему тогда в мое сердце впиалась короткая боль обиды за свое детство, — может,



вид Степной напомнил его, и я подумал, что мы правы с Генкой, решив никогда не жениться, чтобы наши дети не унаследовали судьбу отцов. Затем я подумал, что это бред и чушь, и в то время мой пассажир сказал:

— Четыре с половиной! Надо же!

Я только мельком взглянул на него. Он сидел подавшись вперед и держал на весу руки. Сейчас он ими всплеснет, как там на Набережной у роддома, когда останавливал меня, и я сбавил скорость и спросил:

— Вас можно поздравить?

— Благодарю вас,— сказал он.

— Сын?

— Сын! — изнуренно подтвердил он.

— Богатырский вес,— сказал я.

— Правда?— встрепенулся он.— Это ведь редкость, а?

— Конечно,— сказал я,— обычно они весят не больше двух.

— Замечательно! Слушайте, а мы не могли бы поехать куда-нибудь за город? Чтобы костер, понимаете?

Он проговорил это фальцетом. Я подрулил к тротуару, осветил кабину и достал блокнот и карандаш. На левой стороне листа я написал единицу и двойку — свой сменный план в рублях, а на правой — фактическое выполнение, которое равнялось девяноста пяти копейкам наличными и двум рублям десяти копейкам, показанным на счетчике. Дефицит в сумме восьми рублей и девяноста пяти копеек я предельным нажимом карандаша изобразил в конце листка и подал его счастливому отцу. Мне было плохо от всей этой бухгалтерии, и я сказал:

— Вот что будет стоить нам ночной сервис.

Он принял от меня листок, пощурился на него и достал тринадцать рублей.

— Пожалуйста. Хватит?

Вид у него был «а черт меня подери». Деньги, конечно, можно было взять, но тогда исключался костер на двоих и пропадал «князь Андрей», тогда я стану в стороне и не вылезу из машины. Но, может, он так и хочет?

— Денег вам хватит вполне, но заплатите после. Счетчик будет работать,— сказал я.

Он снял очки и доверчиво спросил:

— На что вы обиделись? Может, мало?

— Как вы намерены жечь костер? В одиночку?— уточнил я.

— Нет, с вами,— ответил он.

— Я тоже так думал, поэтому и сказал «нашего сервиса».

— Так в чем же дело?

— В моей свободе у костра,— сказал я.— С вас двадцать по счетчику и четыре сорок пять плановых. Итого шесть пятьдесят пять.

Меня подмывало брякнуть «позвольте получить, граф», но он сидел насторожившись и нахохлившись,— чего-то испугался, и я сказал:

— Да вы не беспокойтесь, я беру и «чаевые», и «сдачи не надо», и всякие другие. С вами у меня обычная поездка. Просто я подумал, что без меня вы в своих очках не разведете в темноте костра.

Он с сомнением посмотрел на меня, и с той смешной театральностью, когда робкие люди принимают смелое решение, спросил, где можно достать сейчас шампанское. «А городских привязывать к медведям будем?»— хотелось мне спросить. Я выключил счетчик и поехал к вокзалу. Там он сходил в буфет и взял две бутылки коньяка и две бутылки шампанского. Он нес их как новорожденных — на груди, и сам ступал на носки как балерина. Я побежал в буфет и купил хлеба и четыре порции холодного языка.

Наш с Генкой перелесок спал. Под светом фары на деревьях потревоженно завозились какие-то большие птицы, и опадающая с веток капель вспыхнула ярко и радужно, как игрушечный беззвучный салют. Было ясно, что костра нам не развести,— тут все было мокрым, но я на всякий случай снял рубашку и пошел поискать сушняк в створе фар. Трава тоже была волглой. Обшлага моих брюк сразу же отяжелели и обмякли. Я пощупал их и вернулся к машине. Пьер самостоятельно зажег там плафон и сидел сосредоточенный, тихий и благостный.

— Ну как?— с придыхом спросил он и снял очки.

— Сейчас будет,— сказал я. Мне это — сжечь запасное колесо — пришло в голову внезапно, в момент, когда Пьер так доверчиво и вождеденно спросил про костер, и я подумал о себе старинно-книжно и красиво, в третьем лице,—«тогда он широким жестом открыл багажник, подхватил запаску и понес ее впереди себя легко и гордо, как носили когда-то псковичи свои боевые кованые щиты». Я все так и проделал, выпустил из камеры воздух, потом набрал из бака в Генкину пустую четвертинку бензина и облил колесо. Когда пламя с гулом взметнулось вверх, Пьер смятенно спросил, что я делаю, но я

объяснил ему, что это старая запаска, без протектора, и он успокоился.

— На ней нельзя ехать?

— Теперь нет,— сказал я. Мы выбрали из машины заднее сиденье и поставили его близ костра, потом я надел рубашку, и тогда мы познакомились,— он назвал свое имя и отчество,— Георгий Павлович, а я только имя — Владимир.

Колесо горело каким-то аспидно-красным огнем, и чад от него всходил тяжелыми бурунными клубами, но нам сиделось хорошо и покойно, потому что ноги были протянуты вперед, к костру, и пили мы из Генкиной баночки из-под сметаны — сперва шампанское за мать и сына, затем коньяк за них же, потом опять шампанское — за самих себя. После этого мы поцеловались, перешли на «ты», и Георгий Павлович спросил, как я считаю, не назвать ли парня Владимиром? Я ничего не имел против, но все же предложил другое имя — Геннадий.

— Это неплохо слышится,— согласился он.

— Конечно,— сказал я,— вырастет и — Геннадий Георгиевич!

— И аристократично,— размыслил он. Я наполнил и передал ему баночку коньяка пополам с шампанским. Он выпил и решительно заявил:— Нет, Володя звучит лучше. Русее. Во-ло-ди-мир! Чуешь глубину?

— Еще бы! Улавливаю! Между прочим, в нашем доме Сталинита и, кажется, Никсерг живут,— сказал я.

— Ну ее к черту, политику! — трезво сказал он и оглянулся. Мне тоже хотелось обернуться,— что он там учуял?— но я не стал это делать и сказал как глухому:

— А крепко мы напужаны, граф. Изволили отбывать, что ли?

— Немного, князь, изволил в свое время,— неохотно признался он.— А ну ее к черту, политику! Давай лучше выпьем еще по одной!

Я не возражал, и мне захотелось спеть сегодняшнюю Генкину песенку, но, кроме мотива и начальных слов, я все забыл.

Мой Георгий Павлович заметно осоловел,— наверно, смесь повлияла, а я ощущал ту стремительную заостренность и невесомость тела, когда хочется летать. У нас еще оставались коньяк и шампанское, и нашему адскому костру конца не виделось, но было уже поздно, мне следовало возвращаться в парк. Мы установили в машину сиденье и

загасили костер. Когда мне приходится немного выпить, езда со мной полностью безопасна, потому что я тогда вдвойне вижу, слышу и чувствую не только глазами, ушами и сердцем, но всем своим телом и духом, каждой клеткой и порой. Мы тогда сливаемся с машиной воедино и оба — я и она — точно знаем, в какой миг предупредить друг друга об опасности. Об этом, понятно, не потолкуешь с автоинспектором, но перед ночным другом я могу похвастаться или нет? Он выслушал меня и окончательно решил назвать сына Владимиром.

— Только возьми, пожалуйста, у меня еще пять рублей,— просяще сказал он.— И бутылку вон забери, ладно?

— Очень хочешь, чтоб взял?— спросил я и остановил машину.

— До смерти хочу! — сказал он и всхлипнул. Я положил в задний карман пятерку, и у меня тоже навернулись слезы, и мы обнялись и минут пять посидели так — неудобно, спаянно и грустно...

На всем пятом этаже нашего крупноблочного ковчега со двора светилось только одно окно,— к Генке, конечно, прилезла Нита, и я сел на скамейку в скверике. Нита — это та самая Сталините из нашего дома. У нас с нею трудные ножевые взаимоотношения,— мы терпеть не можем друг друга. Она из прочной семьи, что живут на вторых этажах. Ее отец — какой-то заслуженный гулаговец в отставке, а мать преподает литературу в средней школе. Сама Нита ведет «рассеянный» образ жизни, но дело тут не в этом и не в ее благополучной родословной: когда я вижу прямоугольную мощь ее спины, мне никак не постичь, что нужно этой развратной барабанно-пустой машине от моего Генки — малосильного мужичонки-девственника! О том, что она глупа и лжива, кричит в ней все: круглые сизые глаза, растопыренные щетки намастикованных ресниц, какая-то стеариновая сальность щек, маленький некрепкий лоб под поветью волос, выкрашенных в красный цвет, развально-потягушечья походка, чтоб волновался зад. Когда она так идет-мучается, мне хочется схватить ее и сломать в руках, как зловредную куклу-робота. Нита считает меня мелочным и злым старпером. Она называет меня «скобарником», а я ее «шкыдлой». Никто из нас не знает истинного значения этих слов, но взаимного от-

вращения заложено в них много. Может, я и на самом деле немного старомоден в своих словах и догляде за Генкой, но иначе нам нельзя, кто-то из нас должен быть старшим, а кроме того — мало ли чего нам — особенно мне — приходилось делать не ч и с т о г о когда-то, что мы теперь должны скрывать и не хотеть помнить. Да где ей, шкыdle и добровольной беспризорнице, понять это! И я не дам ей зачумливать Генку, не дам! Я его не на помойке нашел!

В скверике было тихо, но я на всякий случай хорошенько посмотрел-послушал, что тут к чему, и спрятал в траву бутылки, — иначе, если я приду с ними домой, придется угощать Ниту. Я шумно открыл коридорную дверь, повозился с замком, нарочно споткнулся и протопал сначала в туалет, а затем уже вошел в комнату. Нита и Генка сидели за столом. На нем лежала ливерная колбаса, остатки халы и стояла пустая бутылка. Генка спросил, чего я так поздно. Я отвесил Ните кинопридворный поклон, а ему сиротски сказал:

— Калымил, брат мой. На скудное пропитание.

Нита презрительно взглянула на меня и брезгливо поежилась. Я двумя пальцами взял за горлышко бутылку из-под тракии и сказал Генке:

— Фи, какой кислятиной ты угощаешь даму! Сталиничка, насколько я проницаю, обожает вермут, как и подобает всяческой светской львице.

— Да ла-адно! — обиженно протянул Генка и допил из стакана остатки вина.

— Ты ошибаешься, — сказал я. — У нас не все ладно. У нас с тобой вышла из строя запаска. Вместе с диском. По этому случаю нам придется озаботиться ее монтажкой. С утра. К тому времени мы должны быть бодры и деятельны. А перед сном, как ты знаешь, надо еще принять душ. Потому что чистота — залог моральной устойчивости.

Нита поднялась и жеманно попрощалась с Генкой.

— Честь имею кланяться! — вполне, по-моему, галантно сказал я ей вдогон. Генка сидел насупленный и прибито жалкий. Мне хотелось обнять его и сказать «здравствуй, малыш», но этого не стоило делать, — один из нас все время должен быть сильным, и я распахнул створки шкафа и многозначительно потербил Генкины неглаженные брюки и свою рубашку.

— Все же тебя произвел на свет немец! — трагически сказал Генка. Я предположил, что его сочинил ру-

мын или итальянец. Ему это не понравилось,— вид его стал еще бедственнее, и я сказал:

— Хорошо! Нас — тебя и меня — сделал один человек. Он был похож на Пьера Безухова.

— Почему это на него?— спросил Генка.— Лучше пусть на князя Андрея.

— Нет,— сказал я,— наш с тобой отец был похож на Пьера. И он не виноват, что мы... Тогда же война шла! Он погиб. И мать тоже... Ну чего вылупил свои каштановые!

— Не надо, Вов, а то я тоже зареву,— сказал Генка, и я пошел и хорошенько умылся, а потом спросил у Генки, не хочет ли он выпить.

— А ты?— подозрительно попытал он.

— Я хочу. Коньяк. Армянский. А после — шампанское. Мускатное,— сказал я.

— Ну и черт с нами, едем на вокзал! — предложил Генка, и глаза у него засветились надеждой на сладкую жизнь.

— Надень белую рубашку, почисти туфли и жди меня. Я вернусь через семь минут. Успеешь?

— Конечно! — сказал Генка. Я спустился во двор, забрал бутылки и минут пять посидел в скверике.

Мы никуда не пошли. Мы все выпили дома, а после пели Генкины песни...

А дни стояли по-летнему жаркие и длинные, но по сизой глубине их и звонкости уже угадывался август. Он угадывался и по многому другому. На тротуарах с государственных лотков продавали болгарские помидоры. На колхозном рынке приезжие кареглазые женщины, низко покрытые черными платками и обутые в кирзовые сапоги, торговали дынями и кавунами. В автоматах «газ-воды» стаканы были заполнены осами и шершнями. Для нас с Генкой август месяц — невезучее время, и все самое трудное выпадает нам на него. Счет этому мы ведем с сорок шестого года, когда благополучно убежали из своего детдома. Тогда в Одессе так же было сухо и знойно, но мглистый морской горизонт подступал чуть ли не к самому берегу, и за ним нам мерещился обрыв белого света. Мы подались на север, потому что в этой стороне земля, сходясь с небом, скрывалась в загадочной сизой дымке, которая сулила нам то, зачем мы бежали. Это была наша третья вылазка на волю. До этого нас два раза задерживали за

городом на станции Свердлово,— Генка клянчил там хлебушка на двоих, а в этот раз мы проехали ее незаметно: мы лежали на трухлявых и теплых телеграфных столбах, которыми была загружена платформа, и я держал Генку за подол майки. Ночью нам стало холодно, и было страшно глядеть на небо,— там то и дело взрывались звезды и падали в степь. Уже близко к утру мы перебрались на крышу соседнего пульмана и спустились в тамбур. Он оказался огороженным полудверьми. Тут было еще холодней и почему-то пахло нашим детдомом, и мы присели в углу и обплели друг друга руками. Нас разбудил окрик. В тамбуре над нами стоял человек в громадных серых валенках, обшитых красной автомобильной камерой. Он направлял на нас керосиновый фонарь, и в его закопченном свете я различил на полу, прямо перед собой, затвердевшую кучу,— кто-то давно сходил тут по-большому. Мы с Генкой вскочили, и я сообщил как донос, за который полагается милость:

— Дяденька! Тут вон кто-то накакал!

— Нахезали, сволочи? А ну, геть отсюда! — почти мирно сказал проводник и шагнул к ступенькам,— это всегда так делалось, если нам хотели дать только пинка ногой, а не задерживать.

— Неш это мы! Там же вон сколько! — пискляво сказал Генка, и ресницы у него распушились и встали дыбком,— глядел вверх, потому что был не выше колен проводника. Тот не изменил расстановки ног, но прибавил в фонаре огня и заинтересованно спросил, не братья ли мы. Я поспешно сказал, что братья.

— И по многу ж вам?

— Мне семь, а ему, Генке вот, шесть.

— Чего брешешь, мне тоже семь! — встрял Генка, но проводник, видать, поверил мне, а не ему.

— У нас румыны поубивали всех, а мы спрятались и остались живы,— с надеждой на хорошее соврал я.

— Живы-живы, мать его!..— остервенело сказал кондуктор.— А ну, геть отсюда!

Когда мы спрыгивали на рельсы, то я заметил, что у проводника пустой правый рукав брезентового плаща заправлен в карман, а из него неломано торчала ботва брюквы, будто росла там.

Вот так нечаянно получилось у нас с братством и моим старшинством. Позже, когда мы попали в Подмосковский детдом, я придумал нам фамилию — Корневы,

а Генка отчество — Богдановичи. Имена у нас остались свои, настоящие...

Уже несколько лет — с самой демобилизации из армии — мы с Генкой мечтаем пойти в отпуск одновременно, чтобы съездить в Одессу. Наверно, мы поедем поездом, и обязательно в мягком вагоне. У нас будут одинаковые чемоданы — венгерские, желтые, на сквозной «молнии», — и всю дорогу мы будем мало разговаривать, кто бы ни сидел в купе, и понемножку — отхлебнул и поставил, отхлебнул и поставил — пить шампанское. Двух бутылок нам вполне хватит. Вполне! Мы сойдем на Свердлово, найдем там такси, а лучше частную машину, чтоб без клеток, и на большой скорости въедем в город и остановимся у своего детдома. Он, конечно, покрашен сейчас в теплый розовый колер. Мы долго будем вылезать из машины, чтобы успокоиться, и никто из нас не взглянет на окно кабинета «скважины». Она, наверно, мало в чем изменилась, разве что перестала носить китель и сапоги. Конечно же, она будет смотреть в окно и гадать, кто это, нездешний, подъехал и зачем? Не знаю, как насчет Генки, а меня ей легко будет принять... мало ли за кого! Мы пойдем к дверям своего детдома, не глядя на окна, медленно и тесно, неся чемоданы в левых руках, и о нас тогда можно всякое подумать. Дверь открою я, и в это время она своей солдатской походкой выйдет в коридор.

— Евдокия Гавриловна? — вполне вежливо скажу я. — Здравствуйте! Рады вас видеть и приветствовать!

Я буду знать, почему у меня задрожит подбородок и сердце подскочит к горлу, — тут подступит все разом: и заклепкой с годами страх перед этой женщиной, и ненависть за него к себе, и совсем невольная и неподдельная радость встречи со своим детством. У Евдокии Гавриловны мгновенно пройдет напряженно-ищейское выражение лица (мы никакие не проверяющие), и она снисходительно, хотя и не догадываясь, кто мы, скажет протяжно и в нос:

— Здрасьте-здрасьте, молодые люди. Что-то я запомнила. Вы по какому вопросу ко мне?

— Просто проведать. Это Геннадий Богданович, — скажу я о Генке и сделаю почтительный жест свободной рукой в его сторону. — Помните? В сорок шестом его еще укусила в карцере крыса. Позже, под утро, я убил ее



миской. Крыса была без хвоста и воняла паленой шерстью.

— Ничего не понимаю! Какая такая крыса? Вы по какому вопросу пришли сюда?

Евдокия Гавриловна, конечно, узнает нас, и поэтому в ее голосе будут притворная оскорбленность и своя прежняя грубая властность. Я по возможности спокойно скажу ей, что это бред, будто прошедшее — страх перед злым, тупым и ничтожным человеком — не допустит нас с Генкой к личной доброте и вере людям вообще. Для этого нам достаточно сейчас видеть ее, Евдокию Гавриловну Верхушину! Она, конечно, ничего не поймет, и тогда Генка, уже двинувшись к выходу со своим модным чемоданом в левой руке, учтиво и нарочно ни к селу ни к городу спросит, например, такое: известно ли мадам Верхушиной изречение ла Брёттеля о том, что стыд перед пролетариатом в конце концов загоняет буржуа на звезды?..

А город встретит нас ласково и всезабвенно. Мы долго будем бродить по улицам, а потом зайдем в самый лучший ресторан и закажем длинный-длинный обед, и шампанское будем пить медленно и умело — отхлебнем и поставим, отхлебнем и поставим!

Да, нам очень нужна эта поездка. Мы с нового года завели себе сберкнижку, и с той ночной пьеровской пятеркой у нас стало девяносто шесть рублей. А ведь будут еще отпускные!

Главное — это достать чемоданы. Венгерские, желтые, на сквозной «молнии»...

В ту неделю, последнюю перед нашим отпуском, Генка работал во вторую смену. Он почти каждый раз опаздывал, но являлся как ни в чем не бывало, потому что занимался сборами за обоих. Он опоздал и тридцатого — накануне нашего отъезда — и пришел какой-то хитро-веселый, со смеженными ресницами.

— Успел тяпнуть, да? Ну и лахудра ж ты! — сказал я, но он сострадательно поглядел на меня, сел за руль и уверенно выехал за ворота. Я поинтересовался: не кажется ли ему, что кое-кто из нас двоих начинает помаленьку привыкать к услугам няньки в штанах?

— В штанах? Это в каких таких? — притворно изумился Генка.

— В английских! — сказал я.

— А-а! В аглицких, вишь!.. Но если б эта нянька знала, что я достал! Ох, что я доста-ал! — сказал он не мне, а черт-те кому, и вид у него был загадочный. Я ре-

шил, что это он о чемоданах — купил, значит, и не стал за него тревожиться. Он включил счетчик, с ходу набрал скорость, и минут через двадцать мы были в своем перелеске. Там на рыжем подпале травы неприятно и как-то устрашающе лежала наша недогоревшая запаска, и Генка недоуменно посмотрел на нее, но ничего не сказал. У меня пропала охота обмывать тут чемоданы — иначе зачем бы мы сюда ехали, — и я предложил Генке сочинить это дома после его смены. Он засмеялся, погладил меня по плечу и томительно-медленно, двумя пальцами левой руки полез в боковой карман своего пиджака. Я подумал, что он купил мне какие-нибудь необычные запонки или, может, галстук, и изобразил бесстрастный вид, как всегда в таких случаях. Сам Генка откровенно радовался моим для него подаркам, а я давно запретил себе впадать при нем в сантименты, потому что это слабость. Я сидел и глядел в сторону запаски, а Генка в это время вытащил и поднес к моему носу маленькую обтрепанную книжку, пахнущую не то сосной, не то воском. На серой обложке бурыми буквами, как сукровицей, было обозначено «Въ помощь голодающимъ». Генка глядел на меня умиленно и тихо, и я сказал ему, как блаженному:

— Руководящее пособие приобрел? Ну теперь мы заживем!

— Да ты послушай, беспризорское твое отродье, что тут написано, — мечтательно сказал Генка. Он раскрыл на закладке книжку и нараспев, каким-то щемяще-сказительным голосом начал читать: «Послала я к тебе, друг мой, связочку, изволь носить на здоровье и связывать головушку, а я тое связочку целый день носила и к тебе, друг мой, послала: изволь носить на здоровье. А я, ей-ей, в добром здоровье. А которые у тебя, друг мой, есть в Азове кафтаны старые, изношенные и ты, друг мой, пришли ко мне, отпоров от воротка, лоскуточик камочки, и я тое камочку стану до тебя, друг мой, стану носить — будто с тобою видица...»

Генка замолчал. Я смотрел в сторону, на запаску, и не видел, как он сидит — лицом ко мне или к боковому окну. Я подождал, установил голос, как ему положено быть, и спросил, что за чепуху такую читал он. Генка повозился на своем месте и рыдающе сказал:

— Письмо... жены к мужу... конца семнадцатого века.

— Ну и что?

— Ничего. Умели... А книжка издана в 1892 году. В помощь голодающим.

— Они, конечно, сразу насытились! — ехидно сказал я и сам на себя мысленно плюнул.

— Тебе не кажется, что один из нас временами корчит из себя неизвестно зачем холодного болвана? — раздумчиво спросил Генка. Я поблагодарил и не обещал потеплеть, и он обнял меня, и мы несколько минут посидели молча.

— Ты гони от себя эту чумную Сталиничку, — попросил я, — мы себя не на помойке нашли!

— Все равно таких женщин, как эта, теперь нету, — грустно заявил Генка и спрятал книжку в карман. Мне было неизвестно, есть они такие или нет, — скорее всего нет, время не то, и я сказал, что нежность — это слабость. Генка промолчал. Тогда я спросил: замечал ли он когда-нибудь, чтобы наши простые советские граждане, возвращаясь из леса, несли можжевельник?

— Ну допустим, что не замечал, — отозвался Генка.

— Вот то-то и оно! — сказал я. — Они волокут сирень, черемуху, рябину. То есть все нежное и слабое.

— Это не слабое, а просто красивое, — возразил Генка и завел мотор. Из пригорода я решил добраться домой автобусом с первой же остановки, но Генка проехал ее и притормозил возле столовой. В последние предотпускные дни мы немного поприжались в расходах и даже не всегда обедали, перебиваясь то кефиром, то жареной треской, то чем-нибудь еще подешевле, — наверстаем потом в Одессе. Я уже дня три тому назад заметил, что у Генки вздыбился пух на затылке, — это у него с детства так, если хотелось есть, но в последний день ни к чему было нарушать условие, и я сделал вид, что не понял, почему он тут остановился. Мы двинулись к следующей автобусной остановке, и меня все тянуло пригладить Генкин затылок, но впадать в сантименты не стоило.

Чемоданы мы решили искать вдвоем завтра с утра, а вечером выехать.

Я еще из-под арки ворот увидел десятка полтора пенсионеров общественников из нашего дома, прогонявших из сквера двоих парней в кургузых брезентовых куртках, — наверно, это были штукатуры с соседней стройки. Они сидели за пустующим столом козлятников и со-

бирались выпить: на столе лежали два яблока, стояла четвертинка водки и блестел алюминиевый колпачок от термоса. Пенсионеры колготились и грозили парням «сутками», а они сидели молча, постигая, видно, свою вину, а потом разом, как под взмах чьей-то руки, слаженно и внятно послали «всех тут» к такой-то матери. Мне нельзя было миновать сквер, и я засмеялся не над уместностью фразы, сказанной штукатурами, а над тем, как они отчеканили ее: я решил, что они, наверно, давно и крепко дружат, раз умеют думать одновременно об одном и том же. Прямо как мы с Генкой. Это, может, и толкнуло меня подмигнуть им, когда я проходил мимо стола. Они мне тоже подмигнули — разом и одинаково — и дуэтом предложили выпить вместе. Я опять засмеялся — над этой их ладностью слов и жестов, а общественность решила, что над ней. Тогда и выяснилось, что я такой же бездельник и пьяница, как эти мои дружки. Это была двойная неправда, и я издали, уже от подъезда дома, посоветовал приятелям не обращать внимания на всех этих достойных леди и джентльменов. Сидеть, выпивать и разговаривать тут, раз некуда приткнуться!..

Обычно я — Генка тоже — взбираемся на свой пятый этаж армейским физзарядным бегом. Это когда руки согнуты, ладони сжаты в кулаки, а колени ног подкидываются как можно выше. Между прочим, когда дела в порядке — план выполнен, начальство не рычит, а люди, которых ты возил, остались по-хорошему в памяти, то ступеньки лестницы преодолеваются так, будто ты несешься по прямой. В этот раз я добежал только до второго этажа, а дальше пошел шагом: хотелось сладить с каким-то царапным зудом в сердце от этой своей встречи с пенсионерами.

Я решил сразу же вымыть пол в комнате. Он тогда часа два будет отдавать прохладой, и по нему захочется походить босиком и припомнить что-нибудь веселое. Генкина постель была не прибрана — на ней будто собаки дрались, и я мысленно посулил ему что полагалось, заправил ее и под подушкой обнаружил часы, — забыл, как всегда, — и новую толстую тетрадку в дерматиновой обложке. Я протер мокрой тряпкой пол, открыл окно, чтобы он поскорее просох, а после этого заглянул в тетрадку: было бы ни к чему, если бы Генка перед самым отъездом сочинил что-нибудь грустное.

Мне всегда было трудно и обидно читать его по-

черк — слепой, мелкий и тесный, как мушиный помет на скатерти. Каждая буква заключена у него в квадрат клетки как в карцер: сидит там маленькая, загнанная, детдомовская какая-то, черти б ее взяли! То же самое было и в этой тетрадке, — даже свое имя и фамилию на заглавном листе Генка не решился вывести по-крупней, и я взял ручку и на две клетки подтянул буквы вверх.

На второй странице все в тот же мушиный след было написано: «Я был малыш, голым-голыш и всем чужой, но вот поди ж: чудак прохожий подарил мне как-то бубен. В него ударил я рукой, притопнул босою ногой, и шаг мой сделался танцующе-нетруден. Однажды в город я пришел, в нездешний город я пришел, в далекий город привела меня дорога. Направо дом, налево дом, а я с растерянным лицом, и на душе моей — то радость, то тревога. А этот город был такой лазурно-сине-голубой, что захлестнул меня, как праздник бесконечный. Я где-то бубен уронил, свою дорогу позабыл и горожанином стал сытым и беспечным. С тех пор прошли уже года, но я мечтаю иногда: вот если б кто-нибудь мне снова вверил бубен! В него ударю я рукой, притопну босою ногой и не расстанусь с ним ни в праздник и ни в будень!..»

Ничего веселого в этой новой Генкиной песне не было. Под ее слова в уме сам собой складывался какой-то босоного-чечеточный мотив, напоминающий о нашем беспризорстве. А кому это нужно? И кто это нас одаривал бубном-радостью? Когда? Где?.. Разве что тот лейтенант-мальчишка, который подарил нам губную немецкую гармошку? Но ему ведь жалко было отдавать ее, он же сам чуть не заплакал... Мы повстречались с ним после того, как нас прогнал с товарного поезда проводник, у которого росла в кармане брюква. Тогда до утра мы просидели возле деревянного прирельсового склада. Он, видать, недавно был построен, потому что на желтых досках шелёвки проступали совсем мягкие смоляные сосульки. Мы поснимали их и съели, и мне ничего не было, а у Генки заболел живот. Я оставил его возле склада, а сам побежал на привокзальный рынок-толкучку и у сидячей старухи-торговки схватил из решета два коржика. Они и в Одессе и тут стоили по трояку штука и были маленькие, шестиугольные, формованные граненой стопкой. Зацапал меня милиционер — тут же, сзади, за шею, но коржики я потерял позже, когда меня били та моя и чужие торговки. Они били небожно, потому что мешали друг другу, но милицио-

нер не отпускал шею, и тычки приходились мне в голову. Вот тогда и появился в нашей сутолочи этот лейтенант-мальчишка и скомандовал: «Назад, канальи!» Может, он выкрикнул только начальное слово, а второе — «канальи» — мы с Генкой присочинили ему сами, позже, потому что так хотелось, но все же он скомандовал, и я оказался в свободном круге наедине с милиционером. Он не отпускал мою шею потому, что не знал еще, что лейтенант — в самом деле лейтенант, а не солдат: это выяснилось после того, как милиционер крикнул ему: «А ну, давай отсюда!» Тот почему-то пригнулся, откинул с правого плеча плащ-палатку и обнажил пистолет. Тогда и обозначился на его плече зеленый полевой погон с двумя звездочками. У лейтенанта скопились глаза, а нос побелел как бумага; он двинулся ко мне и милиционеру молча, клонясь вперед, и неизвестно, чем бы все это кончилось, если б милиционер не спрятался в толпе торговков.

После этого мы с лейтенантом пошли с толкучки. Он тоже обхватил рукой мою шею, но не для того, чтобы держать меня, а просто так, как старшой меньшего, и от этого я заплакал. Генка заметил нас и побежал прочь от склада. Он попросил лейтенанта издали, чтобы тот отпустил меня, потому что у нас всех поубивали румыны, а мы спрятались и остались живы. Лейтенант остановился и сказал «Ах ты черт!», а я крикнул Генке, чтобы он не боялся своих. Мы признались лейтенанту, откуда бежим, но куда — не знали, и он опять сказал «Ах ты черт!» и дал мне большую красную тридцатку, а Генке — не сразу, а немного погодя — подарил губную гармошку. Он посоветовал нам «рвать на Москву, там вас подберут, кому надо», а сам все поглядывал и поглядывал на Генку, сцепившего сияющую как огонь гармошку...

Вот и все насчет «бубна-радости». Может, Генке и следовало написать об этом песню, но не о тоске по беспризорию, будь оно проклято, а о лейтенанте, который навсегда остался в нашей памяти большим героем-мальчишкой, крикнущим торговкам «Назад, канальи!». Милиционеру он тоже мог что-нибудь сказать в песне. Например: «Ты чем тут занимаешься, мерзавец!»

Обо всем этом я решил поговорить с Генкой завтра в поезде. Мы, наверно, возьмем не две, а три бутылки шампанского и будем пить его долго и спокойно — отхлебнем и поставим, отхлебнем и поставим...

Пол к тому времени просох. Я закрыл окно, обернулся спиной к зеркалу и под слова «Бубна» сплясал чечетку — босой и с голосом на крике, как бывало в детстве. Кто меня мог видеть и слышать тут?

Вечером я стал готовиться в дорогу. Мне хотелось, чтоб не только чемоданы, но и все на нас было одинаковое — куртки, галстуки, носки и даже трусы. Со своим личным хозяйством я управился быстро, — у меня все годилось хоть на свадьбу, но с Генкиным было трудней. Я никогда не мог постичь, почему его носильные шмотки сразу же приобретают — не только на нем, но и в шкафу — какой-то убедненный и стусеванный вид. Одно время я думал, что причина тут кроется в качестве вещи, — дешевка, она и есть дешевка, как ее ни блюди, но мы ведь давно уже покупаем себе все одноценное, и просто непостижимо, отчего, например, у его импортных ботинок так скорбно-нелепо скосоротились носки; почему у нейлоновой рубашки — такой же, как у меня, — концы воротничка бесповоротно-сгибло завернулись внутрь и чего ради его шерстяной берет — одной поры и цены с моим — разлохматился, как бездомный щенок! Дело тут не в уходе за вещью и не в степени ее износа, а в чем-то другом, необъяснимом, непонятном и ненужном: все принадлежащее Генке рано или поздно становится чем-то похожим на него самого, когда ему плохо. Он тогда превращается в безгласный крик о том, что у нас всех поубивали, а мы спрятались и остались живы, но тот, кому он кричит это, глух и слеп, и ресницы у Генки пушатся и встают дыбком, и весь его облик выражает примерно такое — «Вот-вот явится!». Что явится, почему — неизвестно. В таких случаях мне всегда становится обидно за себя и тревожно за Генку, и у нас происходят короткие беседы, похожие на стычки, и при этом мы не садимся, а стоим, — Генка должен знать и помнить, что во мне метр восемьдесят взрослой силы..

Часам к десяти я закончил все приготовления. Генкины брюки я выгладил с нажимом всего своего веса на утюг, а в ботинки набил бумаги и поставил их на середине комнаты, чтобы они побыли у меня на виду. А вскоре явился Генка. По тому, как он открыл дверь и взглянул на меня, я понял, что с ним что-то случилось. Я подумал об аварии и спросил, где машина. Он сел на мою койку и ознобно сказал:

— Во дворе. Там деревенская женщина...

— Ну и херувим с ней! — сказал я. — Она, надеюсь, не укусила тебя?

— Она везет домой мужа из морга,— сказал он, не шевелясь и не моргая.— В оба конца около ста километров... Может, поедем вместе, а? Они сзади сидят.

— Как сидят? — не понял я.

— Прямо,— сказал Генка.— Он без внутренностей. Их у мертвецов в моргах выбирают для учебы студентов...

— Ну и пусть! — крикнул я.— Какое это имеет значение?

— Все же... одну только оболочку повезем,— страшно сказал Генка. Как укольная боль, меня пронизало почти непреодолимое желание ударить его: он не смел, не должен был ввязываться в это ненужное для нас дело — калымить на перевозке мертвецов в такси, но раз тот уже сидит там...

— Она два дня искала подводу или машину,— сказал Генка. Вид у него был «Вот-вот явится».— Говорит, просят восемьдесят, а у нее всего сорок три с копейками...

— Ну и что? И повезем, раз взялся,— сказал я.— Подумаешь, развел сантименты! Дорогу знаешь?

Машина стояла метрах в пяти от подъезда и мигала левым подфарником,— Генка забыл выключить рычаг указателя поворота. Мы одновременно открыли передние дверцы и сели, как гестаповцы в кинофильмах об отступлении: стремительно, тесно, наклонясь вперед. Мне не хотелось, чтобы Генка подумал, будто я, как и он, боюсь глянуть назад, но оборачиваться тоже не тянуло. Сзади нас цепенела трудная непустая тишина, и неизвестно было, что лучше — чтобы там шевелились или сидели тихо. Генка торчал за рулем как истукан. Он старался миновать оживленные улицы и держался поодаль от тротуаров. Как только мы выбрались за город, невидимая нами женщина на заднем сиденье заголосила переливчато и бессловесно. Мы не знали, как быть — успокаивать ее или молчать, и как ехать — медленно или быстро, и нужно ли снять береты или оставаться в них. Ее голос становился все изнурительней и изнурительней, и Генка повел машину зигзагами, потому что то и дело взглядывал на меня и зачем-то наваливался на руль. Я посоветовал ему переключить скорость с четвертой на третью, но после этого стало еще хуже,— гуд мотора каким-то непутево утробным ладом вплелся в звериный вой женщины...

Нет, я не думаю, что именно это — голошение вдо-



вы — привлекло к нам внимание контролера, — его служебную машину я заметил метров за сто. Она стояла на обочине шоссе, и красный светящийся диск нам был выброшен почти с того же расстояния. Генка сбил скорость на нейтральную и стал притормаживать, а глазами спросил у меня, как быть. Женщина, наверно, почувяла что-то неладное и стихла. Я сказал Генке, что все в порядке. Счетчик у нас включен, неположенного числа пассажиров нет, сменное время не истекло. Что еще? Главное было — знать, как там с и д я т сзади, но оглядываться не хотелось, а кроме того, контролеру никакого нет дела до пассажиров. Тем более что их вполне нормальное число.

Контролер был ведомственный, но лично я видел его впервые, — они у нас менялись через две недели на третью, потому что рано или поздно люди так или сяк сходятся между собой, а по положению о контролерах это им с нами не полагалось. Генке бы сидеть спокойно, — внешне у нас ведь все было в порядке, но он заколготился и первым поздоровался с контролером. Тот не ответил, будто не расслышал приветствие, и потребовал путевку. Он не сказал ни «пожалуйста», ни «предъявите», а просто буркнул: «Путевку», и Генка поспешно и угодливо проговорил: «Сию минуту». Вот тогда я и напомнил Генке, что контролер забыл представиться. Ему, наверно, было лет под пятьдесят. При свете малых фар я как следует разглядел и его темно-синий плащ до пяток, и кожаную фуражку, и по-зауральски круглое дубленое лицо. О том, что он забыл представиться, я сказал Генке в меру независимо и заинтересованно, как и подобает пассажиру с каким-нибудь общественным весом. Возможно, я сказал это зря, но сожалеть об этом было уже поздно: контролер забрал у Генки путевку, а меня спросил, кто я, собственно, такой. Я сказал, что к любому собственному советскому человеку надо обращаться на «вы» не только днем, но и ночью. Он порекомендовал мне с намеком на какое-то всегда возможное худо сидеть, пока сидится, и в это время Генка нечаянно приоткрыл дверь и в машине зажегся свет...

Тогда уже ничего нельзя было сделать. Контролер до половины всунулся на заднее сиденье и, наверно, потребил мертвеца, потому что женщина там суетливо и повинно проговорила:

— Это со мной едет... Муж мой. От жабы-рака помер...

Я в это время оглянулся и в какую-то дикую секунду успел схватить-увидеть крепкое, азартно преобразившееся лицо контролера, круто высторченные под бязевыми кальсонами худые мужские колени и черный, с поддрагивающей бахромой полушалок, распяленный в руках женщины,— она, видно, только теперь решила прикрыть голову мертвого.

Контролер выругался погано и неизвестно на кого, захлопнул заднюю дверь машины и приказал Генке поворачивать в город.

— Впереди поедешь! — сказал он и встал в створе наших фар. Генка сидел у меня где-то под мышкой, и берет у него совсем разлохматился и сбился набок. Он спросил у меня, почему я молчу и не объясню товарищу контролеру, что тут одна только оболочка?

— И как я повезу это обратно? Зачем?! — пискляво проговорил он мне на ухо.

Когда я вылез из машины и пошел к контролеру, то совсем не думал о чем-нибудь плохом для него. Я только хотел объяснить ему, что нам нельзя и ненужно возвращаться в город, потому что он сам видит, кого мы везем, и что мы ни о чем его не просим — пусть у него остается путевка и пусть он доложит начальству обо всем, в чем нас застукал! Я только с этой нашей бедой и пошел к нему, но он что-то крикнул мне и стал зачем-то расстегивать плащ. Я теперь не помню, что сказал ему, когда взял и поднял его на руки,— не как-нибудь там грубо и срыву, а как поднимают ребенка с просовом рук под зад и шею. Он даже не пытался барахтаться, пока мы шли так к кювету дороги, и там я не сложил и не ссадил его, а поставил на ноги, как стоял он до этого. Больше я ничего с ним не делал и побежал к своей машине, и Генка сам догадался, что я хочу сесть за руль.

Как только мы рванулись вперед, женщина заголосила кручинно и как-то раздольно-облегченно, будто была уже дома. Генка с натужным усилием приподнялся на сиденье и, как тиролоец, прокричал в зеркало:

— Мамаша! Не надо так убиваться, слышите? Что ж теперь поделаешь!

— На войне вон сколько здоровых людей погибло! — зачем-то сказал я.

— Миллионы! — подтвердил Генка.— Вот и у нас... и маму и отца...

Я пнул его локтем и прибавил газу.

— И маму и отца,— клетотно проговорил Генка.—  
А мы с вас и денег не возьмем ни копейки, правда,  
Вов?

Я выключил счетчик и поглядел в зеркало. Дорога  
позади нас была пустынна.

1968

## ВОТ ПРИШЕЛ ВЕЛИКАН

Я хорошо понимаю, что читателю не очень нужно все это знать, но мне-то очень нужно рассказать ему об этом.

*Жан-Жак Руссо*

Я позвонил ей по телефону минуты за три до обеденного перерыва, и мы встретились на лестничной клетке своего этажа. Тогда я впервые взял ее под руку при всех сотрудниках — они шли в буфет на третий этаж — и повел по коридору к окну, где стояли два стула. «Ты сошел с ума! Что случилось? Ты сошел с ума!» — под колющий костяной цокот своих каблуков безгласно кричала она мне, глядя перед собой, и вид у нее был почти полуобморочный и в то же время тайно-радостный. На подоконнике и стульях лежал и метельно шевелился слой тополиного пуха, и там я сказал ей, что распиналка над нами назначена на восемнадцать часов. Я был тогда в той степени отвращения к ближним своим, когда ты приходишь к решению, что жить можно лишь в том случае, если помнить о головокружительной бесконечности Вселенной, перед которой человеческая возня смешна и бессмысленна, — в этом случае ты не только обретаешь спокойствие безразличия, но становишься способным на отпор и дерзость. Я сказал ей, чтобы она не являлась на этот суд над нами и шла домой сейчас же.

— А ты сам? А ты сам куда?

Ей немного не хватало до обморока, и я вдруг будто со стороны увидел, как некрасива, мелка и тщедушна фигурка этой полуживой от страха женщины с седеющей головой на нервной тонкой шее, похожей на ручку контрабаса, и как смешно и бессмысленно все то, что готовится нынче к шести часам вечера ей и мне.

— Вот пришел великан. Большой, большой великан. Такой смешной, смешной. Вот пришел он и упал, — сказал я ей. Всю нашу жизнь — нашу жизнь! — я говорил ей эти слова, когда ничего другого нельзя было придумать.

Я нарочно подождал, пока в коридоре раздались чьи-то шаги, и поцеловал ее в открытую шею, в самую ямку «контрабаса». Там успела приютиться мохнатая тополиная пушинка, приставшая к моим губам, и она сняла ее с

меня щепоткой холодных пальцев и пошла по коридору на выход. Я умышленно загляделся в окно, придав себе застигнутый вид. Я стоял и слушал шаги двоих — удаляющиеся перебойно-дробные ее, будто она готовилась и не решалась бежать, и размеренно-пристойную мужскую кладку каблуков того, кто нас «застукал». Когда я оглянулся — мне пора было помочь ей там, — она уже разминулась с бедой, но шла впритирку к глухой коридорной стене и руки держала по бокам врасстычку.

— Я позвоню тебе домой сразу же после этого! — сказал я ненужно громко вдогон ей, и она в самом деле тогда побежала, а я достал сигареты и закурил. Вениамин Григорьевич стоял у дверей своего кабинета, заложив руки назад, тесно составив курносые чистенькие ботинки, и как-то радостно-обретенно смотрел в конец коридора. Я стоял и ждал, когда он оглянется в мою сторону. Он хозяйски-благополучно кашлянул и, минуя меня взглядом, повернулся к двери. Тогда я окликнул его сам. Я спросил, не помнит ли он со времен сороковых годов папиросы под названием «Для знато́ков». Длинные такие, душистые. «Для знато́ков», — опять сказал я с этим ударением. Он подумал и ответил, что не увлекался.

— Это вы совершенно зря делали, товарищ Владыкин, — сказал я без всякого ожесточения. — Ведь только увлечение приводило людей к великим открытиям, украсившим нашу землю!

Он ничего не сказал и скрылся за дверью.

С Вениамином Григорьевичем мы впервые встретились год тому назад. До этого, после окончания Литинститута, я долго плавал в Атлантике матросом на рыболовном траулере, — нужно было заработать деньги, чтоб сесть и написать книгу. Я все сделал так, как хотел, — купил комнату и потрепанный «Москвич» первого выпуска, новую резиновую лодку и одинарную палатку с голубым марлевым окном. Свое первое вольное лето я жил и писал близ озер, — в наших местах их больше чем нужно. Осенью, чтобы помнить об озерах, я нарочно оставил лодку дома, возле секретера, где стояли удочки и спиннинг, и за зиму резина пересохла и расклеилась. Я обнаружил это весной, когда повесть была закончена и жить стало нечем. На озере, если оно находилось где-нибудь у чертей на куличках, ощущение мира обновлялось,

и возникало снова — в который раз! — пресловутое «а вдруг?».

Лодку я клеивал во дворе, утром, пока стол-самоделка пустовал без козлятников. Уже истомно пахли почки городских лип, верещали скворцы, и теплый ветер подувал с разных направлений, кружа подушечный пух, обрывки газет, пыль и сор — прах нашего большого кооперативного дома. Я клеил и видел, как из подъезда вышла женщина с курицей и ножом в руках. Следом за ней шел ее муж. Это были симпатичные люди — пожилые, молчаливые и опрятные: в свое время они вернулись с Севера, и в доме и во дворе не было их видно и слышно. Супруги оглядели двор, о чем-то пошептались, и я все понял и переместился, чтобы оказаться спиной к ним. Удивительное это дело: тот, кто вернулся оттуда, не в состоянии потом зарезать курицу. «Сейчас они подойдут и попросят, — подумал я. — Но, может, постесняются?»

— Вы не могли бы вот ее, а? — сипло спросила женщина, и я подумал, что курицу они покупали вдвоем и, пока плелись с базара, успели привыкнуть к ней и полюбить.

Когда все было кончено и золотистые курицыны глаза померкли, а кровь иссякла, впитавшись в пыль, женщина, не взглянув на меня, пошла прочь той напряженной непреклонной походкой, какой уходят люди от темных и злых мест. Я принялся за прерванную работу, но лодка не клеилась: хотелось скорей очутиться на каком-нибудь озере, и в то же время я думал над тайной крови, почему её нельзя отворять, особенно при солнце... Не знаю, как это связалось тогда с моим настроением, но я тихонько засвистел мелодию старинной песни про чайку, убитую безвестным охотником. Когда-то, давно, эту песню пела моя мать. Она выводила ее почти на крике, иступленно и тоскующе.

— Хорошая песня! — убежденно и задумчиво проговорили у меня за плечом. Это сказал муж женщины, унесшей зарезанную курицу. Я понимал, что ему некуда деваться, пока курицу не распотрошат, и подвинулся, освобождая место на скамейке. Он присел, отказался от папироски и сказал снова:

— Хорошая была песня...

— Конечно, — сказал я, невольно раздражаясь на что-то. — Хотя русский человек редко пел от добра, но в этом случае он бывал истинным творцом. Вы не находите?

— Какое там добро! — с какой-то смиренной кротостью сказал муж, а я надеялся, что он не согласится.

— Я слышал эту песню раза два или три. В детстве,— сказал я неизвестно зачем.

— А я однажды,— не сразу сказал муж. Он глядел куда-то в поднебесье. Глаза у него были жидко-голубые, как вода, и по левой щеке от ноздри к заушью пролегал хорошо пробритый шрам. Под столом и у нас под ногами бродили разжиревшие голуби, потерявшие обличье вольных птиц. Я шугнул на них, а муж неодобрительно взглянул на меня и хмыкнул,— голубей ведь положено любить, раз мы боремся за мир во всем мире. Ему, как видно, хотелось потолковать про убитую чайку, потому что через минуту он сказал опять:

— Да, русская была та песня!

Голуби снова слетелись к нашим ногам, и я опять шугнул на них, а муж, глядя в поднебесье, сказал:

— Я тогда стоял часовым, а на заре перед самым расстрелом он, значит, подозвал меня и попросил дозволения спеть.

— А кто он был? — спросил я.

— Белобандит наш, поручик,— тоном охотника, когда тот рассказывает о набевшем на него зайце, сказал муж.

— Вы дозволили?

— Нет, сам я не имел прав... Тогда он, между прочим, дал мне портсигар и попросил покликать комиссара.

— Вы позвали? — спросил я.

— Другие это сделали. Сам я не мог. Он же в неприспособленном помещении содержался. В амбаре.

— Удрать мог? — предположил я.

— Смело! — сказал муж.

— Что ж комиссар?

— Не разрешил сразу.

— А как поручик просил его?

— По-хорошему. Дозволь, дескать, перед смертью спеть мою любимую...

— И чем кончилось? — спросил я.

— Спе-ел,— охотничьим тоном сказал муж.— Отрядные наши потребовали у комиссара, чтоб спел... Он, помню, пошел навстречу и согласился, но чтоб в амбаре, значит, а поручик хотел на воле. Ну мы уговорили комиссара, пускай, мол, на месте, в степи... И там он спел. Ох и спел же! Встал, понимаете, к восходу, обратил глаза на солнце и — до конца!..

Я свернул лодку, вогнал ее в мешок и сказал, что эти поручики умели, черт их возьми, красиво умирать.

— А что им оставалось? — усмехнулся муж.

— Конечно,— сказал я.— Но странно, что вы до сих пор помните это... Песня мешает?

Он вприщур посмотрел на меня и поднялся со скамьи.

— Песня, дорогой товарищ, никогда не мешала жизни. Вот если наоборот — дело другое! Поняли?

Сказал и ушел.

А неделю спустя я понес в местное издательство свою повесть. Она была отпечатана на старой канцелярской машинке и на плохой серой бумаге, и, чтобы скрасить этот внешний недостаток рукописи, я переплел ее за трояк в отличные дерматиновые корки, а название «Куда летят альбатросы» и свое имя «Антон Кержун» наклеил заглавными буквами, подобранными и вырезанными из «Огонька». Когда я в свое время нанимался в матросы, а затем долго был им, то меня все время не покидало тайное сознание своей маленькой исключительности,— как-никак за плечами у меня был заочный Литературный институт и та цель, ради которой я добровольно, а не вынужденно оказался среди людей... ну, скажем, не всегда умеющих быть джентльменами. Я постоянно помнил о своей будущей книге, о новых интересных знакомствах и немножко о гонораре. Может, оттого слово «издательство» звучало для меня чуть-чуть возвышенно и оторапливающе, и я робел перед ним.

Издательство размещалось на шестом этаже. В лифте перевозили куда-то железные корзинки с бутылками кефира, и я пошел наверх пешком. То, что каменные ступени лестницы были разбиты, грязны и заплеваны, а стены и проемы окон выкрашены в бездарный свинцово-коричневый колер, внушило мне странным образом уверенность, что повесть свою я написал хорошо. На шестом этаже это чувство во мне окрепло еще больше,— коридор тут был удручающе узок, сумрачен и бесконечен, и по левой его стороне густо темнели низенькие одностворные двери с табличками о времени приема авторов, и возле притолок дверей стояли жестяные урны-пепельницы, как в любой порядочной конторе. Я немного побродил по коридору, а потом постучал в дверь комнаты, что была рядом с туалетной,— это соседство кабинетов тоже почему-то ободряло меня. Комната оказалась величиной с могилу, вырытую в негожую осеннюю пору, и в ней каким-то чудом умещались три стола — два вдоль стены, а третий



барьером между ними. На нем лежал какой-то выгоревший бумажный хлам, а за пристенными столами сидели две женщины: ближняя ко мне — толстенькая и беленькая пышка, с бесстрастными фиолетовыми губами, собранными в трубочку, — сосала, наверное, конфету, а дальняя — цыганово-смуглая, стриженная под пацана. Я направился к ней потому, что она выжидательно смотрела мне под ноги, и потому, что над ее головой к стене была пришпилена фотография Хемингуэя. Я еще не успел миновать барьерный стол, когда она спросила, что у меня, и я издала протянул ей рукопись и совершенно глупо и неожиданно для себя поклонился. Тогда выдалась затяжная пауза, — она удивленно покачала на руках повесть, потом поцарапала на ней ногтем заглавную букву моей фамилии.

— Намерены переиздать? Вера, обрати внимание, какой роскошный переплет!

На меня она не смотрела. Я не видел повода для такого вопроса и сказал, что повесть оригинальная.

— Вот как?

Она опять как-то недоуменно и капризно, как школьница кляксу в своей тетради, поцарапала букву «К», затем сказала, придерживая над ртом большой цветной карандаш:

— Понятно. И куда они у вас летят?

Если бы у меня спросили это на траулере, а женщин у нас там не было, я б, наверное, с ходу и всего лишь двумя словами ответил, куда летят мои альбатросы, но тут был не траулер, и я вежливо сказал, что альбатросы обычно летят за кораблем.

— Неужели? — не отрывая глаз от чьей-то несчастной, как мне подумалось, рукописи, шепеляво сказала пышка. — А что их приманивает?

— В своей повести я объясняю это достаточно ясно, — сказал я. Пышка вскинула на меня круглые печальные глаза и сказала лениво, но заинтересованно:

— Даже объясняете? Это потрясно!

Она засмеялась, приглашающе взглянув на ту, вторую, и я увидел на ее малиновом языке льдистый обсосок дешевого леденца. Тут был не траулер, и я молчал. Я стоял в тесном закутке возле барьерного стола, и острый угол его крышки упирался мне в брюки так, что я все время помнил о возможной оплошности с пуговицами, и от этого у меня давно намокла рубашка под мышками.

— Видите ли, на ближайшие два года у нас уже сверстан план издания оригинальной литературы, поэтому...

Это сказала поклонница Хемингуэя, возвращая мне рукопись, и я принял ее зачем-то обеими руками и опять неожиданно для себя поклонился. Я пошел к дверям раскачной корабельной походкой, чтоб казаться независимей, и там на пороге столкнулся с хозяином курицы, которую я зарезал пару недель тому назад, когда клеил лодку. Он узнал меня и отступил в коридор, потому что дверь открыл я первый, и там мы поздоровались, и я закурил. «Муж», как я мысленно называл его, отказался от сигареты и ради приличия спросил, что у меня хорошего. На нем был старомодный плечистый пиджак с черными молескиновыми нарукавниками, и я решил, что он служит в бухгалтерии. Я сказал ему — в шутку, понятно, — что пытался ограбить издательскую кассу, да вот не вышло.

— Как то есть ограбить?

Он спросил это вполне серьезно и немного растерянно, и мне понадобилось объяснить ему, что я имел в виду.

— Это неправильно, — сказал он, но я не понял что. — Дайте-ка...

Он взял у меня рукопись и уважительно оглядел и погладил переплет. Наверное, ему понравился и заголовок повести, — он дважды прочел его шепотом, и «альбатросы» получались у него «альбáтросами». Мы стояли у двери, в которой столкнулись, и я все время ждал, что за нею вот-вот раздастся пышкин смех.

— Тема современная? — спросил «муж».

Я молча подтвердил.

— Адрес свой и все такое указали?

— Да-да, — сказал я, — все указано... Вы хотите передать кому-нибудь?

— Да нет, зачем... Посмотрим тут сами, — веско сказал он, — зайдите через месяц ко мне прямо...

Простился я с ним не в меру почтительно. В нем тогда все: и шрам на лице, и детски наивная голубизна глаз, и даже нелепые нарукавники — приобрело для меня какое-то — хоть и не до конца постигнутое — обещающее значение, и я вышел из издательства своей нормальной, а не матросской походкой, которой проходил мимо пышки.

Несколько дней я жил неуютно и тревожно, — мне почему-то не хотелось неурочно встретиться с «мужем» во дворе или на улице, и надо было уехать на дальнее

озеро. Тогда в спортивном магазине давали шведские кованые крючки и немецкую радужную леску на поводки. Я купил то и другое, и когда выходил из магазина, то возле своей машины увидел «хемингуэйку», — она неловко, перехилиясь, держала на руках новый красно-голубой матрац: наверно, ей не удалось втиснуться с ним в автобус, потому что в капиллярах матраца оставался воздух. Она увидела меня издали и отвернулась, но с места не двинулась, — ждала хозяина моего драндулета. Я подошел к нему, открыл заднюю дверцу, а ей сказал: «Кладите, пожалуйста». Я сказал это без всякой иронии и помог ей впахнуть матрац на заднее сиденье.

— Я не знала, что это ваша... А такси нет...

У нее пунцово горели щеки. Я придурковато сказал, что как-нибудь доедем, и это ее подбодрило. Наверно, для того чтобы полностью обрести себя, редактрису, она знакомым мне царапным жестом школьницы дотронулась до вмятины на крыле машины и спросила, где это ее так изувечили. Я сказал, что это не «она», а «он».

— Он?

— Он, «Росинант», — объяснил я, и она с каким-то новым вниманием посмотрела на меня и не очень смело села в машину. Ей, видно, все же хотелось как-нибудь умалить степень моей непрошеной услуги, потому что, как только я включил скорость, она подчеркнуто спросила, почему мой автомобиль подпрыгивает на ровном месте. Я напомнил, что «Росинанту» почти четыреста лет, устал, мол, и похлопал рукой по рулю.

— Теперь понятно, — светски сказала она. — Кстати, вы неосновательно жаловались на меня Владыкину.

— Разве? А кто это? — спросил я.

— Вениамин Григорьевич! — едко сказала она.

— Тот товарищ, что носит нарукавники? — догадался я и поздно сообразил, что сказал это зря. Она высокомерно взглянула на меня и пожала одним плечом, приподняв его к уху, как это делают не по годам серьезные дети. Я понимал, что она хотела выразить этим своим движением, и невольно засмеялся.

— Вы не могли бы побыстрее ехать? — сухо сказала она.

— Вам к издательству? — спросил я.

— Почему? Мне надо домой. На улицу Софьи Перовской, дом десять. Пожалуйста!

— Благодарю вас, — галантно сказал я, и она откинулась на сиденье и вдруг подалась вперед и затаилась:

со мной давно ездили два снимка Хемингуэя, — лакированных-красочных и грустных, наклеенных к ветровому стеклу в правой нижней стороне. На одном он был снят рядом с убитым леопардом, а на втором — в лодке. Она смотрела на них с каким-то страдающим напряжением, и я видел, что ей хочется потрогать их мизинцем.

— Где вы это... достали? — спросила она и показала на снимки не рукой, а глазами. Я немного помедлил с ответом, — впереди был красный свет, — потом сказал, что купил их на Кубе. Она недоверчиво усмехнулась, но на меня не взглянула.

— В Гаване, — уточнил я.

— Скажите пожалуйста!

— Я был там дважды, — безразлично сказал я, потому что это была правда.

— Каким, простите, путем?

— Водным. Мы заходили туда сдавать рыбу... Если вас интересует кубинский Дом-музей Хемингуэя в Финка-Вихия, то должен сказать, что это печальное зрелище, — сообщил я, что было тоже правдой.

— Почему?

— Потому, что дом без хозяина...

— Да, пожалуй... И вы написали об этом в своей повести?

— И об этом, — сказал я.

— А еще о чем?

— Об акулах, о крабах с ногами на спине, о бонитах, медузах.

— Вы разве ихтиолог?

— Нет, — сказал я.

— Ну хорошо. А еще о чем?

— А еще о ностальгии... Об огнях Святого Эльма, — бесстрастно сказал я.

— Понимаете, я хочу спросить, каков сюжет вашей вещи, в чем главный смысл ее? — оторопело сказала она. Матрац топорщился на заднем сиденье, и я протянул к нему руку и сказал, что книга не должна походить на эту штуку.

— Не понимаю, — настороженно сказала она.

— Отлично понимаете, — сказал я. — Вы спрашивали о конечной заданности произведения, а я полагаю, что это не двуспальный матрац, смысл и назначение которого предельно выражены для каждого и формой его, и содержанием.

— Очень нелепое сравнение! — сказала она и отверну-

лась. Дальше мы ехали молча, и я знал, что у своего дома она непременно захочет заплатить мне за проезд. «Наверно, даст серебряный рубль, если он есть у нее, его удобно кинуть на сиденье, эффекта больше», — подумал я, и это так и случилось. Я подбросил рубль на ладони, потом попробовал его на зуб. Она брезгливо и в то же время обеспокоенно спросила, что я делаю, и я объяснил: проверяю, мол, не фальшивый ли.

— Могу заменить на бумажный! — раздраженно сказала она, но я предположил, что фальшивые бумажные рубли изготавливать ей еще проще, чем металлические, поскольку она работает в издательстве и имеет доступ в типографию. Я сказал это ровно и убежденно, и она посмотрела на меня с тем недоуменно-мученическим вниманием, с каким разглядывала снимки Хемингуэя.

В тот же день я уехал из города. До моего прошлогоднего озера было километров сорок по песчано-лессистому проселку, пустынному и диковатому. Стояла неважная для рыбалки погода — тихая, яркая и засушливая, но проселок был еще по-весеннему плотным и легким, и на опушках сосновых подлесков то и дело попадались колонии анемонов. Я остановился на своем прежнем месте. Тут сохранилось все в целости — обмелевший ровик и колышки для палатки, обуглившиеся рогульки для подвески котелка, голубая развеянная зола кострища, пологий травянистый спуск к озеру, заросший молодой «куриной слепотой», само озеро, кипящее по осокистым закрайкам, — наверно, нерестилась плотва. Я привез с собой для прикорма два целлофановых мешка с пареным горохом и пшеницей, а за наживкой пошел на тот конец озера, — там я знал бабушку Звукариху, одиноко жившую в километре от деревни Звукарёвки. Изба ее сидела на самом берегу озера под нависью старых ракит, и на ее крылечном конике атели три большие звезды из фанеры, приколотенные одна над другой, — неукорный знак живым о том, что Звукариха не дождалась с войны трех сыновей. Бабка кормила кур возле крыльца. Она успела загореть и обветриться с лица, — огород, где я обычно добывал червей, был вскопан и разделен на грядки, и там уже выметывал третий лист огуречник и щетинился лук. Я стал спиной к фанерным звездам и поцеловал ее трижды — в щеки и в лоб, и она заплакала, а я достал из сумки и положил ей в фартук килограмм дрожжей: сколько раз просила привезти еще в прошлом году.

— В следующий раз опять привезу,— сказал я.— Все слава богу?

— А гоню кой-када,— призналась она, поняв меня правильно. Самогон выходил у ней слабый и кислый, и сбывала она его только хорошим людям по рублю за поллитра. За прошлое лето я стал для нее этим хорошим человеком. Звукариха спросила, долго ли я тут заживу, сходила в избу и вынесла сизую бутылку с тряпичным кляпом вместо пробки. Пока что мне это не требовалось, но ей, возможно, нужен был рубль, и я с удовольствием достал из кармана тот металлический, что «заработал» утром при перевозке матраца.

— Не карай, не карай! — замахала она руками.— То ж я за дрожжи.

— Этот рубль принесет тебе счастье,— сказал я и сам поверил в это.— Ты его спрячь и не трогай, а на Новый год он принесет тебе большое светлое счастье!

Она беспомощно взяла рубль и суеверно поглядела на коник крыльца. Я во второй раз поцеловал ее в лоб и щеки, и она снова заплакала...

А рыба почти не брала. Ни в первую, ни во вторую неделю. Я не брился, и моя борода начала завиваться в колечки. Я мало ел и плохо спал: тут, в одиночестве, во мне еще больше укрепился какой-то смутный страх перед неизбежным приходом в издательство. Я высчитал, когда это должно случиться, и число дня выпало нечетным, невезучим для меня, и было тревожно, что «муж» оказался не просто «мужем» и, как мне тогда подумалось, бухгалтером издательства, а кем-то другим. Погода стояла по-прежнему солнечная и спокойная. В деревне за озером ни днем ни ночью не смолкали петухи, и над моей палаткой в дупле старой осины с рассвета и до темна не затихала дятлиха. Она, наверно, сидела там на яичках и с рассвета и до темна не прерывала почти слитный царяпный звук «кти-кти-кти». В нем была какая-то машинная неумолимость, бесстрастность и самозабвение, и он стучал мне в темя, как поклев. По кустам и деревьям, не отлучаясь далеко от осины, все время сновал дятел,— искал корм. Когда он подлетал к дуплу, в звуке «кти-кти-кти» возникал мгновенный перебой, тут же возобновлявшийся и сгонявший дятла с осины. Безгласный, остервенелый и яркий, он целыми днями метался тут как огненный осколок, и я возненавидел дятлиху и не мог постичь, как дятел выносил эту свою каторжную жизнь. Я попробовал подвешивать на сучья ольхи толстых мали-

новых выползков,— такого вполне хватало, чтобы она заткнулась там в дупле хотя бы на полчаса, но выползки не привлекали дятла. Однажды он пропал. Его не было минуту, две, три и четыре, а «кти-кти-кти» к тому времени превратилось в пульсирующий болью незримый буравчик, проникавший сквозь темя в сердце, и я пошел на розыски дятла. Он сидел рядом с осиной на теневой стороне сосны, загородившись ею и прижавшись к коре. У него был разинут клюв и распластаны крылья — отдыхал. Я тогда решил, что смогу написать еще вторую повесть, что жизнь — это черт знает что такое, хорошее, конечно, и что мне надо много работать и лишь изредка прятаться от нее, чтобы набираться сил к встрече с неизбежным...

На следующий день перепал ласковый тучевой дождь под радугу и начался настоящий клев. Брали перестарки подлещики, уже тронутые медной окалиной, и большие горбатые окуни с малиновым опереньем, не хуже, чем у дятла. К вечеру я набил ими садок, снял палатку и отнес Звукарихе пустую бутылку с тряпичным кляпом вместо пробки, пять подлещиков и пять окуней. Она насильно — тоже на счастье — дала мне десяток яиц, крупных и золотисто-смуглых, будто окрашенных луковой кожурой. В город я въехал в ранние сумерки, когда еще не зажигают фонари, когда даль улицы тонет в исчадно-легкой пелене и люди там кажутся маленькими и светятся как моль. В такое время на память почему-то приходят блоковские стихи и старинная светло-печальная музыка и о себе думается с уважением и надеждой. Я ехал медленно. «Росинант» вел себя молодцом, он не фыркал и не подсигивал, и на нас мало кто обращал внимание. От всего этого мне было хорошо, и я не то что безразлично, а просто философски готовно отнесся к тому, что не увидел на месте свой гараж. Я возвел его мгновенно, за одну ночь, по соседству с домовою помойкой, где уже стояли три таких гаража, тоже спешно сделанные в темноте из обломков досок, старого кровельного железа и фанерных ящиков. Нас, «владельцев», несколько раз вызывали в домоуправление, но мы не спешили туда являться и не снимали с гаражных дверей предписаний о добровольном сносе своих незаконных сооружений — предписания печатались на папиросной бумаге и больше двух дней не продерживались. Конечно, вид у наших гаражей был вполне трущобный, не настраивавший общественность дома на умиление, зато с улицы за ними не был виден помой-

но-мусорный ларь — огромный, мерзостно пахучий и всегда переполненный. Теперь ларь открывался со всех сторон, а площадки, где стояли гаражи, были расчищены и посыпаны песком. Я заехал на свой прибранный пяточок и попытался предположить, как разорвались гаражи — вручную или бульдозером. Если вручную, то был смысл спросить у кого-нибудь, куда делась моя канистра с маслом, воронка, паяльная лампа и лыжи, а если бульдозером, то об этом не стоило беспокоиться. Я сидел в «Росинанте» и поглядывал на окна своего дома, — кое-где там зажигались огни, и мне были видны силуэты жильцов, прильнувших к подоконникам: конечно, им сейчас интересно было понаблюдать за мной издали, да еще сверху! Тут требовалось вести себя достойно, и я запел «Широка страна моя родная», запел, понятно, не во весь голос, но и не шепотом, и переложил в садке рыбу так, чтобы крупная лежала сверху, а мелкая внизу. Яйца я вместил в берет, и они улеглись там ладно и согласно, как в гнезде. За «Росинанта» волноваться не следовало, кроме меня его едва ли кто смог бы завести, но я на всякий случай поднял капот и стал вынимать ротор. Я вынимал его, а сам пел, поэтому не видел и не слышал, как подошел и остановился позади меня Вениамин Григорьевич Владыкин. Когда я оглянулся, он сидел на корточках возле моего садка с рыбой и берета с яйцами и разглядывал не рыбу, а яички, и рядом с ним стояло пустое мусорное ведро. Я прервал песню и поздоровался, а он опустил в берет яйцо и спросил, чьи это.

— Яички? Цаплиные, — сказал я. Мне до сих пор непонятно, что толкнуло тогда меня на эту вздорную мальчишескую ложь. Прозаичность правды, что яйца куриные? Смущение оттого, что мне посулила за них бабка Звукариха? Возможно. Но не исключена и другая причина. Когда Вениамин Григорьевич положил в берет изученное им яйцо и спросил «чьи это», я понял, что он не признал их за куриные, и мне просто оказалось не по силам разуверить его в ошибке.

— Цаплиные? — переспросил он и поднялся с корточек. Я подтвердил и тут же захотел подарить их ему как свой приозерный трофей, — цаплиные яйца не часто попадают в жизни. — Н-да, — сказал он, забирая свое ведро. — Это вы зря. Зачем же... Выводок весь загубили. Нехорошо.

— Может, это и не цаплиные, там ничего не было видно, — сказал я.

— Чего не было видно? — хмуро спросил он.



— Не видно самих цапель, только гнезда,— пояснил я.— Мне показалось, что они оставлены...

Он с сомнением произнес «гм» и пошел прочь, а я подумал, что рукопись моя уже прочитана и что она ему не понравилась, иначе он воздержался бы от выговора мне за цаплиные яйца. Я окликнул его по имени-отчеству и независимым тоном удачливого рыбака предложил окуней и подлещиков.

— Возьмите и сочините себе, пожалуйста, уху,— сказал я,— мне все равно некуда это деть.

Он полуобернулся, помедлил и отказался.

— Это ведь всего-навсего рыба,— уточнил я.

— Да нет, зачем же,— неуверенно сказал он. Садок с рыбой я понес к дому в правой руке, удерживая его на отлете, чтоб заметней был, а берет с яйцами — на ладони левой, чтоб тоже как следует виднелся людям. Я шел метрах в пяти сзади Вениамина Григорьевича, и на середине двора, где нам надо было разойтись по своим подъездам, он замедлил шаг, оглянулся и сказал, что повесть мою прочитал давно.

— Она, знаете, не подойдет нам... Так что вы можете забрать... завтра или когда там.

Его, наверно, раздражало то, как я держал берет с яйцами, потому что глядел он на него, а не на меня. Я молчал и не изменял положения левой руки. Вениамин Григорьевич кашлянул и двинулся к своему подъезду, а я к своему. Соседка по лестничной клетке, которой я отдал рыбу, сообщила мне по собственной охоте, что гаражи ломали бульдозером аж в прошлую субботу. Я умышленно безразлично сказал «ай-яй-яй», и она растерянно улыбнулась.

В моей комнатенке было уныло и бесприютно. Я вспомнил про дятла, вымыл пол, потом принял душ и до полночи думал, как жить с завтрашнего дня: денег оставалось месяца на полтора, если тратить по трояку в день. Мне представилось, что, в сущности, я большой горемыка и неудачник, не наживший к тридцати годам ни кола ни двора. Ну что я умею делать? Рыбу ловить? И на кой черт было обещать себе то, что не в состоянии исполнить? Я хотел побыть перед собой несчастным и ничемным человеком, и это мне вполне удалось,— я даже мысленно увидел свои собственные похороны, «без жены и друга» за гробом...

Утром все это у меня прошло. При солнце и радостном визге ласточек оказалось, что мне всего-навсего двад-

цать девять лет, что у меня как-никак есть «Росинант», отличная заграничная обувь, свитеры и рубашки, а что касается специальности, то я могу работать директором, например, кинотеатра, учителем, шофером, слесарем-водопроводчиком, грузчиком или рыбаком на траулере. Я тщательно побрился, сделал из пяти яиц глазунью и съел ее неторопливо и серьезно, потому что верил в пожелание бабки Звукарихи. Потом я оделся и сбежал во двор. У «Росинанта» был какой-то справный и даже внушительный вид, — под ним празднично сиял аккуратный песчаный квадрат, издали смахивающий на ковровую подстилку, и завелся он с полуоборота, и двинулся с места без подсигов. Я опустил боковое стекло и вслух поприветствовал солнце, ласточек, людей на тротуарах и в автобусах, а затем уважительно поздоровался сам с собой и поехал в издательство за рукописью. Я поехал кружным путем, чтобы не обминуть набережную и мост. На нем плечом к плечу стояли рыбаки с удочками вдопуск, и я подумал, что в такой тесноте неизбежны помехи друг другу, и тут обязательно надо было пожелать людям мира и удачи, — хотя бы издали. В тот день кто-то делал все так, чтобы потом, позже, нам нельзя было решить, выдался ли он таким к худу или к добру. До того как мне встретиться у подъезда издательства с «хемингуэйкой» и пышкой, я увидел на тротуаре девочку-цыганку, продававшую цветы — всего два пучка. То, что она была в длиннющем ветхом платишке, босая и непокрытая, грозило разорением всему утру, и я купил у нее оба пучка, составленные из поблекших уже фиалок, нерасцветшего чебреца и нескольких стеблей ландыша.

— Купи, купи, пожалуйста! Богатый будешь, счастливый будешь, только не скупись.

Цыганке, наверно, было лет четырнадцать. Я дал ей два рубля, и она засмеялась, показав два больших сахарно-белых передних зуба. Чебрец чуть-чуть розовел, и глазки его были слепые, но от них уже летуче пахло степной зарей и медом. Девочка называла ландыши колокольцами, а чебрец — мятухой. Она не прятала свои нелепые и трогательные зубы, и нельзя было не смеяться с ней вместе.

Редактрис — пышку и вторую — я настиг недалеко от подъезда издательства. Они, видать, не торопились на свой шестой этаж в конуру рядом с туалетной, потому что шли так, как ходят вечерами по набережной. Я остановился впереди них, вышел из машины и поклонился издали. Пышка первой сказала «здравствуйте» и спросила,

куда так рано летят альбатросы. Она смотрела на меня уважительней, чем в тот раз, и в слове «альбатросы» умышленно, как мне показалось, сделала ударение на втором «а». Ее подруга невесело усмехнулась, глядя в сторону «Росинанта», и вдруг спросила, виделся ли я с Владыкиным. Теперь трудно предположить, что толкнуло меня тогда взять и рассказать им о своей встрече с Вениамином Григорьевичем возле помойки, о «цаплиных» яичках и рыбе, — наверно, сознание своей независимости, поскольку с повестью тут все было уже решено. Пышка сказала «потрясно» и засмеялась, а ее подруга наставительно заметила, что мне не следовало отдавать рукопись сразу главному редактору, да еще жаловаться на них, младших.

— Господи, у вас же там какие-то грифы-индейки похожи на русских княгинь в вечерних туалетах! — сказала пышка. — Вы видели их когда-нибудь?

— Индеек? — спросил я.

— Княгинь, несносный вы Кержун! — капризно сказала она. Пышке было весело, как и мне, и то, что она назвала меня несносным Кержуном, хорошо и нужно легло на мое сердце — ведь стояло ликующее утро, еще крепко свежее, молодое и чистое, когда добровольно безработному мужчине совершенно необходима дорогая прочная одежда под стойким запахом одеколona «Шипр» или в крайнем случае «Кремль». В тот раз все это было на мне и со мной, о чем я не мог не знать, и обе женщины были одеты по-весеннему изысканно, о чем они, как я видел, тоже не могли не знать и не помнить. Им, конечно же, не хотелось торопиться в свою конуру на шестом этаже, и я не без галантной рисовки извлек из машины цыганкины цветы и вручил по пучку каждой. «Хемингуэйка» тогда почему-то смутилась, а пышка шутиливо и неумело сделала книксен и сказала: «Благодарим-с».

— Вы не находите, что нам следует в таком случае познакомиться? — спросила она. Я назвал свое имя и отчество и шаркнул ботинком, — им вполне уместно было шаркать, потому что он выглядел новым, прочным и аспидно сверкавшим, как лоб малайца. Пышка первой подала мне руку, — она просто вложила в мою ладонь щепоть теплых безвольных пальцев и сказала невнятно и слитно:

— Вераванна.

Ее подруга назвала только фамилию — Лозинская. Она назвала ее чересчур уж нажимно и четко. Рука у нее

была породистая — сухая, крепкая и узкая, и меня подмывало брякнуть: «Ах, какие мы аристократки, мадам!»

В своей конуре на шестом этаже они вернули мне рукопись, — оказывается, Владыкин держал ее у себя всего лишь семь дней. У меня не прошел приступ галантности, и, прощаясь, я поцеловал им руки. Тогда выдалась какая-то неприятная пауза, — женщины почему-то построжили, будто я их обидел, во мне же ничего не пропало, что вселилось утром, и поэтому уйти от них виноватым в чем-то не хотелось. Я подошел к двери, загородил ее своей спиной и сказал, что километрах в пятнадцати от города мне известен лесной ручей в зарослях поздней черемухи. Там, сказал я, прорва соловьев, свежести и свободы, и бог сегодня послал меня, Антона Павловича Кержуна, в эту дыру затем, чтобы я показал ее обитателям все это.

— Сейчас прямо? Мы же на работе, Антон Павлович! — беспомощно сказала Вераванна. — Вот после пяти, наверно, смогли бы...

Лозинская пристально взглянула на нее и недоуменно пожала плечом.

— Лично я не смогу ни днем, ни вечером, товарищ Кержун. Весьма признательна вам за внимание, — сказала она. Я подумал, что в конце концов можно показать весну и одной пышке, и не стал настаивать, хотя и пообещал Лозинской любой из тех двух снимков Хемингуэя, что ездили со мной в машине. Это получилось у меня немного неуклюже, как ребячий посул капризе, но исправлять тут что-нибудь было уже поздно...

В «Росинанте» я просмотрел рукопись. На полях страниц то и дело попадались вопросительные и восклицательные знаки. Они были аккуратные, цветные и сочные, — то синие, то красные, и сама старательность их начертания понуждала к какой-то немой робости перед ними и в то же время рождала недоверие к самому себе. Мне надо было сохранить — хотя бы до вечера — ощущение моего радостного утра, и я поехал за город и занялся «Росинантом». Я почистил его внутри и снаружи, потом нарвал одуванов и гирляндой из них окантовал кромки сидений.

В городе было почти знойно. Дома я принял душ, сделал из пяти яиц глазунью, и она оказалась такой же, как и утром. У меня оставалась еще уйма времени, и по дороге к издательству я купил две бутылки румынского шампанского, коробку марокканских сардин, халу и

килограммовую банку маринованных слив. Покупки я сложил на заднее сиденье. Мне было хорошо, что они есть и лежат там, и я поехал с недозволенной скоростью и у подъезда издательства увидел Лозинскую. Одну. Она оглянулась по сторонам и сухо сказала мне издали, что Вера Ивановна выйдет позже.

— Вы не могли бы проехать немного вперед? За угол?

Я сказал «ради бога» и поехал вперед, за угол, а она пошла вслед за мной по тротуару. У нее был какой-то надменно брезгливый вид, и я подумал, что она, наверно, горда и глупа, как цесарка. Мне стало жаль обещанного ей снимка Хемингуэя — любого, но тут уже ничего нельзя было поделать и оставалось только гадать, какой из них она выберет.

За углом я остановился и стал ждать, загодя приоткрыв переднюю дверцу, но она подошла к «Росинанту» с моей левой стороны, и вид у нее был по-прежнему надменный.

— Понимаете, товарищ Кержун, я не посчитала нужным сказать в свое время Вере Ивановне, что вы... помогли мне однажды, — сказала она смущенно и насильно.

— Подвезти матрац? — догадался я и не стал выходить из машины.

— Ну да, — недовольно сказала она. — Поэтому ваше обещание подарить мне снимки Хемингуэя, которые я будто бы уже видела, прозвучало для нее... немного странно.

— Я просто обмолвился, — сказал я. — Вы их заметили только теперь. Это вас устраивает?

— Но ведь вы сказали, что я видела снимки раньше... Их нельзя повернуть обратной стороной? Чтобы они просматривались через стекло?

— Пожалуйста, — сказал я. — Но каким образом я узнал, что они вам понравились? Вы, значит, сказали мне об этом?

— Да. Это было, допустим, три дня тому назад. Я вас случайно встретила в городе...

— Не получается, — сказал я сочувственно. — Я ведь только вчера вечером вернулся с озера, и мы встретились с вашим Владыкиным на помойке. Забыли?

— Ах да!.. Какой все же общительный у вас характер! — досадливо сказала она.

— Разве нельзя объяснить вашей подруге, почему иногда об одном скажешь, а о другом умолчишь? — спросил я. Она искоса и как-то пытливо посмотрела на меня, но сказать ничего не успела, потому что к машине

подходила Вераванна. Я вышел на тротуар и распахнул обе дверцы машины — переднюю и заднюю, кому, дескать, где нравится, и, может, из-за того, что позади неприкрыто и откровенно лежали бутылки, обеим женщинам понравилось первое сиденье. Тогда у них произошла короткая заминка, — они мягко столкнулись и молча отступились от дверцы, ожидая одна другую, но вторичного столкновения не последовало: Вераванна порывисто села сзади, а я немного повозился у радиатора, чтобы скрыть лицо.

— Нам обязательно ехать через центр?

Это спросила меня Лозинская, обыскивающе оглядев улицу. Она до такой степени съежилась на сиденье, прижавшись к дверце, что на нее было жалко смотреть, и я подумал, что ей лучше бы не ехать или пересесть к Вераванне и спрятаться там за гирляндой одуванов. Центр я миновал окольными переулками и ехал как при погоне, заглядывая в зеркало, — мне передавалась тревога соседки по сиденью.

— Что вы там видите? — беспокойно спросила она, как только мы выбрались за город. Я сообщил, что сзади нас на дороге никого нет.

— А кто там может быть? — неискренне, как мне показалось, удивилась Вераванна.

— Не знаю, — сказал я. — Просто мне не нравится, когда тебя настигает какая-то машина...

— Почему?

— Тогда у меня пропадает ощущение независимости, а от этого порывается связь с миром, — сказал я.

— Господи, Антон Павлович, вы думаете, что с нами обязательно разговаривать так вумно? — засмеялась Вераванна — ей там было, видать, хорошо среди одуванов и бутылок. Лозинская выпрямилась на сиденье и, взглянув на меня черными, озорно косящими глазами, спросила почти с вызовом:

— Так какую же фотографию Хемингуэя вы мне жертвуете, товарищ Кержун?

— Любую, товарищ Лозинская, — сказал я. — Даже обе.

— Отлично! Я не откажусь... А зовут меня, между прочим, Иреной Михайловной!

Я убрал с педали правую ногу и шаркнул ботинком по полу машины. «Росинант» неуклюже подпрыгнул и завилчал, но я тут же перевел его на прежнюю скорость.

В лесу над ручьем и в самом деле запоздало цвела черемуха, и там предвечерне, грустно ныли горлинки

и перебойно яростно били соловьи. Сам ручей был с гулькинос, но вода в нем светилась опалово и настойно, как июльский мед, и у песчаного дна то и дело вспыхивали сизые молнии не то форелек, не то пескарей. Тут все понуждало к молчанью — хотя бы к недолгому, и я боялся, что женщины сразу же начнут ломать черемуху и восторгаться землей и небом, но этого не случилось. Они притихше постояли возле машины, потом как-то крадучись и тесно пошли в глубь леса.

Я разостлал на траве палатку и разложил на ней угощение и оба спасательных круга от лодки, чтоб сидеть женщинам. Круги были заляпаны подсохшей чешуей подлещиков, и я припорошил их головками одуванов от той своей гирлянды и против каждого положил по букету черемухи. Со стороны, из сумеречных кустов, где я собирал валежник для костра, стол выглядел изысканным и пышным, потому что круги казались как золотые венки или чаши. Стол был хорош, только ему не хватало для законченной асимметрии третьей бутылки.

Я разжег костер и пошел искать женщин. Они, притихшие, порознь, стояли на берегу ручья под купой черемухи, — вверху над ними гремели соловьи, и я остановился меж двух ракии и оттуда сказал, как из дверей старинной гостиной, что кушать подано. К столу мы подступили молча. Вераванна рассеянно оглядела его и присела на круг, томная и отсутствующая, прикрыв ноги черемухным букетом, — наверно, опасалась комаров. Круг запел под ней внезапно — нежно, чисто и переливчато, как утренний жаворонок, — из него выпала резиновая затычка. Он пел и постепенно обмякал под Вераванной, а она, парализованная и беспомощная, мученически взглядывала то на Лозинскую, то на меня и вскрикивала тонко и погибельно:

— О боже мой! Что там такое? О боже!..

Я не успел ни помочь ей встать, ни объяснить причину звучания круга, — на Лозинскую тогда обрушился приступ безудержного изнурительного смеха: она ничком упала на палатку, обняв голову руками, — наверно, не хотела ничего слышать и видеть, и я захохотал вслед за ней. Было невозможно ни удержаться, ни подумать о неуместности такого своего поведения, потому что тогда возникал облик Верыванны, сидящей на круге, и становилось еще хуже. Смех двоих над третьим обиден — тут создается своеобразная цепная реакция, и я так же, как и Лозинская, не мог стоять на ногах и не хотел ничего слышать и видеть. Когда нам полегчало, Верыванны за столом не было.

Мы обнаружили это одновременно и разом поглядели в сторону шоссе.

— Очень глупо,— сморенно сказала Лозинская.— Вы совершенно, извините, невоспитанный человек. Совершенно!

В ее куцей вороной челке застрял одуван — прямо над лбом, а на ресницах висели большие зеленые слезы,— она вот-вот готова была прыснуть. Я согласился насчет своей невоспитанности, но предположил, что Вереванне не следовало так суетиться.

— Суетиться? Ха-ха-ха...

— Она зря обиделась,— сказал я.— Это больше не повторилось бы.

— С кем?

— С кругом,— сказал я.— Все дело ведь в прочности за-тычки.

— Все дело в непрочности вашего воспитания, сударь. Взять и разразиться над дамой таким пошлым хохотом... Веру Ивановну нужно сейчас же догнать и уговорить сесть в машину, слышите? И ведите себя, пожалуйста, при этом серьезно.

— Конечно,— сказал я,— но вам тогда надо будет сесть сзади, чтобы я вас не видел. Вы вся набиты смехом. Снимки заберите сейчас.

— Оба? А вам не жаль будет?

— Потом — возможно. А сейчас нет... Сейчас уберите, пожалуйста, со своей головы одуван, а то Вера Ивановна решит, что это я вас украсил,— сказал я. Она осторожно и опасливо, как пчелу, высвободила из волос одуван и оставила его на ладони — узкой и маленькой, отсвечивающей какой-то хрупкой голубизной. Я принялся разорять стол, а она взяла свой букет черемухи и пошла к ручью. Там по-прежнему курлыкали горлинки и били соловьи, и она притулилась на корточки возле ручья, по-детски выстрочив колени и плечи, и, былинку за былинкой, стала опускать на воду черемуху, уплывавшую от нее белым рассеянным косяком. Я все это проследил и стал ждать ее в машине, положив снимки на заднее сиденье, а когда она пришла и села там, спросил, о чем было гаданье над ручьем. В зеркале мне было видно, как она поочередно подносила к лицу снимки, дольше всего задерживая взгляд на том из них, где Хемингуэй был в лодке, и глаза ее при этом косились к переносью, и мне казалось, что она готова заплакать.

— Так о чем же вы гадали над ручьем? — сказал я настойчиво.



— Гадала? Я? У меня, Антон Павлович, давно все предрешено... без гаданья.

Она проговорила это как ребенок, когда его заступнически утешают, а ему трудно забыть обиду. Я хотел посоветовать ей спрятать снимки, но вместо того — совсем неожиданно для себя — спросил, сколько ей лет.

— Мне? Уже тридцать один,— сказала она. Я завел мотор и поехал к шоссе на первой скорости, стараясь миновать ухабы и корни сосен.

Веруванну мы увидели, как только выбрались на шоссе. Она шла к городу — далеко уже, крепкая и ладная как ступка, клонясь вперед и неколеблемо глядя перед собой. Перед тем как настичь ее, я спросил у Лозинской, как мне поступить: извиниться за одного себя или за нас обоих, и она сказала «наверно, за обоих».

— А за круг тоже?

— Нет-нет! Она тогда совсем обидится... Мы лучше подойдем к ней вместе. Господи, я ведь не хотела ехать, но она настояла, а теперь вот...

— Круг запел бы и без вас,— сказал я.— Вы представляете, как это было бы дико — смеяться мне одному?

— Вы бы не смеялись... Виновата ведь я.

— Много вы знаете обо мне,— сказал я.— В детприемниках ведь не учили этике поведения!

— В детприемниках? — удивленно спросила она. Мы в это время догнали Веруванну. По тому, как чинно ступала она по асфальту шоссе, можно было заключить, что легкое примирение между нами невозможно. У Лозинской был растерянный и беспомощный вид. Я сказал ей, чтобы она оставалась в машине, тогда, возможно, все обойдется благополучно. На меня Вераванна не взглянула и не сбилась с походки. Я покаянно извинился за свой дурацкий смех, затем заступил ей дорогу и встал на колени, раскинув руки.

— Вы что, успели напиться? Перестаньте паясничать! — сказала она. У меня, по-моему, был чересчур серьезный вид, потому что я не мог не подумать тогда о том, как будут выглядеть мои брюки, когда я поднимусь с размякшего от дневного солнца асфальта.

— Садитесь в машину. Сейчас же! — сказал я не очень учтиво, решив, что ее интеллектуальная меблировка не шибко богата, раз ей чуждо всяческое чувство юмора.

— Интересно, а что будет, если я не сяду? — не без опаски спросила она, но я в это время поднялся с коленей. На брюки и в самом деле налип клейкий пыльный

гудрон, и его рваные круглые пятна были похожи на ветошные заплаты. Я попытался было скovyрнуть их щепкой, но Вераванна решительно оттолкнула мою руку: по ее мнению, это надо смыть сперва теплым раствором лимонной кислоты, а после отпарить под утюгом густым раствором чая.

— Китайского или цейлонского? — спросил я. Она считала, что лучше всего такие пятна отпаривать грузинским чаем через холстину, но ни в коем случае не пользоваться вафельным полотенцем. Что, у меня не найдется дома куска холстины? Я сказал, что, может, и найдется, взял ее под локоть и повлек к машине. Локоть у нее был горячий, потный и пухлый, и мне подумалось, что румынское шампанское ей пришлось бы сейчас очень кстати.

— Ты только глянь, Ириш, что он с собой сделал! — сказала Вераванна Лозинской о моих брюках.— Я думаю, что чаем отпарится, правда?

Не то мне, не то ей Лозинская благодарно сказала, что, конечно же, отпарится, и они сели вместе на заднем сиденье. Было еще сравнительно рано, — солнце только что свалилось к горизонту, и мы вполне смогли бы успеть выпить шампанское, но меня слаженным дуэтом попросили ехать в город. Я поехал медленно, и мне все время хотелось заглянуть в смотровое зеркало на Лозинскую, — мол, я же говорил вам, что все обойдется. Она, наверно, догадалась об этом и, боясь, что я вот-вот как-нибудь нанесу ущерб самолюбию Верыванны и делу мира, неожиданно и деловито спросила меня, что я намерен делать со своей рукописью. Я пропустил обгонявший нас грузовик и сказал, что съем ее с марокканскими сардинами под румынское шампанское.

— А вы не паясничайте, я ведь спрашиваю серьезно, — с чуть заметным нажимом на слове «не паясничайте» сказала Лозинская.— Почему бы вам не послать ее в журнал?

— В «Октябрь»? — спросил я.

— Н-нет. Для этого издания ваша вещь не подойдет. Она ведь бессюжетна, сентиментальна и в то же время... как бы это сказать? Местно не заземлена, что ли? Понимаете?

— А кроме того, у вас там сквозит какая-то тайная неприязнь к цветным, — заметила Вераванна.— Можно сказать «цветной»? — спросила она у Лозинской, но та не знала сама. Я сказал, что никакой неприязни к темно-

кожим в моей повести нет. Просто, сказал я, они показались мне ленивыми и попрошайными, но в этом ведь виноваты колонизаторы, не так ли?

— Конечно, они! — живо сказала Лозинская, а я тогда глянул в зеркало и встретился там с ее острыми черными глазами.

— Повесть надо послать в какой-нибудь молодежный журнал, — проговорила она мне в зеркало. — Только без этих... красочных обложек. И «огоньковских» букв. Понимаете?

Я кивнул и до предела сбавил скорость у «Росинанта».

На въезде в город они решили выйти. Я хотел им сказать, что страх — это наследие рабов и груз виноватых, но слова эти показались мне слишком книжными, и пришлось промолчать. Мы расстались дружески, но не очень весело, и я пообещал им сохранить шампанское до другого раза, а Вереванне сказал, что проделаю с брюками все, что она советовала.

Дома, как и вчера, на меня напала тоска, и прошедший день предстал передо мной убогий событиями, прожитый бесцельно и нелепо, — в памяти от него нечего не осталось, кроме разве потешного пения круга под этой глупой Вераванной. Я не мог ответить себе, зачем мне понадобилось приглашать этих женщин в лес, тратиться на вино, распускать павлином хвост перед ними. И снимки подарил... И брюки испортил... А Лозинская, конечно, замужем. Иначе на кой черт ей понадобился бы двуспальный матрац...

Я опять вымыл пол, опять подсчитал остатки денег и долго пытался вернуться в сегодняшнее утро, но из этого ничего не получилось. Дом уже спал, — в нем не светило ни одного окна, когда я спустился со своего четвертого этажа. Прямо над двором отшибно-костерным огнем мерцала какая-то большая лохматая звезда, и фары «Росинанта» лучились больным красноватым отсветом. Я открыл багажник и достал оттуда обе бутылки и снедь. Я не знал до этого, что замок у багажника издает такой отвратительный ржаво-скрежещущий звук, если крышку опустить тихо, а не хлопком. Звук этот сразу заставил меня оглянуться на окна дома, и к подъезду я пошел на носках ботинок, как вор, — я боялся почему-то Владыкина...

В шампанском чувствовался привкус горелых слив, и пахло оно болотом.

Работу я стал искать на второй день. За неделю я побывал в двух редакциях газет, в областном управлении культуры, в радиокомитете и еще в трех просветительно-деловых облконторах. Может, оттого, что мне не хватало уверенности в себе, а возможно, и по другой причине,— «ну какое им собачье дело до меня!» — я держался с кадровиками напряженно и неестественно, не мог сесть на предлагаемый стул, на вопросы отвечал отрывочно и почему-то хрипло и руки зачем-то держал за спиной. Самой трудной минутой был уход, преодоление тех самых трех или четырех шагов от стола до дверей, когда ты знаешь, каким взглядом провожают тебя, неудачливого просителя, в спину, когда ноги плохо слушаются, а руки пора убирать не то в карманы, не то опускать по швам. В этих случаях меня выручал «Росинант», стоявший у подъезда,— я нырял в него и некоторое время сидел расслабленно и тихо, проникаясь к нему, как к живому существу, чувством благодарной признательности за его безопасность, преданность и верность... В те дни я жил неприкаянно и отчужденно,— рядом с занятыми людьми мне становилось беспокойно, почти стыдно за себя, неполноценного и праздного, и в магазин я ходил раз в день, рано утром, когда там бывали одни домохозяйки да пенсионеры. В промежутки между поисками службы я придумывал себе различные дела по квартире — мыл и мыл пол, протирал стекла окон, потом уходил к «Росинанту» и возился с ним. Ему полагалось еще пройти километров шестьсот до очередной смазки, но я все же решил съездить на профилактическую станцию,— в конце концов он же безъязыкий, он же не скажет, когда и что ему хочется!

Был ранний, низенький и хмурый субботний день. На набережной светло и чисто цвели каштаны, и под ними гуртились подростки с рюкзаками и с большими новыми гитарами. Рюкзаки они держали в руках, а гитары за спинами, для этого к ним были приспособлены шпагатные лямки-помочи. Ребят следовало бы подбросить за город или куда они там собирались, но для «Росинанта» их было слишком много.

На профилактической станции я оказался третьим: у запертых железных ворот стоял задрипанный «Запорожец», а за ним — «Волга». Владелец ее приплюснуто ник за рулем, и мне виднелась лишь его свечно-желтая бритая голова на короткой шее, сдавленной стоячим воротником кителя военного времени. «Волга» была далеко не первой свежести, но без единой царапины, с пронзительно-колючим

блеском бампера и благополучно-уверенной осадкой, насплошь застланная внутри дорогим ворсистым ковром. Все в ней: сыто-кастрюльная голубизна, свободный от какой-либо поклажи простор углубления за задним сиденьем, сквозной малиновый жар хорошо вылизанных стекол задних фонарей, глубокий и резкий протекторный рисунок на колесах — все говорило о том, что эта машина сама ездит на хозяине, а не он на ней, и это почему-то раздражало и звало к отпору. У меня было сильное желание взять и плюнуть на лунно сияющий колпак этого чужого колеса, в котором я, проходя мимо, отразился далеким уродливым карликом.

Обладатель «Запорожца» был маленький рыжий паренек с ярко-голубыми глазами под белыми ресницами. Он сидел на корточках перед носом своей машины и перочинным ножом соскребал с фары известковую блямбу, похожую на восклицательный знак.

— Грач, наверно, обделал,— свойски сказал он мне,— и так, понимаешь, прилипло, ну прямо силикатный клей. А я не видел... Не знаешь, кто нынче на смазке? Мишка или Володька?

Я не знал.

— Хорошо, если б Володька, а не тот курвец. Понимаешь, принимает, гад, в лапу помимо квитанции, а в масленки обязательно набьет какого-нибудь дерьма заместо солидола. А она же не пожалится, она же небось молчит? — показал он на моего «Росинанта». Я сказал, что еще как, мол, молчит.

— В том и дело! Такой зловредный халтурщик, прямо злость берет... В прошлом году он мне отработанное масло засобачил в мотор. По рублю литр. Его тогда ни на колонках, ни тут не было... А машина ведь не скажет, она же немая, правда?

— Конечно, немая,— сказал я.

— Тогда какого же хрена он так делает?

Я подумал о своем недавнем желании плюнуть на чужое благополучное колесо и предположил, что Мишка-смазчик, возможно, поступает так из чувства святой пролетарской мести имущим.

— Ну, тоже мне нашел имущего! — не то о себе, не то обо мне сказал рыжий брезгливо.— Вот кто имеет машину, понял? — жестко, но вполголоса проговорил он, кивнув на «Волгу».

— Ни черта он не имеет! Это она его имеет! — нарочно громко сказал я. Собеседник мой засмеялся и погла-

дил своего «Запорожца», как глядят послушного и веселого щенка.

Касса станции открылась в половине девятого. На смазке был Володька. Он тоже принимал в лапу, но машину обрабатывал старательно, и к одиннадцати часам я был свободен. День так и не разгулялся,— небо было серым и низким, и на нем ярко выделялась зелень городских деревьев. Как всегда перед окладным дождем, над газонами остервенело и молча сновали стрижи, и я подумал о ребятах с гитарами: уехали они или нет? Если у них есть пара палаток, то бояться дождя нечего, только костер надо разводить под густой елкой, но об этом надо знать. Как и обо всем, что ты собираешься делать... Их как будто было человек семь или восемь с четырьмя рюкзаками и тремя гитарами. Рюкзаки и гитары, пожалуй, влезут в багажник, а их самих я смогу вывезти за два раза... Мне только не надо спешить, и день закончится вполне занято и хорошо. Вполне!..

Но парней на набережной не было. Тогда пошел спорный, отвесно-тихий дождь,— Звукариха такой называет «огуречным». Он подряжается не на день и не на два, и огурцы под ним будто бы вырастают за одну ночь. Хорошо бы знать, израсходовала она те мои дрожжи или нет? Наверно, еще нет, но привезти ей все равно что-нибудь надо. Хотя бы ту вчерашнюю банку маринованных слив. И вторую бутылку шампанского. Она когда-нибудь пробовала шампанское? Наверно, нет... Ну вот и пусть попробует. А я напьюсь самогонки и вернусь только в понедельник. К вечеру... Я бы все проделал так, как решил, если бы не встретил Лозинскую: она, как мне показалось, бесцельно и неприкаянно шла куда-то вдоль набережной. На ней был не по росту длинный, странно серебристый плащ с островерхим капюшоном, и за мглистой сеткой дождя плащ этот делал ее похожей на монашка или попака в ряске. Когда мы поравнялись, она вскользь и невидяще посмотрела на «Росинанта» и прошла вперед. Я тоже поехал дальше, но в зеркало видел, как она внезапно остановилась и оглянулась, откинув с головы капюшон. Может, ей не следовало это делать — откидывать капюшон и стоять непокрытой под дождем,— я бы тогда поехал и поехал своей дорогой, и мы, возможно, никогда бы больше не встретились, но она стояла и стояла, глядя в мою сторону, а дождь лил и лил, и я затормозил и дал задний ход. Все дело было в дожде,— я только поэтому ударом руки поторопился открыть правую

переднюю дверку, а Лозинской крикнуть: «Садитесь скорей!» Потом, позже, она говорила, что испугалась тогда этого моего окрика, решив, что мне срочно нужна какая-то ее помощь. Она почему-то обежала машину не спереди, а сзади, и на сиденье опустилась как при толчке, и плащ ее гремел, как железный.

— Он не из фольги? — спросил я после того, как мы поздоровались.

— Из фольги? Нет, конечно, — сказала она. — У вас что-нибудь случилось?

— Когда? — не понял я.

— Ну сегодня. У вас все в порядке?

Мокрые волосы ее спускались витыми косичками к заушью, отчего лицо казалось продолговатым и совсем детски-девчоночьим. Я подумал, что речь идет о моем несуразном костюме: в тот день я нарочно — наполовину в пику, а наполовину в утешение себе — надел старую вылинявшую тельняшку, заскорузлую морскую брезентовую куртку, такие же брюки и кирзовые сапоги. Ими, понятно, не шаркнешь, да мне и не хотелось этого. Не трогаясь с места, я с непонятным для себя злорадным удовольствием объяснил, что значит эта моя одежда. У Лозинской было какое-то полуироническое выражение лица.

— И кому же вы мстите? Всем нам, маленьким? Или только себе, большому?

Это было неожиданно и обидно, и я ничего не ответил, а она вдруг предположила, как гадалка:

— У вас, очевидно, нет друзей. Я права?

Я сказал, что права. Друг, сказал я, это тот, с кем тебе свободно и безопасно.

— Что имеется в виду?

— Бескорыстие в отношениях, — сказал я.

— Да, но вот эта ваша... неестественность, что ль, непростота, куражность... Я, например, никак не пойму, что заставило вас, извините, нести мне какую-то чепуху о фальшивых рублях, помните? Зачем это вы? От недоверия к людям? Или от обиды на них?

— Вы считаете, что поступили «доверчиво», кинув мне тогда рубль? — спросил я.

— Нет, это было плохо. Но я ведь не знала...

— Я тоже, — сказал я.

— Значит, это у вас своеобразное защитное свойство?

— Возможно. Я ведь безработный неудачник, — сказал я неизвестно зачем и с таким затаенно-взыскующим и горьким чувством, будто во всем этом была винова-

та она, Ирена Михайловна Лозинская,— и больше никто. Она с каким-то веселым блеском в глазах выслушала, как я искал службу, и мне было непонятно, что ее забавляло.

— И ни разу не присели, когда вам предлагали?

У нее косили глаза и трепетали крылья ноздрей.

— А вы бы присели?— спросил я.

— Не знаю. Наверно, тоже нет... Ну, и вы решили, что ни в одном ларьке вам уже не продадут коробку спичек? У вас большая семья?

— Я один,— сказал я.

— Совсем?

— Отца с матерью у меня...

— Не надо,— перебила она,— я уже знаю.

— О чем?— спросил я.

— О детприемнике. А живете вы как? То есть я хотела сказать: где?

Я объяснил и заодно рассказал, как впервые повстречал Владыкина, когда клеил лодку.

— Ну вот и хорошо! И отлично,— сказала она с внезапной гневной неприязнью неизвестно к кому.— Вы в самом деле были на Кубе?

— Не только там,— сказал я.

— Ну вот видите! И хорошо! И отлично! Чего же вы... потерялись? Возлагали розовые надежды на повесть, да?

Я промолчал и закурил.

— Понятно,— сказала она себе.— А почему мы стоим здесь?

Дождь лил, и не было надежды, что он когда-нибудь прекратится. Тротуары были пустынные. Мне не хотелось сразу, теперь же, ехать на улицу Софьи Перовской,— мне непременно нужно было еще что-нибудь рассказать о себе этой чужой маленькой женщине в большом нелепом плаще. Я тихонько двинулся вдоль набережной и когда включил дворники, то заметил, что Лозинской не нужно, чтобы смотровое стекло было прозрачным.

— Вы не хотите, чтобы вас кто-нибудь увидел?— спросил тогда я совершенно зря и, конечно же, невоспитанно. Она сухо ответила, что это ни для кого не важно, и я извинился.

— Только, ради бога, не переходите на свой прежний бравадный тон,— серьезно сказала она.— Он вам совсем не идет.

— Как вам этот серебряный плащ,— сказал я тоже серьезно.



— Правда, я в нем как поп?— обрадовалась она чему-то.

— Вылитый,— сказал я, а она засмеялась, но без доброты и веселости. Сквозь смутное потечное стекло мне было плохо видно, поэтому я ехал медленно, прижимаясь к тротуару и никуда не сворачивая,— набережная в конце концов выводила за город, где я мог, наверно, включить дворники.

— Кто были... ваши родители?— за два приема и почему-то полусшепотом спросила вдруг Лозинская, не глядя на меня.

— Мать врач, а отец военный,— ответил я. «Росинат» тогда подпрыгнул: я начаянно выжал до конца педаль газа, и Лозинская, охнув, откинулась на спинку сиденья.

— Их... уже нет?

— Конечно, черт возьми! — сказал я. Ей не нужно было в ту минуту спрашивать меня об этом, да еще таким участливым голосом. Мы уже выбрались за город, и я включил дворники и сбавил скорость. Лозинская сидела в прежней позе, и глаза ее были крепко зажмурены, и в их уголках я различил разбег наметившихся морщинок. Я попросил прощения за нечаянную резкость своего ответа и попытал, знает ли она, как поступают взрослые сироты, когда их неожиданно приветит посторонний человек. Она сказала, что знает.

— Как же?

— Они тогда... почему-то плачут,— прошептала она и заплакала — сразу же, следом за сказанным, заплакала некрасиво, напряженно, с затыжными и задушенными рыданиями. Я подрулил к обочине дороги и заглушил мотор. Мне еще не приводилось утешать рыдающих женщин, и я не знал, что в таких случаях полагается говорить и делать. По ее лицу на плащ веско скатывались большие, голубого свечения слезы, и несколько штук я снял щепоткой пальцев,— прямо с ресниц, а потом взял и поцеловал ее в лоб,— тоже издали и молча. Это помогло ей неожиданно и мгновенно: она отшатнулась к дверце и взглянула на меня изумленно и гневно, и глаза у нее были настойно-темные и тревожные.

— Почему вы остановились?

Я завел машину и поехал вперед. Дождь по-прежнему лил отвесно, и теплый асфальт дороги курился белым курчавым паром. Наверно, это привлекало на дорогу жаб,

и приходилось следить за ними и ехать зигзагами. Я понимал, что мне надо сказать что-нибудь в свое оправдание, но ничего такого не приходило на ум. С этим моим утешным поцелуем получилось, конечно, дико, но и она тоже хороша,— разревелась ни с того ни с сего как девчонка, которую укусила оса. Наверно, немного истеричка... Это я подумал о Лозинской под летучее чувство неосознанного сожаления о самом себе, и в ту же минуту она издали и смущенно извинилась за свою блажь. Она так и сказала — «блажь».

— Вам не надо было спрашивать у меня... про взрослых сирот. Только и всего. Понимаете?

— Господи! Да черт с ними! — сказал я с надеждой неизвестно на что.— Мы больше никогда не будем говорить о них, хорошо?

Она насильственно улыбнулась и напомнила, что пора возвращаться. Я развернулся и больше не стал объезжать встречавшихся на дороге жаб. Дождь все лил и лил, и мы ехали молча. При въезде в город я незаметно выключил дворники, а она быстро взглянула на меня и сказала:

— Нет-нет. Вот здесь, пожалуйста, остановитесь и слушайте сюда.

«Сюда» она произнесла подчеркнуто, как учительница перваков. Я остановился и закурил.

— Что вы кончали?

Я сказал.

— В Литинститут принимают ведь с готовыми и самостоятельными работами?

— Я писал и даже печатал стишки,— признался я, и после этого выяснилось, что в издательстве есть свободная должность младшего редактора. Оклад около сотни. Принять меня обязаны, потому что я молодой специалист. Да-да, важен диплом! Его надо принести вместе с заявлением в понедельник. Хотя нет, это нехороший день. Лучше во вторник, часам к двенадцати. Когда предложат стул, надо будет сесть. Обязательно. Понимаю ли я? И хорошо, что «Куда летят альбатросы» не отосланы еще в журнал: в повести надо кое-что почистить, там встречаются сопли-вопли... Между прочим, это в Литинституте рекомендуют переплетать рукописи и наклеивать на них буквы из «Огонька»?..

Ей захотелось выйти из машины тут же, почти за городом.

— Вы же промокнете,— предостерег я, но она поте-

ребила полу своего плаща и сказала, что он ведь из фольги.

— Ну до свиданья,— сказал я,— большое вам спасибо!

— За что?

— За меня,— сказал я. Она накинула капюшон на голову, и в глубине его глаза ее стали еще настойнее.

К Звукарихе я не поехал...

Моим рабочим местом в издательстве оказался тот самый третий барьерный стол в комнатенке рядом с туалетной. На нем грудился вылинявший бумажный хлам, пахнувший сухим древесным тленом, и я высвободил там небольшое квадратное пространство, куда положил свою металлическую шариковую ручку и сигареты. Мне никто не сказал, что я должен делать, а Вераванна и Лозинская почему-то были хмуро настроены и молчаливы. Они сразу же вникли в рукописи, а я присел за свой стол и выкурил сперва одну сигарету, потом вторую, затем третью. Я сидел, вертел свою многоцветную японскую ручку, курил и думал, что мне тут в этой комнате не прижиться. Да и вообще... Ну какой из меня, к черту, редактор? Зря я послушался эту женщину... И чего это она ожесточилась? Сидит, как...

Я закурил новую сигарету, и в это время Вераванна встала из-за стола и вышла из комнаты, крепко прихлопнув дверь.

— Не обращайтесь внимания,— тихо и сдержанно сказала Лозинская, не отрывая глаз от рукописи.— Это только сначала, а потом у вас все наладится.

— У нас?— спросил я.

— Да, с Верой Ивановной... Ей не верится, что вы поступили сюда помимо меня, понимаете? И не сидите такой букой. Возьмите и расскажите ей что-нибудь занятное.

— Ей?— опять спросил я.

— Ну не мне же, господи! — сказала она.— А кроме того... кроме того, позвольте вам заметить, что в присутствии женщин курят только с их разрешения. Верины авторы, между прочим, знают это хорошо.

— А ваши?— глупо спросил я.

— Я ведь сама курю,— сказала она. Я спрятал в карман сигареты и уложил на прежнее место стола выгоревшие бумаги. За окном был смиренный серый день. В такую погоду в Атлантике жируют поверху акулы, а сельдь и

сайра, которых мы ловили, уходят в глубину... Как выдуманный собой же многодневный радостный праздник, как какая-то складная и захватывающая дух сказка из детства представилась мне моя матросская работа на траулере, и я удивился, что никогда до этого дня не вспомнил о ней с такой острой тоской и благодарностью. Я решил не объясняться с директором издательства и просто уйти, будто не появлялся тут, тем более что никаких документов в подлиннике я ему не сдавал. Все это пришло ко мне в одну какую-то дикую секунду, и я еще раз оправил на столе чужие бумаги и поднялся на ноги.

— Не будьте мальчишкой, Кержун! Это ведь, в конце концов, просто недостойно!

Меня тогда радостно и как-то обнадеживающе поразили эти слова Лозинской,— как она могла разгадать мой замысел с уходом! Она сидела, глядя в рукопись, и крепкий выпуклый лоб ее пересекала прядь темных глянцевитых волос. Потом — месяца через три — она уверяла, что будто бы отгадала то мое намерение, с которым я «сумасшедше» пошел к ней из-за стола,— «ты хотел насильно поцеловать меня на прощанье и, конечно же, получил бы пощечину», — но я не уверен, что действительно намеревался поцеловать ее тогда, да еще насильно. Нет, я только хотел проститься, а как — только ли на словах или за руку — осталось неизвестным, потому что этому помешал Владыкин. Он вошел в комнату, когда я был уже у стола Лозинской, отшатнувшейся к окну вместе со стулом. Мне подумалось, что вошла Вераванна, и, не оглядываясь, я протянул Лозинской свою японскую ручку.

— Пожалуйста, в ней полный спектр,— сказал я,— и пишет замечательно!

Она поблагодарила и рывком взяла у меня ручку. Владыкин в это время поздоровался с нами, и я обернулся и поспешно подал ему руку. Он слабо и коротко пожал ее и поглядел на меня с опасливым недоумением.

— Вот это, товарищ Кержун, надо отредактировать и вернуть,— сказал он, передав мне жиденькую рукопись, напечатанную на плотных листах меловой бумаги.— Устроились?

— Да-да, благодарю вас,— с полупоклоном сказал я. Он кивнул, оправил нарукавники и пошел к дверям, а я опять невольно и машинально поклонился ему в спину.

Мне надо было немного посидеть и отдохнуть,— сердце у меня билось тревожно.

— Что он вам дал?— не сразу и тоже устало, как мне показалось, спросила Лозинская.

— Рассказ какого-то Аркадия Хохолкова,— сказал я.

— «Полет на Луну»? Не трогайте в нем ничего, он уже иллюстрирован, набран и сверстан... Прочтите это дня за два, а на третий верните Вениамину Григорьевичу. Скажите ему, что рассказ вам очень понравился, понимаете? И заберите скорей свою дурацкую ручку!..

Тогда как раз пришла Вераванна с кульком леденцов и молча уселась за свой стол...

Рассказ «Полет на Луну» начинался с того, как отец дошкольницы Наташи-украинки космонавт Гнатюк полетел на Луну и в назначенный срок не вернулся на Землю.

К спасательному полету на Луну готовился старый летчик-космонавт профессор Бобров.

Друзья девочки, русский мальчик Петя и негритенок Том, решили отправить с ним щенка Тобика на розыски Наташиного отца, но потом передумали,— будет лучше, если полетит Петя.

Они притащили на ракетодром большой ящик, вежливо поздоровались со стариком сторожем, который сидел в своей проходной будке и пил чай, и сказали ему, что этот их ящик надо срочно отправить на Луну.

Сторож согласился, но любопытствовал, что в нем такое.

Ребята сказали «продовольствие», и сторож распорядился заносить груз.

Едва они успели запихнуть в ракету тяжелый ящик, как раздалась команда к старту.

Яркая огненная вспышка озарила небо.

Стоя в толпе, ребята видели, как ракета с ревом взметнулась вверх.

Через секунду она исчезла в звездном небе.

Ребята облегченно вздохнули:

— Порядок! Теперь Наташин папа будет спасен!

Ракета была далеко от Земли, когда сидевший в ней профессор беспокойно оглянулся по сторонам.

— В кабине посторонний шум,— озабоченно сказал он.— И кажется, из этого ящика! Надо проверить.

Профессор обомлел: в ящике сидел Петя.

— Позвольте! Как вы сюда попали?

Мальчик смущенно оправдывался.

— Извините, профессор, что вот так... Я обещал ре-

бятam разыскать Наташиного папу... Ой, ой! Держите меня,— закричал Петя, кувыркаясь в воздухе и перелетая из одного угла кабины в другой.

— Не волнуйтесь,— профессор засмеялся.— Все идет как надо. Скоро будем на Луне.

— Но я же не могу ходить по полу! Ой, ой!

— Это невесомость, мой дорогой космонавт. Вам надо бы знать.

Ракета плавно опустилась на дно лунного кратера. И в тот же миг во все стороны полетели радиосигналы:

— P-1! P-1!.. Я — P-2... Прибыл на ваши розыски! Отвечайте! Перехожу на прием!

Ракета P-1 молчала. И космонавты вышли на поиски. Профессор едва поспевал за Петей.

— Осторожно, молодой человек! Вы слишком увлеклись спортом. Мы еще не нашли пропавшей ракеты.

— Тут хорошо прыгается,— восхищался Петя, одним махом взлетая на высокую скалу.

— Еще бы! Здесь, на Луне, все весит в шесть раз меньше! — заметил профессор.

Вдруг дальние скалы покрылись огненными вспышками.

— Метеориты! Скорей под скалу! — закричал профессор, увлекая Петю за собой.

Каменный дождь обрушился на лунную поверхность. Неожиданно профессор споткнулся и упал.

— Профессор! Что с вами? — испугался Петя.

— Нога. Кажется, я повредил ногу,— простонал ученый.

— Я понесу вас! — предложил Петя.— Держитесь крепче! Вот так! Ведь на Луне все весит в шесть раз меньше!

— Спасибо, мальчик! Только мы не успеем. Уже темнеет.

— Я вижу огонек нашей ракеты! — бодро воскликнул мальчик и быстро побежал по скалам с профессором на закорках.

Но Петя ошибся. Это была вовсе не их ракета.

Петя постучал по стальной обшивке ракеты, и из люка выглянул незнакомый человек.

Петя сначала удивился, но потом узнал отца Наташи.

— Как хорошо, что я вас нашел! — обрадовался мальчик.— Помогите, пожалуйста. Профессор ранен.

— Нет-нет! — замахал руками профессор.— Мне уже лучше!

— Товарищ Бобров! — по всем правилам доложил

космонавт.— Наша ракета ликвидировала повреждения и готова к полету.

— Отлично. Все возвращаемся на Землю.

Сколько людей собралось на Красной площади! Героев засыпали цветами. Наташа, сияя от счастья, кинулась к отцу.

— Папа! Папа! Я знала, что Петя тебя найдет. Обещал — и нашел!

На этом рассказ кончался. Я прочел его четырежды, — а вдруг чего-нибудь не понял, и, наверно, от той пристальности, с которой вглядывался в строчки, у меня тупо заболел затылок. Мне было впору закурить и поделиться с Лозинской впечатлением о рассказе, и я украдкой взглянул на нее, отгородившись от Верыванны локтем. Лозинская сидела в косой неудобной позе, почти полуотвернувшись ко мне спиной, и сосредоточенно отчеркивала что-то в рукописи толстым цветным карандашом. Я подождал и посмотрел на нее снова. Потом еще и еще. Тогда она выронила карандаш, прикрыла лицо ладонями и пожаловалась Вереванне на головную боль.

— Просто нет спасения, — сказала она. — Я, наверно, пойду домой.

Она отняла ладони от глаз, и я увидел в них откровенный, насильно задушенный смех. Я для нее пожал плечом, а для Верыванны щелкнул по рассказу пальцем, — так ведь можно, например, сгонять и муху, поскольку им теперь везде раздолье. Когда Лозинская ушла, у нас в комнате наступила глухая емкая тишина, какая бывает только в потемках какого-нибудь нежилого чулана. Внезапное ощущение пустоты неизменно связано с неподвластной человеку летучей грустью о какой-то безотчетной утрате, — сердце тогда начинает тосковать и сожалеть о чем-то без вашего спроса и чувствовать себя сиротой. По крайней мере, именно это испытал тогда я. Вераванна с обиженным видом вкусно сосала леденцы, не отрываясь от рукописи и не переворачивая страниц. Мне было непонятно, почему ей не следует знать, что я «устроился» в издательство по совету Ирены Михайловны, и с какой это стати я должен развлекать ее какими-то занятными историями? Пошла она ко всем чертям! Курить же можно, в конце концов, и в коридоре.

Я решил еще раз прочесть рассказ, — а вдруг все-таки недоглядел там чего-нибудь, но пустая стылая тишина комнаты, нечаянно издаваемый Вераванной сладкососущий звук, похожий на чмок лия, когда он пойман и лежит в лодке,

сознание того, что я веду себя в высшей степени недостойно, сидя истуканом с женщиной, которой недавно лишь дарил цветы и приглашал в лес на шампанское,— все это цепеняще обезволило и приплюснуло меня к столу, мешало сосредоточиться, и со стороны я, конечно же, представлял собой вполне законченное жалкое зрелище. Первой не вынесла подвальной немоты нашей комнаты Вераванна. Она за три приема обернулась ко мне вместе со стулом и в упор, заинтересованно, обидчиво и не совсем внятно, потому что рот был несвободен, попросила, чтобы я сказал, пожалуйста, кто меня протезировал.

— Ирена Михайловна, да?

От нее на меня крепко попахло теплой пудрой и сырой мятой. Я подумал и решил, что не понял ее.

— Ну на работу к нам!

— Нет,— солгал я с непонятым самому себе удовольствием.— Мы ведь с Вениамином Григорьевичем живем в одном доме.

— А-а,— сказала она.— Хотите леденцов?

Я предпочел закурить с ее разрешения, и мы опять замолчали.

Остаток того дня я просидел в комнате один,— Вераванна не вернулась с обеденного перерыва. Сидеть было не то что трудно, но просто мучительно, потому что приходилось то и дело принимать деловито-напряженную позу над рассказом, если в коридоре за дверью раздавались мужские шаги, и тут же возвращаться к нормальному состоянию, когда шаги удалялись. У меня болел затылок, ныла спина, а челюсти сводила затяжная нервная зевота: рассказ я заучил наизусть как полуночную уличную частушку, и было какое-то мстительное желание повидать его автора. В коридоре все ходили и ходили походкой Вениамина Григорьевича, и со мной случилась то, что случается с новичками в океане во время качки: им тогда требуется лимонный сок. В туалетной я привел себя в порядок, сполоснул рот и умылся. До конца работы оставалось еще минут двадцать. Я вернулся в свою комнату и сел за стол Лозинской,— тут было дальше от дверей и ближе к окну. Мне подумалось, что за таким столом можно читать любое,— это же небось в подспорье себе в работе над чужими рукописями она заселила его сработанным кем-то щедрым и искусным, вот-вот готовым крикнуть черным маленьким деревянным грачонком, раскрывшим большой розовый зев; крошечным белым плюшевым щенком, хитро скосившим морду, с пронзительно-карими



глазами-монистами; бронзовым пацаном, невинно орошающим спросонья утро нового дня; коричневой обезьянкой, зацепившейся хвостом за ветку зеленой жаркой пальмы... Это все было расставлено по конечному закрайку толстого полированного стекла, а под ним, в левом верхнем углу, чтоб оставаться на виду, темнел дешевый книжный снимок матери Есенина. Она была по-деревенски низко покрыта темным широким платком в белую горошину, и под его поветью светились чистые, печально-прощающие кого-то глаза, полные горькой мудрости и усталости. Они излучали какое-то гипнотизирующее успокоение, какое-то бессловесно-затаенное не то благословение, не то увещевание, и смотреть на них хотелось долго и покаянно. Под этим же стеклом, но только в правом нижнем углу, лежали оба снимка Хемингуэя, подаренные мной, три открытки, кусок какой-то муаровой ленты и адресный список сотрудников издательства, отпечатанный типографским способом. В списке этом фамилия Ирены Михайловны значилась двойной — Лозинская-Волобуй, и я прикрыл стекло чьей-то тяжкой, как кирпич, рукописью и пересел за свой стол. Я сидел и думал о вечерних зеленых сумерках Гаваны, о платанах, заполненных крикливыми ярко-желтыми птицами. Мне очень захотелось попасть туда снова. Гавана — веселый город, красивый, пахуче-знойный и вкусный как тамалес — это кубинское национальное блюдо из кукурузы. Его завертывают в листья банановой пальмы... Кубинские девушки и женщины похожи друг на друга, потому что носят голубые юбки колоколом и белые платки. Они все там полуиспанки-полунегритянки... Наверно, Лозинская могла бы сойти за кубинку, смело могла, и в ливень ей пригодился бы там ее нелепый плащ... Но что за обрубочный довесок к ее фамилии — Волобуй! Мужнина фамилия? Она могла быть и неблагозвучней, срамней, лично мне это — до лампочки!..

...Перед уходом я достал из-под стекла список и предельным нажимом вымарал слово «Волобуй» своей радужной ручкой. Я решился на это потому, что оно лохматилось бумажными ворсинками и, значит, его уже царапали до меня ногтями...

Номер домашнего телефона у Лозинской был запоминающе легкий, как есенинская строка,— два двенадцать шестнадцать.

На второй день утром была большая гроза, и когда я подъехал к издательству, сыпанул град. Он сыпанул

как из мешка в тот самый момент, когда я остановился под издательским балконом, нависавшим над тротуаром с выносом на мостовую, — тут оказался сухой квадрат пространства, как раз хватавший для «Росинанта». Тогда у меня что-то случилось с замком зажигания: ключ плотно засел в гнезде, мотор не глушился, и я не заметил, как сзади подошла «Волга». Она подошла ко мне вплотную, впритык, потому что ее неприятный, клеточно-распевный сигнал раздался у меня прямо под задним сиденьем. По его тембру и настойчивой требовательности, с которой он повторился, я решил, что прибыло начальство и шофер хочет стать на мое место, под балконом. Я кое-что сказал себе о начальстве и его шофере и проехал вперед, под град. Ключ точно застрял, не вращался ни влево, ни вправо, и мне нельзя было заглушить мотор. Из «Волги» почему-то долго никто не выходил, потом там ладно и гулко, как крышка у старинного сундука, хлопнула дверца, и на тротуаре показалась Лозинская. Следом за ней, но шагах в двух сзади, семенил маленький плотный человек, распяленно неся в руках знакомый мне серебряный плащ. Человек сердито говорил что-то Лозинской, но она, не оглядываясь, скрылась за дверью издательства, а человек аккуратно свернул плащ и пошел к машине. Это был пожилой кряжок. Он был из тех долголетних крепышей, что не чувствуют своего сердца и спят на левом боку. На нем был китель в обтяжку тугого крутого зада и коротковатые брюки с обляпавшими голубыми кантами. Стоячий воротник кителя врезался ему в затылок, и я узнал его и его «Волгу»: это на ее колесо мне так непреодолимо хотелось плюнуть в тот раз на профилактической станции... Я, наверно, не рассчитал силу рывка и обломал кончик ключа, после чего мотор заглох сразу. А туча, казалось, навсегда повисла над нашим городом. Она была аспидно-сизая, с тревожными белесыми космами, и гром лупил то сдвоенно, то строенно, как в тропиках. Я сунул руку в окно «Росинанта» и стал собирать в ладонь больно-летучие градины — льдисто-каленые, пропахшие грозой. Мне было стыдно за свою трусливую угодливость, с какой я уступил Волобую — «конечно же, это был он, а кто же еще!» — свое место под балконом. Я сидел и убеждал себя в том, что если б у меня был цел ключ зажигания, я непременно и немедленно вытеснил бы волобуйскую кастрюлю под град, — я двинулся бы на нее задним ходом, без сигнала, готовый к столкновению, потому что никакая новая царапина или вмятина «Росинанту» не

страшна. Но ключа у меня не было, и сердце мое все набухало и набухало безотчетной яростной обидой на Лозинскую и каким-то непокойным и враждебным удовлетворением оттого, что фамилии ее супруга так великолепно соответствовали его рост, поросячий затылок, китель военного времени, бабий зад и штаны с облинявшими кантами...

В издательство заходить мне не хотелось, но рассказ все же следовало вернуть Владыкину, и я решил сделать это завтра. Как только прошла гроза, я отправился в слесарную мастерскую и, пока там вытачивали мне ключ, рассчитал, что в Мурманск смогу двинуться не раньше как через неделю: «Росинанта», лодку, палатку и еще кое-что нужно будет продать на месте, а комнату я смогу забурить и находясь в море. День после утренней грозы получился яркий и свежий, но с каштанов град обил свечи, и они валялись на набережной растерзанные и неряшливые: прохожие черт знает почему норовили наступить на них, будто не хватало пространства, куда можно было шмякнуть своим идиотским сапогом или ботинком. Я колесил по городу без цели и при разминках с «Волгами», окрашенными в голубой цвет, стремился прижаться к ним как можно поближе. В тот раз мне чересчур часто попадались отставные кряжистые военные,— по крайней мере я встретил человек двенадцать в кургузых кителях без погон. Своими боевито-крепкими походками и благо нажитыми, а не унаследованными, сановитыми выражениями лиц эти отставные люди возбуждали во мне сложное чувство недоброжелательства, убежденности в их никчемности и приверженности к различным человеческим слабостям и порокам — скупости, мелочности, подозрительности, эгоистичности и вообще ко всему низкому и недальному — иначе их, наверно, не отставили бы! Я колесил и колесил по городу и в конце концов пришел к выводу, что на земле непозволительно много накопилось всякого ничтожного, вздорного и ненужного хлама, засоряющего жизнь человека. Вот хотя бы взять эти дурацкие полуторные там и двойные надувные матрацы, придуманные, конечно, с благой целью окомфортить семейные кущи — эти пресловутые ячейки государства. Но ведь придет время, когда семьи не будет. Не будет — и все, хоть ты тут лопни любой домостроевец!..

Как сказала бы бабка Звукариха, день этот оказался для меня измордованным: я ни на секунду не смог

заставить себя забыть случившееся утром под издательским балконом, не мог то с тоской, то с ненавистью, то с какой-то сумасшедшей призывной надеждой не видеть перед собой маленькую женскую фигурку под распяленным над ней серебряным плащом. Уже вечером я водворил на место «Росинанта», пару раз поднял и опустил на нем крышку багажника, после чего оглядел окна дома и пошел в кафе. Там я просидел до двух часов ночи, но помочь себе не смог, потому что ни коньяка, ни водки не было, и пришлось пить сухое вино, очень схожее с марганцовкой. Лозинской я позвонил в половине третьего. Трубку сняла она, а не он. Я поприветствовал ее с наступающим рассветом и сказал, что во всем мире нынче не спит только один человек — я. Она ничего не ответила и продолжала слушать, — в трубке я чувствовал в а л ухом ее тихое детское дыхание. Я немного подождал и сказал, что в телевизионную вышку только что сел месяц. Из моей телефонной будки он похож, сказал я, на разрезанный арбуз в авоське, и не знает ли она: кому досталась его вторая половинка?

— Нет-нет, вы не туда попали, — сказала она, но трубку не положила.

— Это вы не туда попали, — сказал я шепотом.

— Но это квартира. Наберите, пожалуйста, нужный вам номер.

— Это вы наберите, пожалуйста, нужный вам номер, — сказал я, но она уже положила трубку. Телефонная будка, откуда я звонил, стояла шагах в десяти от парапета моста под каштаном, и оттуда мне в самом деле виделся далекий кувшиннообразный верх телевизионной вышки. Он был прозрачный и медноцветный на фоне мерклого месяца, совсем не похожего на арбуз в авоське, но я был недостаточно пьян, чтобы решиться позвонить Лозинской вторично и сказать о своей ошибке. И все же мне очень хотелось сообщить ей что-нибудь еще, — например, о светофоре, мигавшем на меня через дорогу желтым циклопическим глазом: в тишине и безлюдье ночного города такое око не предостерегает, а грозит напоминанием о какой-то извечной пустынной опасности для одинокого человека, вот такого, как я. Я чуть не заплакал от неожиданной умиленной жалости к самому себе, но звонить было нельзя, и я попятился из будки. Она была узка и низка, как поставленный на попа гроб для несовершеннолетнего, и мне снова захотелось позвонить Лозинской и сказать, на что похожи телефонные будки в ночное время.

Но звонить было нельзя.

Я вытиснулся из будки и стал закуривать. От реки на мост и сюда, к каштану, доползали рваные клочья теплого росистого тумана, и каштан ронял веские теплые капли. Я стоял к нему спиной. Его нижние ветки приходились почти в уровень моего плеча, поэтому я не сразу обернулся, когда почувствовал лопаткой короткое скользящее касание.

— Эй!

Им, этим четверым, не нужно было ни стоять так рассредоточенно-готовно, ни окликать меня таким приглушенно-напряженным голосом, раз уж пришла идея работать под дружинников. Стой они спокойно да еще промолчи что-нибудь вроде «извините», я бы поверил их красным лоскутам на рукавах черных спецовок и предъявил свое любительское шоферское удостоверение, поскольку никаких других документов со мной не было. А так я не поверил. Тому, что стоял ко мне ближе всех и потребовал «документ», я сказал, что не понял юмора. Он был самый рослый из всех своих, и все же голова его, стянутая темным беретом, едва ли достала бы до моего подбородка, — во мне с семнадцати лет было метр восемьдесят три. Он, наверно, тоже не понял моего юмора и призывно поглядел на своих. У меня тогда мелькнула мысль сказать им что-нибудь дружелюбно-матерное — всем четверым, что-нибудь такое международно-притонное, в котором было бы всего понемногу — в моей вроде бы блатной матросской удали («не на того, мол, нарвались, салажата»), и достаточной дозы панибратства («все мы немного подонки и поэтому равны»), и готовности добродушно расстаться тут же («всего, мол, хорошего»). Но мне ничего не удалось сказать им, — они тихо пошли на окружение меня, неслышно ступая и высоко, как в болоте, поднимая ноги. Под каштаном была пепельная сутемень. При вспышках светофора я успел окинуть взглядом остальных троих, тоже в беретах на головах, и под грудной холод страха мне подумалось тогда, как мало значил каждый из них сам для себя, а все вместе друг для друга...

Ударил первым я — того высокого, лидера. Я метил ему в подскулье, но попал в переносицу, — все же он был мал для меня, и когда он упал, я перепрыгнул через него и побежал на мост, и мост тогда озарился навстречу мне малиновым огнем...

Когда пожилая, чистая и вся круглая нянюшка ска-

зала, что мне тут у них пошел пятый денек, было утро. В раскрытое окно, под которым лежал я, просовывались ветки какого-то густо-широкого дерева, и, как только я разглядел, что это липа, в палате запахло медом, потому что липа цвела. Я помнил решительно все, что со мной когда-нибудь было,— от самого раннего детства до малинового огня на мосту, когда упал тот ублюдок, и поэтому казалось странным и страшным, что пять громадных дней могли пройти мимо моей памяти и жизни.

— Они меня в спину? Ножом?— спросил я у нянюшки. Она испуганно сказала: «Да не-е, по головке чем-то», и я поверил, что это лучше, чем в спину. После этого я поинтересовался, в какое время привезли меня в больницу, и она ответила: «Утречком».

— Очень мило! — сказал я ей и отвернулся к стене.

— А то как же... Ну подреми, подреми...

Без нее я ощупал свою голову — громадную, в твердой марлевой чалме, и потрогал нос — заострившийся, холодный и раздвоенный по хрящу. Под правым заушьем у меня все время стрекотали часы,— как дешевый будильник, то скрежещуще, то звонисто, и я решил, что это какой-нибудь регистрирующий аппарат, прибинтованный к моему затылку. В палату то и дело залетали пчелы, подолгу кружились под потолком и, обессилев, садились на тумбочку и на мою кровать, и брюшки у них пульсировали как под болью собственного жала. Я вытащил из-под графина накрахмаленную салфетку и попробовал катапультировать пчел в окно, но при взмахе руки будильник под ухом ускорил ход и зазвучал как колокол...

В полдень ко мне в палату зашли трое в белых врачебных халатах — две женщины и немолодой высокий мужчина с черными грустными глазами. Я первый сказал «здравствуйте», и мужчина тогда коротко усмехнулся чему-то и мгновенно принял обиженно-изнуренный вид человека, не рассчитывающего ни на признание, ни на благодарность окружающих. Я понял, что он мой лечащий врач, что ему пришлось со мной трудно и что его спутницы не верили ему в чем-то. Я поднял правую руку, чтобы поприветствовать его — только его одного! — но он бросился ко мне, схватил на лету мою руку и медленно, как тяжесть, уложил ее на одеяло, а затем погрозил мне кулаком...

Тетя Маня — та чистая и круглая нянюшка — сказала мне, что Борис Рафаилович пять дней и ночей жил тут со мной в палате после операции.

— Жи-ил, а то как же... А ты что же, заезжий, видать? Ну небось через недельку,— она так и сказала: «недельку»,— можно будет отбить телеграмму своим, пушай приедут...

Снова было утро в раскрытом окне, и были пчелы на липе и на моей койке, и тикали и тикали часы в моем затылке. Я лежал и изо всех сил ждал Бориса Рафаиловича, и, когда ему где-то там стало, наверно, невмочь, он тычком распахнул двери моей одиночной палаты, а я спросил, можно ли мне теперь его поприветствовать. Он ворчливо, от дверей сказал, что можно, и я поднял над головой правую руку, собрал пальцы в кулак и поработал им то вниз, то вверх, то вправо, то влево, а этот резака серьезно и, как мне показалось, подозрительно следил то за моей рукой, то за глазами, и тогда я заплакал.

— Ну что такое?— возмутился он.

— Ничего,— сказал я.— Сейчас пройдет.

— Что пройдет?

— Все,— сказал я.— Только вот часы... Они долго будут тикать?

— В каком ухе?— насторожился он.

— В левом,— соврал я.

— Не может быть!

— В правом,— признался я.

— Это прекратится... Через неделю! — прокричал он, и я видел, что он верит себе, и сам я тоже поверил, что часы в моем затылке прекратятся.

— А я потом не... это самое?— спросил я и покрутил пальцами над своим лбом.

— Глупости! — буркнул он, но глаза увел в окно, на липу и пчел. Я не очень отчетливо улавливал их гуд — мешали часы и, может быть, слезы, которые набухали помимо моей воли.

— Слышите? Я не это самое?— опять спросил я. К этому времени доктор справился с чем-то в себе и на крике сказал мне, что история мировой хирургии знает случаи благотворного действия пролома черепа на пострадавших. Я сделал вид, что не понял, иначе мне следовало обидеться, а он подтвердил с непонятным ожесточением:

— Да-да! Пострадавшие в этом случае обретали ясность собственного мышления!

Я поблагодарил его, а он засмеялся и подмигнул мне с каким-то всесветно-обобщающим намеком.

Дня три спустя ко мне в палату явился следователь из уголовного розыска, — осанистый, лет под сорок, с сырым женоподобным лицом, одетый в форменный китель под несвежим посетительским халатом. Он издали спросил, могу ли я дать показания, и я кивнул.

— А разговаривать вы можете?

— Как слышите, — сказал я. Он сел возле тумбочки и с вождением поглядел на графин с водой. Мы начали с самого начала — с даты рождения, а когда подошли к кафе, следователь умышленно небрежно спросил, что я пил и сколько.

— Две бутылки тракии, — сказал я, решив, что три бутылки, которые я выпил, для него покажется много.

— Тракии?

— Это сухое вино, — объяснил я. Он с сомнением взглянул на мою голову и спросил, в какое время я покинул общественное заведение.

— Это вполне приличное кафе на проспекте Мира, — сказал я, поняв, что напавшие на меня парни в беретиках не задержаны. — Оно закрывается в два часа ночи.

— Понятно, — кивнул следователь, косясь на графин. — И куда отправились?

— Домой, — сказал я. Следователю хотелось, видно, пить, но он почему-то не решался проделать это, — опасался, наверно, сбиться с тона допроса, а может, брезговал больничной водой.

— Значит, отправились домой, — сказал он и опять взглянул на мою чалму. — И что дальше?

— У Зеленого моста мне понадобилось позвонить, и когда я вышел из телефонной будки, то...

— Минуточку. Куда вам понадобилось позвонить?

У нас тогда выдалась затяжная пауза. Следователю было душно. Он то и дело отирал с лица пот серым и, видать, мокрым платком, зажатым в кулаке, и это было неприятно. Его пухлая полевая сумка свиной кожи стояла на полу между тумбочкой и моей койкой, и от нее противно пахло. Мне хотелось вызвать в себе хоть немного симпатии к следователю, — в конце концов, человек пришел сюда ради меня, — и я сказал, что воду в графине меняют тут, между прочим, каждый день. Он не расслышал меня и вторично спросил, куда я звонил. Ему было жарко в своем кителе под бязевым халатом, и, когда он



снова украдкой от меня отер пот со лба и подбородка, я сказал, что в Москве уже этой весной введена для работников милиции новая форма.

— Да-да,— подтвердил он.— Так кому вы звонили?

Я поправил подушку, улегся на спину и прикрыл веки. Следователь ждал, тогда я вслух предположил, что новая милицмейская форма будет элeгантнее прежней и что зимой в ней, надо думать, будет тепло, а летом прохладно. Он молчал и ждал. Я наблюдал за ним сквозь ресницы, и он виделся мне размыто и дрожаще, как за отдаленным полевым маревом. Я до сих пор не могу постичь, почему бы мне не ответить тогда на его вопрос неправдой — ну, скажем, звонил в справочное бюро вокзала, чтобы узнать, когда идет поезд на Мурманск. Номер телефона справочного бюро? Пожалуйста, я знал его: шесть одиннадцать сорок четыре, но из-за какой-то запретной преграды в себе я не мог сказать неправду и молчал, и следователь молчал тоже.

— Почему вы не отвечаете на вопрос?— изнуренно спросил он и налил в стакан воды из графина — полный, с краями. Я подождал, пока он напился, и сказал, что звонил одной замужней женщине. На этом месте мы застряли окончательно, потому что следователю обязательно нужно было знать, кто эта женщина и «по какому вопросу» я ей звонил.

— По любовному, что ли?— на каком-то гарантийном для меня полупешоте раздраженно подсказал он вечность сгодя, и я кивнул.— Ну так бы и показывал, а то уперся, как... Это ведь к делу не относится, понятно?

Он, наверно, засиделся в уголовном розыске и привык не доверять ни правому, ни виноватому, но после такого моего признания дело с допросом у нас почему-то пошло быстрее. Я «по возможности точно показал» количество напавших на меня бандитов, их рост и одежду и не мог понять, какая разница в том, на правых или левых рукавах у них были красные повязки.

— Большая,— сказал следователь.— Теперь точно показывай, во что был одет сам.

Я показал, но расцветку носков забыл. Не запомнил я и купюры тех четырнадцати рублей, что дала мне официантка кафе в сдачу с двадцатипятирублевки. Под конец допроса следователь извлек из своей полевой сумки длинный, в каких-то бурых потеках дамский чулок с засунутым в него свинцовым яйцом.

— Это твое или нет?

— А что это?— спросил я.

— Обнаружено под тобой,— сказал он. От чулка несло мерзкой пахлятой вонью, и меня стошнило.

Оказывается, далеко не все равно, чем вам проламывают голову. Я, например, безразлично отнесся бы к известию о том, что меня ударили булыжником, скажем. Или шкворнем. Или там другим каким-либо «тупым предметом», поскольку тут все равно уже ничего нельзя поделать. Но это гнусное свинцовое яйцо, заправленное в пакостный бабий чулок сорокового, видать, размера, вызывало во мне отвращение, бессильную ярость и стыд...

Как и говорил Борис Рафаилович, часы в моем затылке перестали тикать через неделю, и тетя Маня собралась переселять меня в общую палату. Она напомнила о своей готовности «отбить телеграмму моим родным», и тогда я попросил позвонить Лозинский.

— Часов в шесть вечера,— сказал я.— Зовут Иреной Михайловной, запомнили? Если к телефону подойдет мужчина, то ничего не говорите. Положите трубку, и все. Ладно?

— Ну-ну,— угасше сказала она.— И что ей передать?

— Что, мол, Антон Павлович Кержун лежит в больнице... В такой-то палате, на таком-то этаже.

— Ну-ну... А чтоб, значит, пришла, не намекать?

— Нет,— сказал я.— Большое вам спасибо!

— Поругамши, что ль?

Тетя Маня спросила это, уходя уже, с гневом не ко мне, и я поверил, что Лозинская непременно придет, потому что мало ли что ей там скажут, и пусть скажут! Что я, не сын родины? Сволочи! Бросили тут одного...

Она пришла в начале седьмого,— я увидел ее еще в коридоре через открывшуюся дверь, притворенную за ней тетей Маней. Ирена Михайловна как-то косо и полу-бокком пошла по палате к окну, подальше минуя стул и тумбочку, смятенно глядя на мою голову. Я привстал на койке и сказал, что ни в чем не виноват.

— Мне все известно, не надо разговаривать,— перебила она, уйдя в противоположный угол, за тумбочку.

— Я не ввязывался, а только позвонил вам, чтобы проститься, понимаете?— сказал я. Она молча наклонила голову, избегая моих глаз своими.

— За весь тот вечер я выпил всего лишь три бутылки тракии. Это красное сухое вино почти без градусов,— объяснил я.

— Я знаю, это очень хорошее вино, только, пожалуйста, не разговаривайте! — сказала она.

— Но я в самом деле не ввязывался,— сказал я.

Она веряще кивнула, и мы впервые встретились глазами.

— Они меня каким-то свинцовым кругляшом... в женском грязном чулке, вы представляете?— сказал я.

— Господи! Я не хочу! Не надо об этом говорить!

Она держала сцепленные руки у подбородка, и глаза у нее были какие-то провальные, немигающие и косящие к переносью.

— Очень больно?

— Нет,— сказал я.— Вам нельзя... подойти поближе?

Если бы она не взглянула тогда с опасением на дверь, я бы не решился назвать ее по имени, без отчества, но она трижды, пока медленно шла ко мне по палате, взглядывала на дверь, и я трижды назвал ее имя.

— Почему же вы...— сказала она и запнулась, потому что опять оглянулась на дверь.

— Что?— спросил я.

— Почему не попросили сообщить мне давно, сразу?

— Разве ты пришла бы?— сказал я и зажмурился.

Она остановилась у моего изголовья и молчала, и я ее не видел.

— Пришла бы или нет?

— Не знаю... не с этим. У меня этого нет к вам... Не должно быть! Разве вы сами не понимаете?

Я открыл глаза и сказал, чтобы она ушла.

— Но вам, может быть, что-нибудь надо? Вам дают тут есть и... все?

— Дают есть и все-все. До свиданья,— сказал я ей и натянул на лицо простыню. Она тогда осторожно и невесомо присела на край моей койки и своим прежним, редактрисским тоном спросила, сколько мне лет. Я сказал «тлидцать тли», и она засмеялась и отогнула край простыни с моих глаз.

— Слушайте сюда. В ваши «тлидцать тли» надо сообщать, что замужней женщине, у которой дочери пошел одиннадцатый год, нельзя звонить по ночам и...

— Если б ты знала, что я хотел тебе сказать! — перебил я и не стал зажмуриваться.

— Что вы мне хотели сказать? Вы с ума сошли? Вы же видели моего мужа... Да и не в этом дело!

— Ты меня совсем-совсем не...

— Замолчи! Замолчи! — истерично, шепотом крикнула она, а я схватил ее руку и прижал к своей щеке, и она до самого ухода не отняла ее и сидела как в столбняке — прямо, напряженно, дыша раскрытым ртом, как птица в жару...

Когда она ушла, тетя Маня заглянула в дверь и спросила строже, чем следователь:

— Ну?

— Большое вам спасибо,— сказал я.

— Помирились?

Тогда был какой-то библейский свет вечера в мире за окном и в моей палате,— он был густо-голубой, чуть прореянный ранним лунным током, и в этом свете мягко увязали и глушились шумы города и непроходяще стоял чистый и радостный запах меда. Я лежал и благодарно думал, как по выходе отсюда куплю что-нибудь тете Мане в подарок, потому что я любил ее, и что-нибудь Борису Рафаиловичу, потому что его я тоже любил, и тем двум врачихам, которые вошли тогда с ним в мою палату, и надо обязательно купить что-то — кофту, может? — бабке Звукарихе, потом еще — что-нибудь хозяйственное — той своей соседке, которой я отдал тогда рыбу, и хорошо бы еще раз повстречать того рыжего владельца «Запорожца» — у него, возможно, нет гидравлического домкрата, а у меня их два, и почему бы не отдать ребятишкам из нашего дома стартовый пистолет, зря ведь валяется только... Мне подумалось, а что было бы, если бы в ту ночь со мной оказался этот пистолет? У него форма и звук выстрела браунинга. Стрелять нужно было бы трижды, в ветки каштана, и тогда эти четверо в беретиках пошли бы в трех шагах впереди меня, заложив руки назад. Да, конечно, пошли бы... И я сейчас был бы не здесь, а в Мурманске, — конечно, был бы уже, и поэтому нельзя знать, хорошо или плохо, что со мной тогда не было стартового пистолета...

На утреннем обходе Борис Рафаилович, как никогда до этого, остался доволен состоянием моего затылка и собой, но я заметил, что ему немного беспокойно, — он как бы торопился в словах и жестах, не желая, наверно, оставлять мне паузы для какого-нибудь вопроса сродни тому, когда

я ворожил пальцами над своим лбом. Это его опасение — как бы я не стал рефлексировать или как это там у них называется — было совершенно напрасным: я чувствовал себя отлично, даже лучше, чем прежде, хотя причина этому была совсем не та, что приводил он из истории мировой хирургии.

Этот день был очень длинным, и под конец его я потерял веру в человечество. Крушение моего вечернего и утреннего мира началось с семи часов вечера, и к восьми его обломки полностью заволок прах лютой тоски и обиды. А в половине девятого Лозинская наконец постучалась в дверь, — я сразу догадался, что это она: стук был тревожный и ноготной, как побег застигнутого кролика. Мы даже не поздоровались, и нам почему-то нельзя было остановить глаза друг на друге, — наши глаза просто прятались сами от себя. Ей совсем не надо было приносить этот громадный нелепый пакет в серой оберточной бумаге. Он оттягивал ей согнутую руку, и она не знала, что с ним делать, я не мог ни принять его у ней, ни указать ему место. Она сама догадалась примоститься на стул возле тумбочки, оставив пакет у себя на коленях. Я сидел на койке и тщательно расправлял кромку простыни.

— Ну как... лучше? — спросила она, избегая обращения «вам» и «тебе», и растерянный вид ее раздирал мне сердце нежной жалостью и восхищением, что она есть на свете.

— Положи это рядом с графином, — сказал я грубо, мстя всему, что загнало нас в этот тупик неразрешенности, и она как под ударом поднялась со стула и почти выронила пакет на тумбочку. Я бы даже под палкой не решился сойти при ней с койки в той умопомрачительной пижаме, что была на мне, — штаны брюк сантиметров на двадцать не доставали до щиколоток, но, когда из пакета посыпались апельсины и какие-то веские стеклянные банки, а она, смертно побелев, оглянулась на дверь и кинулась убирать пол, я забыл о пижаме. Мы подобрали все молча и спешно, а ее лицо по-прежнему оставалось белым как бумага, и я не знал, что ее потрясло, — то ли стыд перед собой за эту свою тайную и «беззаконную» больничную передачу мне, то ли детский страх за нечаянно учиненный тут грохот.

— Ну что случилось? — опять сказал я умышленно грубо, — мне было известно, что на такие нервные натуры, как она, крик действует иногда как лекарство.

— Я боюсь,— призналась она, помешанно глядя мне в зрачки.— Я боялась весь день... А он был такой огромный!

— Кого? Чего ты боялась?— втайне ликуя, спросил я.

— Всего... Себя. Тебя. Их...

Я усадил ее на стул и, все еще не вспомнив о пижаме, стал перед ней на колени.

— Слушай,— сказал я и почувствовал, как озноб преданности, решимости и восторга ледяным обручем стянул мою голову под бинтом,— пусть весь мир будет наполнен одними чертьми, я все равно никогда тебя...

— Да не чертьми, а чертями,— всхлипывающе перебила она и своей детской и почему-то ледяной ладонью уперлась в мой лоб, чтобы отстранить от себя мою голову...

Третье наше свиданье в моей одиночной палате было нелепым и кратким. Она и в этот раз принесла апельсины и две банки маринованных слив,— как потом мы выяснили, идти без передачи она не могла, потому что в таком случае у нее не было бы перед собой «оправдательного мотива». По тому, как она уверенно и спокойно постучала в дверь и вошла в палату, как любезно-приветливо и издали поздоровалась со мной, будто пришла по долгу навестить знакомого, как сосредоточенно и внимательно уложила на тумбочку свое подаяние мне, как осознанно-достойно села на стул в своем, впервые увиденном мной на ней, простеньком темном домашнем платье, делавшем ее совсем подростком, как открыто и посторонне-внимательно, хотя и с заметно подавляемой независимостью взглядывала на меня, я понял, что в ней произошло какое-то решительное освобождение от себя вчерашней. И я живо и с каким-то злорадно-мучительным чувством само-сокрушения вообразил сцену с распяленным плащом у подъезда издательства. Я знал, какие у меня при этом глаза, рисунок губ и подбородка и как металлически скребуще и серо прозвучит мой голос, если я заговорю. И когда я спросил: «Вас можно поздравить?»— голос мой был таким, каким я хотел его слышать. Она, как мне показалось, с радостным облегчением встретила мой призыв к враждебной отчужденности, но спросила без притворного удивления:

— С чем?

— С миром в душе,— сказал я неожиданно пискляво. Она длинно посмотрела на меня, а затем устало сказала:

— Вы ведь, кажется, собирались уезжать, Антон Павлович.

Я кивнул.

— Ну вот и хорошо.

— Вы хотите, чтобы я обязательно уехал? Теперь?— спросил я.

— Да. Между прочим, вас уволили из издательства за невыход на работу. Там ведь никто не знает, что с вами.

— Черт с ними,— сказал я с беспечностью погибающего, которому никто уже не поможет.— Как поживает ваша подруга?

— Спасибо, по-прежнему,— догадалась она, о ком я спрашивал. Я не вкладывал в свой вопрос никакого подспудного смысла, но она усмотрела в нем какую-то обидную для Верыванны иронию, потому что назидательно добавила:— Вера Ивановна, между прочим, большой друг моего мужа... Вообще нашей семьи.

Я сказал, что рад это слышать. Она тогда как-то подчеркнуто превосходяще надо мной усмехнулась, взглянув на свои ручные часы, но я опередил ее и сказал, что расходы ее на компоты мне я возьму по почте перед отъездом. Уже на середине фразы я знал, что это мелко, несправедливо и хамски дурно, но ничего не мог с собой поделать. Она стремительно поднялась и пошла из палаты, и каблук ее туфель издавали какой-то разломно-копяной цокот, и мне хотелось, чтобы в эту минуту какой-нибудь американский полковник из тех, что носят на шее серебряные ключи от красных пусковых кнопок, сошел с ума...

В тот же вечер я перешел в общую палату. Там было пять коек, но только одна из них — у окна — оказалась занятой: на ней лежал унылый сухой старик со стеариновым лицом и желтым голым черепом.

— Доигрался?— коростельным голосом сказал он мне, когда вышла нянюшка. Я решил, что у него язва желудка, и не стал противоречить.

— Хозяина не стало на вас, вот вы и рассобачились.

У него, наверно, сильно болело, и я ничем не мог ему помочь. Полночи он нудно кряхтел, стонал и возился на своей койке, а утром я увидел ее пустой, без матраца, и мне стало стыдно за свои тайные ночные пожелания старику. Я лежал и старался не смотреть на опустевшую койку, и мне было тревожно и страшно от сознания хрупкости человеческой жизни, ее незащищенности и

скоротечности. Людям не следует забывать об этом, подумал я, и тогда они станут добрее друг к другу и жить будет легче. Вот и я сам. Разве я нынче вел бы себя тут так непозволительно безобразно с Иреной Михайловной? Вел бы?..

В тот же день под вечер в палату внедрились трое больных,— опять смертообразные старики, и я снова, как утром, стал тихим в сердце и тогда же понял, что не хочу никуда уезжать и не хочу, чтобы меня уволили с работы.

С Борисом Рафаиловичем у нас установились превосходные отношения,— при его обходах мы нашли какой-то сдержанно-дружеский тон вопросов и ответов с доверительным и немного ироническим подтекстом, который полностью исключал мое неравенство перед ним. Я спросил у него, не находит ли он как лечащий врач, что мое начальство по работе обязано проявить ко мне хотя бы казенную чуткость, поскольку я пострадал не по своей личной вине.

— Конечно,— сказал он,— но ваше начальство едва ли захочет принять эту вину на себя.

Я сказал, что размышлял об этом пункте и нашел выход для начальства: оно располагает полной моральной возможностью переложить вину за случившееся со мной на общество и не увольнять меня с работы. Доктор подумал и категорически заявил, что я имею право на чуткость. Мне не известно, что он говорил директору издательства по телефону, но случилось то, чего я ждал и хотел: в больницу пришли Лозинская и Вераванна. Был воскресный день. У коек стариков томились навестившие их родственники. Я лежал и ел маринованные сливы, пристроив на груди банку. Первой в палату вступила Лозинская, следом за ней впучилась Вераванна, и, когда я увидел ее, мои руки самостоятельно, без приказа мозга, спрятали банку под одеяло. Они метнулись с ней к коленям и сами тут же, под напряженным взглядом Лозинской, выпростались наружу и прикрыли косточки, которые я складывал на газету возле подушки. Я тогда же подумал, что «друг семьи» никак не мог догадаться о том, чьи сливы я ел, и все же я был благодарен рукам за их проворство. Вераванна была в состоянии какой-то ленивой меланхолии с примесью брезгливого сострадания ко мне, поэтому ничего не заметила. Она остановилась в шаге от моей койки и оттуда поздоровалась, назвав меня товарищем Кержунном.



— Нам поручено навестить вас,— сказала она.— Что с вами случилось?

— Да пустяки. Спасибо вам за чуткость,— сказал я и взглянул на Лозинскую. У нее тревожно ширились глаза, но все было в порядке: косточки от слив я успел прикрыть газетой, а банку крепко зажимал в коленях. Я мог держать ее там хоть целые сутки, но Вераванна, оглядев мою чалму, тронулась, наверно, сердобольем и протянула мне руку, и мне тогда понадобилось привстать. Ее рука была набрякло-веска и безответна, как тюленья лапа. Я немного передержал ее в своей ладони, потому что вникал в то, как липуче-вязко подплывал под меня маринад из опрокинувшейся банки. Горячие сухие пальцы руки Лозинской лишь на короткую секунду коснулись моих. Мы украдкой столкнулись глазами, и в ее широких черных зрачках я прочел вопрос: «Пролилось?»— «Все до капли»,— ответил я ресницами. «Что же теперь делать?»— «Не надо волноваться,— внушил я.— Тут есть чудесная нянюшка — тетя Маня, она все уладит с простынями».— «Не поняла»,— сказали зрачки Ирены. «Ты только не волнуйся, пожалуйста,— попросил я,— это все подо мной, в низине».

— Так как же это вас угораздило?— настойчиво спросила Вераванна. Мне показалось, что она примеривается глазами к койке, чтобы присесть, так как все стулья разобрали родственники стариков, но я не мог сосредоточиться и ответить ей, потому что стерег ее намерение: вдруг она в самом деле присядет? Тогда маринад неминуемо хлынет под нее!

— Вы что же, в драку ввязались?

— Совершенно верно, я очень люблю, когда мне проламывают голову свинцовым котяшом,— сказал я. Вераванна беспомощно помигала на меня ресницами и сложила губы в трубочку — обиделась.

— Ну хорошо, а в дальнейшем... Вы намерены вернуться в издательство?— спросила она меня, взглянув на Ирену. У той трепетали крылья ноздрей, и смотрела она в пол. Я сторожил ее глаза, чтобы после встречи с ними ответить что-нибудь Вереванне. К нам вежливо прислушивались истомившиеся родственники стариков. Маринад подо мной становился теплым и щекотным. Я подождал еще немного и сказал — не Вереванне,— что мне некуда деваться. Тон голоса у меня получился ненужно скорбным и просительным, и тогда Ирена, по-прежнему глядя в пол, бесстрастно и сухо сказала:

— Видите ли, Антон Павлович, вас уволили за невыход

на работу, но поскольку вы находитесь в больнице, то это решение должно быть отменено. Понимаете?

Наши глаза скрестились, и я кивнул.

— Значит, дирекции можно передать, что вы выходите на работу, так?

— Да-да! Мне было радостно повидать вас! — вырвалось у меня. Вераванна сказала: «Нам тоже», — и мы простились издали, без пожатия рук.

— Спасибо вам за чуткость, — сказал я вслед Вереванне. Она шепеляво и серьезно ответила «пожалуйста», а Ирена стремительно оглянулась на меня и горестно покачала головой...

Мы потом и сами не могли объяснить себе, почему этот нелепый случай с маринованными сливами как нечаянной волной прибил ко мне Ирену. В чем тут было дело? В сострадании ко мне, воровато спрятавшем ее «незаконное» приношение? В благодарности за мой ребячий страх перед Вераванной? В этой нашей вымученной тайне? Все может быть. Она пришла ко мне в общую палату в тот же воскресный день, вечером. Пакет из серой толстой бумаги опять, как в тот раз, косил ее набок, и я сел на койке и счастливо засмеялся ей навстречу.

— Ну чего ты? Сидит как... дурачок! — сказала она как старшая сестра моя или мать и сама открыла тумбочку и, присев перед нею, стала опрастывать пакет. — Сырок хочешь?

Я ничего не мог поделаться с собой, — меня бил какой-то глубинный, счастливый и беззвучный нервный смех, граничащий с затаенным рыданием, и я знал, что, если она скажет еще что-нибудь про еду или о том, как я сижу, я глупо и блаженно зареву при всех, никого тут не таясь и не стесняясь.

— С халой. Совсем свежая, — сказала она. — Ты же ее любишь.

— А ты... откуда знаешь это? — с трудом спросил я.

— Видела в твоём «Росинанте», когда ты пытался угостить нас шампанским... Ты ее, наверно, не режешь, а ломаешь, правда?

Я шепотом крикнул, чтобы она замолчала, и она хлопнула тумбочку. Ей тоже откуда-то было известно, что в какую-то слабую его минуту человеку очень нужно строгое слово. Она села на стул у моего изголовья и сердито спросила, где мои «Альбатросы».

— Надеюсь, ты их не съел, как обещал?

Со мной все уже было в порядке, и я сказал, что рукопись лежит в «Росинанте», а ключи от него и от квартиры остались в брюках, снятых с меня молодцами с красными повязками.

— Между прочим, водительские права тоже там,— сообщил я.

— Где?

— В заднем кармане,— сказал я.

— Очень мило! Почему же ты молчал об этом раньше? Ты соображаешь что-нибудь или нет?

Глаза у нее трогательно косили к переносью, а лоб пересекала гневная вертикальная хмуринка. Я наклонился к ее уху и благодарно прошептал, чтобы она не устраивала мне тут скандала.

— Разве я устраиваю?— отшатнулась она.— Ты уверен, что они не угнали машину и не очистили комнату?

Это не приходило мне в голову. Да и как они смогут узнать мой адрес, разве только через справочное бюро? Нет, для такого гангстерского завершения дела они слишком ничтожны и трусливы.

— Недаром же они ударили меня оловяшкой в бабьем чулке,— напомнил я.

— Господи, да не шпагой же они должны были бить тебя!— возмущенно сказала она.— У каждого негодяя свое оружие! Как же ты попадешь домой? Ты же... без одежды здесь? Совсем без всего?

— Как Адам,— сказал я.

— Ну?

— Все.

— Что все? Чему ты радуешься?

Тогда я объяснил, что у меня нет никого на свете, кто бы заказал ключи в слесарной мастерской, что против рынка, а после поехал на улицу Гагарина и в доме номер семь дробь девять, подъезд первый, квартира восемнадцать нашел все, что мне нужно из одежды.

— Стенной шкаф,— сказал я,— расположен в коридоре возле кухни. Там в целлофановом футляре висит костюм, а рубашки, майки, носки и плавки лежат в нижнем ящике секретера. Ящик туго открывается, и его надо пнуть кулаком в левый край. А ботинки,— сказал я,— стоят под раскладушкой. Она, наверно, не прибрана, поэтому на нее не обязательно смотреть...

Я не до конца понял, почему Ирена, порывисто и молча простясь тогда со мной, вдруг тихо заплакала.

Нет, «Росинанта» не угнали и не очистили комнату, но, к моему сведению, в целлофановом мешке оказалось пальто, а костюм висел под плащом в коридоре на вешалке, и его нелегко было найти. Я прошу прощения? Пожалуйста. Боялась ли? Ну, конечно! Соседей, понятно. Назваться сестрой из больницы? А почему не коллегой по работе? Правда ведь всегда безопасней. Кстати, неужели трудно — господи, да в любом хозяйственном ларьке! — купить пачки три нафталина и положить их под эти свои заграничные пижонские свитеры! Что? Обыкновенная моль. Тучами! Сам сделаю? Когда? Нет, это надо немедленно, завтра. Между прочим, «Альбатросов» придется читать и править дома. Так будет лучше. Что? Я с ума сошел? Руку тоже поцеловать нельзя. Посмотрел бы я лучше на свою рыжую щетину!..

По выходе из больницы я несколько дней жил на какой-то поднебесной парящей высоте, и все, что делал — брился, ел, убирал комнату, хлопотал о восстановлении водительских прав, ходил или сидел, разговаривал или молчал, — все для меня наполнилось громадным смыслом первозданной новизны и значения: я тайно радовался жизни и тому, что я в ней не одинок. У меня пропала суетность и нетерпимость, я был очень внимательным и вежливым с миром, и только одно разоряло этот мой несрочный праздник — не поддающийся рассудку страх на улице, когда я слышал позади себя шаги. Мне тогда хотелось прикрыть голову руками, и я оглядывался на прохожих и норовил пропустить их вперед, если то были мужчины втроем или вчетвером. И все равно жить было хорошо, даже с этим подлым страхом. Я легко примирился с тем, что на затылке у меня навсегда останется лысая метина величиной с куриное яйцо и, чтобы скрыть ее, мне придется отращивать волосы под стилигу. На это потребуется месяца два или три, а до той поры я буду носить соломенную шляпу, чуть-чуть сдвинутую на правое ухо. Чем это плохо? Мой больничный лист позволял мне не выходить на работу еще девять дней, и, может, поэтому меня пока не тревожил предстоящий разговор с начальством о моей драке.

Ирене я позвонил на третий день после выхода из больницы. Я позвонил ей вечером, домой, потому что в издательстве телефон помещался на столе Верыванны. Трубку взял Волобуй. Он боевито сказал «слушаю», а я

вежливо поздоровался с ним и попросил, чтоб он был любезен и пригласил к аппарату Ирену Михайловну. Это получилось у меня ладно и церемонно, особенно к «аппарату». Волобуй поинтересовался, кто ее спрашивает, и я назвался автором повести «Куда летят альбатросы». Ждать пришлось минуты полторы, там что-то не спешили, и я успел мысленно увидеть трогательную и совсем безобидную для себя картину — Ирена в том своем темном детском платьишке стоит на кухне у плиты и что-то жарит. Скорее всего котлеты. Две маленькие — себе и дочери, и одну большую — е м у. Сковородка там, конечно, добротная, чугунная, а ухватик раскалился, и поднять ее трудно. «Не торопись, я подожду,— сказал я ей молча.— Переверни еще раз вон ту, большую... Пускай лопают на здоровье».

— Очень хорошо, что вы позвонили, товарищ Кержун,— сказала она посторонне в трубку,— дело в том, что нам надо согласовать некоторые купюры...

Я молчал.

— Совершенно верно,— сказала она.— Но прежде чем приходить в издательство, позвоните мне завтра... скажем, ровно в час дня вот по этому телефону... Всего хорошего!

Я звонил из той с в о е й будки у парапета моста. Я проторчал там минут пятнадцать, потом послонялся под каштаном, но было еще рано, и я никого не встретил, и во мне не было никакого страха. Ни перед кем.

На второй день была пятница — базарный день в нашем городе, и я с утра пошел на колхозный рынок и купил два пучка редиски, два больших свежих огурца и две пол-литровые кружки полуспелой вишни. Это из овощей и фруктов. А в магазине я купил халу, две банки сметаны и две шоколадные плитки «Аленка». Дома у меня было еще тридцать четыре рубля. Они лежали в словаре Павленкова, и я сходил домой, взял пятерку и купил три бутылки тракии. Все это я разложил и расставил на откидной крышке секретера, и получился скромный светлый стол, и нельзя было догадаться, что застлан он не скатертью, а обыкновенной новой простыней. Телефон-автомат помещался у нас в первом подъезде. Я нарочно спустился к нему задолго до условленного времени,— мне казалось, что там будет легче найти те два или три тихих, доверчивых слова, которые я мог бы сказать Ирене, чтоб пригласить ее к себе в гости. Такие слова в мире были,

должны быть, но я их так и не нашел и возле телефона почувствовал что-то сродное стыду и страху за эту свою затею...

Ровно в час я опустил в щель автомата гривенник — так мне хотелось — и набрал номер ее телефона. Где-то на краю белого света рывком сняли трубку, и она сказала:

— Лозинская.

— Это я,— осторожно сказал я ей.

— Здесь никого нет,— сказала она,— но дело вот в чем: в воскресенье я уезжаю в Кисловодск, поэтому...

— Зачем?— спросил я.

— Что?— не поняла она.

— Зачем в Кисловодск?— сказал я.

— Ну в отпуск, боже мой... Алло!

Я отозвался. Она сказала, что ей надо передать мне рукопись, но не в издательстве, поэтому не мог бы я часов в пять подъехать, например, к тому месту на набережной, где мы когда-то встретились в дождь?

— Подъехать на «Росинанте»?— спросил я.

— Ну, наверно,— сказала она. Тогда я как о счастливой своей находке напомнил ей, что у меня нет водительских прав. Она помедлила и не совсем охотно сказала, что у нее с собой ее права. Я бы не мог в таком случае самостоятельно съехать хотя бы со двора? В рукописи много ее помарок и замечаний, и об этом следовало бы поговорить в машине, а не на улице.

— Конечно,— сказал я.

— Значит, условились. Ты что, неважно себя чувствуешь?

— Нет, очень хорошо,— сказал я и сообщил, что дома у меня есть свежие огурцы, редиска и вишни. Она серьезно заметила, что мне полезны сейчас витамины, и мы попрощались.

В пять часов я благополучно съехал со двора и остановился в конце своей Гагаринской улицы. Отсюда мне чуть-чуть виделась автобусная остановка, и каждую девочку-подростка, чинно выходящую из очередного автобуса, я принимал за Ирену, но она подошла к «Росинанту» сзади — добиралась, оказывается, на такси. Я не вышел из машины, потому что не узнал ее,— у нее была новая, волнисто взбитая прическа, сильно изменившая форму лба и всего лица, и одета она была в не виданное еще мной платье. И прическа, и это сиренево-стальное клетчатое платье делали ее старше и строже, и я

сразу вспомнил о Кисловодске, Волобуге и об их совместной голубой «Волге». Конечно, они поедут туда на машине, всей семьей. Тем более что у нее есть права...

— Ты неважно себя чувствуешь?— сказала она вместо «здравствуй». Я забрал у нее папку со своей рукописью и освободил место за рулем.— Разве мы не здесь будем?

— Я думал, что ты сама не хочешь,— сказал я.

— Какой он маленький, бедненький,— ласково, как на ребенка, сказала она о «Росинанте» и погладила руль. Узкие выпуклые ногти на ее пальцах розовели лаком,— полностью собралась в Кисловодск, и я сказал:

— Да. Это, конечно, не «Волга».

Она коротко, вприщур взглянула на меня и включила зажигание. «Росинант» с подскоком сорвался с места. Вела она трудно. Ее чрезмерная пристальность и напряженность давили на меня, как ноша, и перед светофорами я тоже жал на воображаемый тормоз и переключал скорости. За городом ей немного полегчало.

— Ты и свою «Волгу» так водишь?— спросил я.

— Как?

Голос ее прозвучал жестко и упрямо.

— Старательно. Как и твой муж,— сказал я.

— Ну еще бы!.. Какие дополнительные будут вопросы?

— Больше ничего,— ответил я.

— Весьма признательна,— по слогам сказала она и в нарушение всех правил, не сбавляя скорость и не заглянув в зеркало, пересекла шоссе,— там, слева от нас, в сизом овсяном поле пробивался первый встреченный нами проселок, заросший ромашками и синелью. Тут, по цветам, она ехала тихо и неощутимо и за пригорком, скрывшим от нас шоссе, заглушила мотор. Тогда у нас выдалось несколько летучих секунд совершенно свободного и какого-то грозного времени, заполненного нашим обоюдным ожиданием чего-то громадного, опасного и неотвратимого, и когда ничего не случилось и мы молча и настороженно остались сидеть поодаль друг от друга, Ирена усталым и доверчивым движением взяла у меня рукопись.

— Так вот, вернемся к нашим баранам,— сказала она.— Помнишь, товарищ Кержун, какой сентенцией заканчивается у тебя повесть?

— Да,— сказал я.— «Окруженная грозowymi тучами, огромная и темная, неслась в мировом пространстве Земля».

— Верно. Но это не годится,— сожалеюще сказала

она, и я подумал, что мог бы теперь поцеловать ее.— Ты ведь сам редактор и обязан понимать, почему это не годится.

— Не понимаю,— сказал я.

— Фраза очень уязвима. Что значит «огромная и темная»? Земля наша не вся темная. На ней есть и вечно светлое пятно, различимое с любого расстояния,— одна шестая ее часть, понимаешь?

— Ты это насчет «темной» серьезно?— спросил я.

— Вполне,— сказала она.— Я хочу, чтобы повесть твою напечатали. Очень хочу. И все мои правки преследуют эту цель, как говорит твой друг Владыкин. Между прочим, его вопросительные и восклицательные знаки, что он наставил на полях страниц, были мне очень полезны: он дотошный и осторожный редактор... Ну, пойдём дальше.

— Не нужно, пусть все остается так, как ты исправила,— сказал я и хотел взять у нее «Альбатросов». Она отшатнулась от моей руки за руль и оттуда подала мне рукопись растерянно и повинно.— Что ты делала вчера вечером, когда я позвонил?— спросил я.

— Я была на кухне,— сказала она.

— Котлеты жарила? Две маленьких и одну большую, да? Ты была в том своем черном платье, правда?

Она суеверно посмотрела на меня.

— Не надо, Антон... Дай мне спокойно уехать. Как же ты не понимаешь!

— Я нарву тебе цветов, ладно?— попросил я.

— Нет-нет, я не смогу... Мне придется их выбросить... Поедем скорей домой. К себе,— поправила она. Ей не удалось самостоятельно развернуться на узком проселке, и мы поменялись местами. На шоссе, при виде встречных голубых «Волг», она медленно и натяжно вжималась в сиденье и склоняла голову к дверце, чтобы быть подальше от меня. Я ехал как по краю пропасти, и руль почему-то давил мне на мышцы так, будто я нес машину на себе.

— Он что, всякий раз разыскивает тебя после пяти часов?— спросил я и, вспомнив волобуевский затылок, выругался отвратительно, как пьяный портовик. Ирена зажмурилась и приказала остановиться. Я подрулил к кювету, и она спустилась прямо в него и пошла там по запыленной траве в город — маленькая, жалкая, прибито перекосив плечи. У меня тогда разломно заболел затылок, поэтому, может, я и окликнул ее таким непутевым, испу-



гавшим меня самого голосом. Она обернулась и побежала назад, ко мне.

— Что случилось?

— Когда ты вернешься?— спросил я.

— Господи! Это же не я еду... Ну через двадцать четыре дня, двадцатого. Не выходи, не выходи! Подожди тут, пока я сяду в автобус...

На нашем проселке, куда я возвратился немного погодя, плавал теплый сладкий дух травы, смятой шинами «Росинанта», гудуче сновали шмели, и в поле радостно били и били перепела, будто мир только что сотворился несколько мгновений тому назад.

Вернулся я в полночь. Дом воспаленно светился всеми окнами, кроме моего,— во дворе, за столом козлятников, тесно сидели несколько мужчин в брезентовых спецовках штукатуров и не очень весело пели «Шумел камыш» на мотив «Когда б имел золотые горы». От этой их мужской заброшенной спаянности и пьяно взыскующих голосов на меня нахлынуло горькое чувство бездомности и одиночества, и я поднялся к себе с мыслью, что мне тоже надо напиться. Одному. Мой стол белел в полутьме как саркофаг,— низко свисал край простыни с крышки секретера, и я решил не включать свет, чтобы не лишаться сумрачной жалости к себе и к тем, что пели во дворе.

Я ничего не тронул на тарелке Ирены,— туда я еще утром положил самую крупную и твердую редиску, самые спелые вишни и лучший огурец.

— Ты не бойся,— вслух сказал я пустому стулу, на котором она должна была сидеть.— Я тебя никогда и ничем не обижу, и пусть мир будет наполнен одними чертьми... нет, чертями, я все равно не отступлюсь от тебя!

«А как ты это представляешь себе?»— спросила меня невидимая Ирена.

— Не знаю. Этого я не знаю...— сказал я.— Давай лучше выпьем еще. Ты же сама говорила, что тракия хорошее вино. Я все время буду сидеть поодаль от тебя, ты ничего не бойся.

«Конечно. Ты никогда не посмеешь испугать меня или обидеть».

— Никогда! Я очень боялся пригласить тебя к себе.

«Почему?»

— Я подумал, что ты поймешь это неправильно. Просто дело, наверно, в том пенсионерском поверье, что

будто жизнь таких вот перерослых одиночек, как я, заполнена различной сексуальной пошлостью.

«Этого я в тебе не боюсь. Но есть ведь и другое — моя собственная для тебя высота, на которой я хочу оставаться. Разве ты не потерял бы какую-то долю уважения ко мне, если бы я на самом деле сидела сейчас здесь?»

— Да, потерял бы. Впрочем, нет. Я бы тогда просто насторожился... Нет, опять не то. Это трудно объяснить словами.

«Но потеря, значит, была бы?»

— Да. Ты всегда должна оставаться на своей высоте. И хорошо, что я не решился пригласить тебя. Это значит, что у меня тоже есть своя высота, ты не находишь?

«Я ведь тебя еще не знаю».

— Но я же постеснялся пригласить тебя?

«Ну для этого достаточно элементарного чувства такта: я ведь замужняя женщина».

— Как же мне быть?

«Не знаю. Мне пора домой».

— Ты всегда будешь торопиться уйти от меня?

«Всегда».

— Возьми своей дочери шоколадку. Как ее зовут? Иренкой?

«Нет, Аленкой».

— Ну, прощай. Счастливой тебе дороги,— сказал я.

В ту ночь мне снились белые горы, а над ними, в небе, громадный черный шар с пронзительно сияющим на нем пятном...

До выхода на работу я восстановил водительские права, успел перепечатать и отослать в молодежный журнал повесть, безрезультатно наведаясь в милицию к своему следователю, закрыл бюллетень и отрепетировал предстоящий разговор с директором издательства о своей драке. Я даже составил конспект его предполагаемых вопросов и ответов, и моя ночная история приобрела на бумаге какую-то книжную убедительность, потому что в своих ответах директору я вынужден был отступать от правды. Я утаил, например, свой телефонный разговор с Иреной и не сказал, что первым ударил одного из нападавших. Поразмыслив, я решил удовольствоваться тут не двумя бутылками тракии, как сообщал следователю, а всего лишь одной,— не может того быть, чтобы

самому директору не приводилось выпивать бутылку сухого вина! Взамен всего скрытого мне очень хотелось увеличить число бандитов и вооружить их не бабьим чулком с оловяшкой, а чем-нибудь посолиднее и потипичнее, ну хотя бы финками, но это я не стал изменять.

Понедельник правильно считают несчастливым днем — ведь никому не известно, хорошо или плохо провел воскресенье тот, от кого зависит твое благополучие. Спускаясь во двор, я загадал на количестве лестничных ступенек, и вышел нечет. Спидометр «Росинанта» показывал сто семнадцать тысяч девятьсот одиннадцать километров, и на мусорном ларе сидели и вещующе мяукали три черных приبلудных кота.

Уже тускнела и по-июльски жухло коробилась листва городских деревьев, и небо было пропыленно-седым и томительным, не сулившим добра.

Ни на мосту, ни на берегах реки не было удильщиков, и вода чудилась густой и вязкой, как расплавленный гудрон.

«Росинанта» — давно не мытого и оттого, казалось, еще больше мизерного и сгорбленного, — я оставил прямо у подъезда издательства, чтобы на обратном пути все время видеть его с площадок лестницы, — крепость свою и защиту. В кабинет директора я прошел корабельной походкой. Он собирался звонить и уже снял трубку, поэтому, может, и не ответил на мое приветствие. Мы виделись с ним во второй раз, но он смотрел на меня неузнаваемо, и тогда я сказал, что я Кержун.

— Ну и что? — занято спросил он. — Вы думаете, этого достаточно, чтобы разговаривать со мной от дверей и в шляпе?

Я решил, что дело мое тут дохлое, но все же объяснил со своего места, почему не могу снять шляпу.

— У меня там была рана, — сказал я.

— Какая рана? Где? — возвысил он голос.

— На затылке, — сказал я тоже неестественно громко.

— Да вы, собственно, по какому вопросу ко мне?

Он меня не узнавал, просто не запомнил, и я плохо соображал, зачем пошел к нему от дверей не посередине ковра, а по его обочине, кружным путем по паркету, трещавшему под моими ногами, как крещенский снег. Директор кинул на рычаг телефонную трубку, и по его тревожному торканью руки над столом было ясно, что он ищет кнопку звонка.

— Я Кержун, ваш новый сотрудник, — выкрикнул я и

остановился в шаге от кресла для посетителей. Стало так тихо, что я слышал стрекот директорских ручных часов. Он что-то сказал, чего я не расслышал, а переспросить не осмелился.

— Садитесь,— предложил он. У него были трудные ореховые глаза с кавказской обезволивающей поволокой, и смотрел он на меня заинтересованно и насмешливо.— Так что с вами случилось, дорогой товарищ Кержун? Бюллетень у вас есть?

Я сказал, что есть.

— Сдайте его в бухгалтерию, приступайте к работе и запомните, пожалуйста, мой совет: если не умеете пить водку, потребляйте квас. В любом количестве!

В туалетной я выкурил две сигареты, потом пошел приступать к работе.

На Вераванне было какое-то диковинное платье, отливавшее роскошной купоросной зеленью. В комнате сладко пахло сырой пудрой и леденцами. Вераванна встретила меня рассеянно-недоуменным взглядом, будто хотела спросить, что мне угодно.

— Велено приступить к работе,— сказал я ей сочувственно, после того как поздоровался.— Вы не находите возможным подать мне руку?

— Кажется, первым протягивает руку мужчина,— заметила она, покосившись на мою шляпу. Я сказал, что, значит, я ошибался, думая на этот счет иначе, и мы, что называется, поручкались ни горячо, ни холодно. Мой стол был завален разным бумажным хламом, и я прибрал его, сложив бумаги стопками по краям. Вераванна, огородив лицо белыми колоннами рук, чутко прислушивалась к тому, что я делал. По-моему, она читала все ту же рукопись.

— Вам не кажется, что это похоже сейчас на письменный стол Льва Николаевича? Что в Хамовниках? Который с решеткой?— спросил я ее о своем столе.

— Нет, не кажется,— ответила она из-за локтя.

— Жаль,— сказал я немного погодя.— Но вам, конечно, встречались в литературе насмешливые замечания о Толстом — как он выносил по утрам свое ночное ведро?

Она убрала со стола локти и величественно обернулась ко мне вместе со стулом.

— Ну допустим. И что вы хотите этим сказать?

— Я хочу сказать, что это негодовал раб на то, что кто-то брал на себя его обязанности,— сказал я. Ей, конечно, трудно было понять меня в ту минуту,— я ведь разговаривал не с нею, а с собой: мое унижительное

поведение в кабинете директора, эти его нелегкие восточные глаза, набитые уверенной независимостью и насмешливостью, мужской и, наверно, искренний совет мне насчет кваса, мои немые и благодарные поклоны ему при уходе, — я опять пошел почему-то не по ковру — все это было до того нехорошо, противно и разорительно, что мне обязательно требовалось обрести себя, прежнего, каким я был на самом деле или старался быть, и ночное ведро Толстого понадобилось мне для самобичевания, только и всего. Но Вереванне трудно было понять это. Ее чем-то встревожил негодующий раб, упомянутый мной, и она, раздумно помедлив, вдруг напрямик спросила, был ли я у директора. Я безразлично сказал, что был.

— Ну и как?

— Что именно? — не захотел я понять ее.

— Побеседовали?

— С обоюдным удовольствием, — сказал я.

— Представляю себе, — проговорила она с усмешкой и огородилась локтями. Я прикинул, как бы подипломатичней спросить у нее о причине отсутствия Лозинской, — то ли назвать ее «коллегой», то ли «вашей подругой», но в это время меня позвали к Владыкину.

Вениамин Григорьевич по-прежнему внушал мне чувство растерянности и недоумения: я не мог до конца поверить, что он — главный редактор издательства, и дело было не в том, что эта должность не подходила ему, но он сам как-то не вписывался в нее, — своим призрачным житьем в нашем сутолочно-кооперативном доме, не вписывался зарезанной мною для него курицей. К этому еще прибавлялась младенческая кротость его глаз и эти горестные молескиновые нарукавники! Кабинетик у него был крохотный, с единственным продолговатым окном. Овальная верхушка его веерно разделялась узкими деревянными планками, между которым церковно горели косячки витражного стекла. От этого в кабинете реял пестрый и какой-то келейно-благостный полусвет. Стол стоял в створе окна, и Вениамин Григорьевич сидел за ним уютно и степенно. Я снял у дверей шляпу и поклонился, но не глубоко. Он поклонился мне тоже и плавным выносом руки показал на стул, глядя на меня тихо и прискорбно. Тогда я неизвестно почему — и всего лишь на короткий миг — мысленно увидел перед собой портрет своего отца, помещенный лет пять тому назад в газетах. Отец был там

в шлеме, с четырьмя шпалами в петлицах и с большими, наверно, синими, как и у Вениамина Григорьевича, глазами, но смотрели они у отца смело и непреклонно. Мне впервые подумалось, что я, должно быть, ни в чем не похож на отца, и, уже сидя на стуле, под оторопелым взглядом Вениамина Григорьевича надел свою соломенную шляпу, как и предполагал носить постоянно — чуть сдвинуто на правый бок.

— Та-ак,— сдержанно произнес он.— Ну, как вы, товарищ Кержун, выздоровели?

Я поблагодарил и сказал, что у меня все в порядке.

— Ну, а что будем делать? Работать или...

Я сказал, что намерен работать.

— А как?

— По возможности добросовестно,— сказал я.

— Ну что ж, это хорошо. Мы тут решили предоставить все-таки вам месяц испытательного срока, а там... будет видно.

Я поблагодарил его за чуткость. Он передвинул на столе пластмассовый стакан с остро отточенными карандашами, но тут же опять водворил его на прежнее место.

— Вы были у товарища Диброва?

— Был,— подтвердил я, поняв, что речь идет о директоре.

— И что он вам сказал?

— Предложил сдать бюллетень и приступить к работе.

— Так-так... Ну, а еще что?

Вениамин Григорьевич смотрел на меня как-то по-стариковски притухше, будто не верил в то, что я способен на трудную правду о себе. И тогда я сказал, что директор посоветовал мне потреблять квас, если я не умею пить водку.

— В любом количестве,— сказал я твердо под его кротким взглядом. Он не изменил позы, но выражение лица у него стало печально-беспомощным.

— Товарищ Дибров, конечно, пошутил насчет кваса,— неуверенно сказал он, и я серьезно заверил его, что именно так это и понял. После этого мы поговорили о рассказе «Полет на Луну». Я сказал, что он очень мне понравился и править там, на мой взгляд, было нечего. Вениамин Григорьевич согласно кивнул и протянул мне легонькую рукопись, сшитую черными нитками. Он сказал, что она samotечная и что я должен внимательно прочесть ее и письменно изложить свое мнение страницах так на двух или

трех. Я не стал спрашивать, к какому времени надо это сделать и о том, что такое «самотечная».

Может, мне следовало зайти в туалетную и покурить там, чтобы во мне улеглась вспышка эгоистичного торжества по случаю благополучного исхода своих утренних опасений, но этого я не сделал, и Вераванна, откровенно насмешливо поглядев на меня и на рукопись, которую я держал под мышкой, загадочно чему-то улыбнулась. Я сел за свой стол и приступил к работе. Повесть называлась «Позднее признание». В ней было сто три страницы, напечатанных густо и слепо. Написала ее женщина с легкомысленной фамилией Элкина, и то, что это могло быть псевдонимом, сразу же вызвало у меня настороженность — я почему-то решил, что эта Алла Элкина похожа на Вераванну. Тоже мне Жорж Санд! Я посмотрел конец повести, потом несколько кусков из середины, затем стал читать первую страницу. Она началась словами Стендаля о том, что прекраснейшая половина жизни остается скрытой для человека, не любившего со страстью. Эти строчки были подчеркнуты синим карандашом и старательно остолблены справа и слева двумя восклицательными знаками. До обеденного перерыва я прочитал третью часть рукописи и пришел к убеждению, что надо быть чертовски гордым, а может быть, очень несчастным человеком, чтобы осмелиться рассказать о себе такую опасно откровенную правду: «Позднее признание» оказалось дневниковой записью женщины, нарушившей закон о семье и браке. В рукописи было много грамматических ошибок, но это странным образом усиливало искренность ее исповедальности и непорочности. Я читал и незаметно для себя становился доверенным автора в ее греховном счастье, а от него, безымянного, обозначенного в дневнике буквой «Р», все чаще и чаще требовал упорства, находчивости и мужества. Им там все время негде было встречаться, — в осенние вечера таксисты брали десятку за час времени, пока они молча сидели на заднем сиденье, и я был готов предложить им своего «Росинанта», чтоб увозить их в лес и оставлять у костра, а самому оставаться в стороне и следить, чтобы к ним не забрел кто-нибудь посторонний. Наверно, я читал «Позднее признание» не по издательским правилам, — приходилось забываться и помогать этим двум бедолагам то словом, то жестом, а это не могло не потревожить эмоции Вераванны. Она, должно быть, просто усомнилась не толь-

ко в моей редакторской компетенции, но и в литературной образованности, потому что ни с того ни с сего спросила, как я нахожу стихи Н. Я подумал и дипломатично сказал, что нахожу их вполне читабельными.

— Но они нравятся вам или нет?

— Не очень,— сказал я.

— Почему?

— Потому что после Блока и Есенина стихи писать не только трудно, но почти невозможно. Если, конечно, считать себя настоящим поэтом.

— Ах, вот что! Ну, а как насчет наших современных прозаиков?

— Тут, пожалуй, то же самое. Нельзя ведь не бояться Толстого. Или Бунина,— сказал я.

— Бунина?

— Да. Ивана Алексеевича.

— Потрясно! — самой себе сказала Вераванна.— Кроме непристойности, я, например, ничего у него не читала. Эти его «Руси», «Таньки», «Кофейники» какие-то... Ужас!

Она не вернулась с обеденного перерыва, и я пересел за Иринин стол.

В те утомительные длинные вечера я открыл, сторожа улицу из окна своей комнаты, что зеленовато-серые колпаки на удавно изогнутых стеблях фонарей очень похожи на каски немецких солдат, виденных мною в кино; что, если тебе уже под тридцать, то никакой дьявол не вытурит засевшую в твое бобылье сердце тоску, и что вообще хуже всего ждать по вечерам. Сразу же, на второй день после отъезда Ирены, я установил на секретере двадцать четыре свечи. Я установил их в три ряда на металлических крышках для закупорки банок,— купил все разом в хозларьке,— и издали, от дверей, такая подставка казалась под горящей свечой чем-то непрым и загадочным. Каждый вечер я увеличивал — на одну — число горящих свечей, но это мало чему помогало: до двадцатого августа оставалось еще девятнадцать дней, и мне все чаще и чаще хотелось засветить сразу все двадцать четыре. Ложился я поздно,— иногда на наш двор забредали какие-то люди в белых брезентовых куртках штукатуров и за опустевшим столом козлятников принимались петь песни. Чаще всего это был «камыш», но иногда они с мучительной искренностью заводили «Лучинушку» или «Хаз-Булата», и я



бежал на кухню и открывал окно. Штукатуров мгновенно окружала негодующая толпа пенсионеров из нашего дома, грозившая им «сутками» и мне тоже, потому что я защищал «этих пьяниц» сверху, из окна...

Возможно, потому, что я не снимал шляпу, а в обеденный перерыв не ходил в буфет, — мне надо было жить тогда экономно, а может, из-за моей вынужденной молчаливости, — я не находил, о чем бы нам поговорить, — Вераванне, как я замечал, все трудней и трудней приходилось переносить мое присутствие. Сам я тоже через силу терпел сырой сладкий дух не то пудры, не то раздавленной земляники, теплыми волнами исходивший от нее. Меня раздражали ее толстые голые локти, ленивые эмалевые глаза, неспособные удивляться, потому что для них, по-моему, не существовало никаких тайн мира, тревожила ее манера часами глядеть в рукопись, не переворачивая страниц, бесил, наконец, телефон на ее столе, — он не звонил, а мурлыкал, как сытый кот: наверно, чашка звонка была заправлена ватой. Я так и не спросил у нее о Лозинской, — что, мол, с нею. Я понимал, что такое мое равнодушие к коллеге могло дать Вераванне лишний повод к тому, чтобы подумать обо мне как о «потрясно» некультурном, скажем, человеке, но помочь себе я ничем не мог. Впрочем, вскорости отсутствие Лозинской «разъяснилось» для меня само собой. Однажды в нашу комнату заглянул из коридора большой, неопрятно одетый старик. Он курил янтарную разлатую трубку с длинным изогнутым мундштуком и, не здороваясь с нами, сквозь дым спросил, когда будет Ариша. Он так и сказал, кивнув на пустующий стол. Вераванна почему-то молчала, а старик ждал, и я предположил, что Ирена Михайловна, очевидно, больна.

— Больна? — обеспокоенно сказал старик и почему-то неприязненно поглядел на мою шляпу. Вераванна тогда оторвалась от рукописи и сообщила не старику, а мне, что Волобуй в отпуске.

— Простите? — не понял старик.

— Волобуй Ирена Михайловна в Кисловодске, — сказала ему Вераванна.

— Но она здорова?

— Да, — сказала Вераванна в рукопись.

— Благодарю вас, — проговорил старик и пошел к столу Ирены, небрежно притворив дверь. Трубку он держал двумя пальцами, как полную рюмку, и нес ее на отлете, и оттуда

шел сизый дым с припахом донника.— Я не слишком помешаю вам?— спросил он нас. Вераванна промолчала, а я сказал «ради бога» и закурил сам.

Старик сел за Иринин стол и тихо засмеялся там чему-то, постучав трубкой по стеклу осторожно и трижды, как стучат ночью в чужое, но ждущее вас окно. Я не заметил, по какому месту стекла он стучал там,— то ли по снимкам Хемингуэя, то ли правее и выше, где был портрет матери Есенина.

— Вы не знаете, когда вернется Ариша?— немного снисходительно спросил он у меня. Глаза у него были сухие, сине-вылинявшие, а брови широкие, грозные, с завитком. Я неуверенно назвал двадцатые числа августа, и он кивнул и снова критически поглядел на мою шляпу. Он был худовато и как-то вызывающе одет,— кирзовые сапоги с бахромой на концах голенищ, плотные кортовые штаны и гнедая вельветовая куртка, из-под которой бантом выбивался пестрый ситцевый шарф, делали его похожим на сказочных бродяг из рассказов Грина. Это сходство с ними усиливало лицо — крепкодубленое, в седой щетине и рубцах морщин. Я никогда не встречал таких внушительных советских стариков, но все, что я тогда мгновенно-радостно подумал, оказалось впоследствии моим вздорным домыслом,— вопреки разящей внешней несхожести их я вообразил, что этот человек — отец Ирены. Когда-то он — так мне хотелось — разошелся с дочерью, но в конце концов простил ее, хотя с Волобуем так и не примирился. Еще бы! Сейчас он, конечно, живет один, может быть, даже не в нашем городе — и правильно делает! Наверно, Вераванна была у Волобуя свахой — сводней и старик ненавидит ее, а она его и поэтому величает при нем Ирену Волобуихой... Он что-то начертил на листке блокнота, сложил его аптечным пакетиком и подсунул под стекло. На нас он не обращал внимания, и мне лично это не наносило морального ущерба — мне было отраднo следить украдкой за его лицом и за тем, как он изящно, глубоко и вкусно курил трубку и как до всего, чем был заставлен стол Ирены: бронзовый писающий мальчик, деревянный грачонок, плюшевая обезьянка, зацепившаяся хвостом за ветку пальмы,— по несколько раз дотрагивался мундштуком трубки с таким нежным ожидающим вниманием, будто грачонок или обезьянка были живые. Я снова подумал, что он смело мог быть отцом Ирены: ему здорово подходила фамилия Лозинский — как, например, мне моя, а Волобую — его! Я не уследил, когда он

взял с подоконника какую-то толстую новую книгу,— они там лежали двумя прибранными стопками, сложенные, наверно, Иренгой. Он читал ее минут десять, раскрыв на середине, и вдруг спросил у нас с Вераванной, что такое свет горний. Вопрос был неожиданный и странный, и мы молчали.

— Это,— сказал он нам сквозь дым,— то, чего нет у автора вот этой книги. Да и как он может написать что-нибудь дельное, если не касается по неведению двух таких великих стихий, как краски и запахи! Разве ему известно, к примеру, что свежесрезанная и очищенная от коры ореховая палка пахнет арбузом, настоящим хохлацким кавуном, а третья бутылка шампанского — конским копытом!

— Позвольте,— оторопело выпрямилась Вераванна,— почему это третья бутылка шампанского так... так идиотски у вас пахнет?

— Потому, уважаемая, что вторая еще пьется с наслаждением,— проникновенно сказал старик, и мне показалось, что он на секунду зажмурился.

— Но отчего же конским копытом? Кто это знает, как оно пахнет?

Вераванна, не моргая, поочередно оглядывалась то на старика, то на меня.

— В том-то и все дело! Писатель обязан совершенно точно знать, чем и что в жизни пахнет. Для этого надо обладать хорошим обонянием, а не только носом!

Старик кинул на подоконник книгу и встал из-за стола. Он ушел, как и появился,— в сизом дымном ореоле, небрежно притворив за собой дверь. Я почтительно спросил у Верыванны, кто этот человек, и она сухо ответила, что он бывший художник. Она не пожелала объяснить мне, почему он «бывший», будучи живым. Она считала, что этот вопрос мне следовало задать лично ему, старику, и мы замолчали...

В этот день, вечером, дома у меня горело тринадцать свечей. На них лучше всего было смотреть издали, из коридора,— оттуда пламя свечей виделось торжественней, потому что подставки под ними притушенно мерцали тогда каким-то таинственным древним сиянием. Свет свечей вызывал тихую сожалеющую грусть и потребность в опрятности: при нем почему-то нельзя было оставить в углу комнаты щетку, а в пепельнице — окурки, и тянуло к

несуетной работе по дому, и хотелось ступать неслышно для самого себя. Я переставил на новое место раскладушку — подальше от секретера, переместил радиоприемник и перевесил поближе к окну и свечкам единственную у меня картину — литографию врубелевского «Демона». Комната стала знакомо-чужой, будто я во второй раз пришел к кому-то в гости, но застал там лишь самого себя. Я сварил кофе и включил радиоприемник. По нашему «Маяку» под старинную рязанскую молодайку пела Зыкина, по «Би-Би-Си» ярились битлсы, а Варшава передавала то, что мне было нужно, — полонез Огиньского, «Афинские развалины» и «Танец маленьких лебедей». Мне не приводилось бывать на Кавказе, например в Кисловодске, и я стал думать о нем, как о вознесенном на скалу давно полуразрушенном городе-замке, — розово-светлом, повитом плющом. Там не бывает закатов солнца и люди носят белые одежды. Я перенес туда на скалу Бахчисарайский фонтан, развалины дворца хана Гирея и башню Тамары, — поэтичнее этого я ничего не помнил из книг о Кавказе, что годилось бы к перемещению. Я собирался мысленно спросить у Ирены, хорошо ли ей там сейчас после всего, что мною сделано для Кисловодска, но музыка прекратилась, и я услышал короткие торопливые звонки в коридоре. Ко мне редко кто заходил, и то, что я тогда подумал: «А почему бы ей не послать мне телеграмму?!» — было схоже с тем ударом на мосту: моя комната озарилась для меня сияющей вспышкой, и я побежал к входной двери. Звонили, наверно, давно и веряще в то, что я дома, потому что звонки были прерывисто-множественные, как сигналы бедствия. Я распахнул дверь. За нею стояли трое — чистенький щупленький лейтенант милиции, пожилой осанистый мужчина в кожаном картузе и женщина в квадратных очках. Она спросила, «чего я не открываю», и я извинился и отступил в коридор.

— Стоим, стоим, а он хоть бы чего!

Это опять сказала женщина, и я снова извинился. Лейтенант вскинул руку к козырьку фуражки и назвался участковым Пёнушкиным. У него хорошо это получилось — и ловкий взмах руки, и четкий пристук каблуков, и с удовольствием произнесенное слово «участковый». Он был белесый и синеглазый, и его, видно, распирала какая-то веселая и посторонняя от всех нас причина: иначе ему едва ли бы понадобилось здороваться со мной за руку, когда я назвал свою фамилию, и этим разрушать мое подозрение о недоброй цели своего визита с

понятыми. Он сказал, глянув на своих спутников, что на меня вот поступила жалоба от общественности дома, но тон его голоса не грозил мне бедой, и я открыл перед ним дверь в комнату, а у тех двоих спросил, угодно ли им войти тоже.

— Пускай заходят,— сказал участковый, и я пропустил их мимо себя. В комнате по-прежнему горели свечи, и свет их был тепел и ласков. Пёнушкин снял фуражку и прошел к окну, где стояли оба мои стула. Общественников я усадил на раскладушку,— мне не захотелось предлагать кому-нибудь из них второй стул, потому что на нем я решил сидеть сам.

— Так вот, товарищ Кержун, жалоба на вас поступила,— сказал Пёнушкин, косясь на свечи. Мы сидели с ним лицом к лицу, чуть не соприкасаясь коленями. Я сказал ему, что весьма сожалею, и спросил у общественников, удобно ли они там устроились. Женщина сердито что-то проговорила, и я поблагодарил ее, а участковому снова выразил свое сожаление.

— Вы не могли бы изложить существо жалобы?— сказал я.

— Давай, Птушкина,— кивнул он женщине,— в чем у вас дело?

— Он и сам знает, в чем,— сказала она.— Мы ведем на территории своего двора борьбу с пьяницами, а он вмешивается, срывает! Было это или нет?

— Это вы насчет рабочих со стройки?— спросил я.

— Не рабочих, а пьяниц,— выкрикнула Птушкина и поднялась с раскладушки. Я попросил ее не шуметь и сказал, что она ошибается: это в самом деле, сказал я, были штукатуры с соседней стройки.

— А хоть бы и штукатуры,— подал утробно-низкий голос ее сосед, тоже вставая.— Твое какое собачье дело?

— Не выражайся, Дерябин,— предупредил его участковый,— давайте разбираться по существу.

Он все поглядывал и поглядывал на свечи,— недоуменно и чуть подозрительно, и я наклонился к нему и сказал извиняюще, что жду гостей.

— Это ничего,— дозволил он.— День рождения, что ль, у кого?

— У невесты моей,— сказал я ему полушепотом и не почувствовал никакой неловкости за эту свою мгновенно придуманную радостную неправду.— А за штукатуров я действительно пару раз заступился тут,— признался я.— Видите ли, вся беда в том, что полы их

курток не прикрывают карманов брюк, и головки бутылок видны издали.

— Конечно, видны,— сказал Пёнушкин.

— Но бутылки у них пустые,— сказал я,— штукатуры изредка заходят в наш двор после выпивки, чтоб попеть песни за столом козлятников, понимаете?

Птушкина крикнула, что это брехня. Всем известно, сказала она, что эти штукатуры сперва пьют тут водку, а потом кричат всякие похабные песни, и Дерябин подтвердил это. Я сказал, что штукатуры никогда не пели в нашем дворе плохих песен.

— Будя брехать! — опять крикнула Птушкина. Пёнушкин солидно выслушал обе стороны. Он сдержанно разъяснил мне, что в ночное время во дворах и на улицах города петь запрещено, и я пообещал ему не вмешиваться больше в дела общественности дома.

Они ушли гуськом — первым участковый, следом за ним Дерябин, а замыкающей Птушкина. Я постоял немного в коридоре, затем прошел в комнату и зажег остальные одиннадцать свечей.

Синим погибельным огнем горел мой испытательный срок в издательстве: сто три страницы «Позднего признания» решительно не поддавались никакому отзыву, и я знал, чем это для меня пахнет. Потрясенная, видно, своим недолгим, «преступным» и трагическим счастьем, сосредоточившаяся на одном этом, Алла Элкина написала не повесть и не дневник, а что-то похожее на несмелый призыв к участию и, может, к прощению, потому что у них там с этим Р. было все, что в конце концов неминуемо вызывает непрошеное вмешательство посторонних. Могла быть и другая причина, побудившая эту женщину послать в издательство свою рукопись,— страх забвения случившегося с нею,— автору хотелось, наверно, чтобы пережитое не кончилось для нее в ту самую секунду, когда оно ее покинуло. Меня изнурила ее тихая хрупкая печаль, вымученная робкая откровенность и полное отсутствие писательского навыка. Закончив читать ее записки, я испытал сложное чувство немого удивления перед покоряющей силой обнаженного слова и осуждения себя за подглядывание чужой тайны. По разноцветным кольям восклицательных знаков, похожих на те, что наставил Вениамин Григорьевич в моих «Альбатросах», по его нечаянно оброненному в напутствие мне пренебрежительному слову «самотечная» я понимал, что «Позднее признание» надо забраковать, но как это сделать — не знал. Не хотел

знать. До конца моего испытательного срока оставалось четырнадцать дней, а до возвращения Ирены — десять. Мне, наверно, причитались кое-какие деньжонки по бюллетеню, но предчувствие изгона и предполагаемая мизерность суммы мешали пойти в бухгалтерию...

В тот день, когда появилась Ирена, была пятница. Ирена пришла раньше Верьванны. Я сидел за ее столом, щелкал мизинцем обезьяну на пальме и курил последнюю в пачке сигарету. Никогда потом Ирена не была такой неожиданно высокой, обновленно-смуглой и вызывающе гордой, почти презрительной. Она остановилась у дверей и длинно посмотрела на меня, скосив глаза к переносью, и я встал и пошел к ней. Я поцеловал ее в лоб — сверху, издали и молча, как покойницу.

— Я думала, что тебя нет. Совсем... Я зайду позже, сядь за свой стол,— сказала она, как при простуде. У нее возвратились на место глаза, но в росте она не уменьшилась.

— Я ждал тебя каждый день... Со свечками,— сказал я.

— С какими свечками? Почему со свечками?

— По числу дней. Двадцать четыре свечи, но позавчера я зажег их все,— сказал я.

— Я зайду позже. Мы с тобой не виделись, сядь скорей за свой стол,— почему-то ожесточенно сказала она и вышла, а я сел за свой стол. У меня почему-то похолодели руки и было трудно сердцу, будто я нырнул на большую глубину. Сейчас вот, на этом месте своей книги, я долго размышлял над тем, что это со мной тогда было, почему я испытал в ту минуту живую пронзительную тревогу за Ирену, как будто мне хотелось — издали и молча — оградить ее от какой-то далекой смутной беды. Впрочем, это у меня быстро прошло, и, когда появилась Вераванна, я неумеренно весело и искренне поздоровался с нею и сказал, что рад ее видеть.

— Скажите пожалуйста! Что это с вами случилось нынче? — спросила она.— Пятак на дороге нашли?

— Ничего не нашел,— сказал я,— но у вас сегодня неотразимо добрый свет глаз.

— Неужели? Вот не знала... А вам никто не говорил, что вы в своей шляпе похожи на архи... архихи-рея?

Вераванна, видимо, и сама сознавала, что обмолвка получилась смешной, потому что дважды пыталась поп-

равиться, но «архиерей» у нее не прояснялся, и я не удержался и захохотал.

— Дурак! Самовлюбленный пижон! — с неизъяснимой томной яростью сказала она, и в эту минуту в комнату зашла Ирена. Меня опять поразила в ней какая-то напряженная недоступность и готовно-стремительная собранность, как при опасности. Я ненужно поспешно встал и поклонился ей, а Вераванна, замедленно оглядев ее, удивленно спросила, когда они вернулись. Ирена сказала, что прилетела одна ночным самолетом, потому что доломитные ванны оказались ей противопоказаны.

— Надо же! Неделю не могла подождать... А Лавр Петрович как? С Аленкой остался? Вы же собирались к своим в Ставрополь заехать. Как же теперь?

Вераванна спрашивала дотошно и въедливо, с большими испытующими паузами и с каким-то стойким и ненавистным мне свекровьим правом на Ирену. Я встал из-за стола и вышел в коридор. Там я неожиданно для себя установил, что имя «Лавр» нельзя произнести, чтобы не рычать, что оно вообще не человеческое, а черт знает какое имя, Лавр, видите ли... В бухгалтерии, куда я так же внезапно для себя решил независимо зайти, мне не очень охотно и почему-то сердито старичок кассир выдал три замусоленные десятки и два трояка. Я купил в буфете пачку сигарет и, когда вернулся в комнату, то ни Ирены, ни Верыванны уже не застал. До конца рабочего дня я несколько раз звонил Ирене домой, но там молчали. От стола Вераванны нестерпимо пахло удушливой земляничной прелью.

По пути домой я купил бутылку шампанского, халу, ливерную колбасу и шоколад «Аленка». Я давно не ездил на «Росинанте», и он запылится и отчего-то присел на задние колеса, будто готовился к прыжку. Я обтер его, подкачал камеры и поехал на рынок за фруктами, — мало ли что могло там оказаться? Но рынок уже иссяк, фруктов никаких не было, и я купил два стакана тыквенных семечек, — раз ты сам что-нибудь любишь, то почему другой не должен любить то же самое! Звонить я поехал к той своей будке у моста, — меня никто не смог бы убедить в том, что это — несчастная для меня будка. Наоборот. У реки, возле моста, каждый на единолично-собственном клочке земли, упрямой шеренгой стояли удильщики. Они ловили тут на дикуна, но сырть, охотно брав-



шая его, воняла клоакой и нефтью. Я отрадно подумал о своем озере, о бабке Звукарихе, и хотелось, чтобы Ирена тоже приучилась когда-нибудь удить...

Будка была стыдно запакощена внутри всевозможными срамными рисунками и безграмотными надписями. И от этого, и еще по другим, смутным для меня самого причинам я не захотел звонить Ирене двумя копейками, а гривенника не оказалось. Возможно, тут все дело во мне самом, а не в тех кассиршах и продавцах различных магазинов, где я пытался иногда выменять нужную, срочную двухкопеечную монету, — я никогда не получал ее, если издали не оценивал, способен ли тот продавец и кассирша вообще оказать услугу, и это всегда оборачивалось для меня трудным, почти неразрешимым усилием. На этот раз дело было проще, — мне требовался гривенник, а не две копейки, но и его я заполучил лишь с третьей униженной попытки. Уже с ним, с гривенником, по пути к своей будке я подумал, что Ирена, например, не сможет отказать в помощи человеку. И я тоже не откажу. И бабка Звукариха. И Борис Рафаилович. И тетя Маня. И тот рыжий владелец «Запорожца». И наш директор Дибров. И «бывший» художник-старик, что назвал Ирену Аришей... А вот Вераванна откажет. И Волобуй тоже. И Птушкина с Дерябиным откажут. И черт-те сколько их еще, безымянных и нам неведомых, которые откажут! Я так и не решил, как поступят Вениамин Григорьевич Владыкин и участковый Пёнушкин. Они откажут? Или нет?

По тому, как Ирена поспешно, четко и приветливо сказала мне «здравствуйте, Владимир Юрьевич», я понял, что там в квартире есть кто-то чужой, кому не надо знать, кто звонит.

— Я, наверно, тот художник-старик, что оставил тебе под стеклом записку? — спросил я.

— Да-да, — засмеялась она. — Я нашла вашу записку, Владимир Юрьевич. Спасибо, что надумали позвонить. Как здоровье Анны Трофимовны?

— Толстеет неизвестно с чего, — сказал я.

— Передайте ей, пожалуйста, мое почтение, — сказала Ирена. Она говорила весело, почти озорно и совсем безопасно.

— У тебя сидит эта вальяжная ступа? — спросил я о Вереванне.

— Да-да.

— Я ее терпеть не могу! — сказал я.

— То же самое и там,— ответила Ирена.— Погода одинаковая, только в Кисловодске еще жарче. И устойчивей.

— Она сказала, что я дурак и самовлюбленный пижон,— пожаловался я.

— Эту новость я уже слышала, Владимир Юрьевич... Очень прискорбно, конечно.

— Я хочу тебя видеть,— сказал я.

— Непременно, Владимир Юрьевич. Звоните иногда.

— Через час, ладно? — сказал я.

— Да-да. Не забудьте поклониться от меня Анне Трофимовне.

— Гони скорей эту корову вон! — посоветовал я.

— Вы очень добры, Владимир Юрьевич... До свидания,— сказала Ирена.

Я оставил «Росинанта» под каштаном возле телефонной будки, а сам спустился к реке, но больше минуты не смог пробыть там, потому что отрешенная, безучастная занятость рыбаков показалась мне непонятной, дикой и просто противоестественной в том тревожном, что было вокруг,— стремительно текущая куда-то река, беспокойно-недобрый крик городских чаек, белесое и низкое городское небо с пожарно рдеющим на нем городским предзакатным солнцем. Я вернулся к «Росинанту» и сел на заднее сиденье: там можно было вообразить, что ты находишься не в своей, а в чужой машине; что через час ты не сам поедешь на ней куда-то, но что тебя повезут друзья; что тебя совсем-совсем ничего не тревожит, что все обстоит благополучно и надолго надежно...

Ровно через час я позвонил Ирине снова и не узнал ее голоса,— он был какой-то намученно-уклончивый и потерянно-тусклый. Она посторонне осведомилась, как я себя чувствую, и я поблагодарил.

— На работе все в порядке?

— Все,— сказал я.

— Ну и отлично.

— Я купил тыквенные зерна,— сказал я.

— Что?

— Белые семечки, говорю, купил. Два стакана...

— А, это вкусно...

— Ну вот видишь! — сказал я. Мы помолчали, и в трубке я слышал ее дыхание.

— Меня, наверно, прогонят с работы,— сказал я и объяснил почему. Она долго медлила, потом трудно спросила, где я нахожусь и со мной ли «Позднее призна-

ние». Мы условились встретиться на том самом месте, где расстались накануне ее отъезда в Кисловодск, — почти за городом. По дороге туда я заехал в издательство и взял дневник Элкиной. Наше овсяное поле было уже сизым, спелошафранным, легким и шумным, и на щербатых головках полинявших васильков одиночно ютились подсыхавшие к исходу лета шмели. Ирена приехала в автобусе. На ней было то самое черное полудетское домашнее платье, и прошла она к «Росинанту» по кювету, — уверенная и жалкая, как тогда...

У ручья в лесу, где под Вераванной когда-то пел круг, в кустах ольхи и краснотала уже копились предвечерние тени и было тихо и по-августовски свежо. Ирена сидела надломленно-беспомощная, прикрыв зачем-то ладонями тыквенные зерна, которые я еще на дороге близ города насыпал ей в подол платья. На нее было трудно смотреть, и я сказал, что мы уедем отсюда в ту же секунду, как только она скажет об этом. Она, как заводной куколенок, кивнула головой и зябко поежилась, вдавливаясь в сиденье. Я снял с себя свитер и набросил его ей на плечи.

— Надень с рукавами, а я пойду разожгу костер, — сказал я, и она опять кивнула бессмысленно и трогательно... Ручей усох и чурюкал невнятно и вкрадчиво. Он почти зарос дикой мятой, а там, где кромка берега была доступна солнцу, розовыми круглыми наметями стлался чебрец — ладанно-пахучий и шелестяще-ломкий, как иней. Костер я развел прямо на берегу ручья у трех тронно возвышенных островков чебреца, чтобы на среднем из них поставить шампанское, а на крайних сидеть самим. Я стоял у костра и ждал, пока он разгорится, и, когда обернулся, чтобы идти к машине, увидел позади себя Ирену. Она была в моем свитере, доходившем ей до коленей. Она была совсем маленькая и изнуряюще невообразимая со своим трепетно-жертвенным и доверчивым взглядом, вонзенным в меня. Я подхватил ее на руки, и она обняла меня за шею, и мне стало нечем дышать...

Костер чуть тлел, — она не согласилась разжечь его до неба, как хотелось мне, и я знал почему: боялась, что нас заметят с дороги. Он чуть тлел, и прямо над нами стояла высокая синяя звезда с двумя косо-отвесными

белыми рогами. У нас не было никакой посудинки под шампанское, а пить из бутылки Ирена не умела. Она сидела против меня на своем чебрецовом троне и то и дело оглядывалась в темноту за собой — на шоссе.

— У этой дуры что, своей семьи нету, чтоб не следить за чужими, черт подери? — спросил я о Вереванне.

Ирена помедлила и сказала, что она одинока.

— Она лахудра, — сказал я. — Кто ей мешал самой выйти за твоего коротышку? Или ты у ней отбила его?

— Ты не мог бы не говорить мне этого? — прибито попросила Ирена.

— Почему? — спросил я.

— Ну, хотя бы из соображений пристойности.

Я пожалел, что сказал это, и поцеловал ее ладони. Она всхлипнула и ткнулась головой мне в грудь.

— Ты не знаешь, как мне будет противно увидеть себя завтра в зеркале! А тут еще она, Вера... У нее и фамилия какая-то родственная с ним — Волнухина. Волбуй — это грибок?

По-моему, существовал грибок валуй, но я не стал это уточнять. Какая разница!

— Но ты все равно будешь думать не то, что было и есть, — сказала Ирена. — Я вышла замуж, когда мне шел шестнадцатый год...

Я встал, отошел за костер и оттуда спросил:

— Такая волобуйная страсть нашла?

— Да! Страсть! — на крике сказала она. — В тридцать восьмом году мой отец комбриг Лозинский и мать военврач первого ранга... Я четыре раза убежала из детприемника, пока...

Я тогда уже держал ее на руках и пытался зачем-то зажать ей рот. Я не давал ей говорить, и у меня в затылке колюче ворочался комок боли и сердце подпирало гортань. Из рта Ирены под моей ладонью выбивался скулящий зверушечий вой. Я ходил вокруг костра, выкрикивал ей в темя слова утешения пополам с угрозой, и она постепенно затихла. Она была совсем невесома. Мне вспомнилось, как ей трудно было тащить тогда в городе резиновый матрац, полунаполненный воздухом, и я подумал, что в двадцать лет еще можно нажать силу, а в тридцать один — едва ли.

— Вот пришел великан, — сказал я. — Такой большой, большой великан. Вот пришел он и упал. Понимаешь? Взял и упал!

Ирене, наверно, было уютно у меня на руках, и она не пыталась сойти на землю. Уже в середине ночи мы обновили костер, и я сделал из шоколадной фольговой обертки бокал для Ирены. Мы опять сидели на своих прежних местах, и Ирена была до слез дорога мне, утонувшая в моем свитере, бережно державшая обеими руками этот мой звездно мерцавший бокал.

— Послушай, Антон,— вдруг просительно сказала она,— а тебя ничего не стыдит и не давит обидой из твоего прошлого?

Я не понял.

— Ну из поступков...

Она отодвинулась от костра, чтобы быть в тени, а я боялся услышать от нее самой что-нибудь темное и ненужное для нас обоих,— мало ли каким мог быть ее собственный поступок!

— Ты не хочешь говорить?

Я видел, что ей самой становится страшно.

— Почему ты молчишь?

— Я воровал,— сказал я.

— Воровал? Когда?

— Когда убегал из детприемников. Это всегда случилось летом, и я жил на рынках...

— Ну говори же!

— В последний раз я обокрал пьяного сонного старика, когда мне было шестнадцать лет.

— Антон, милый... Обокрал?

— Да. Это был сторож нашего ФЗУ,— сказал я.— У него оказалось всего три рубля. А что ты?

— У меня страшней... Мне было пятнадцать лет,— сказала она и заплакала. Я поправил костер и не тронулся с места.— Это было осенью в Энгельсе. Я зашла домой к своей учительнице. Так просто зашла... У них тогда какие-то заключенные под охраной пилили в сарае дрова...

— Черт с ними со всеми! — сказал я ей через костер.— Я ничего не хочу знать. Чище тебя нет ни снаружи, ни изнутри!

Она поперхнулась каким-то словом и, с радостным сумасшествием взглянув на меня, сказала, что я помешанный.

— Я только блин украла, дура-ак,— в слезный распев заголосила она и смяла бокал. Я кинулся к ней и посадил к себе на колени.

— Какой блин, дурочка?

— Горячий! Я ждала, пока они ели, а потом...

— Вот пришел великан, — перебил я. — Такой большой, большой великан, слышишь?

— Я спрятала его под берет... но все думала, что он виден, и закрывала голову руками...

— Пришел и упал, понимаешь? — сказал я.

— Лидия Павловна догнала меня во дворе и сняла берет... При тех, что пилили... Она думала, что я укра- ла зеркальце...

— Зацепился ногой за ступеньку и упал! Почему ты не слушаешь? — крикнул я. — Сейчас же замолчи! Сейчас же!

В город мы вернулись на заре.

Отзыв на повесть Элкиной Ирена уместила на двух страничках, но за счет величины букв и ширины полей я довел их до трех с половиной. Самотечную рукопись «Позднее признание», по моему мнению, нельзя было, к сожалению, рекомендовать издательству, ибо все, что заложено в нее автором, могло явиться пока лишь подсобным материалом для будущей книги. Я считал, что сюжет рукописи беспомощно рыхл, а поведение и взаимоотношения действующих лиц лишены психологической основы и убедительности. У меня создалось впечатление, что А. Элкина написала свою повесть, так сказать, не переводя дыхания, мало заботясь об отделке страниц, не придерживаясь элементарных законов, по которым создаются книги, — четкая идея, строгая фраза, сознание нужности сказанного советскому читателю. Самый главный недостаток повести я видел в том, что автор не справился с задачей показать богатый внутренний мир наших современников, их духовный облик, красоту и страстность общественно значительных поступков.

Вениамин Григорьевич встретил меня пасмурно. Наверно, оттого, что день был сумрачный, в его кабинете устойчиво залегала тускло-цветная полумгла, побуждавшая к молчанию и тревоге. Пока он читал мой отзыв, я стоял у стола между стульями и держал руки по швам, — больше их некуда было деть.

— Та-ак, — сказал он неопределенно. — Вот то же самое получилось и с вашей повестью, товарищ Кержун. Мелкий факт быта еще не значит факт жизни, понимаете?

— Конечно, — сказал я.

Мне до сих пор непонятно самому, что толкнуло тогда меня на безоглядно вздорную похвальбу, хотя сказал я это твердо и даже с вызовом, — я сказал, что мои

«Альбатросы» приняты молодежным журналом. Вениамин Григорьевич поднял на меня глаза и посмотрел испытующе-собранным и затаенно, как смотрит рыбак на поплавок, когда тот качнулся и замер.

— Журнал что же, письменно уведомил вас?

— Письменно,— сказал я. Руки я держал по швам.

— Ну что ж. Это хорошо. И когда они намерены печатать?

— В декабрьском номере,— сказал я, как во сне. Я стоял и вспоминал о необъяснимо удивительном случае, когда однажды ночью на моего «Росинанта» надвинулся слепой МАЗ. Он выскочил из-за пригорка шоссе по левой стороне и ударил меня светом метрах в пяти или шести. Я помню, что мои глаза, руки и все тело отключилось тогда от моей воли, подчиняясь какой-то неподвластной мне безымянной силе самопроизвольного расчета и действий. Я думаю, что только благодаря этому мы разминулись в ту секунду с МАЗом, и теперь, стоя перед Владыкиным, я надеялся, что тут это тоже как-нибудь пройдет и я останусь цел. Он по-прежнему смотрел на меня ожидающе, со смутным оттенком недоверия, и моя правая рука самостоятельно торкнулась в задний карман брюк и извлекла записную книжку. Я перелистал ее, но ничего не нашел. Это, наверно, должно было означать, что извещение журнала я оставил дома или же утерял. Вениамин Григорьевич сказал «ну-ну» и спрятал в стол дневник Элкиной вместе с моим отзывом. Рукопись, которую он выдал мне для работы, называлась «Степь широкая». В ней было шестьсот страниц, и она значилась в плане издательства на будущий год.

О своем вранье Владыкину я рассказал вечером Ирине. Она нашла, что тут нет ничего ни позорного, ни опасного. Ну, скажу, если он поинтересуется в декабре, что, мол, перенесли на февраль. Или вообще раздумали. Мало ли? Действовал же я так, по ее мнению, только потому, что хотел психологически воздействовать на него из чувства самосохранения. Только и всего...

Несмотря на то что с Вераванной я был, по совету Ирины, не человеком, а облаком, она встречала мою тайно торжествующую вежливость с непонятым ожесточением и подозрительностью. Я чувствовал, что ее раздражали мои свитера, шляпа, ботинки, запах «Шипра», моя походка и мой рост. Ее появление по утрам я каждый

раз приветствовал теперь стоя, с серьезным и вполне учтивым поклоном, но она почему-то воспринимала это как насмешку, и лицо ее покрывалось бурными пятнами. Мне полагалось ждать, пока она первой усядется за свой стол, и я так и делал, и это опять-таки встречалось глухим отпором. Когда я спрашивал у нее разрешения курить, она, уже сося леденец, говорила «отштаньте от меня», и грудь ее колыхалась как кочка на трясине. Я извинялся и курил в коридоре, а возвращаясь, предупреждал ее об этом стуком в дверь. Ей тогда приходилось говорить «пожалуйста», но, поскольку это был всего-навсего я, она откровенно фыркала и злилась.

— Что вы кочевряжитесь? Больше вам заняться нечем?

Я с большим удовольствием послал бы ее к чертовой матери, но Ирена говорила, что этого нельзя делать.

К тому времени, когда нам приходила пора возвращаться в город, костер обычно дотлевал полностью, и я прикрывал горячую золу чебрецом или листьями ольхи. Мне всегда было грустно покидать эту жалкую сырую кучку пепла: тогда невольно думалось о неизбежном конце любых земных горений и хотелось, чтобы зола не остыла до ночи, когда нам тут опять можно будет воскресить новое живое чудо. В ту зарю, когда Ирена уже в самом городе приказала мне вернуться к ручью, был наш четвертый сгоревший там костер. Я не стал ни о чем ее спрашивать, развернул на обратный курс «Росинанта» и выжал из него все, на что он был способен. Наша поляна была обновлена робкой световой зыбью зарождавшегося дня, и от горки пепла, из-под чебреца, которым я прикрыл перед отъездом прах костра, выбивался розовый и витой, как буровец, столбик пара.

— Жив! — счастливо и хищно сказала мне Ирена.— Ты хоть что-нибудь понимаешь из этого?

— Понимаешь из этого!.. Ты же редактор областного издательства художественной литературы,— сказал я, восхищенный тем, за чем она сюда вернулась. Тогда с нею произошло какое-то странное преобразование: в ее подбигающихся к моему лицу руках, в сузившихся и скосившихся к переносью глазах, в покривившихся полураскрытых губах и вообще во всей фигуре появилось что-то мстительное и старинно-степное — ни дать ни взять настигнутая врагом черемиска!



— Ты хочешь меня оцарапать? Давай,— засмеялся я.

— Откуда ты это знаешь? — отшатнулась она.— Господи, что я говорю! Антон, скажи мне... Это всегда-всегда бывает у замужних женщин? У всех?

— Что? — не понял я.

— То, что у меня теперь с тобой... Я тогда лечу и лечу! Я никогда этого не знала, слышишь? И рождение Аленки тут совсем ни при чем, понимаешь, о чем я говорю?

— Да,— сказал я.— Когда он возвращается?

— В понедельник, двадцать первого.

— Он же хотел заехать в Ставрополь,— вспомнил я.

— Нет... Я получила вчера телеграмму.

— Дерьмо он! — сказал я.

— Нет. Он хуже... Ему нельзя было так меня обрадовать, нельзя!..

Я поцеловал ее и сказал о великане, как он зацепился за порог. Мы выехали на шоссе — пустынное и чистое. Из-за города вставало солнце и ослепляюще било мне в глаза.

— Мы сейчас поедem прямо ко мне,— сказал я,— а в понедельник заберем Аленку.

Мысль эта пришла мне в голову мгновенно, и я ощутил, как под шляпой у меня упруго выпрямились волосы, вздыбленные ознобным восторгом, похожим на ужас.

— Куда к тебе? Что ты говоришь?!

Ирена отодвинулась от меня к дверке.

— На Гагаринскую,— сказал я.— В воскресенье мы обвенчаемcя в Духовом монастыре. Ты будешь в белом платье!

— Что ты говоришь? В каком монастыре? Ты сошел с ума!.. Он убьет сперва меня, потом тебя и... всех!

— Убьет? Этот кожаный мешок с опилками? Я распорю его по всему шву, вот так! — показал я рукой, как распорю его.

— Я тебя боюсь! — воскликнула Ирена.— Высади меня, пожалуйста, тут. Останови!

Мы уже въехали в город. Он был еще малолюден. Я погладил Ирену по плечу и сказал, что довезу ее до моста, а там она дойдет сама.

— Конечно, там дойду,— сказала она, как заблудившийся было ребенок, которому показали дорогу к его дому.— Не надо так больше пугать меня, ладно?

И все-таки день этот получился для меня хорошим. Я тогда проспал,— прилег на раскладушку, не раздеваясь, а когда проснулся, шел уже двенадцатый час. Я спустился в подъезд, чтобы позвонить Ирене и спросить, как быть. Она подумала и голосом Владыкина сказала, что все порядочные советские люди имеют обыкновение спать ночью.

— Днем они, товарищ Кержун, создают!

— В том-то и дело,— сказал я.

— Это не оправдание. У вас есть какие-нибудь уважительные причины опоздания на работу?

Я признался, что в самом деле боюсь попасться Владыкину на глаза.

— Я вам не Владыкин, а Вениамин Григорьевич!

Ей почему-то было весело.

— Ты что там дуришь? — сказал я.

— Пришла вторая телеграмма. Там решили заехать в Ставрополь,— сказала она.— А Владыкин с нынешнего дня в отпуске. Что же касается председателя месткома товарища Волнухиной, то ее тоже нет сейчас в издательстве. Она завтра утром отбывает в Сочи. Тебя это устраивает?

— Вполне,— сказал я.

— Очень рада! А почему ты все же спишь днем, а не ночью?

— Да вот связался с одной полуночной шалавой,— сказал я.

— Ах, вот что! А она в самом деле шалава? Или только шалавка?

— Шалавка! — сказал я.

— А она хорошая?

— Так себе...

— А ты ее любишь?

— Очень!

— А она тебя?

— Это пока не совсем ясно ей самой.

— Ах ты пижон несчастный! Мало тебя били тогда женским чулком! Врун детприемовский! «Мои «Альбатросы» печатаются, видите ли, в двенадцатом номере».

— Ты чего там разболталась? — сказал я. Мне очень хотелось видеть ее в эту минуту.— Когда мы нынче встретимся?

— В три часа дня в издательстве. Я приду с Верой, чтобы взять у ней рукопись для доработки. Пожалуйста, веди себя тогда прилично, ладно?

— Шалавка ты,— сказал я.

Когда они появились, я встретил их стоя молчаливым поклоном из-за своего стола. Полноте добротности поклона мешала, конечно, шляпа на моей голове, но тут ничего нельзя было поделать, и Вераванна, уже разомлело приутовленная к отбытию в Сочи, решительно игнорировала его, а Ирена сделала мне за ее спиной легкий грациозный кникс. Она, наверно, сознавала, как искристо блестят и торчат ее глаза, и, чтобы скрыть это от Верыванны, сразу же прошла к окну. Я тогда тайно поблагодарил судьбу за все мне уже посланное в жизни — от детприемников и до чулка с оловяшкой, так как подумал, что без всего этого нам бы не жечь с Иреной своих костров. Еще я подумал — но уже совсем сумасбродное, специальное для Верыванны,— что вот возьму и вскочу со стула и подниму на руки Ирену и поцелую ее в глаза, и не по одному разу, а по четырежды четыре, и что ты нам сделаешь, попа ты этакая? Завизжишь, как подколотая свинья? Ну и визжи!

— Вот, Ириш. От закладки на триста седьмой странице,— томно сказала Вераванна. Вид у нее был скорбно-страдальческий, и рукопись она протянула Ирене через стол, не вставая со стула.

— А сколько там всего? — спросила Ирена в окно, не оборачиваясь.

— Четыреста шесть... Остались какие-то пустяки. Ну сколько тут, господи! Тебе это на три вечера...

— Конечно... Мы ведь условились,— вибрирующим голосом сказала Ирена. Она припала к подоконнику, заваленному книгами, и я заметил, как содрогаются ее плечи в беззвучном смехе. Было непонятно, какой бес ее разбирал, но мне оказалось достаточно одной догадки, что она боится взглянуть на меня, чтоб нам не расхохотаться одновременно, как в свое время в лесу, и меня начал душить смех. Я заклинал себя удержаться от желания взглянуть на Веруванну,— она что-то подозрительно притихла, но взглянуть очень хотелось. Она по-прежнему держала на весу рукопись, где для Ирены «остались какие-то пустяки», и, привлеченная моими горловыми звуками, похожими на подавляемую икоту, глядела на меня брезгливо и удивленно.

— Если б вы только знали, что тут написано! — сказал я ей и так же, как и она, приподнял над столом свою рабочую рукопись. Тогда все еще могло обойтись благополучно, не скажи она капризно «отстаньте от меня, пожалуйста, очень мне нужно». Но она сказала это, и я рассмеялся.

— Вера!.. Иди скорей! Ты только посмотри, что тут творится,— задуманно сказала Ирена в окно. Вераванна подошла к ней, и неизвестно, чем бы все это кончилось, не войди тогда к нам тот «бывший» художник, от имени которого я разговаривал с Иреной по телефону, когда у нее торчала Вераванна. Он заглянул в дверь, оставаясь в коридоре,— сердитый, о чем-то думающий и с трубкой, как в первое свое появление.

— Аришенька? Рад тебя видеть, деточка,— сказал он Ирене, заметив ее, и было видно, что он на самом деле обрадовался. Ни с Вераванной, ни со мной он не поздоровался, а Ирене поцеловал руку.

— Как отдохнула?

— Хорошо, а как вы поживаете? Анна Трофимовна здорова? — чересчур поспешно спросила Ирена.

— Толстеет неизвестно с чего,— небрежно сказал старик.— Вы нашли мою записку?

— Да-да,— растерянно подтвердила Ирена. Я поймал ее взгляд, уперся подбородком в ладонь и прикрыл указательным пальцем губы,— «не давай, мол, задавать ему вопросы, спрашивай сама».

— Вы хорошо выглядите, Владимир Юрьевич,— сказала Ирена.— Что у вас новенького? Кончили писать монастырь?

— Почти,— ворчливо отозвался тот. Вераванна все заглядывала и заглядывала в окно, но во дворе издательства, конечно, ничего не «творилось». Ни смешного, ни грустного.

Минут через десять они ушли — Ирена с «бывшим» впереди, а Вераванна с рукописью сзади. Старик не попрощался со мной, и это, как я подумал, было не обязательно, поскольку мы не поздоровались сначала.

В тот раз мы впервые за неделю не смогли поехать к своему ручью, потому что Вераванна улетала в четыре часа утра, и Ирена, как она выразилась, должна была провожать ее в добропорядочном виде.

— Вот так, мой шушлик! — сказала она мне в телефонную трубку. Я не понял, кто я, и она повторила.

— А что это такое? — спросил я.

— Это значит суслик. Так тебя называла бы Вера, если бы...

— Если бы я?

— Нет, не ты... Если бы не я!

— Это потряшно! — сказал я. Мне стало совсем весело.— Ты что там сочиняешь!

— А почему ты притворяешься передо мной, будто

не понимаешь причины ее недовольствия? Но, возможно, у вас все еще наладится. Тем более что человек она свободный, разведенный...

— И пышный,— подсказал я.

— Еще бы!

Голос ее изменился, в нем была уже злость пополам с обидой.

— Ты что там чудишь? — сказал я.— И кто этот «бывший» старый пират, который величает тебя Аришей, а со мной не здоровается и не прощается?

— Бывший? Почему бывший?

Она спросила меня об этом строго и как чужого. Я сказал, что так называет его товарищ Волнухина.

— Ах вот что. Это, очевидно, у нее производное от слова «отбывал»,— предположила Ирена.— Я иногда устраиваю ему халтурку, иллюстрации к детским книжкам.

— Все понятно,— сказал я.— Но мы все равно не встретимся?

— Сегодня нет. Слушай, Антон... Скажи мне, про свечки ты все выдумал тогда, да?

— Ты можешь их увидеть сама в любое время,— сказал я.— Что с тобой стряслось?

— Не знаю,— тихо сказала она,— мне что-то подумалось...

— О чем?

— Я, наверно, не хочу, чтобы ты сидел с нами в одной комнате, понимаешь?

— С вами? — спросил я.

— С нею!

— Господи ты боже мой! — сказал я.

— Ты меня крепко любишь?

— Дурочка! Где ты там есть? — крикнул я в трубку.

— А ты сам где?.. Ложись пораньше спать, ладно?.. Не шаландайся по улицам...

Мне почудилось, что она плачет.

Когда тебе долго-долго не спится, а в комнате стоит удушливая меркло-серая тишина, подсвеченная в окно уличным фонарем, в это время хорошо — точно и беспощадно — думается о многом: прошедшем и настоящем, реальном и выдуманном, дозволенном и запретном, и все это в конце концов сводится к одному большому-большому вопросу — как жить дальше...

Утром, еще по безлюдью, я поехал на бензоколон-

ку и за восемьдесят семь копеек — все, что у меня осталось, — приобрел пятнадцать литров бензина. Все еще по безлюдью я благополучно проделал несколько рейсов от вокзала до рынка, — была пятница, базарный у нас день. Перевозить пришлось деревенских торговков с громоздкими корзинами и мешками — таксисты не брали их с таким багажом, — и к семи часам я заработал девять рублей деньгами и полведра яблок натурой. После этого я вернулся домой и принял душ. Под темный костюм не шла соломенная шляпа, а берет сваялся и сел, и его пришлось стирать и натягивать на тарелку. Я так и не мог решить дома, какие розы купить по дороге на работу — одни белые или разные? И сколько их надо — три или четыре? Оказывается, четыре. Три белые и одну черную: это стало ясно на рынке. В издательство я занес розы в бумажном пакете, а в своей комнате укоротил на них стебли, встроил в стакан с водой и поставил на стол Верыванны. Я впервые тут свободно и с удовольствием закурил и принялся за работу. Рукопись «Степь широкая» оказалась романом о целине. Начинался он с того, как демобилизованный солдат Антон Павлович Беркутов привез в степь с Большой земли глухую обиду на человеческую неблагодарность: девушка Тося, с которой у него была «большая дружба», не захотела ехать с ним в Казахстан. «Ну и плевать на нее», — солидарно сказал я ему вслух, потому что как-никак этот Беркутов был моим тезкой. На столе Верыванны давно уже мурлыкал телефон, но я не сразу осмыслил свое право отзываться на его звонки. Я снял трубку и сказал, что издательство художественной литературы слушает.

— Это невероятно! Даже художественной? А кто со мной говорит?

Голос у Ирены был насмешливый и радостный.

— Младший редактор отдела изящной прозы Антон Павлович Кержун, — сказал я.

— Сроду не встречала такой надменной фамилии! Хотя позвольте. Вы, случайно, не тот Кержун, который однажды... — Она осеклась и замолчала.

— Который что? — спросил я.

— Ничего. Почему ты мне не позвонил за все утро?

— Который однажды что?

— Не допытывайся, Антон. Я не скажу.

— Нет, ты обязательно скажешь. Сейчас же! — сказал я.

— Ну ладно, горе ты мое... Я хотела пошутить на-

счет твоего сторожа ФЗУ, но вспомнила свою учительницу, и дошучивать не захотелось. Удовлетворен?

— Да,— сказал я.

— А почему ты не звонил?

— Ждал, пока ты проснешься после проводов.

— Я совсем не ложилась, глупый!

— Тогда слушай сюда,— сказал я.— В семнадцать ноль-ноль мы едем венчаться...

— Куда венчаться? Что ты опять выдумываешь? Я же тебя просила...

— Мы обвенчаемся на озере, одни. Совсем без никого. Отсюда это сорок километров. Вернемся утром в понедельник. Едешь?

Она молчала.

— Ты вернешься домой, на свою Перовскую,— пообещал я. Дыхания ее не было слышно, и мне очень хотелось знать: как она меня слушает, стоя или сидя? Сам я стоял.

— Что надо взять с собой? — издалека спросила она.

— Хлеб, десять брикетов дрожжей, перец для ухи и две ложки,— сказал я,— все остальное найдем там.

— У кого найдем? Ты же говорил, что мы будем только вдвоем!

Я объяснил, что там живет одна моя знакомая бабка.

— А зачем нам дрожжи?

Это я объяснил тоже.

— Хорошо,— покорно сказала она.— Я буду ждать там, где всегда.

— Ничего подобного! Я приеду за тобой на Перовскую. Ровно в пять,— сказал я. Она молчала, и я не слышал ее дыхания.

Эта наша пятница выдалась тогда как по заказу — было солнечно и жарко, но без зноя, и поднебесно-широкий полет городских стрижей обещал такую погоду по крайней мере еще дня на три. Мы, наверно, раскинем палатку, думал я, на моем прежнем месте и до заката солнца успеем словить что-нибудь на уху. Хотя бы десяток окуней. Этого вполне хватит. Надо только не забыть остановиться при выезде из города возле молочного магазина и прихватить две банки из-под сметаны вместо рюмок: я вез бутылку шампанского и пол-литра польской чистой водки wyborowej. Еще в тот раз, когда я подво-

зил на улицу Софьи Перовской матрац, мне подумалось о доме под номером десять, что жить в нем, наверно, невесело и трудно: дом был трехэтажный, готически стремительный и узкий, из красного глянцевого кирпича старинной выделки. Это был какой-то сумрачно-холодный и прочный голландский особняк, а не русский дом, а сколько можно жить в голландском особняке за его кирхообразными стрельчатыми окнами, если знать, что рано или поздно, но все равно надо будет собираться домой! Он стоял в глубине, а не в линию с соседними домами, и поэтому широкий квадрат тротуара перед ним казался пустым и неприветливым, как запретная зона. Я подъехал к этой зоне ровно в пять часов, захватил розы и пошел в подъезд особняка. Там оказалась железная, колокольню крутая и тесная лестница, поэтому рюкзак, который несла Ирена, не помещался сбоку, и она спускала его впереди себя.

— Ты сумасшедший! Скорей иди в машину! — сказала она мне шепотом, глядя не на меня, а на розы. Я подал их ей издали с нижней ступеньки лестницы, и она выпустила лямку рюкзака и пошла к «Росинанту» дробными неспорыми шагами, неся перед собой розы, как носят факел. Она была в белом платье и голову держала прямо и напряженно, будто все те прохожие, что встречались нам на тротуаре, знали, куда и зачем она идет. Я шел раскачной корабельной походкой в полутора шагах сзади, чтобы загородить ее от окон особняка, и рюкзак прижимал к животу, чтобы его тоже не было видно из окон. Ирену прибило не к передней, а к задней дверце «Росинанта», и я впустил ее внутрь, положил рядом рюкзак и совершенно серьезно — для них, кто хотел слышать, — спросил ее, как глухую, за кем сперва заезжать, за товарищем Владыкиным или за Дибровым?

— За товарищем Дибровым сначала, пожалуйста, — сказала Ирена. На окна я не оглядывался, но подумал, что «Росинант» мог быть поновей и посolidней, — не обязательно «Волгой», но хотя бы «Запорожцем». Он снялся с места рывком, и о банках из-под сметаны мне вспомнилось уже за городом при съезде на лесной проселок, что вел к озеру. Там я остановился и перевел Ирену на переднее сиденье.

— Ну, здравствуй! — сказал я ей. — Спасибо тебе за белое платье.

— А тебе за розы, — растроганно сказала она.



— Я хороший у тебя малый?

— Да,— сказала она.— Но ты совсем сумасбродный. Как ты мог явиться с ними на виду у всех? Что же будет потом, после?

С нами, значит, ехал Волобуй. И Вераванна. И Владыкин с Дибровым. И весь город. Проселок был разбит и разъезжен тракторами. Я норовил держаться между колеями, но диффер зарывался в песок, и приходилось то и дело переключать скорости, выжимать до отказа газ, злиться на «Росинанта» и на то, что черную розу Ирена устроила в середину трех белых,— она, значит, не хотела,— ну и пусть не в самом городе, а тут вот, в лесу,— вышвырнуть ее за окно! День для меня померк, и ехать становилось все трудней и трудней. Я смотрел вперед, молчал и не видел Ирену.

— Вот там, кажется, можно развернуться,— сказала она мне в плечо так, будто мы только за тем и забились на этот проселок, чтобы найти место, где можно развернуться. Я сказал «да», вырулил на полянку и развернулся. Я поехал по своему же следу, но с удвоенной сосредоточенностью, а сердце кричало Ирене, чтобы она сейчас же приказала мне остановиться!

На шоссе я закурил и увеличил скорость,— мы возвращались в город.

— Дай мне, пожалуйста, сигарету тоже,— бесстрастно сказала Ирена. Она не смотрела на меня и розы по-прежнему держала на весу, как держат подсвечник с горящими свечками. На мое вежливое «ради бога» она с неподражаемым достоинством сказала «благодарю» и закурила и отвела от себя сигарету тем плавно грациозным движением, которое доступно только женщине с тонкими аристократическими руками. Я ехал, намечал телеграфные столбы и ждал — вот у этого или у того она прикажет остановиться. Или взглянет на меня,— этого вполне хватило бы, чтобы я повернул назад. Но она молчала, а когда мы достигли пригорода, отстраненно проговорила, что выйдет тут. Я сказал «как будет угодно» и стал притормаживать. У меня ломило в затылке, и сердце я ощущал в груди так, будто там ворочался ежик и устраивал себе гнездо. Ирена вышла из машины, и я подал ей рюкзак. Она взяла его в левую руку, потому что в правой держала розы, и пошла к автобусной остановке. Рюкзак бил ее по ногам и волочился по тротуару, а я сидел в машине под властью какой-то немой сладострастной муки

саморазорения и ничего не мог поделывать — ни позвать ее, ни шевельнуться.

Вряд ли можно объяснить, зачем мне понадобилось ждать, пока уйдет автобус, в котором скрылась Ирена, и лишь после того погнаться за ним. Я несколько раз обходил его, а на остановках выбегал из «Росинанта» и становился у выходных дверей автобуса, — Ирена всякий раз видела меня, но автобус уходил, и я обгонял его снова. На пятой остановке — уже перед центром города — она тем же приемом, что и на лестнице своего дома, спустила со ступенек автобуса рюкзак, и я забрал его у ней, а ее взял под локоть и повел к «Росинанту», как слепую, — немного впереди себя. Розы она несла в правой руке. Они растрепались и сникли, — их можно было выбросить к чертовой матери все. Я сказал ей об этом уже в машине. Сказал я и о черной — для чего ее покупал и что имел в виду.

— О, какой дурак! Какой дремучий дура-ак! — изумленно ахнула Ирена. — При чем тут Волобууй!

Она выпустила за окно черную розу и заплакала тихо, горько и беспомощно. Видеть это было невыносимо, и как только мы опять очутились за городом, я самобичующе сказал, что она еще не представляет себе, какая я несусветная сволочь! Ирена перестала плакать и притаенно насторожилась.

— Ты думаешь, Волнушкина не права насчет того, что я самовлюбленный пижон? — спросил я.

— Она пока что Волнухина, — напомнила Ирена.

— Черт с ней, — сказал я, — все равно она права.

— Предположим, хотя исповедоваться передо мной ты несколько запоздал. Не находишь? — Ирена смотрела на меня влажным раскосым взглядом, в котором таились ирония, растерянность и любопытство. — Что же за тобой водится?

— Все, что хочешь, — сказал я. — Уже в детприемниках я считал себя лучше всех. Вообще необыкновенным... Я как-то увидел над своей тенью золотой обруч вокруг головы. Это случилось летом, рано утром, когда нас гнали на речку купаться. Ни у кого такого обруча не виднелось, только у меня одного!

— И что же?

— Лет до четырнадцати я считал это... вроде отметки на мне свыше, что ли. Может, поэтому я чаще других убегал на волю...

— А потом?

— А потом узнал, что такой солнечный нимб светится в росной траве над тенью каждого, но видится он только самому себе.

— Но ты поверил этому не до конца, да? И как теперь проявляет себя твой нимб?

— По-разному,— сказал я.— Ты знаешь, например, что я сделал сегодня, когда покупал тебе розы? Я нечаянно вступил в лужу, вытер ботинок новым носовым платком и отшвырнул платок в сторону. Вот так отшвырнул,— показал я, каким жестом это было сделано.— Но суть не в платке,— сказал я,— а в моем злорадстве оттого, что за него подрались две торговки.

— Понятно. Какие еще за тобой пижонские грехи? — внимательно спросила Ирена.

— Многое. Меня бесят маломерные пожилые пенсионеры с толстым низким задом в полинялых военных брюках. Мне они представляются олицетворением какого-то долголетнего незаконного благополучия!

Ирена отвернулась и стала глядеть в боковое окно.

— Ты своего отца отчетливо помнишь? — неожиданно и тихо спросила она.

— Нет, очень смутно,— сказал я.— А при чем здесь он?

— Не знаю...— неуверенно сказала она.— Но мне подумалось, надо ли винить всех его ровесников за то, что — они живы, а его нет? И почему я должна понимать это лучше тебя?.. Лучше моего вздорного и тщеславного Кержуна, автора морской повести, которая будет, видите ли, напечатана в декабре!.. Кстати, а как это ты смог попасть на корабль, заходящий в иностранные порты?

Мне сделалось тошно от этого вопроса, потому что я подумал почему-то о Волобуге.

— Деточка моя, до этого я три года служил на флоте подводником. И на какой лодке! — с вызовом сказал я.

— Ты? — спросила Ирена. Она спросила недоверчиво и восхищенно, и я съехал с проселка и заглушил мотор,— мне очень нужно было поносить ее немного на руках, как ребенка...

В лесу у озера на моем прежнем месте все было цело — рыжий квадрат хвои, где стояла палатка, конопатые крушиновые штыри для нее, пепел костра. Уже наступала

та короткая и всегда почему-то печальная пора межсветья, когда день кончается, а вечер еще не завязывается. Лес казался загадочным и строгим, и из машины я ввел в него Ирену, как в собор без людей.

— Непостижимо,— чуть слышно сказала она,— я тебя еще не видела и не знала о твоём существовании, а ты тут жил...

В прогал прибрежных кустов и деревьев проглядывало озеро. Далеко на середине оно было светло-опаловым, как и небо над ним, а ближе к берегам вода таинственно синела и туманилась. Спуск к озеру зарос ежевикой и черничником, а тропа, что я проторил весной лодкой в молодой осоке, лебедино белела лилиями. Через ее створ хорошо виднелся на том берегу озера одинокий двор бабки Звукарихи. Хата топилась, и голубой сквозящий дым стоял над трубой неколеблемо, мирно и чарующе.

— Боже мой! Ты только посмотри туда, Антон!.. Пусть струится над твоей... над твоей избушкой тот вечерний несказанный свет,— продекламировала Ирена и ткнулась головой мне под мышку.— Я сейчас поплачу, ладно? Немного...

Я обнял ее и сказал, что вот пришел великан. Большой, большой.

— Но он нынче не упал,— сказала Ирена сквозь слезы.— Ты не обращай на меня внимания, это сейчас пройдет. Мне так хорошо и радостно и поэтому трудно...

Мы не могли остаться в лесу, потому что я забыл одеяло. Это выяснилось, когда надо было ставить палатку: в багажнике лежали только мешки с лодкой и палаткой, моя рыбацкая одежда, яблоки, о которых я не вспомнил за всю дорогу, и бутылки. Мы посоветовались и решили ехать к Звукарихе.

— Она совсем-совсем одна? —спросила Ирена.

— Совсем,— сказал я.— Ты купила ей дрожжи?

Дрожжи были.

Звукариха, видать, услышала шум мотора загодя и сошла с крыльца прежде, чем я вылез из машины. Я поцеловал ее трижды, и она всхлипнула. Фанерные звезды на конике крыльца кровенились густо и темно,— наверно, недавно были подкрашены.

— Ну здорово ж тебе,— сказала она приморенно и сипло.— Карал-карал тогда, а я все жду и жду...

Было неясно, что она имела в виду — дрожжи или мое обещание на том серебряном рубле.

— А там кто-то ж сидит? — различила она в «Росинанте» Ирену. Я сказал, что там жена.

— А брехал — один межедомишь!

— Мы только неделю назад поженились, — объявил я. — Теперь вот приехали порыбачить. И дрожжи тебе привезли. А постель себе забыли...

— Да будто у меня места мало, — сказала Звукариха. Я позвал Ирену, и она пошла к нам по двору плывущей балетной походкой, вытягиваясь в струну и размахивая руками не в лад шагов. Она смущенно поздоровалась с бабкой и тычком, защитно притулилась ко мне.

— Во-во! — поощрила ее Звукариха. — Не выпускай соловья из клетки, пока он тебе все песни не скричит!

Она повела нас в хату. Там крепко пахло перекисшей хлебной дежой, укропом и полынью: седые метелки ее были раскиданы по полу — наверно, от блох. Хорошо — тепло и от чего-то ограждающе — мерцала в сумрачном углу под потолком большая старинная икона. Под ней стоял непокрытый стол за скамейкой, а на нем дымился чугуничек с вареной картошкой.

— А я вечерять собралась, — пояснила Звукариха. Она засветила лампу, и в хате возник тугой роиный гуд мух, — их было столько, что потолок и стены шевелились как миражные. — Ну не б..? — сказала о них Звукариха невинно и ласково, как о нужной ей в доме живности. Я засмеялся, а Ирена ничего «не услышала». — Гоню-гоню утром, ну, кажись, ни боженной, а вечером опять пропасть. Ну не...

— Бабушка, а может, мы все поужинаем на берегу? — перебил я. — У нас выпить есть. И костер разведем.

— Ну! — согласно сказала Звукариха.

Мы разостлали палатку за баней возле мостков из двух слег, с которых Звукариха черпала воду из озера, и я стал сотворять из готовых бабкиных дров костер, а Ирена стол: в рюкзаке был хлеб, шпроты, ветчина и бутылка коньяку. Я побежал к «Росинанту» за яблоками и остальными бутылками, и Ирена окликнула меня, чтобы я захватил розы. Звукариха носила и носила из хаты свою нам, как она сказала, закусу — чугуничек с картошкой и блюдо с малосольными огурцами, кринку с какой-то «топлюшкой» — это потом оказалась обыкновенная, только почему-то розовая, сметана — и квадратный кусок улежавшегося соленого сала. Справа от нас в парном расстиле приозерного плеса стоял непрерывный, истомно-торжествующий стон лягушек, а через озеро, прямо к подножию

мостков и нашего костра, пролегла жутковатая червонно-золотая дорога с голубыми окоемами, — напротив нас из-за леса всходил огромный красный месяц. Широкий, щедрый и фантастичен был этот наш с в а д е б н ы й стол, раскинутый на палатке, освещенный луной и костром. Мы расселись вольно, на просторном расстоянии друг от друга, но наши с Иреной руки то и дело сталкивались и путались, и Звукариха на первом же стакане шампанского — Ирине захотелось начать с него — крикнула нам, что оно «горькая — и шабаш!». Наверно, мы поцеловались не совсем по правилам застолья, потому что бабка молодо засмеялась, и мы поцеловались еще и еще...

Огурцы с картошкой одинаково здорово подходили под шампанское и под коньяк.

— Ты подюжей питай жену, — сказала мне бабка. — А то она ишь какая!

— А какая я, бабушка? — встрепенулась Ирена.

— Да.. малешотная, — определила Звукариха. — Чегой-то ты так?

— Не знаю... Я просто миниатюрная.

— Она просто миниатюрная, — подтвердил я.

— Ну, тебе видней, — сказала мне бабка и опять засмеялась озорно и молодо. Тогда мне и пришла мысль искупаться, но не потому, что хотелось во хмелю лезть ночью в озеро, а совсем по иной причине. Причина эта возникла в тот момент, когда Звукариха назвала Ирену моей женой, а потом сказала, что мне все видней. Я тут же мысленно столкнулся с Волобуем, и не обязательно вспоминать все до конца, что я тогда подумал и что вообразил... Купаться надо было! Это надо было для того, чтобы в свете костра и луны Ирена увидела при свидетелях, какой я юный и стройный, будь он проклят ее пузатый коротышка, и как я умею плавать и нырять...

Сарай стоял у кромки плеса. Крыша его была щелиста, и лунный свет просачивался к нам на сеновал тонкими игольчатыми стрелами. В сене сухо стрекотали кузнечики, пружинисто, с щелкающим отбивом лап прыгали по одеялу и подушке, и я нащупал в изголовье свой берет и осторожно прикрыл им лицо Ирены.

— Спасибо, родной, — сказала она. — А я решила, что ты мгновенно заснул. Вы ведь всегда тогда...

Мы долго лежали молча, не шевелясь, потом я спросил в крышу сарая:

— Почему ты запнулась? Что мы тогда?

— Я не запнулась, — сказала Ирена, садясь на посте-

ли,— а спохватилась, что ты можешь подумать об этих моих словах. Так вот, о том, что «вы тогда», я знаю из книг. Преимущественно переведенных с иностранного... Почему ты окаменел? Что с тобой? Ревнуешь? Но это же несправедливо и дико! Пойми, мне трудно и стыдно говорить тебе... Ты же должен понимать все сам! Он ведь старше меня на двадцать два года, и мы давно чужие. Совсем! А в первые годы, кроме отвращения и боли... Господи! Ты и есть мой муж... Один. С самого начала. Почему ты не хочешь поверить мне, почему?

Я сел и обнял ее.

— Потому, что ты не хочешь уйти от него.

— Куда?

— Ко мне на Гагаринскую,— сказал я.

— Одна?!

— Нет, с Аленкой.

— Это невозможно, ей ведь одиннадцатый год! Ты понимаешь, что это такое? Дети в ее возрасте, особенно девочки, страстно привязываются к отцу, а он... Ах, да что об этом толковать! Она не пойдет к тебе со мной. Он ее не отдаст, суд не присудит... Нет, это совершенно исключено... Зачем ты меня мучаешь?

— Но это же противоестественно, что ты жена какого-то Волобуя, а не моя! — сказал я.

— Нет, я твоя жена! Твоя! Я сама пришла к тебе... Ты это знаешь!

— Давай спать,— сказал я.— А то я позову великана, и он заберет тебя в сумку.

— Великан — это ты сам, и я не боюсь...

Меня испугало, как трепетно и бурно колотится у нее сердце. Я сказал ей об этом немного погодя, и она натянула на наши головы одеяло и спросила:

— А ты тоже летишь тогда как жаворонок? Все выше и выше, до страшного, а потом так же страшно камнем вниз?

— Да,— сказал я.

— Хорошо, что мы ровесники, что я даже немного постарше... А теперь скажи... Только не утаивай, мне это безразлично... Я какая у тебя?

— Невообразимая.

— Ты знаешь, о чем я спрашиваю.

— Вторая,— сказал я в темноте.

— Кто она была?

— Позор один... Повариха ФЗУ... Старше меня лет на двадцать пять. Она совращала меня и подкармливала...

— Ну все. Замолчи!.. У нас совсем родственные судьбы. Я люблю тебя. До смерти!

Заснула она сразу, впервые покойно и доверчиво прижавшись ко мне.

На заре вселенную взорвал пронзительно-разбойный крик, и мы вскочили одновременно, я думаю, с одной и той же мыслью, что нас застигли, — по крайней мере именно этот разоряющий человека страх застигнутости метнулся в глазах Ирены и передался мне. Орал кочетище. Он стоял у нас в ногах — лупастый, большой, с кустистым малиновым гребнем и сам весь сизо-пламенный, как дьявол. Он спел еще раз, и я кинул в него пучок сена.

— Это же... петух, — рвущимся шепотом сказала себе Ирена, когда он сринулся с сеновала. — Отроду такого не видела!

Я тоже не встречал таких могучих петухов, и, пожалуй, раскрывалась природа тех диковинно-красочных яичек, которые я выдавал весной Владыкину за цаплиные, — должны же петухи нести какую-то ответственность за то, какой величины и цвета яички кладут куры? За стеной сарая, на воле, причетно ругалась Звукариха, — должно быть, гнала к плесу корову. Она просто, видно, не придавала никакого смысла словам, что произносила, и мат у нее получался напутственно-добрый, милостивый. Ирена зажмурилась и спряталась под одеяло. Я поцеловал ее, подождал, пока она заснула, и тихонько слез с сеновала. Солнце уже взошло, но еще не показалось из-за леса, и трава была седая, холодная, в мотках обросевшей паутины, а озеро томлено-розовым, покойным, только по закрайкам осоки вскипали свинцовые всплески — подпрыгивала мальва. На этих местах и следовало удить: там охотились окуни. «Росинант» тоже обросел и опутинился, и вид у него был заброшенно-бродяжий. Я обласкал его словами бабки Звукарихи, надел на себя тельняшку, куртку, парусиновые брюки и кирзовые сапоги, потом накачал лодку. Был соблазн похмелиться остатками коньяка, и я так и сделал, закусил яблоком и пошел на огород за наживкой. Червей было сколько угодно. Я наполнил ими консервную банку, сложил в лодку якоря, насос, садок, удочки, круги и весла и поволок лодку к озеру. На мостках, то припадая к ним, то выпрямляясь, тулилась спиной ко мне бабка Звукариха, и нельзя было понять, что она делала — то ли умывалась, то ли молилась на восход солнца. Позади нее стояли два ведра, и мне не было видно, полные они или пустые. Я верил примете, что перед ловом



хорошо повстречать женщину с полными ведрами, и стал ждать, когда Звукариха управится и пойдет мне навстречу. Она была босая, но в теплом платке и телогрейке, и лицо ее было сухим и печальным,— молилась, значит.

— А я, чуешь, не смогаю с властями,— пожаловалась она мне, когда я забрал у нее ведра с водой, чтоб поднести к крыльцу хаты.

— Попалась? — спросил я.

— Пятьдесят рублей штраху заплатила... Как один гривенник!

— Как же ты так неосторожно работаешь? — сказал я.

— А что б ты сам подеял, када они цельных три дня, соковозы проклятые, елозили тут на лодке... вот как твоя. И молоко покупали, и бабушкой кликали... И три рубля за две бутылки посулили. А после минцанерами объявились. Перерыли все, ну и... остатные три сноровили. Аж в печку лазали, ну не ироды, а? Нешь вот ты полез бы?

— Избавь меня бог,— сказал я.— И заводилку твою разрушили?

— Ну не-е! То все там,— махнула она рукой куда-то на лес за озеро.— Как присоветуешь-то, затеять маненько для своих, раз дрожди есть, аль погодить?

— А как тебе самой-то хочется? — спросил я.

— Да вроде затеять.

Я посоветовал затевать,— ее мокрые ноги напоминали озяблые гусиные лапы, и хотелось, чтобы она поскорей ушла в хату.

А рыбалка не задалась. Я сразу же, как только заякорился, стал ждать Ирену, а не поклев, и приходилось то и дело привставать в лодке, так как осока загораживала от меня не только сарай, но и мостки. Лодка тогда шаталась, а удочки падали в воду, и все это никуда не годилось,— удить надо всегда одному. Совсем одному! Солнце уже выкатилось из-за леса, и было обидно, что Ирена не видит, во что и как преобразился мир, в котором я торчал в одиночку, будто все это надо мне одному! Меня стали раздражать стрекозы, их пунцовые колдовские глаза,— они у них не смежаются, потому что стрекозы будто бы никогда не спят... Наполеон, говорят, тоже мало спал — всего четыре часа в сутки. И ничего. Жил человек... А она, конечно, может проспать и до двенадцати. Она же не Наполеон!..

Она окликнула меня с мостков — беспокойно, ищуще,

потому что не видела, где я, и у меня хватило выдержки подождать, чтобы услышать еще и еще раз от нее свое имя и уловить ее тревогу, а потом только отозваться. Она была в голубом лыжном тренинге и издали казалась пацаном, на которого нельзя было долго смотреть,— возникало какое-то странное и необъяснимое желание надавать, надавать ему за то, что он был вот такой, невыразимый, стоял там на самом кончике мостков, что-то говорил, и ждал, и любил меня...

— Почему ты так рано встала? Я еще ничего не поймал,— сказал я ей, когда подплыл к мосткам, и она поверила, что я недоволен ее помехой.

— Я испугалась, что тебя нет,— сказала она.— И тут тоже не было...

— Могла бы спать и до двенадцати. Теперь вот останемся без ухи...

Черт знает, для чего я это говорил, и неизвестно, что сказал бы еще, похожее, если бы она не повернулась и не пошла с мостков, и в волосах у нее пониже макушки я не увидел засушенный стебель папоротника — разлтый, золотой, целый. Я не думаю, что посредством маленьких темных знаков, именуемых буквами, возможно объяснить, почему это ее невидимое и неосязаемое самой «украшение» так больно ударило меня в сердце, напомнив мне, кто мы с нею такие и где находимся...

Она, оказывается, и не знала, что стрекозы никогда не спят. Летом, по крайней мере...

Мы поплыли в тот конец озера, где видели вчера лилии. Рюкзак с едой Ирена держала на коленях, а я греб и все время помнил, что в нем сидит бутылка выборовой. Становилось жарко, но Ирена сказала, чтобы я побыл пока в куртке и в сапогах, и все время посматривала на меня исподтишка то с затаенной иронией, то с недоумением, как на чужого,— ее что-то забавляло в моей одежде. До этого, пока я подкачивал у мостков лодку и круги, она произнесла воспитательный монолог о том, что мы никогда и ничего не должны скрывать друг от друга, будь то плохое или хорошее, вот такое, что у меня было, когда она звала меня, а я не откликался. Разве можно это утаивать от нее?

Мы были уже на середине озера, и мне становилось нестерпимо жарко.

— Ну все? — спросил я.— Можно снять куртку?

— Сиди-сиди! — приказала она. — Тоже мне норовит в большие!

— Что-то ты слишком разошлась, — сказал я.

— Я тебя еще бить начну со временем!

У нее трогательно косили глаза. Я подумал, что ей, наверно, хочется нашлапать меня, как хотелось мне нашлапать ее, когда она стояла на краешке мостков. Ну, если не нашлапать, то царапнуть меня, как кляксу в тетради. Я посмотрел на ее руки.

— Вот-вот! Это и имелось в виду! — сказала она и кошачьим движением поцарапала воздух. — Хочешь перед завтраком яблоко? Я тоже буду! Где ты их купил такие?

— Заработал, как когда-то твой рубль, — сказал я. — Кстати, я в тот же день подарил его нашей бабке на счастье.

— У тебя совсем нет денег?

— Послезавтра ведь получка, — напомнил я.

— Но ты же мало получишь... Я тебе одолжу. Ладно?

— Еще бы! — сказал я.

— Господи, какой ты все-таки устойчивый дурак, — с досадой сказала Ирена. — Я одолжу тебе собственные деньги, понятно?

— Угу, — сказал я и пристально и, как мне думалось, непроницаемо посмотрел ей в глаза. — ну-ка отгадай, о чем я подумал!

— Знаю.

— О чем же?

— О том, что ведь живу не на Гагаринской!..

Это так и было.

— А сейчас?

— Не скажу.

— Почему?

— Ну, что ты меня любишь и не перестанешь ревновать...

— Допустим, — согласился я.

— А теперь ты отгадай, — предложила она. — Ну?

— Я устойчивый дурак, и тебе жаль меня, — истолковал я ее взгляд.

— Конечно.

— Ладно, — сказал я, — давай в интересах сохранения мира на Ближнем Востоке перейдем к нашему давнему прошлому. Скажи, как ты отнеслась ко мне сразу?

— Я решила, что ты... не слишком умен.

— Из-за обложки рукописи?

— Нет. Это делало тебя всего-навсего смешным, как всякого графомана. Но я не могу забыть, как ты подошел и распахнул дверку своего несчастного «Росинанта», когда я стояла с матрацем... Ты проделал это так, будто приглашал меня... ну, в «линкольн», что ли! А с каким небрежным превосходством мне было сказано, где приобретены снимки Хемингуэя! А снисходительная нотация, что книга — это, видите ли, не двуспальный матрац! А заявление насчет огней Святого Эльма и ностальгии! А эта комедия с рублем из желания унижить меня! Фу! Как не стыдно?

Я перестал грести.

— Не ожидал, да?

— Чего не ожидал? — спросил я.

— Что я так умна!

— Фу, какая хвастунья! — сказал я.

— Сударь, а с какой это тайной целью вы вздумали вчера ночью купаться? — спросила Ирена и прищурилась. — Что вас понудило вдруг раздеться на глазах у постороннего старого человека, а потом набрать в грудь воздуха, неестественно втянуть живот, медленно пойти на берег озера и там томительно-долго проделывать вольные гимнастические движения?

— Сейчас же возвращайся к нашему давнему прошлому, иначе тебе будет плохо, — предупредил я и оглядел озеро. На нем никого, кроме нас, не было.

— Моя бабушка в подобном случае, я думаю, сказала бы так — ниц не бенде, пан! Понял? — заметила Ирена. — Поэтому слушай лучше о своем прошлом.

— Что-то ты чересчур разошлась, — сказал я.

— Мне очень хорошо... Так вот, я не до конца была убеждена, что ты в самом деле то, чем казался.

— Дураком?

— Мне хотелось, нужно было так о тебе думать. Для самоустойчивости... Затем какое-то время я жгуче... или, как говорит наш Дибров, активно тебя ненавидела. Терпеть не могла!

— Я знаю. Это у тебя прошло после того, как под Волнушкиной запел круг, — сказал я. — Ты тогда убедилась, что у нас с нею полный комплекс психологической несовместимости.

— Возможно, — согласилась Ирена, — но лично ей такая несовместимость... Как это говорят в народе? До чего?

— До лампочки,— сказал я.

— Вот-вот... И сидеть в комнате рядом с нею ты не будешь, понятно?

— А где же я буду сидеть?

— Я найду место, не беспокойся!.. А что ты подумал обо мне сразу?

— То же самое, что ты обо мне. Только красочней,— сказал я.

— Как?

— Горда и глупа, как цесарка.

— Очень мило!.. Ах ты шушлик несчастный!

— Шалавка полуночная,— сказал я.

— Дай я посмотрю, как там у тебя, совсем зажило?

Я перестал грести, встал на колени на середине лодки и повернул голову так, чтобы она видела мой затылок.

— Уже все, уже ничего нет,— утешающе сказала она.— Тебе бывает больно? Подожди...

Ей не следовало это делать — касаться губами моей метины, потому что после того мы оба были близки к реву неизвестно почему. Я поцеловал ее в глаза и в лоб, и она присмирела и показалась мне беспомощной и очень маленькой.

Завтракать мы решили в лодке, среди лилий и кувшинок, недалеко от берега. Мне было позволено снять куртку и сапоги, и мы подвинулись поближе друг к другу, умостили на ногах рюкзак, а на нем разложили еду. Хорошо, что у нас имелась бутылка wyborовой, но пить было не из чего,— бабкины рюмки Ирена забыла в машине. Я припомнил вслух есенинское «воду пьют из кружек и стаканов, из кувшинок тоже можно пить» и сделал из них две чудесные пузатые зеленые пахучие чарки.

— Послушай, ты однажды скромно обмолвился, что писал и даже печатал где-то стихи,— ехидно сказала Ирена.— Прочти, пожалуйста, самый первый. Помнишь его?

— Презренная дочь, не помнящая родства! Как я могу забыть свое первое опубликованное творение? Оно явилось для меня ковровой дорожкой в заочный Литинститут. Слушай! — надменно сказал я.— Сорок лет моей стране, сорок лет! Путь борьбы, труда, и счастья, и побед. Путь постройки деревень, городов, воссоздания полей и садов!.. И

так далее. На четырех машинописных страницах. Почти поэма!

— Я так и предполагала. Какая неподражаемая вдохновенная прелесть! — воскликнула Ирена. — И все твои стихи написаны с такой же эпической силой?

— Нет, были и другие, камерно-приглушенные, — сознался я, — но, по отзывам литконсультантов, те получились у меня удручающе несозвучными эпохе. Я почему-то подражал в них Надсону.

— С ума сойти. С чего бы это тебе?

— Понятия не имею, — сказал я. Мы бережно и торжественно выпили по кувшинке выборовой и вкусно закусили бабкиным салом.

— Хочешь попользоваться еще? — спросил я. Самому мне хотелось, — когда еще придется пить из кувшинки!

— Хемингуэй говорил это не о водке, — сказала Ирена. — Они в тот раз там пили сухое вино.

— Ну, тогда давай отведаем по-русски.

— Нет, родной, мне будет плохо. Отведывай на здоровье сам. Ты вообще, как я начинаю замечать, любишь отведать по-русски, правда?

— Иногда. Особенно отечественное шампанское.

— А тебе приходилось пить иностранное? И виски ты пробовал? Что это такое?

— Смердный самогон, — сказал я. — Примерно как наша «Московская». Даже хуже.

— А «кока-кола»?

— Великолепный жаждоутоляющий напиток, — сказал я. — Что-то вроде смеси кофе, сока вишни и запаха утренней розы...

Мы немного поговорили о своих родителях, о зарубежных местах, которые я так или сяк видел, о мировой политике и о своем издательстве. Я и не знал, что Вениамин Григорьевич — автор. Его книга «Страницы прошлого» вышла год тому назад в нашем издательстве, и редактировала ее Ирена. Она советовала почитать «Страницы». Мне пора было выпить очередную кувшинку, и я сказал Ирене «побудем живы». После этого у нас что-то нарушилось, как будто мы взяли и разом постарели лет на пятнадцать. Я подумал, что нам следует сменить место. Просто взять и выплыть из-под тени деревьев на середину озера. Или сойти на берег и побродить по лесу.

— Антон, давай поплывем вон туда, — предложила Ирена. — Посмотри, как там радостно сияет на воле солнце! Давай выпьем сейчас вместе и поплывем. Только

ты не повторяй больше эту свою похоронную здравицу...

— Да бог с ней, с этой здравицей,— сказал я,— можно и молча.

— Нет! Я знаю, подо что мы выпьем!

Ее тост о нашей взаимной верности мы произнесли трижды, и это было как суеверное заклятье, наложенное нами самими на себя. Я перегнулся через борт лодки и поднял из озера три лилии. Стебли их надорвались далеко, у самого дна. Лилия — растение невеселое: нельзя заглянуть в бело-жаркую глубину чаши этого цветка без того, чтобы не испытать тревогу за его неземную хрупкую ненадежность. Лилии очень нежные, человеческие цветы, и лучше их не трогать.

Ирена взяла их у меня молча и неохотно.

На середине озера не надо было грести,— тут временами задувал с разных сторон игровой слабосильный ветер, и лодка колобродила по кругу, и никого не было, кроме нас, речных рыбалок и двух грязно-серых цапель: они все время ошалело летали из одного конца озера в другой, неуклюже выпятив зобы, затевая драки и вскрикивая неприятно-охрипло и резко.

— А все Кержун виноват,— следя за ними, рассудила Ирена,— выкрал весной у них яички, разорил гнездо, а они вот теперь и ссорятся. И разойтись поздно, и...

Она запнулась и занялась лилиями,— их понадобилось окунуть в воду и приподнять, окунуть и приподнять, а потом исследовать стебли: равной ли они длины.

— Считай, что я поцеловал тебя,— сказал я. Мы полулежали на кругах в противоположных концах лодки, а в ногах у нас были якоря, насос и рюкзак.

— А как ты меня поцеловал? — серьезно и тихо спросила она.

— Хорошо,— сказал я.— Цапли тут ни при чем.

— Я так и подумала... Трудно нам будет, Антон! Ох и трудно! Одни ассоциации замучают.

— Плевать нам на все вученые термины,— сказал я.— Давай пристанем к берегу и поищем грибы, раз ты помешала мне наловить рыбу для ухи. И запомнила ли ты, детдомовское исчадье, что стрекозы никогда не спят?

— Да,— сказала она радостно.

— А Наполеон сколько спал в сутки?

— Четыре часа!

— То-то же! — сказал я.

Мы поплыли к берегу. Грибов не было, — стояла засушь, зато на полянках попадались заросли переспелой черники, и мы садились там, и я набирал полные пригоршни ягод и кормил Ирену не по одной и не по две черничины, а помногу, целой горстью, — было счастливо сознавать свою вольную возможность делать это и помнить наказ Звукарихи подюжей питать свою малешотную жену...

Больше в тот день не надо было ничему у нас случаться, — уже всего хватало, чтобы он запомнился и так, но, видать, на то он и выдался таким бесконечным и ярким, чтобы в нем случилось все до конца, чего нам хотелось и не хотелось... На Ирену нельзя было взглянуть без тайного смеха: ее лицо — губы, подбородок и щеки — оказались густо вымазаны черничным соком, а глаза осоловело слипались, и вся она сморенно сникла и походила на ребенка, впервые попавшего на поздно наряженную для него елку. Я перенес в лес лодку и перевернул ее кверху днищем, — резиновое полотно тогда провисает, но земли не касается, и получается уютная люлька. Туда только надо было настлать аира, — его чистый прохладный запах отдает мороженым и погребным топленным молоком, а это в жару не так-то уж плохо.

— Залезай и отдыхай, и чтобы я не видел твоей сонной замурзанной физиономии, — сказал я Ирене. Ей тут же понадобилось глянуть на себя в зеркало, и я побежал на берег озера, где оставался рюкзак: в нем должна лежать ее сумка. Она действительно была там, — тисненая в подделку крокодиловой кожи, похожая по величине на бумажник, и когда я достал ее, она раскрылась, и оттуда выпали блокнот, ручка, пудреница, две десятирублевые бумажки и семейная фотокарточка. Я вскользь отметил, что Аленке там было года два или три. Она сидела в середине, и головы Ирены и Волобуя — он снялся в военной форме с погонами подполковника — кренились над ней, соприкасаясь висками, как я оценил, умильно и трогательно. Я, наверно, немного замешкался, разглядывая фотографию, а может, Ирена «угадала», чем я был занят над рюкзаком, и поэтому оказалась у меня за спиной.

— Зачем ты это взял?

Она спросила звонко, обиженно и протестующе, и



ноздри у нее побелели и расширились. Я сказал, что сумка раскрылась сама.

— Дай сюда!

— Бери,— сказал я с чувством застигнутого вора.— Это выпало само, а я только подобрал...

— Ну и что?

— Ничего,— сказал я.— Подобрал, и все. Что тебя в этом обидело?

— Это тебя обидело, а не меня... Разве я не вижу? Посмотрел бы ты сейчас на свои глаза и нос!

— Нос как нос, у тебя он не лучше,— ответил я. Над озером по-прежнему суматошно летали цапли и ссорились. Выпученные зобы их и крик были отвратительны. Я следил за ними и думал, что им помог бы разлететься в разные стороны выстрел. Не обязательно прицельный и зарядный, но даже холостой.

— Ты когда-нибудь сам фотографировался вдвоем или втроем? — как больная спросила Ирена.— Ты знаешь, как там заставляют сидеть и держать головы?

— Возможно, и заставляют,— сказал я и спросил, кем был ее муж.

— Он... Что ты к нему привязался? Зачем тебе это?

Я мгновенно определил должность Волобую. Ту, что мне хотелось. Цапли в это время летели в нашу сторону, и я опять подумал о ружье.

— Ну хорошо,— раздраженно сказала Ирена,— он был всего-навсего начальником военизированной пожарной команды. Что это меняет?

— Иди умойся,— сказал я.— Или давай я наберу воды в бутылку и полью тебе.

Ей лучше было, чтобы я полил из бутылки.

В остаток дня и вечером я все сделал для того, чтобы вернуть Ирену в этот наш праздник на озере, но с ее душой что-то случилось, она куда-то ушла от меня и не отзывалась на мой призыв. Когда мы приплыли к тому месту, где росли лилии,— Ирена не захотела оставаться в лесу,— я попросил у нее записную книжку и ручку.

— Для чего? — спросила она подозрительно. Я объяснил, что хочу написать ей стихи.

— Мне? О чем?

Она чего-то тревожилась.

— О лилиях,— сказал я.

С нею что-то случилось непонятное,— она передала мне блокнот вместе с фотокарточкой, хотя могла оста-

вить ее в сумке, и при этом посмотрела на меня вызывающе. Фотокарточку я «не заметил» и стишок написал в строку поперек блокнотного листка: «Облик юности текучей, птицы радости летучей, шелест тайны, вздох печали, вы любовь мою венчали на воде лучисто-чистой, с той, что может лишь присниться, а поутру вдруг растаять и оставить вас на память».

— Вот,— сказал я. Самому мне стишок понравился.

— Разве это не Бальмонт? — безразлично спросила Ирена, раскосо все же глядя в блокнот.— И почему она должна поутру растаять? В угоду рифме?

Я не стал отвечать.

Вечером долго тлел край неба над лесом, где зашло солнце, и в плесе опять трагедийно-победно гоготали лягушки, курился белый прозрачный пар, и через озеро протянулась льдисто сверкающая лунная полоса. Я опять разжег костер за баней возле мостков. Звукариха принесла бутылку самогона,— вышло, что не все «сноровили» в ее печке те соковозы, на которых она жаловалась мне утром. Было тепло, но Ирена зябла.

— Хочешь попробовать мато бичо? — спросил я ее о самогоне. Она равнодушно поинтересовалась, что это такое, и я объяснил, что «мато бичо» — значит убей беса, так африканцы называют спирт из лесных фруктов.

— Как ты, однако, много знаешь,— со смутной усмешкой сказала она и пробовать самогон не стала. После этого я погасил костер и убрал стол. На сеновал мы вскарабкались поодиночке — я не посмел помочь ей ни рукой, ни словом. Там, наверху, в косо́й месячной пряже лучей миротворно пахло свежим сеном. От этого таинственного полусвета и запаха было почему-то грустно и жаль себя. Я немного полежал молча, потом напомнил Ирене, что она забыла поблагодарить меня за стихи.

— Да-да, спасибо,— устало и малолюбезно сказала она.— Спокойной ночи.

— Спокойной ночи,— пожелал я ей. В сене знойно и надоедливо сипели кузнечики,— видно, эта тварь тоже никогда не спит. Я боялся пошевелиться, чтобы не потревожить Ирену, хотя лежали мы не слишком близко друг от друга. В середине ночи на крыше сарая закувыкал и захохотал сыч. Я метнулся рукой к плечу Ирены, чтобы не дать ей испугаться во сне, но она проворно отвела ее в сторону.

— Это сыч,— сказал я.— Хочешь, пойду прогоню его?

— Нет, не надо,— бессонно ответила она и привстала.— Послушай, Антон... поедем, пожалуйста, домой.

— Сейчас прямо? — спросил я.

— Мне очень беспокойно... Я давно уже не здесь, понимаешь?

Я сказал, что понимаю.

— Я убеждена, они приедут сегодня утром. Обязательно приедут!

— Ты же говорила, будто пришла вторая телеграмма,— успокаивающе сказал я.

— Да. Но ты его... не знаешь. Поедем! Я больше не могу тут оставаться.

Мы поднялись и собрались, как матросы по тревоге. Мне пришлось разбудить бабушку Звукариху, что-то пробормотать о внезапной болезни жены, со стыдом отдарить ее в темноте сенец тремя яблоками, что у нас оставались, и пообещать приехать через неделю, чтобы уже тогда... Денег у меня не было ни копейки.

Луна ярко светила, и я ехал без огней. Проселок мы проскочили впронос — «Росинант» как будто сам направлял себя по гривкам колеи. Временами нас швыряло и заваливало, креня и прижимая Ирену ко мне, и тогда она пыталась отодвинуться, но это ей не легко удавалось.

— Скоро будет лучше, потерпи немного,— сказал я. На шоссе она попросила сигарету, и мы закурили одновременно.

— Антон, куда ты тогда... до всего у нас, собирался уезжать? — как-то очень издали спросила Ирена. Я назвал Мурманск.— Ну вот... Мы больше не должны встречаться. И лучше было бы кончить все разом...

Я выбросил сигарету и закурил новую.

— Ты ведь один.

— Да,— сказал я,— а одинокому, по свидетельству Чехова, везде пустыня.

— Мне надо выходить на работу в среду. Ты не мог бы уволиться к тому времени?

Я сказал, что для этого мне понадобится всего лишь девять минут. Почему девять, а не десять или пятнадцать, я не знал сам. Шоссе было пустынно, и «Росинант», оказывается, мог еще выдать на асфальте сто пять километров в час...

Дома я написал заявление об увольнении, вымыл пол в комнате и лег спать.

Солнце еще не всходило.

Днем, а потом и вечером, мне опять нужно было мыть пол не только в комнате, но и в коридоре: по свежeweымытому и не совсем просохшему полу отрадно ходить босиком, если норовить точно попадать ступнями в свой же след. Так можно ходить очень долго и уверять себя, что ты ни о чем плохом для себя не помышляешь. Просто ты ходишь в свое удовольствие по сырому прохладному полу и ни о чем таком не думаешь. Ходишь — и все! Ты один у себя дома, и ты можешь делать все, что тебе хочется. Ходи и ходи себе и попадай ступнями в свой же след, а если пол высох окончательно и следов не видно, то кто тебе мешает вымыть его снова?

Ночью я написал небольшую записку — никому — и положил ее на край секретера, а на рассвете пошел в кухню, чтобы никуда не возвращаться оттуда, и за окном услышал страстную воркотню голубя, и во дворе увидел поседевшего от росы маленького сгорбленного «Росинанта». Его фары ожидающе зарились прямо на мое окно, на меня...

Никто не знает, что несет новый день, и это неведение тем и хорошо, что может обернуться для человека чем угодно, — надо только дождаться нового дня. В половине девятого утра я нашел в почтовом ящике продолговатый серый конверт с оттиском названия журнала, куда послал свою рукопись. В конверте было письмо. Мне. Письмо о том, что «Куда летят альбатросы» планируются в первом номере будущего года!

Я прочел это несколько раз, и мне вдруг захотелось есть...

Торопиться в издательство уже не следовало, — заявление об увольнении можно было вручить Диброву в десять или в одиннадцать, и я сдал пустые бутылки, купил кефир и халу, а после этого позвонил из автомата Ирине: больше некому было сообщать о письме из журнала, а знать об этом только самому оказалось для меня не-

посильным бременем. К телефону подошел Волобуй. Я спросил у него, поступили ли на базу трубы, а если нет, то когда, черт возьми, поступят. Он сказал, что я не туда звоню, и повесил трубку. Голос у него был крепкий и бодрый,— значит, приехал вчера, дома застал все в порядке и отлично выспался.

Увольняться с работы так же неприятно и муторно, как и наниматься,— в этом случае тоже возникают различные вопросы, не поднимающие тебя, увольняющегося, ввысь, потому что тот, кто задает их,— всегда сидит, а кто отвечает — стоит. Это мне никогда не нравилось, и свое заявление директору я решил отдать через секретаря. Ему же можно будет оставить и рукопись о целине. На все это мне едва ли понадобится девять минут, и стало досадно, что я зависил перед Иреной время на свой уход из ее жизни. Надо было ограничиться пятью минутами. Или даже тремя...

Лифт не работал, и вид лестницы опять почему-то натолкнул меня на мысль, что своих «Альбатросов» я написал хорошо. Конечно же хорошо. А вторую повесть напишу еще лучше. Я им еще дам себя почувствовать! Всем!.. По коридору издательства я пошел звучным мерным шагом, укладывая подошву туфли плашмя, всю разом и полностью, как ходит солдат под знаменем, и было приятно сознавать, что туфли мои на всякий случай дорогие и прочные...

Когда я вошел, Ирена сидела за своим столом и читала рукопись, что передала ей Вераванна.

— Где ты был? — возмущенно и тихо спросила она, как только я прикрыл за собой дверь.

— Когда? — спросил я.

— В девять утра. Я приезжала к тебе домой... Сейчас, между прочим, половина одиннадцатого. Что за манера постоянно опаздывать на работу? Ты думаешь, Диброву это очень понравится? И вообще... Почему ты не позвонил мне вчера за весь день?

Лицо у нее было злое и усталое. Я сказал, что звонил ей сегодня.

— И что?

— Ничего,— ответил я.— Там отозвались довольно жизнерадостным голосом.

— И что ты из этого заключил?

Она смотрела на меня испытующим взглядом.

— Что ты хочешь, чтобы я сказал? — спросил я.

— Что ты подумал, почему у него жизнерадостный голос.

— Человек, значит, нашел дома все в порядке и отлично выспался в супружеской кровати, — сказал я.

У нее мелко задрожал подбородок.

— За что ты меня мучаешь? — с болью спросила она. — Что я тебе сделала худого? И как ты не можешь понять, не пожалеть... даже не подумать, каково мне было встретить его!

Я пошел к ней за стол, и она судорожно зажмурилась и потянулась лицом мне навстречу. Я поцеловал ее в глаза и в подбородок, и у меня слетела с головы шляпа. Прихлоп двери совпал с ее соломенным шорохом, когда она катилась по полу, и я ничего не успел заметить: только услышал липко чмокнувший дерматином прихлоп двери.

— Кто-то заходил, да? — всполошенно спросила Ирена. Я поднял шляпу и сел за свой стол.

— Зачем ты приезжала на Гагаринскую?

— Так просто. Хотела сказать тебе, что я решила выйти на работу с сегодняшнего дня... Дай мне сигарету. Кто нас видел, как ты думаешь? Мужчина или женщина? Лучше бы мужчина.

Я передал ей сигареты и свое заявление об увольнении. Она пробежала его и молча порвала на мелкие части. Тогда я издали кинул на ее стол письмо из журнала.

— Ты действительно бессердечный негодяй! — сказала она, когда прочитала письмо. — Получить такое известие и молчать! Ты большой, большой негодяй, а не великан!

Глаза ее ревностно косились к переносью. Мы набросали для журнала черновик моего «творческого лица» — кто, что и почему я, и Ирена сказала, чтобы я обязательно приложил свою фотографию, только не пижонскую, а какую-нибудь рыбацью, победней и проще. Есть у меня такие? Бедных у меня не было.

— Ну еще бы, — сказала она, — на то мы и Кержуны! Тогда пошли любую, все равно, там, наверно, полно литбаб.

— Какое это имеет значение? — спросил я.

— Очень большое... Но кто нас видел, как ты думаешь? Лучше бы мужчина, правда?

Я не был уверен, что это лучше. Лично ко мне мужчины

всегда относились почему-то враждебно и подозрительно. Особенно бедные ростом.

Во второй половине дня меня вызвал к себе директор. Мои волосы отросли уже достаточно, и я пошел к нему без шляпы. На этот раз я не сбился с ковра в его кабинете, и за время пути от дверей к столу он откровенно и оценивающе изучал меня, не готовясь здороваться. Мне все же показалось, что он остался доволен тем, что хотел во мне увидеть, потому что глаза его хитро щурились и смеялись. Этот человек нравился мне своим пристрастием к красивой одежде, — издали я видел его не раз и не два; он носил хорошо сшитые костюмы, свежие белоснежные рубашки и грамотно повязанные галстуки... Дело, по-моему, немного портила вульгарная поросль на кистях рук, выбивавшаяся из-под манжет рубашки, но зато ногти его были длинные и чистые, и чувствовалось, что Дибров любит одеколон «Шипр». Все это, понятно, мелочь, но такое нравилось мне в людях.

— Извините, что я помешал вам, товарищ Кержун, — сказал он, а сесть не предложил. — У вас, очевидно, много сейчас работы? Чем вы занимаетесь?

Я инстинктивно нащупал в кармане письмо из журнала и ответил, что редактирую плановую книгу.

— И как подвигается дело?

— Я сдам рукопись в срок, — сказал я вызывающе.

— Это для вас очень важно, — заметил Дибров. — Садитесь, пожалуйста. Я хочу позволить себе задать вам один неделовой вопрос. Вы семейный или холостой человек?

— Пока холостой, — повинно вышло у меня.

— Понятно. А как ваша голова? Надеюсь, все в порядке?

Я подтвердил.

— Вообще свою голову надо беречь не только в праздничных драках, дорогой мой. Бывает, что ее теряют и в будничной мирной обстановке. Вы никогда не задумывались на этот счет?

Он говорил невыразительно, без переходных интонаций, но то ли его южный акцент, то ли размеренная кладка слов делали их значительными и чуть-чуть издевательскими. Мне было жарко и хотелось курить. Отпустил он меня лучше, чем встретил, — мы пожали друг другу руки. В коридоре я ощутил, что рукава моей рубашки совершенно мокрые под мышками, и это было очень противно.

Ирена помертвело ждала меня, стоя у окна за своим столом. Я коротко изложил ей суть своего разговора с Дибровым.

— Боже мой! Ты хоть догадался показать ему письмо из журнала? Догадался или нет?

Я сказал, что этого не требовалось, потому что он остался доволен моим ростом и без письма.

— Каким ростом? При чем тут твой рост?

Этого я не смог ей объяснить.

Редактор из меня не получался: я не мог отрешиться от чувств и претензий обыкновенного читателя, не мог, как всякий литературно сведущий любитель печатного слова, не знать древней истины, что хороший писатель в недалеком человеке обнаруживается так же редко, как плохой писатель в умном человеке, и Ирена не без язвительного сарказма учила меня главному искусству редактирования — приводить рукопись в удобочитаемое, как она выражалась, состояние и не набиваться в непрошенные соавторы к областному писателю, — он, предельно чуткий и легкоранимый индивидуум, всегда склонен в этом случае истолковать такое бескорыстие совершенно неожиданно для редактора-новичка, особенно для младшего, получающего девяносто пять рублей в месяц...

Тогда зарядили нудные сентябрьские дожди с промозглыми туманами, и по утрам Ирена являлась в издательство в своем серебряном волобуевском плаще. Она вешала его позади себя на оконную задвижку, и мне приходилось полуотворачиваться от окна и с повышенной внимательностью править «Степь широкую». После того как нас кто-то тут застукал и доложил директору, мы уже недели полторы не встречались помимо издательства. В обеденный перерыв мы не могли пойти одновременно в буфет, и по окончании работы Ирена уходила первой, а я сидел еще минут десять за своим столом, после чего бежал к «Росинанту» и искал ее по городу. Мне казалось, что она знает об этих моих вечерних поисках ее, и поэтому я молчал и добросовестно правил роман о целине. Ирена за это время превратилась в полуобгоревшую спичку. Она усохла и умалилась в росте, а глаза у нее стали непомерно большими, сухими и черными, и шея ее опять была похожа на ручку контрабаса. Я перестал любопытствовать, что с нею происходит, — она не отвечала и сердилась.



— Может, мне все-таки уехать в Мурманск? — спросил я как-то под конец рабочего дня. Ирена с враждебным недоумением посмотрела на меня, поднялась из-за стола и надела плащ.

— Уезжай. Хоть сегодня! — сказала она в дверях. В комнате было сумрачно, промозгло, и в окно со двора издательства несло почему-то запахом пустого трюма сломанного траулера. Шел дождь. Домой мне не хотелось, — мало ли что там придет в голову, кроме Мурманска, а до января оставалось совсем немного: если «Альбатросы» будут напечатаны, я напишу тогда вторую повесть.

Улицы города казались по-осеннему скучными и горестными. Уже желтела листва лип, и подъезды дворов сквозили туманно и сизо. Я поколесил по центру, миновал на малой скорости особняк на Перовской и выехал на набережную. Над речкой низко, натруженно и молча летали чайки. Перед мостом, у той моей телефонной будки, я нечаянно придавил клаксон. Наверно, в сигнале произошло замыкание, — он прозвучал клеточно и смертно-тоскливо, как подбитый на лету журавль. На мосту я посигналил уже умышленно. Потом еще и еще, — так было легче ехать домой. Ни тогда, ни позже мы не выясняли, зачем Ирена забрела сюда, в правобережную часть города. Я увидел ее издалека, в спину. Она шла по противоположному от меня тротуару, — значит, не «Росинанта» тут караулила, и я проехал вперед и развернулся ей навстречу. Было непостижимо, как она различала, куда ступать, — она шла с откинутым капюшоном, и ее волосы, расчесанные дождем, спадали с головы прямой бахромой, нависая над лбом и глазами, и голова от этого казалась нелепо крошечной, луковичеобразной. Я затормозил у обочины тротуара, выпрыгнул из машины и загородил ей путь.

— Ну что тебе еще нужно? — кволо сказала она, глядя на меня рассеянно и мутно сквозь пряди волос. Я попросил ее сесть в машину.

— Не хочу, — сказала она самой себе. — Не хочу идти домой, не хочу никого видеть...

Плащ на ней топорщился колоколом, а в капюшоне скопилась вода, и он висел у нее за спиной, как котомка. Я не мог отделаться от мелкой и недостойной мысли — как это на макушке ее головы уместился уворованный когда-то ею блин? Какого же размера был на ней берет? Кукольный, что ли? Я вытряхнул из капюшона воду и накинул его ей на голову, отведя волосы со лба.

— Разве ты меня любишь! — себя осуждающе сказала Ирена. Она была как помешанная. Я не справился с тем, что тогда прихлынуло к сердцу, — страх за нее, боль обиды за себя, неожиданное взрывное отвращение к ее маленькой темной головке луковицей, желание недобра ей за что-то и своя готовность всю жизнь вот так встречать ее — жалкую, полоумную с виду, бесконечно любимую, мою нежену-жену. Я заплакал и, чтобы скрыть глаза, прижался ртом к ее руке. Она была вялая, холодная и мокрая.

— Ты что? — с просветленным беспокойством спросила Ирена.

— Пойдем в машину, — сказал я. — Пойдем, пожалуйста, а то с нами случится беда...

— Разве она не случилась давно? Какая беда?

В машине я сказал ей о той своей короткой записке никому, — это надо было сказать ей, потому что она сразу стала сама собой, прежней, потом я рассказал, как ищу ее вечерами по городу. Мы сидели, смотрели друг на друга, и ее глаза постепенно углублялись и темнели, и вся она внутренне подобралась и насторожилась.

— Идиот! Мальчишка! — с гордым презрением не ко мне, а к кому-то сказала она. — Хлюпик самолюбивый! Я думала, что ты... Дай свой носовой платок. Есть он у тебя?

Она крепко и больно отерла мои ресницы и пригладила брови. За этим должно было последовать какое-то наказующее приказание мне, и это так и случилось.

— Поезжай до первой телефонной будки. Мне надо позвонить домой, — сказала она.

Мне было отрадно от ее решительных действий старшей и только хотелось, чтобы она сбросила с себя плащ и кинула его на заднее сиденье, но просить ее об этом я не стал. Еще мне хотелось стереть или хотя бы как-нибудь затушевать в памяти то свое оскорбительное для Ирены сравнение ее головы с луковицей и унижительное гадание насчет украденного блина, — как он там уместился... Мне обязательно надо было что-то сделать для уничтожения этого, и я попросил ее подождать меня минуту, а сам побежал через дорогу в кондитерский магазин и купил большой круглый торт, нетолстый и белый как снег. Когда я вернулся к «Росинанту», Ирена была без плаща, — он валялся на полу за нашими сиденьями. Я передал ей торт. Она положила коробку на колени, а меня спросила, скосив глаза: не думаю ли я, что он уместится на ее голове? Как могло такое случиться, что она постигла мою

ворожбу с самим собой и с этим тортом? Как? Может, все было видно по мне? Возможно. У телефонной будки мне было приказано идти звонить вместе. Ирена так и не узнала, что я тогда подумал, во что поверил и чего ждал,— мне показалось, что она идет звонить при мне Волобую о нас, о Гагаринской, и к телефонной будке я шел позади нее так, как в войну, наверно, ходят на подвиг: сердце под горлом, а руки под грудью. Мы втиснулись в будку. Ирена опустила в щель автомата монету и набрала номер. Я встал в углу так, чтобы она видела меня,— я рядом, вот, под рукой. Мне было слышно, как звучно и справно щелкнул рычаг того ч у ж о г о телефона и Волобуй сказал нам «слушаю».

— Чем занимается Аленка? — строго спросила Ирена. Там слышно для меня осведомились «это ты, голубка?», и я увидел, что у Ирены расширились и побелели крылья ноздрей.

— Пусть подойдет к телефону Аленка,— произнесла она, как диктант. Там опять о чем-то мягко спросили.

— Позови, пожалуйста, Аленку,— настойчиво сказала Ирена. Ноздри у нее оставались белыми. Мне подумалось, что так могут разговаривать лишь те двое, у кого ссора уже окончена, а мир не достигнут по вине одного. Потом она мгновенно преобразилась. Она неотрывно смотрела на меня и радостно кивала головой. Голос Аленки достигал моего слуха и сознания, как отдаленный зоревой взрыв чибиски, и в ответ я кивал головой Ирене, чтобы она знала и верила, что я очень люблю детей. Всех!

— Аленушка, подожди, послушай меня,— сказала Ирена,— я задержусь немного после работы, слышишь? Нет, не к тете Вере. Тетя Вера на курорте. К другой своей подруге, ты ее не знаешь. Что? У нее сегодня свадьба. Нет, она выходит замуж. Женятся ведь мужчины. Конечно. Если я запоздаю, ты покушай и ложись спать без меня. Слышишь? Ну пока...

Что ж, Ирена была права, приказав мне присутствовать при этом ее разговоре по телефону. Хотя девяносто процентов всей информации о внешнем мире человек получает через зрение и лишь девять через слух, я узнал и понял в будке многое, и в первую очередь то, что материнское чувство Ирены к Аленке полностью регулируется тем, что происходит у нас: мы в ладу — и там судорожная любовь через сознание вины. Тут разлад — и домой не хочется возвращаться... Только и всего!

Наверно, потому, что я молчал и был покорен, у Ирены не прошло желание распорядиться. Как только мы сели в машину, она достала и протянула мне шесть рублей.

— Торт твой, а шампанское мое!

— Мы поедим ко мне? — спросил я.

— Нет, к себе в лес, — сказала она. Шел дождь, но я не стал включать дворники. Шампанское можно было добыть в ресторане на центральной улице, и Ирена вышла на набережной и укрылась в подъезде. Старик гардеробщик украдкой вынес мне две бутылки за материальную заинтересованность по рублю с каждой. Захолустный подъезд на плохо освещенной по ночам улице днем, конечно, не способен тонизировать настроение, особенно если прячешься в нем, — мало ли что там увидишь, ощутишь и что подумаешь, и Ирену я нашел раздраженной.

— Господи, до чего же все мерзко! — сказала она с едкой силой.

— Что именно? — спросил я.

— Все... И сама я тоже. Я стала какая-то нечистая, лживая... Все теперь лгу и лгу! Дай мне сигарету.

— Ничего ты не лжешь, — сказал я.

— Нет, лгу! Я и тебе солгала. А зачем — и сама не знаю. Помнишь, ты спрашивал, кем служил... Волобуй? Так вот, он был начальником тюрьмы, а не пожарной команды!

— Ну и что? — сказал я. — Тюрьмы же у нас есть? Есть. Значит, должны быть и начальники над ними.

— Помолчи! Тоже еще философ нашелся, — с досадой проговорила Ирена.

— Сама помолчи, — спокойно посоветовал я. — Подумаешь, лжет она! Ты даже не представляешь, что такое настоящая ложь, во благо свое.

— А ты сам представляешь?

— Я лгун матерый, талантливый, — сказал я. — Кто куриные яйца выдавал Владыкину за цаплиные? Кержун! Кого извещал журнал, что повесть будет напечатана в декабре? Его же, Антон Павлыча... А шампанское, между прочим, знаешь какое? Мускатное. Ты любишь иногда отведать мускатное шампанское?

Мы были уже за городом. Я включил дворники и повел «Росинанта» вальсирующими зигзагами, — хотелось хоть как-нибудь развлечь Ирену: черт догадал меня оставлять ее в той загаженной подворотне!

— Это он танцует под музыку Шульберта, — сказал

я.— Между прочим, а тебе известно, что настоящая фамилия Коперника — Покорник?

— Не надо, Антон,— невесело сказала Ирена.— И не обращай на меня сейчас внимания. Я совсем стала истеричкой... Дома ад. Пока тихий. Там что-то подозревают и... домогаются предъявлять мужнины права... Вдруг!

Я выровнял ход «Росинанта» и стал следить за дорогой и спидометром.

— Почему ты притаился?

— Нет, я ничего,— сказал я.

— Если бы ты знал, с каким зоологическим отвращением я ненавижу его пошлые руки, возмутительный затылок, лоб... Все, что он теперь говорит и делает, мелочно, надзирательски дотошно и нудно. А как он до омерзения противно чавкает, когда ест... И вообще. Это какая-то казематная пытка, а не жизнь! С ума можно сойти...

Я остановился и обнял ее.

— Почему ты не хотела сказать мне об этом раньше?

— А как ты спрашивал? Ты знаешь, что было в твоих вопросах? Знаешь?.. Не надо так больше. А то я пропаду...

Легко было сказать, не надо так больше. Чего не надо? И кому?

Но я обещал.

Оказывается, это очень заманчиво — спокойно, удобно и безответственно — быть у кого-то покорником. Это что-то вроде усердного сироты — придурка на чужой счет, но которому почему-то платят тем охотнее, чем ты покорнее и беспомощней. Я поступал и все делал так, как хотелось Ирине,— я охотно предоставил ей полную свободу и возможность справляться и распоряжаться одной — и своим «тихим» домашним адом на Перовской, и мной, и собой. Пожалуй, на мне тогда сбывалась и подтверждалась древняя притча, что из блаженного дурачка и плач смехом прет,— мне в самом деле было отчего-то весело и беззаботно. Я не воспротивился, когда однажды в обеденный перерыв Ирена забрала у меня ключ от квартиры и поехала на Гагаринскую,— ей понадобилось самой постирать мне рубашки и прибрать комнату, но без меня. Тогда она увидела на секретере все те двадцать четыре надгоревшие свечи, и это увеличило ее надсмотр и заботу обо мне: по утрам, когда я приходил в издательство, она сразу же допытывалась, что я ел. Мне было самодовольно-приятно, что она беспокоилась, если я иногда не завтракал, и я стал говорить ей неп-

равду, будто не ел. Она тревожилась, когда замечала, что у меня хмурый вид, и я мрачнел нарочно. Меня хватало, как одуряющий сон после длительной пьянки, одолевала какая-то подлая сила понуждения к жалобе, к притворным капризам, к ожиданию утешений и ухаживания. Я дошел до того, что придумал себе резь в желудке, и Ирена запретила мне к у ш а т ь, черт меня подери, грубую пищу и несколько раз приносила из дома сметанковые сырники, упрятанные в целлофановый мешок и обернутые газетами, чтобы не остыли. Сейчас мне не верится, что я мог дойти до такого позора, — с больным видом и с удовольствием жрать при ней в издательстве эти украденные ею дома сырники и ничего дурного о себе не помышлять! В те дни Ирена усвоила какую-то странную походку с нырком головы назад и вперед при каждом шаге, как ходят голуби, и вся она была напряженно-устремленная и острая, как стрела. А я наоборот. Я осоловело раздобрел и во всем успокоился, и на щеках у меня обозначился розоватый, молочно-пороссячий прилив. Трудно сказать, чем оброс бы еще этот мой период покорничества, если бы его случайно не прервал тот самый «бывший» старый художник. Я думаю, что к Ирине его привела сомнительная надежда получить какой-нибудь заказ от издательства, — кирзовые сапоги на нем, короткополая серая куртка-разлетайка, сбившийся к уху узел блекло-узорного шейного платка, завязанного с жалкой претензией на независимую небрежность свободной в своих поступках личности, погасшая трубка в углу рта — все это кричало о помощи человеку в беде, но по каким-то тайным и сложным законам молодости и силы вызывало невольное чувство протеста и досады. Когда он вошел и, не заметив меня, направился к столу Ирены, я мысленно сказал ему, что пора бы перестать чудить, и он, как мне показалось, понял это. По крайней мере, он взглянул на меня так, словно измерял степень моего ничтожества. Я допускал, что моя благополучная с виду внешность вполне могла возмутить его пуританскую душу и он уже трижды имел случай подумать обо мне что угодно: например, что я наследный отпрыск какого-либо чиновного отца из тех, которые ездят на казенных «Чайках», а это для него, несомненно, означало, что самодовольству и невежеству моему нет предела. Допускал я для него и многое другое о себе в том же плане, что не только не обижало меня, но совсем наоборот: это лишь увеличивало мой интерес и симпатию к нему — взъерошенному, немного за-

гадочному и, наверно, талантливому человеку с излохмаченной судьбой. То, что я бессознательно ощутил при виде его кирзовых сапог и байроновского банта, от меня не зависело, — значит, я в самом деле пижон, в моем же мысленном обращении к нему не чудить была голая и чистая обида на то, что он игнорировал меня, ставя на одну доску с Вераванной.

Вот и все, что было у меня к нему. Я понимал, что мне надо оставить его наедине с Иреной, — такие, как он, даже в большой беде не способны обращаться за помощью при чужих, но я не посмел выйти сразу, потому что это могло быть истолковано им совсем для меня обидно и незаслуженно. Он не поцеловал Ирине руку и не назвал ее Аришей, — он уже зарядился на меня негодующим презрением и поэтому сбился со своего обычного лада в обращении к ней.

— Что-нибудь случилось, Владимир Юрьевич? — с беспокойным участием спросила Ирена. В нашей комнате отсутствовали стулья для посетителей, — их некуда было приткнуть, но полукресло за столом Верыванны стояло свободным, рядом со мной. Я сидел и гадал, как быть — подать его гостю или же воздержаться от своей услуги ему, — он ведь может не принять ее, и тогда Ирена сказала с приказной четкостью:

— Будьте так добры, передайте нам кресло!

Это относилось ко мне. Это было выговором за мою хамскую недогадливость и побочным доказательством для Владимира Юрьевича, что я именно то, за кого он меня принял. С полукреслом получилось так, как я предчувствовал: «бывший», отстранив меня, сам взял его и перенес к столу Ирены. Она воспитывающе поблагодарила меня, а я решил не уходить и оставаться на своем месте, — в конце концов, черт возьми, я находился на службе. Владимир Юрьевич сел вполуборот ко мне и внушительно, почти сердито спросил Ирину: известно ли ей, что происхождение наших идей о возвышенном и прекрасном неизменно связано с впечатлениями, полученными от всего круглого, законченного, светлого и радостного?

— Конечно, Владимир Юрьевич, — замедленно сказала Ирена со скрытой теплотой.

— Тогда как же вы могли тут допустить такое?

Я глядел в рукопись и не видел, что он там добыл из внутреннего кармана своей разлетайки и передал Ирине.

— Антон Павлович, обратите внимание, ваш «Полет на Луну» вышел в свет, — сказала она, и, когда я поднял

голову, старик посмотрел на мой лоб ошеломленно и беспомощно, — он, вероятно, подумал, что я автор этого «Полета». Мне не было видно лица Ирены, она высоко держала перед собой книжку, и ее плечи вздрагивали мелко и часто, — тайно чему-то смеялась. Я не знал, как быть, и не опровергал подозрение на свой счет. Возможно, что так или сяк я восстановил бы истину, но Владимир Юрьевич, все еще угнетающе изучая мой лоб, вдруг загадочно и устало сказал:

— Вот оно. Корье пошло на малье, а до дуба никому нет дела!

Он отвернулся от меня и принялся раскуривать трубку. Лицо Ирены я по-прежнему не видел.

— Понимаешь ли, Аришенька, — сказал он ей, будто меня тут уже не было, — дело даже не в удручающей бездарности текста. Вернее, не столько в нем. Но ты обрати внимание на иллюстрации. Ведь это же безобразная коломазь, а не искусство. Коломазь, угрожающая уродством впечатлительности ребенка! Чего стоит, например, одна эстетическая сторона того рисунка, где повредивший ногу профессор ездит на Луне верхом на мальчике Пете, не говоря уже об экспрессии штриха и цвета этой, с позволения сказать, картинке! После нее ребенку обязательно приснится кошмар, обязательно! Бескрылость унылой фантазии иллюстратора феноменальна. Взять и изобразить какого-то староколхозного сторожа в качестве охранника ракетодрома с нелепыми амбарными ключами, в клубках пара от самовара перед ним! Что же это такое, голубушка? Ты не можешь объяснить? Я понимаю, что всякие жизнерадостно увлеченные пройдохы с гибкими спинами всегда и всюду и каждый по-своему урывал и урывают у простодушного общества свой гоголь-моголь, но нельзя же отдавать их спекулятивной предприимчивости литературу, живопись!

Ему не обязательно было взглядывать в мою сторону при упоминании гоголя-моголя, — я и без того понимал, что заключительная часть возмущенной тирады насчет жизнестойких пройдох адресовалась мне. Я со стыдом подумал о сырниках, о «своем» отзыве Владыкину на рукопись Элкиной и совершенно неожиданно и необъяснимо для самого себя ненужно вступился за автора «Полет на Луну». Я сказал, что как внутреннему рецензенту рассказа мне лучше посторонних известны его достоинства, и прежде всего то, как в нем отражена победительно-героическая линия. Ирена с заботливым удивлением посмотрела



на меня, но ничего не сказала. Молчал и «бывший», — у него почему-то погасла в тот момент трубка, и он занялся ею.

— Конечно, рассказ и рисунки к нему не бог весть какая находка, — посреднически сказала Ирена, — и я думаю, что ни то, ни другое не должно вызывать к себе больше того, что оно заслуживает... Скажите, как выживаете, Владимир Юрьевич?

— Как видишь, Ариша, — с достоинством сказал он. — Кажется, Дюма говорил, что, для того чтобы не казаться смущенным, надо быть наглым, но лично я так и не усвоил такую простую мудрость!

Это был хотя и неудачно прилаженный, но отличного веса булыжник в мой огород. Я вник в рукопись и сделал вид, что ничего не слышал. Ирена дважды выдвинула и захлопнула ящик своего письменного стола, — мне предлагалось взглянуть на нее, чтобы получить приказание выйти из комнаты. Я сказал про себя «черта с два» и «не понял» сигнала. Дым от стариковой трубки медвяно пахнул не то цветом липы, не то желтого донника. Может, сушил и подсыпал для неспорости в табак? Я смотрел в рукопись, но краем глаза видел, как вкусно курил и хорошо уверенно в чем-то — очень независимо и гордо-задумчиво — сидел в чужом полукресле старик. Перед ним на краю стола лежала рабочая рукопись Верыванны, которую «дотянула» Ирена, и он осторожным подсовом ладоней приподнял ее и взвешивающе покачал на руках.

— Какой фолиант! Какая безудержная словесная расточительность! Видно, от этой хвори совсем не стало никакой мази!

Он не положил, а посадил рукопись на место, как сажают обратно на под недопеченную ковригу. Ирена неестественно засмеялась.

— Я прав, Аришенька, — наставительно сказал Владимир Юрьевич, — количество страниц современной повести или романа не должны превышать предела человеческого века — цифры сто, потому что написать книгу все равно что прожить жизнь. Я имею в виду талантливую книгу и яркую жизни! — специально, наверное, для меня произнес он эту фразу. — Лессинг призывал работать над страницей прозы как над статуей, а наш Бабель... вы, надеюсь, слышали о таком писателе? — почему-то сострадательно обратился он ко мне. Я молча поклонился ему. — Так вот он установил, что никакое железо не может

войти в человеческое сердце так ледяще, как точка, поставленная вовремя!

У него снова погасла трубка, но он не стал раскуривать ее и собрался уходить. Ирена вторично посигнала мне ящиком стола, но я опять «не понял» намека и подумал, что устойчивость — непреодолимый враг управления!

— Я провожу вас, Владимир Юрьевич, — нервно сказала она «бывшему». Он не попрощался со мной и даже не взглянул в мою сторону. Я попытался убедить себя, что его пренебрежение несколько меня не задело, и попробовал работать, но это оказалось невозможным, — во мне что-то разорилось, что позволяло легко и бездумно приводить в удобочитабельный вид «Степь широкою». Ирена вернулась минут через двадцать, и я спросил, ради чего она выставила меня на посмешище с этим дурацким «Полетом».

— А как бы ты иначе узнал, что изрекал Дюма, Лессинг и Бабель? — полушутя сказала она и посмотрела на меня серьезно и грустно.

Старик, оказывается, приходил, чтобы занять у нее пять рублей.

После работы я, против воли Ирены, увез ее к «себе» в лес. Домой она не позвонила. Мы впервые тогда не разожгли костер, потому что Ирена заснула на сиденье, уткнувшись лицом мне в колени. Она спала, а мне хотелось очищающе покаяться ей в своей брехне насчет рези в желудке и рассказать, как свински безмятежно я жил подле нее эти дни, но будить ее было нельзя, — она спала так безжизненно, прибито и доверчиво мне преданно, что от напряженной затаенности у меня начал болеть затылок в том месте, где была метина от свинцового котяша... Ее нельзя было будить, а боль моя все раскалялась и ширилась, и я стал осторожно массировать затылок сперва одной рукой, потом второй.

— Слушай, Антон, — не шевелясь, слабо позвала Ирена, и я решил было, что это она во сне. — Тебе никогда не казалось, что у нас самая обыкновенная и банальная... — Она запнулась, потому что не хотела произнести ни слово «связь», ни «интрижка».

— Любовная история, что ли? — подсказал я.

— Да. Изрядно замызганная в современной литературе. Знаешь, этот извечный, надоевший всем треугольник!

Я сказал, что любви, если она запоздалая, без треугольников не бывает, и дело не в треугольниках, а в бездарности авторов, дерзающих бормотать об этом. Я подумал и предположил еще, что, для того чтобы написать книгу о любви, нужен большой и свободный талант.

— Что значит свободный?

Ирена по-прежнему лежала, уткнувшись лицом мне в колени.

— Как у Толстого и Флобера, — объяснил я. — Они ведь тоже писали о треугольниках.

— Да, конечно, — согласно сказала Ирена. — Но я все-таки просто-напросто твоя любовница.

— Ты никогда не была моей любовницей! — сказал я.

— А кто же я?

— Возлюбленная моя жена, — сказал я. — Давай, пожалуйста, уедем! Выкрадем Аленку и уедем! Иначе, ты истерзаешь себя.

— Куда мы уедем? — заморенно спросила Ирена и приподнялась. Я засветил плафон, достал с заднего сиденья «Атлас шоссейных дорог» и раскрыл его на сорок шестой странице.

— Например, в Орел или в Брянск.

— Нет, давай искать города с названиями поласковой, — попросила Ирена. — Смотри: Нежин... Лебедин... Обоянь... А что мы там будем делать?

— Ничего, что дало бы право потомкам плюнуть на наши могилы, — сказал я.

— Ого! Это уже кое-что значит, — пресно улыбнулась Ирена.

— Я напишу там вторую повесть, — серьезно сказал я.

— О чем?

— О нас с тобой.

— Она будет называться «Куда бегут гонимые»?

— Нет, иначе: «Вот пришел великан».

— Да, — горестно сказала Ирена, — пришел великан... Великан! О нас с тобой писать нельзя. Мы, дорогой мой, слишком отрицательное явление... И какой ты великан! Ты мальчишка... маленький и жалкий, как и я сама...

Она тихо и безутешно заплакала, и я, как в тот наш давний раз, стал щепоткой пальцев обирать с ее ресниц слезы. Они были веские, теплые и большие, как поспелый крыжовник...

Новые качества, как известно, приобретаются за счет потери старого, но, оказывается, быть покровителем и не сбиваться на мелкое тиранство почти невозможно. Ирена стойко переносила свое покорничество, я же во многом повторял ее в своих заботах о ней,— по утрам допытывался, что она ела, и допрашивал, почему у нее ржавый голос и странный взгляд. Я тоже стремился подкармливать ее и покупал то шоколадку, то пирожное, то тыквенные семечки, потому что любил их сам. Тогда на рынке появились оранжевые круглые дыньки с юга. Стоили они от двух до четырех рублей штука, и на рассветах, до выхода милиционера на перекрестки, я мотался на «Росинанте» по городу, подвозя тех, кто спешил к своему горю или к радости. Брал я — сколько давали, и на дыни обычно хватало. Ели мы их украдкой, разделив на равное количество скибок и запрятав в ящики наших столов. Свою долю я уничтожал мгновенно и с великим наслаждением, а Ирена ела долго, с какой-то вымученной гримасой страдания, и мне в голову не приходило, что она просто-напросто терпеть не может дыни. Ни тогда, ни даже вот теперь я не в силах заставить себя понять, как это человек, которого ты любишь, может иметь другой вкус или взгляд на то, что самому тебе нравится...

Наверно, с Вераванной случилось в Сочи что-то неправомерно хорошее, похожее, надо думать, на бунинский «Солнечный удар», потому что, явившись на работу, она была безразлично отрешена от себя самой и от нас с Иреной. Она пребывала в каком-то углубленном сомнамбулическом трансе, и все в ней — сыто-печальная поволока глаз, валко-расслабленная походка, безвольная и как бы послехворевая модуляция голоса, — невольно понуждало к участию и беспокойству за нее, изнеможенно где-то парящую, и мы с Иреной без сговора всячески старались не помешать чем-нибудь этому ее парению. У нас в комнате установилась тогда прочная рабочая атмосфера, — мы целыми днями молча и усердно правили рукописи: я — «Степь широкою», а Ирена — «Черный фонтан», тоже очень толстый чей-то роман о нефтяниках. Вереванне нечем было заняться, — ее рукопись, которую добила Ирена, следовало сдать Владыкину, а он не явился пока из отпуска. На этом основании, как загруженный делом человек, я мог бы курить в комнате, но на то надо было спрашивать

теперь разрешение у Верыванны, и я предпочитал выходить в коридор. Такие мои походы не могли, понятно, не производить колебаний воздуха и вульгарного стука каблуков, а это возвращало Веруванну к действительности, и она всякий раз провожала и встречала меня с немым удивлением, будто силилась вспомнить, кто я такой и почему нахожусь тут рядом с нею. Она томилась не то грезой о скоро прожитом, не то ожиданием какой-то близкой грядущей улады, потому что часами сидела, устремив взгляд на телефон. Вид у нее был блаженно-отсутствующий, будто она нежилась в хвойной ванне, но когда фыркнул телефон, рука ее хищно металась к трубке и Вераванна не говорила, а почти пела — «вас слушают». Было ясно, что она ждала чей-то голос в телефонной трубке, и я написал и украдкой передал Ирине записку, в которой звал ее возблагодарить бога за то, что он наделил человека любовной сладкой мукой, чувством братства, товарищества и вообще альтруизмом, чем царственно отличил его от животного. Ирина взглядом приказала мне не дурить, а у самой колюче торчал в зрачках смех, и я видел, что ей тоже хочется написать мне записку, и только опасность нашей «цепной реакции» мешала этому.

Так прошло несколько дней. Мы с Иреной ни разу не выехали «к себе», — она не знала, куда отправится после работы «друг семьи», домой или к ней? До сих пор Вераванна почему-то не показывалась на Перовской, а там ее, видите ли, ждали и ждут с большим нетерпением.

— Пожаловаться на тебя хотят? — спросил я, когда Вераванна отлучилась из комнаты.

— Возможно, — безразлично сказала Ирина. Глаза ее все время оставались набитыми смехом, и вообще вся она преобразилась и стала собой, давней.

— А как насчет моего переселения? — напомнил я. — Отпало?

— Я тебе переселюсь, шушлик несчастный! Сиди и работай!

Было похоже, что она намеревалась опять командовать мною, и я не собирался тому противиться, потому что мне хотелось видеть ее сильной.

В те пустые мои вечера я, по настоянию Ирены, прочел книжку Владыкина и после этого трижды видел во сне своего отца. В двух снах он был там еще живой... Три утра я вел с Владыкиным трудные мысленные беседы, —

мне хотелось знать, была ли там хоть какая-нибудь возможность уцелеть человеку сильному? Он кротко спрашивал, что это значит, и я объяснил, как мог. «А мы никогда и ни в чем не сомневались», — отвечал Вениамин Григорьевич. «Я знаю это», — говорил я ему, и у нас начиналось все сначала, и я так и не смог понять, почему мой реабилитированный потом отец погиб, а он, Владыкин, остался жив и даже написал вот любопытную, как сказала Ирена, книгу!.. Наверно, я в чем-то был тут неправ. Сердце было неправо. Ему ведь не всегда прикажешь... И разве я не должен остаться благодарным Владыкину за то, что трижды подряд видел тогда во сне своего отца?..

Первый снег, если он выпал тайно, ночью, хорошо торить первому, до пробуждения дворников, но для этого надо, чтобы на тебе были новые темные ботинки на «молнии», легкая зеленая на белом меху с исподу шведская куртка, а на голове зимний финский берет с козырьком и помпоном на макушке. Тогда, один во всем городе, ты можешь вообразить себя кем угодно, вплоть до наследного принца из старинной книжки, только это, понятно, не нужно показывать встречным: им ведь ничего не объяснишь, их же не заманишь в свое детство и юность... От Гагаринской до Перовской я так и прошел — наследным принцем, и те, кто мне встречались, ничем и никак не протестовали против этого, — может, они тоже все были князья и графини, если поднялись в такую же рань, как и я. В белом чистом утре голландский особняк в своем отлете казался строгим и чопорным, как и положено замку, где обитают принцессы, и черт бы с ним, с Волобуем, — он мог присутствовать в замке в роли мажордома или как это там еще называлось! Я поприветствовал все три ряда окон особняка, потому что не знал, на каком этаже жила Ирена, потом смелым шагом — никого ведь не было — прошел по снегу до самых дверей дома, а назад к тротуару вернулся по своему следу, и получилось, что я вошел в дом и там остался... Город просыпался нехотя и долго, — нежился, и как в детстве, когда я оказывался на воле, меня непреодолимо потянуло к чужим окнам. За каждым из них, как и тогда при моих побегах из детприемников, текла чья-то загадочная жизнь, складно и напрочно заселенная недоступным для меня уютом, семейной спаянностью и согласием на тесноту. Заглядывать в чужие окна лучше всего в кривеньких переулках с низкими деревянными домишками, и делать

это надо ранним утром или поздним вечером — больше увидишь. Тогда семья обычно бывает в сборе, за завтраком или ужином, и на столе может оказаться самый настоящий старинный самовар и разлатые, тоже старинные, синецветастые чашки,— значит, тут у кого-то живы дед или бабка, отец или мать...

На работу я опоздал ненамного — минут на двадцать: после чужих окон я долго и невесело размышлял о себе и об Ирене, потом вспомнил о снеге и о близком январе, когда появится в журнале моя повесть, и мне стало легче. Я поздравил обеих женщин с новой зимой в их жизни, и Вераванна никак не отозвалась на это,— тогда замурлыкал телефон, и она рванулась к трубке, а Ирена обыскала меня взглядом и скосилась на берет,— помпон-то небось торчал как плюмаж. «Где ты шаландуешься?» — ревниво спросила она глазами. Я ответил, что возвращаюсь с раута у голландской принцессы. Она недоуменно пожала плечом. «Ничего не поделаешь, трудно быть красивым принцем»,— грустно сказал я бровями. «Не поняла»,— тревожно ответила она ресницами.

— Какое нынче божественное утро, Ирена Михайловна! — вслух сказал я, и она успокоилась. На все эти наши вопросы и ответы нам понадобилось всего несколько секунд,— Вераванна успела только пропеть в телефон свое томно-ожидательное «вас слушают». Нам вообще редко звонили, и почему-то чаще всего не по адресу.

В тот раз, как я предполагаю, кто-то сгрубил Вереванне, потому что она с грохотом опустила на рычаг трубку, и у той отлетела головка микрофона. Она упала на пол, к моим ногам, и я поднял ее и положил рядом с телефоном у локтя Верыванны,— головка обломилась на резьбе. Возможно, мне следовало при этом сказать что-либо о непрочности пластмассы или же как-нибудь иначе выразить Вереванне свою солидарность, что ли, но вместо этого черт меня дернул зачем-то поклониться ей. Молча.

— Чего вы паясничаете тут? — разъяренно сказала она.— Кочервяжьтесь, пожалуйста, перед теми, кому это нравится!

Я извинился, снял берет и куртку и сел за свой стол. Мне нельзя было взглянуть на Ирену: Вераванна неправильно произнесла слово «кочервяжьтесь», переместив в нем буквы «р» и «в», а это грозило нам опасностью «согласованного» смеха...

Первая половина ноября протянулась для меня столетием. Ирена вторую неделю не появлялась в издательстве, и я не знал, что с нею случилось: Вераванна не разговаривала со мной, а к телефону на Перовской неизменно подходил Волобуй. Я звонил туда чаще всего вечерами, после работы, и Волобуй каждый раз с достоинством говорил «да-да» и «вы не туда попали». Голос его звучал бодро, и это обнадеживало меня: там, значит, ничего страшного не произошло. Могла же она прихворнуть ангиной, например. Тогда почти все время шел мокрый тяжелый снег. Над «Росинантом» образовался могилобразный сугроб, и я снял для него в аренду за двенадцать рублей в месяц трущобную закуску в одном из тех переулков, где были деревянные дома. После этого совсем стало нечем жить: на работе не было Ирены, а дома — «Росинанта», и по ночам не хотелось ложиться в свою раскладушку, а по утрам вставать. Худо мне было с Вераванной. После моего немого поклона ей, когда у телефонной трубки отломилась головка микрофона, она увеличила заряд своей ненависти ко мне, и я до сегодняшнего дня так толком и не понял, в чем же у нас было дело, как это я смог возбудить у ней такой ядерно мощный и затяжной приступ злобной обиды. Предположение Ирены о стремлении Верыванны называть меня своим «шушликом» было просто противно и невероятно. Я только знаю, что Вераванна после возвращения из Сочи так и не дождалась обещанного и, наверно, нужного ей звонка, что «солнечный удар» у нее прошел, — недаром же телефон, после его починки, оказался на столе Ирены, и что повинным во всем этом оказался я, мой рост, моя куртка, берет с помпоном, моя фамилия...

В эти дни, без Ирены, у меня произошла нечаянная стычка с Владыкиным, о чем я, впрочем, совсем не жалею. Наоборот. Стычка эта вышла из-за Хохолкова, автора рассказа «Полет на Луну», — тот явился, чтобы вручить его Вереванне с дарственной надписью. Как известно, каждое литературное произведение обладает удивительным свойством проявлять не только духовный, но и физический облик автора, — по крайней мере, сам я в любом стихотворении Пушкина или Блока, в каждой строке Толстого или Чехова ясно вижу их самих. Я представляю, какого они были роста, какого цвета у них глаза и волосы, как они разговаривали, улыбались или гневались, как ходили и как сидели. Нет-нет, тут полностью исключен самообман, будто мы потому только видим этих писателей таки-



ми, что прежде уже знали их портреты. Ничего подобного. Каждая книга похожа на своего автора, и каждый автор — на свою книгу, — тут уже ничего нельзя поделывать, хотя вполне возможно, что многие беллетристы не хотели бы быть схожими со своими произведениями. Хохолков был здорово похож на свой рассказ, похож решительно всем: белесостью наивно-радостных глаз и роскошной, но отчего-то смешной на нем долгополой дубленкой, хитроватым утиным носом и замшевыми ботами на желтых латунных пуговках. К дубленке не шли летние вельветовые брюки цвета осенней болотной травы, как не подходила к ней и черная, отечественного производства, каракулевая шапка пирожком. Когда он появился и восторженно засмеялся навстречу Вереванне, я почему-то решил, что это окололитературный жук из тех, что со страшной силой вились вокруг издательства в вожделении захватить чью-нибудь «самотечную» рукопись для «внутренней» рецензии, — они браковали их легко и с ходу одними и теми же фразами-конструкциями вроде крупнопанельных ферм, из которых строят теперь стандартные дома. Эти ребята всегда казались мне почему-то повышенно веселыми, и дело, наверно, было просто в том, что видел я их обычно в дни выдачи гонорара. Он с чувством поцеловал Вереванне руку, и она суетно заволновалась.

— Аркадий Маркович, дорогой наш, куда же вы запропастились?

Она сказала это подобострастно, и тот снял шапку и во второй раз приложился к ее ласте. На его голове просвечивалась круглая темечная лысина, замаскированная начесом. Свою преждевременную плешь не каждый, конечно, может носить с грацией, но настоящий мужчина, по-моему, не должен возиться с нею как с позором, который надо скрывать.

— У вас, кажется, новый сотрудник? — сказал он Вереванне обо мне. Она кручинно ответила «представьте себе», и я вынужденно привстал со стула, — как-никак, а меня вроде бы рекомендовали для знакомства.

— Аркадий Хохолков... Не жмите, пожалуйста, крепко руку, — предупредил он меня. Я машинально, вслед за ним, тоже назвал свое имя и фамилию. Вераванна тогда откровенно фыркнула, и это помешало мне исполнить странную просьбу Хохолкова, — я пожал его толстоватую короткую ладонь с нормальной в таких случаях крепостью. Он никак не среагировал на это, и я не поверил, что у него болит рука...

Заносить меня начало позже, уже после того, как Хохолков многозначительно-молча и стоя вручил Вераванне рассказ. Вераванна растроганно приняла его в обе руки и, не читая надписи, возбужденно и шепеляво сказала «шпачибо». Когда они сели, Хохолков замедленным движением — как после долгой изнурительной дороги — достал из кармана дубленки непечатую оранжевую пачку сигарет «Кэмел». Он прикурил от газовой японской зажигалки, перламутровой, плоской и изящно маленькой. Точно такую у меня прихватили вместе с брюками те четверо молодцов в беретиках.

— Ну? Рассказывайте. Где вы пропадали? — западающим шепотом, навалась бюстом на стол, сказала Вераванна. Руки она держала на рассказе. Хохолков затянулся сигаретой и замученно прикрыл веки. Вот тогда меня и начало заносить, — наши столы ведь почти соприкасались, и я, глядя в рукопись, невольно видел и Веруванну и Хохолкова. «Ну, пожалуйста, пожалуйста, что ты, мол, смертельно устал. Просит же человек», — мысленно посоветовал я Хохолкову.

— Страшно устал, Верочка, — сказал он, а я поспешно закурил «Приму». — Только что вернулся из загранки... Вы представляете?

Он стал рассказывать о Токио. Все, что он говорил, соответствовало истине, — не только, наверно, в Японии, но и в любом заокеанском большом городе советский человек — особенно русский — в самом деле быстро надсаживается духом и телом. Его сердце сразу же начинает там ныть и проситься домой, в свой родной Саратов или Бердичев, безразлично. Причин этому много: и наша извечная и труднообъяснимая заторможенность — если мы всего-навсего лишь рыбаки или туристы, а не дипломаты — к принятию чужого языка, нравов и вкуса; и пугающая оголтелость безустально жаждущих фунтов и долларов; и сознание собственной потерянности и беспомощности в том сумасшедшем-сумасшедшем мире; и обновленно — всегда обновленно! — возгорающаяся тогда любовь все к тому же самому Саратову. В то же время мне по собственному опыту было известно, что неожиданно попавший за океан наш человек не очень охотно признается грамотному соседу в своих впечатлениях, — тут ведь легко можно навлечь на себя подозрения в степной отсталости или показаться просто-напросто трепачом. Во всяком случае, говорить об этом бывает не легко и не просто: там, между прочим, попадается и такое, что хочется навсегда увезти с собой.

Хохолков жаловался на свою усталость от «загранки» с каким-то сладким упоением, и то, что он не спрятал, а оставил на виду у Верыванны сигареты и зажигалку, не снял дубленку и парился в ней, что на нем были «художественные» летние штаны и зимние полумужские-полуженские боты, все это каверзно мешало мне поверить в искренность его жалобы, хотя сам я был, возможно, вдвойне больший тряпичник, чем он.

— Будете писать теперь книгу, да? — вкрадчиво спросила Вераванна. Хохолков обремененно наклонил голову, — куда, мол, денешься, а я подумал, что надо было подать ему не пять, а только два пальца — средний и указательный, раз он просил не жать руку. Подать, и все. И сесть как ни в чем не бывало. Затем мне пришла в голову совсем шальная мысль — взять, поплевать себе на ладонь, подойти к Хохолкову и шлепнуть по темечку. Шлепнуть, конечно, несильно, но чтобы все-таки получился сыро чмокнувший хлопок. Что бы после этого было? Ну что? Я тогда же пристыженно рассудил, что во мне только потому, наверно, сохранился запас глупого ребячества, что его не привелось израсходовать вовремя, в детстве.

Когда Хохолков ушел, я спросил у Верыванны, чем был вызван ее эмоциональный сочный смех.

— Как это чем? — негодуяюще вскинулась она, — взъерилась, видно, из-за «сочного смеха». — Если представляется человек с писательским именем, а к нему, видите, тоже лезут с собой, то это странно даже! Как говорится, куда рак с клешней, туда и конь с копытом!

— Это говорится наоборот, но вы обмолвились правильно, — сказал я.

— В чем это я обмолвилась правильно?

— Насчет рака, — сказал я. — Разве этот плешивый потешник в самом деле писатель?

— А кто же он, по-вашему?

— Угодник его знает, — ответил я. — Что он написал-то?

— Две повести и вот этот рассказ!

Вераванна помахала перед собой «Полетом на Луну», как веером. Я засмеялся и сказал, что это не рассказ.

— А что же? — визгливо спросила она.

— Это? Чепуха-с. Этакий аммиачный пар-с... И почему вы пицчите? Я же не щекочу вас под мышками, — невинно сказал я. Она схватила со стола рассказ и уже из коридора, из-за двери, крикнула, что я хулиган.

Без Верыванны — она не вернулась после нашей беседы — я закончил в тот день правку «Степи широкой» и позвонил Ирене. Волобуй сохранял все тот же бодроблагополучный голос, и я поблагодарил его, вместо того чтобы извиниться за ошибочно названный номер: я окончательно поверил, что там ничего страшного не случилось. Просто она заболела немного ангиной, и все. А Волобуй... что ж Волобуй! Он должен оставаться на своем месте и вести себя как следует... Ухаживать и все такое. Это хорошо, что он боевитый и заботливый... С этим примирительным чувством к Волобую я и отправился к Вениамину Григорьевичу, когда меня позвали к нему в конце рабочего дня. Рукопись я захватил с собой, полагая, что это и есть причина моего вызова к начальству. Был альпийски мягкий, не морозный и не слякотный день, и витражные косячки в окне кабинета Владыкина тлели притушенно-меркло. Вениамин Григорьевич поздоровался со мной без руки, — переставлял на столе подставочку для карандашей, и я сказал «слушаю вас» и не стал садиться.

— Как у нас обстоит дело с рукописью? — надсадно, будто у него болело что внутри, спросил он, глядя на подставочку. Я сказал, что роман можно сдавать в набор.

— Ну, это уже мы...

Он не закончил свою мысль. Я положил перед ним «Степь» и, когда отступил на прежнее место между креслами, нечаянно прищелкнул каблуками. Вениамин Григорьевич болезненно поморщился, — прищелк получился у меня по-солдатски крепкий. Тогда у нас образовался тягостный провал времени, заполненный только тем, что у селенологов называется реверберацией, — это когда звучание живет еще некоторое время после выключения его источника.

— Все? Мне можно идти? — спросил я, и это тоже вышло у меня по-военному. Владыкин сумрачно и опять почему-то трудно сказал: «Да нет, минуточку», — и неловко, кренясь на бок, достал из ящика стола рассказ Хохолкова.

— Вот вы помните, товарищ Кержун, что говорили мне об этом произведении, когда оно было еще в рукописи? — выразительно спросил он. Я сказал, что помню. — А почему же теперь вы считаете его фарсом?

— Фарсом? — переспросил я. Владыкин не ответил. Он смотрел не на меня, а на подставочку, и я понял, что тут

полностью искажена суть нашего разговора с Вераванной и что я не имею никакой возможности восстановить правду. Ну как я мог объяснить, что назвал рассказ Хохолкова не фарсом, а паром, произнеся это слово с приставкой буквы «с»? Я понимал, что отвечать на вопросы мне следует спокойно и обстоятельно, но дело у нас осложнялось не только тем, чтобы восстановить правду: надо было исходить еще и из того, что известно на этот счет Владыкину. Осложнялось наше дело еще и тем, что Вениамин Григорьевич был для меня тот человек, перед кем я всегда чувствовал себя скованным, безвольным и даже в чем-то виноватым. Я знал людей — например, капитана нашего траулера и его старпома, — при общении с которым и ты ощущаешь себя свободным, деятельным и смелым, — одним словом, достойным, и есть такие, перед кем становишься ниже, чем ты есть на самом деле. Вениамин Григорьевич был для меня этим, принижающим мою сущность, человеком, и поэтому я не стал опровергать, будто не называл рассказ Хохолкова фарсом: тут мне все равно не поверили бы.

— Хотелось бы знать, товарищ Кержун, когда вы были искренни, — крепнувшим голосом сказал Вениамин Григорьевич, — в первый раз или теперь?

Мне тогда подумалось, что Диброву я мог бы подробно рассказать обо всем, что на самом деле произошло утром: как Хохолков предупреждал меня не жать ему крепко руку, а я все-таки пожал ее, как он «забыл» на столе американские сигареты и потел в дубленке, что говорил о своей «загранке» и как мне захотелось в это время поплевать себе на ладонь... Я бы сказал Диброву о «паре-с» и о том, как Вераванна обозвала меня хулиганом, заменив в слове букву «х» на «ф». Наверно, он в этом месте обязательно расхохотался бы, а меня понапутствовал каким-нибудь ироническим мужским советом, как в тот раз, когда ему доложили о нас с Иреной...

— Что же вы молчите?

Вениамин Григорьевич сказал это осуждающе, с примесью сожаления о моей несомненной для него неискренности. Мне почему-то вспомнилось, как я зарезал ему весной курицу, и стало обидно и досадно на себя, и я почти физически ощутил, как внезапно спала и улетучилась его странная власть над моим мужеством. Я сел в кресло и вежливо предложил ему сигарету.

— Это, конечно, не «Кэмел», но курить можно, — сказал я. Он молча и протестующе завозился на своем

стуле. Тогда я закурил сам.— Значит, вас интересует, Вениамин Григорьевич, когда я был искренним в оценке рассказа «Полет на Луну»? — спросил я сквозь дым.

— Вот именно,— с настороженной сдержанностью подтвердил он.

— В таком разе вынужден огорчить вас. Искренним я был сегодня,— сказал я. Мы выжидательно посмотрели друг на друга. На столе не было пепельницы, и во мне шелохнулся озорной соблазн стряхнуть нагар с сигареты в подставочку.

— Выходит, вы... ввали вначале? — логично заключил Вениамин Григорьевич, и я заметил, как порозовел и набряк рубец шрама на его щеке.— Почему же вы так поступили?

Я ответил, что на это меня вынудили исключительные обстоятельства.

— Вы ведь дали мне рассказ на отзыв, когда он был уже сверстан и проиллюстрирован...

— А вам откуда это стало известно? — прервал он меня.

— В данном случае важен факт. И не повышайте, пожалуйста, голос,— сказал я, хотя на самом деле он не повышал. Мы снова примеривающе посмотрели в упор друг на друга, и Вениамин Григорьевич нажимно спросил, выразил ли я свое подлинное мнение, когда писал отзыв на рукопись Элкиной. Я ответил, что «Позднее признание», на мой взгляд, отчаянная исповедь очень одинокой и, наверно, хорошей женщины, но, для того чтобы повесть приобрела хоть какой-нибудь общественный интерес, автору не хватило литературной сноровки.

— Всего лишь сноровки? — с грустью надо мной спросил Вениамин Григорьевич, а я подумал, что могу тут забрести дальше, чем следует, запутаться и подвести Ирену,— отзыв-то писала она.

— Я имел в виду мастерства,— сказал я.— Это в значительной степени относится и к бездарному рассказу Хохолкова!

Сигарета моя истлела до основания и обжигала пальцы. Я поплевал на нее и понес окурок за стол Владыкина, к окну, где стояла корзинка для бумаг. Вениамин Григорьевич с опасливым любопытством до конца проследил за моими действиями и, когда я вернулся к креслу, встал сам.

— Видите ли, товарищ Кержун,— начал он,— если вам приходится у нас трудно, то... мы не станем вас удерживать.

У него были безмятежно-добрые глаза. Я выждал некоторое время и сказал, что решение вопроса о своем увольнении предпочел бы услышать от директора издательства.

— Если вы, конечно, не возражаете.

— Да нет, вы неправильно толкуете,— поежился Вениамин Григорьевич,— мы не собираемся увольнять вас сами, понимаете?

Я сказал, что понимаю, но что в этом случае мне придется просить у товарища Диброва отсрочку на подачу заявления.

— До января,— сказал я,— пока выйдет моя повесть. Вы не согласились бы поддержать меня в таком ходатайстве?

— А где это... должно выйти? — не сразу, поборовшись с чем-то в себе, спросил Вениамин Григорьевич. Я назвал журнал. Нас разделял стол, а не поле, и поэтому мне хорошо было видно, что Владыкин, как и в тот первый раз, когда я из «чувства самосохранения» соврал ему, не поверил сказанному мной.

— Отношение редакции у вас с собой?

— Кажется, да,— неуверенно сказал я. Мне показалось нужным побыть немного растерянным, потому что «отношение» действительно существовало теперь и лежало в записной книжке в заднем кармане моих брюк. Я видел, как неуживалось Вениамину Григорьевичу — застигнуть меня во лжи с глазу на глаз,— слабым людям это почему-то легче делать при свидетелях, и поэтому, наверно, он взглянул поверх меня, на дверь: вдруг кто-нибудь войдет! Из своих, конечно. И лучше всего, чтобы это была, понятно, Вераванна...

— Да-да. Извещение со мной,— равнодушно сказал я.— Хотите взглянуть?

Уже после того как Владыкин взял у меня сложенное вчетверо письмо, мне вспомнилось, что вверху бланка, над оттиском названия журнала,— весенне-зеленым, кратким и счастливым, как молодость, красным карандашом я написал три огромных по величине букв слова — ура, уро и уры. После «ура» стоял всего лишь один восклицательный знак, а «уро» и «уры» я оттолбил многими... Я написал это уже давно, и разве на самом деле не слышится в окончании слова «ура» «о» и «ы», если

выкрикивать это слово громко и счастливо? Еще как слышится!..

Вениамин Григорьевич дважды прочел письмо, аккуратно сложил его вчетверо и вернул мне.

— Что ж... Это их дело,— с полувздохом сказал он и сел за стол. Я спрятал письмо и остался стоять.— Мне все же, товарищ Кержун, непонятно, почему вы так... невоздержанно отозвались о рассказе «Полет на Луну»? Да вы садитесь. Нам все-таки надо поговорить.

Я поблагодарил его, сел и сказал, что написать рассказ — это все равно что прожить год жизни.

— Я имею в виду талантливый рассказ и яркий год жизни,— сказал я.— И вообще над страницей прозы нужно работать как над статуей!

Черт знает, зачем я говорил ему все это, он выслушал меня без возражений и вопросов...

Новая рукопись, которую вручил мне для работы Вениамин Григорьевич, называлась «Солнечные брызги». В ней было около четырехсот страниц. Вениамин Григорьевич сказал, что было бы хорошо сдать ее в производство в феврале.

Утром шел снег. По дороге в издательство я завернул на Перовскую, дошел до дверей особняка и вернулся на тротуар по своему следу. Вераванна оказалась на месте: она сидела с видом хозяйки положения, времени и пространства.

— Гут морген! — обольстительно сказал я ей.— В такую погоду хорошо промчаться на тройке по полю с любимым человеком. Вы не находите?

Она с неприступным видом читала рукопись.

— Но предварительно этим двоим следовало бы выпить по шашечке шерного кофе с ямайским ромом,— сказал я. Наверно, мы так или сяк вцепились б словесно друг в друга — я не собирался оставлять без комментария ее вчерашний доносный побег к Владыкину, но нам помешала Ирена, возможно, помешала зря: мало ли как после того развернулись бы события? Может, все вышло бы как-нибудь иначе, лучше... А впрочем, едва ли эта помеха имела какое-либо значение... Ирена появилась как видение. Она была в белой коротенькой шубе и в белой меховой шапке — вылитая снегурка, и я, увидев ее, встал за своим столом. Я так и не понял, что она тогда приказала мне глазами — тревожными, черными и большими на бумажно-белом исхудавшем лице: то ли немедленно сесть, то ли выйти, и я ничего из этого не сделал,—



не сел и не вышел из комнаты. Я набрал в грудь воздуха и, немного задохнувшись, сказал, что рад ее видеть.

— Я вас тоже, Антон Павлович,— сдержанно и полухрипше сказала она. Глаза ее что-то приказывали мне и одновременно спрашивали.

— Что с вами случилось? — радостно вырвалось у меня. Веруванну я не видел и не слышал,— так она подкопно притихла.

— Как у вас тут душно,— отвлекаяще сказала Ирена. Я потом уже сообразил, что мне нельзя было выбежать из-за стола и помогать ей раздеться, но дело было в том, что я забыл о Вереванне.

Когда вы на виду у кого-то неожиданно в чем-то спохватываетесь и пугаетесь, то сразу же начинаете давать отбой, то есть поступать и вести себя противоположно тому, как поступали секунду назад, а это всегда выходит неуклюже и переигранно. Мой «отбой» заключался в том, что я, вспомнив о Вереванне, спешно и молча вернулся на свое место с Ирениной шапкой в руках, и Ирене пришлось самой забирать ее с моего стола и молча отнести к вешалке. После этого я приложил все усилия к тому, чтобы напустить на свою физиономию ленивое равнодушие не только к появлению Ирены, но ко всему на свете. У нас тогда установилось подозрительно-выведочное молчание,— Вераванна не обмолвилась с Иреной ни словом: она притаенно следила за нами, глядя в рукопись. Мы тоже читали. Временами я краем глаза проверяюще взглядывал на Веруванну и видел все тот же устойчивый, иронически загадочный контур ее лица,— она походила на предворотного сторожевого сфинкса у какого-нибудь старинного ленинградского особняка. Мне злорадно подумалось, ну как бы она произнесла слово «сфинкс»? Свинкс небось? Я вызывающе густо задымил «Примой», это не «Кэмел», черт возьми,— Вераванна шумно снялась с места и вышла из комнаты.

— Я увидела тебя утром в окно. Как ты оказался на Перовской? Что случилось? — спросила Ирена. Я ответил, что ничего не случилось.

— Смотри в рукопись, Вера может войти каждую секунду... Я собиралась на работу в понедельник, а сегодня только среда, понимаешь?

— Конечно,— сказал я в рукопись.

— Нет, не понимаешь. Вера знала об этом и все же не поинтересовалась, почему я вышла сегодня.

— Ну и пусть. Она просто каменная баба,— сказал я.

— Слушай меня. Ей известно, что нас якобы застали... когда ты целовал меня.

— И она донесла ему?

Во мне ожила прежняя ненависть к Волобую.

— Нет... Допытывалась у меня, правда ли это... А каким образом оказался на моем столе телефон? Не знаешь? Смотри все время в рукопись. Что тут у вас произошло? Вера рассказывала вчера, но я мало что поняла. Ты в самом деле оскорбил ее и Хохолкова? Она ходила жаловаться Владыкину. Он тебя вызывал?

— Да,— сказал я.

— Ну? Говори скорей!

— Все в порядке,— сказал я,— мне выдана для работы вот эта новая рукопись. А что было с тобой? Ангина?

— Грипп,— быстро ответила Ирена.— Это ты звонил вечерами?

— И по утрам тоже,— сказал я.— Нам нельзя встретиться сегодня?

— Как? Где? А Вера? И я очень плохо себя чувствую...

Вошла Вераванна. Она в самом деле была сильно похожа на каменного сфинкса с плоским, таинственно-ухмыльным лицом.

В облике Ирены проступило в эти дни что-то жалкое и непосильно-мученическое. Она усвоила какую-то напряженно-неуверенную походку, причем ее заносило тогда в сторону, будто она пробиралась в полутьме и опасалась натолкнуться на преграду. Я заметил, что время от времени у нее судорожно и коротко вздрагивала голова, отшатываясь вбок и вверх, и то, что она сама не замечала этого, внушало мне страх и боль за нее. Во всем, что происходило с Иреной, я винил Веруванну. Это не позволяло мне выдерживать проверку на интеллигентность своего поведения: я непомерно часто курил, перейдя с «Примы» на «Аврору»,— сигареты эти источали небесно-синий, подирующий горло дым, и Вереванне волей-неволей приходилось то и дело оставлять нас с Иреной одних.

— Ну зачем ты это делаешь? Разве она не понимает? — нервным шепотом корила меня Ирена, не отрываясь от рукописи. В такие свободные от Веруванны

минуты мы выяснили, что я не смею пригласить Ирену к себе,— за этим приглашением, независимо от моего намерения, все равно будет скрываться оскорбительный для нее нечистый предумысел пошлых любовников, а кроме того, в моем доме жил ведь Владыкин. Ирена могла появиться на Гагаринской раньше, до того как она еще не чувствовала за собой «состава преступления», теперь же это исключалось безоговорочно.

Накануне выходного, уже перед концом работы, я сказал Ирене, что буду ждать ее завтра на рынке у входа в овощной павильон.

— Нам надо спокойно поговорить хотя бы десять минут. Неужели ты не можешь отлучиться за продуктами?

— Нет. Это он делает сам! — У Ирены резко дернулась голова.— Но я смогу пойти в центральную библиотеку. По субботам она открывается с двенадцати часов... Смотри, пожалуйста, в рукопись.

— А, будь она проклята! — сказал я.

— Пожалуйста, прошу тебя... И не кури так часто. Мне ведь придется выходить вместе с Верой. Она и так уже...

Я не знал, что это «она и так уже», потому что явилась Вераванна. Она почему-то не оставалась в коридоре больше минуты,— наверно, считала, что за это время дым от моей сигареты улетучивался полностью.

Библиотека работала по выходным не с двенадцати, а с двух часов до одиннадцати вечера. Было ветрено и несло мелкой крупой, секущей лицо. Я зашел в соседний с библиотекой подъезд. Минут через двадцать Ирена показалась в конце улицы. Ветер дул ей навстречу, и она шла осторожно, мелкими скользящими шагами, как ходят в больнице те, кому разрешено самостоятельно являться на перевязку. В подъезде, куда я поманил ее издали, сквозяще гудел ветер.

— Встретил там знакомых? — встревоженно спросила Ирена осипшим голосом. Я сказал, что библиотека откроется только в два часа.— Как же теперь? Мне нельзя оставаться на холоде... А где твой «Росинант»?

Я объяснил. В просторных рукавах шубы ее острые локти дрожали хило и зябло. Ирена высвободила их из моих рук с жалкой нездоровой гримасой, будто я причинил ей боль.

— Не трогай меня, Антон. Я пойду домой... Но мне нужно было что-то сказать тебе... А тут нельзя.

— Зайди вот в ту нишу и прислонись к стене, она совсем чистая,— сказал я,— сейчас найду такси.

— Нет-нет, в такси говорить об этом тоже нельзя, слышишь? Не надо!

По улице я побежал под ветер — шансы отыскать пустое такси в том или в этом конце ее были равноценны. Я не догадывался, что намеревалась сказать мне Ирена, и все же страшился и не хотел этого разговора,— он не мог быть благополучным для меня при этой ее походке и жалкой больной гримасе, когда я дотронулся до ее локтей. Не мог! Я бежал и надеялся, что такси мне не попадетсЯ. Не встретитсЯ. А если и попадетсЯ, то Ирена сама ведь предупреждала, что там разговаривать будет невозможно. Завтра же, в воскресенье, мы никак не сможем увидетьсЯ, а до понедельника все образуется. Мало ли как! Надо только переждать немного — и все. Как в тот раз, когда пришло письмо из журнала... Такси вынырнуло из переулка прямо передо мной. «Не заметить» на холоде его яркий зеленый глаз оказалось, бы невероятным для кого угодно, и я поднял руку. В машине было по-летнему тепло: юный шофер сидел без пиджака, в одной белой нейлоновой рубашке,— это удачно оттеняло его темные стильные волосы, разделенные проборм, как у Иисуса Христа.

— Вон в том подъезде заберем человека, высадим его возле Перовской, а сами поедем на Гагаринскую,— сказал я ему, садясь рядом. Он кивнул. У подъезда, не выходя на тротуар, я открыл заднюю дверь и, когда Ирена медленно и боязливо пошла к машине, подумал с отвращением к себе, как хотел поплевать Хохолкову на плешь, как презираю Владыкина за его будто бы смиренно-холопское лукавство, хотя сам я просто-напросто детприемовский подонок, если способен — вполне был способен! — оставить Ирену одну с ее «неблагополучной» для меня тайной. Как только она осторожно уселась на заднем сиденье за моей спиной, я приказал шоферу ехать в аэропорт.

— Трояк за скорость,— сказал я. Он с уважительной завистью посмотрел на мою куртку.

В аэропортовском кафе было чисто, а главное, безлюдно, и мы выбрали угловой столик под фикусом и сели спиной к дверям. Я заказал бутылку шампанского, тарелку креветок и плитку шоколада «Цирк», так как

«Аленки» не оказалось. Мне очень хотелось сказать Ирине что-нибудь веселое, но она недоступно, с предслезным напряжением смотрела в окно на заснеженное аэродромное поле, где устало сидел белый самолет, и ничего радостного не приходило на ум. Я бесшумно открыл бутылку и налил шампанское в бокалы.

— Антон, я сделала... Я была беременна,— жалобно сказала Ирена в окно, и голова ее дернулась вверх и вбок. То, что воровато прошмыгнуло тогда в моем мозгу, было оскорбительной несправедливостью к Ирине, и она, наверно, уловила это, потому что обернулась ко мне лицом.— У меня есть знакомая, врач... Никто ни о чем не догадался...

Моему телу вдруг стало больно. Мне было больно всюду, и я молча глядел на Ирину и не выпускал из рук бутылку. Ирена наклонилась над столом и заплакала. Слезы ее булькающе капали прямо в бокал с шампанским, но я не смел отставить его в сторону, боясь шевельнуться и задеть ее локоть.

— Это долго не будет,— сказал я издали,— это потом пройдет.

Я имел в виду свой страх прикоснуться к ней, ее болезненную походку, отвратительный нервный тик головы.

— Как..? Что пройдет? — спросила Ирена. Она отдалась от стола и раскосо посмотрела на меня влажными глазами.

— Дай мне руку. Ты не бойся, я осторожно. Я только подержу,— сказал я. Она уронила мне на колено руку и опять заплакала. Рука ее была горячая и сухая, и на каждом ногте метилась жемчужная крапинка — ногти цвели. Под ними ритмично толкалась, то напорно приливая, то отходя, прозрачная розовая кровь, и я наклонился и неощутимо для губ поцеловал каждый палец в отдельности, каждый в ноготь.

— Ты будешь и после... Таким же останешься?

Она, значит, знала о моем страхе и боли всего моего тела, но глаза ее по-прежнему были тревожно-раскосыми и влажными.

— Я закажу себе водки, ладно? — попросил я.

— Конечно,— согласилась она.

— Я выпью полный стакан, а шампанское не буду. Тебе, наверно, тоже нельзя, правда?

— Нет. Пей один... А что все должно пройти? О чем ты говорил?

— Ты же знаешь,— сказал я.

— Только это?

— И еще блажь твоя.

— Моя?

— Тоже мне великанша,— сказал я.— В шампанское наплакала. Как не стыдно! Дай, я это выпью.

Минут через тридцать я отправил ее домой в такси, а сам решил ехать автобусом. Он долго не приходил, и я вернулся в кафе и заказал еще немного водки, а после часа полтора смотрел в окно, как взлетали и садились белые самолеты. Я думал, что своего сына назвал бы Павлом. А дочь Мариной, в честь мамы...

В издательстве я стал появляться раньше всех,— надо было каждый раз незаметно положить в стол Ирены то кулек изюма или тыквенных зерен, то горсть конфет «коровка», то еще что-нибудь, что любил я сам. Все это так и оставалось в столе, в дальнем углу, аккуратно сложенное и прикрытое бумагой,— я ни разу не уследил, когда Ирена умудрялась раскладывать по ассортименту эти мои несчастно посильные приношения! У нее перестала дергаться голова. Ходила она теперь тоже нормально. Я снова перешел на «Приму» и курить выходил в коридор. С Вераванной у меня установилось что-то похожее на перемирие: она держалась замкнуто, но с недоумевающей опаской,— возможно, ей было непонятно, каким образом мне удалось уцелеть тут после ее жалобы Владыкину. Я урывками рассказал Ирене о той своей беседе с Вениамином Григорьевичем.

— Ты его ушиб письмом из журнала, и он растерялся,— рассудила она.— Кроме того, неизвестно еще, какой благой умысел владел им, когда он давал тебе новую рукопись. Ты ее прочел предварительно?

— Она мне нравится,— сказал я,— грамотная, интеллектуальная штука.

— Ну что ж, это хорошо. Но в дальнейшем ты должен учитывать, что Владыкин из тех людей, кто благозвучие предпочитает истине. А ты ему вдруг «бездарный рассказ». Он ведь редактор его...

— Я тебя очень люблю! — сказал я.

— Тише, сумасшедший!

— Плевать! Кто автор повести «Куда летят альбатросы»?

— Ну ты, ты! Мой Кержун!..

Глаза ее черно блестя и хорошо, нужно нам обоим, косили к переносью.

В том, что у нас с Вераванной исподволь назревало безобразное столкновение, повинна была сама жизнь. В-первых, декабрь тогда не двигался с места. Он представлялся мне серо-темным железнодорожным составом товарняка из тридцати одного вагона, застрявшим в степи под снегом и наледью. Эти вагоны-дни были пусты и промозглы. Они закрыли путь для января — моего сияющего огнями и гремящего музыкой голубого экспресса под сине-белым флагом, на котором была изображена чудесная морская птица альбатрос. Декабрь был самый люто безденежный месяц в моей жизни. К тому же он был еще глухонемым — мы с Иреной ни разу не встретились одни, с глазу на глаз, без Верыванны. Известно, что чем ожесточеннее становится человек, тем беднее он чувствует себя на свете. Я стал нетерпим и раздражителен. По утрам, выходя из дому, я не мог, например, не шугнуть на разлохматившихся от холода, смуглых, как цыгане, голодных воробьев,— ютились, наверно, по ночам в дымоходах: эта их зимняя судьба напоминала чем-то мою и вызывала не сочувствие, а ярость. В одно из таких утр к моему настроению калёно пристыло стихотворение о том, что «нас тогда сыпучим снегом засыпало. И сказал я: мама, мама, что так мало. Шоколад молочный помню, и фисташки, и с японскими цветочками бумажки. Марки старые, журнальные картинки и с базара украинские кринки. Сердце билось, сильно билось и устало. Все шепчу я: мама, мама, что так мало...»

Мне показалось, что это стихотворение поляк Ярослав Ивашкевич написал о нас с Иреной, и я положил его ей в стол. Делать это мне не следовало: Ирена, прочтя стихотворение, расстроилась и тугой стремительной походкой вышла из комнаты, полуотвернув от нас с Вераванной лицо. Пойти следом за ней я не мог, и меня обжигающе возмутила крепостная каменная прочность, с какой Вераванна восседала на стуле. Так могут сидеть, подумал я, только те, у кого нет никакого страха собственной недостойности перед величием, скажем, Толстого или Бетховена, кто самоуверен и нахален в суждениях обо всем, что живет в мире и чем живет мир помимо хлеба.

Мне очень хотелось растрепать ее как нелепую тряпичную куклу.

Ирена вернулась, прошла к своему столу и попросила у меня сигарету.

— Но это не «Кэмел», Ирена Михайловна,— сказал я,— от моей «Примы» вы завянете, как повилика в зной.

При чем там была повилика — сказать теперь трудно, упоминание же «Кэмела» не произвело на Веруванну никакого впечатления: она как раз тогда обнаружила в своей рабочей рукописи досадный просчет автора и озабоченно и важно посоветовалась с Иреной, как быть,— тот взял и вывел пять отрицательных персонажей на трех положительных героев.

— А вы переставьте их наоборот,— порекомендовал я. Ирена закашлялась и загасила сигарету. Вераванна не удостоила вниманием мое конструктивное предложение. Минуты две спустя она спросила у Ирены, что такое рундук.

— Большой такой ящик в виде ларя,— торопливо сказала Ирена, боялась, видно, что меня снова черт дернет за язык.

— А омшаник?

— Яма, поросшая мхом.

— Да нет, Ирена Михайловна, это погреб, куда пасечники в старину укрывали на зиму ульи,— сказал я только для того, чтобы нам встретиться глазами. Мы и встретились, и я приласкал ее взглядом и укорил себя за стихотворение Ивашкевича.

— Смотрите-ка, какая энциклопедическая осведомленность,— картаво, с леденцом, наверно, под языком, надменно проговорила Вераванна. Я обернулся к ней и сказал, что помимо этого знаю еще, что согласными называются звуки, при произнесении которых воздух в полости рта встречает какую-нибудь преграду. Вераванна предположила, что на этом заканчиваются мои познания русского языка.

— Вы заблуждаетесь,— сказал я,— мне, например, известно и такое редкое слово, как труперда. Труперда! — повторил я. Вераванна защемленно крикнула, что я хам, а я в свою очередь обозвал ее дурой...

Когда на второй день с утра я пошел к директору, на мне все было выглажено, и галстук я повязал не двойным, а одинарным узлом, как носил он, манжеты моей рубашки выступали из рукавов пиджака на такую же примерно длину, как выпрастывались у Диброва его манжеты. Мне представлялся мой приход к нему не только достойным, но в какой-то степени даже доблестным, поскольку я добровольно решил посвятить его в сложность наших



отношений с Вераванной. Дибров встретил меня приветливо, с прежним оценивающим промельком в своих трудных глазах. Он пригласил меня сесть и спросил, что нового. Тогда возник большой тщеславный искус сказать ему о своей повести в молодежном журнале, — мне дорога была симпатия этого человека, но я удержался, так как давно предрешил войти однажды в этот кабинет окончательно полноправным автором, и надо было только узнать, уместно ли будет учинять на журнале дарственную надпись, — ее я продумал тоже давно и тщательно...

Дибров умел слушать не только ушами, но главным образом глазами, и это, пожалуй, была основная начальная причина того, что минут через десять я испытывал перед ним великий стыд и позор. Сперва в его глазах заметно проступало живое и немного снисходительное сочувствие ко мне, затем в них появилась ирония, разбавленная разочарованием, а под конец — не то недоумение, не то досада пополам с нетерпением, — дело было в том, что я не мог объяснить ему, на чем мы разошлись с Вераванной по работе. Деловых разногласий, которые мешали бы нам нормально исполнять свои служебные обязанности, а значит, и давать повод к административному вмешательству в них директора, не существовало. В чем же после этого был смысл моего посещения директора? Такого служебного смысла в нем не было и не могло быть: я самовольно присвоил себе право обратиться к нему как к человеку, знающему меня лишь по двум моим предыдущим посещениям этого кабинета, когда я выглядел тут по меньшей мере мальчишкой, нуждавшимся в директорском снисхождении. Оно мне и было оказано. Чего же я хочу сейчас? Этого я толком не знал. И тогда Дибров недовольно сказал:

— У тебя, дорогой мой, получается как в старой русской поговорке — не все работа у мельника, а стучу вволю.

Я казался себе ничтожным и каким-то мусорным.

— Тебя надо пересадить куда-то, а куда — вот вопрос! — возбужденно, с неожиданным пылким участием ко мне сказал вдруг Дибров, до белков округлив глаза. — Запутался, понимаешь, среди двух женщин и барахтается!

Поколебать эту его глобальную убежденность в том, что я запутался между Лозинской и Волнухиной, как воробей в застрехе, было не только невозможно, но, как я мгновенно сообразил, и не нужно, — Дибров ведь не выводы делал о моем аморальном поведении, а доброхотно устремился высвободить меня из застрехи. Та бессмысленная

улыбка, что расцвела на моем лице, почему-то еще больше воодушевила его на непрошеную помощь в переселении.

— Пойдем посмотрим, что можно будет сделать,— сказал он и поднялся раньше меня. Это хорошо, что Ирена не видела, как по-адъютантски неуклонно следовал я за Дибровым по коридору издательства в том нашем изыскательном походе. Дибров стремительно шел впереди, а я сзади и чуть сбоку. Я сохранял дистанцию шага в полтора, которая, как мне казалось, вполне гарантировала перед встречными мою самостоятельность и независимость. По пути Дибров открывал двери кабинетов, с порога здоровался с их обитателями и тут же направлялся дальше, не оглядываясь на меня. Каждый раз я норовил оказаться в створе открываемых им дверей в кабинеты: со стороны все это могло быть похоже на какую-то инспектирующую проверку директором в моем сопровождении прилежности своих подчиненных. У седьмого из числа проверенных нами кабинетов на двери висела стеклянная табличка, извещавшая золотыми буквами, что это редакция поэзии. В кабинете, развернутый наискось от окна к углу, стоял стол, а за ним прямо и низко, как школьник за партой, сидел подросток-мужчина с лицом залежавшегося яблока,— оно лоснилось и в то же время увядше морщилось, и невозможно было определить, сколько лет этому товарищу — шестнадцать или тридцать два. Тут, наверно, помещались в свое время два стола, потому что справа от дверей на полу у стены пустовал второй телефон, скрытый стулом. Когда Дибров вошел в кабинет, телефон этот звонил. Дибров наклонился и снял трубку, но в аппарате звякнул отбой.

— Товарищ Кержун, переносите свой стол и располагайтесь здесь! — начальственно сказал мне Дибров, указав на стул, под которым стоял телефон-беспризорник. Я поблагодарил и пошел по коридору. Я шел медленно, потому что не знал, как объявить Ирене при Вереванне о своем внезапном переселении и как мне, не роняя достоинства «пижона», перетащить стол... Позади себя я слышал удалявшиеся по коридору шаги Диброва, и когда оглянулся, то увидел рядом с ним хозяина моего нового кабинета,— он, ступая почему-то на носки ботинок, протестующе говорил что-то Диброву.

— Лично вам, уважаемый товарищ Певнев, это ничем не грозит. Совершенно! Занимайтесь, пожалуйста, своим прямым делом, за что государство платит вам деньги!

Это сказал Дибров жестко и сильно, и я с отрадой подумал, как ладно подходит он своей замечательной должности и как эта должность здорово подходит к нему!

Хотя стыд и считается нормальным нравственным чувством любого порядочного человека, все же лучше как-нибудь избегать его, потому что в этом состоянии ты непременно оказываешься в глазах твоих ближних не только жалким, но и смешным. Я не нашел способа словесно или молча внушить Вереванне, что добровольно уйду из комнаты, и получилось, будто меня выдворили отсюда после той ее «хохолковской» жалобы Владыкину. Так, по крайней мере, думалось мне, когда я под тревожно-утайными взглядами Ирены начал разбирать свой стол. Я неудачно снял крышку, прислонив ее к себе внутренней стороной, и вся накопившаяся там пыль и паутина осели на мой костюм. Мне бы так и выйти в коридор, чтобы на обратном пути за остальным почиститься, но в презрительном протесте против Верыванны я с грохотом опустил крышку на пол и угодил себе кромкой на ноги. Я тогда панически струсил, что не вынесу эту дикую пронзительную боль и со мной может случиться то, что происходило в таких случаях в детстве,— неудержимо постыдный грех по-маленькому, когда ты ничего не можешь сделать, когда легче бывало прервать крик, чем прекратить то. В пыли и паутине, да еще с искаженной от боли, стыда и страха физиономией, я, конечно, не мог не вызвать у Верыванны здоровый утробный хохот, и неизвестно, сумел бы я удержаться от ответной грубости, если б не Ирена.

— Может, вам помочь, Антон Павлович? — ради предотвращения нашей прощальной ссоры с Вераванной спросила она, и меня возмутило, что в ее голосе не было ни скрытого страдания, ни тревоги за меня,— наверно, не заметила, как я ушибся, а кому же надо было замечать это в первую очередь, черт возьми, если не ей! Не думаю, что я картинно выглядел, когда вышвыривал в коридор крышку стола, а потом выволакивал обе тумбы...

Нет, стыд — не слишком ценное духовное достоинство. Он кого угодно способен превратить в дурака...

Было ясно, что с Певневым у нас не получится гармоничное сосуществование,— он молчаливо отверг мое

корректное извинение за невольное вторжение и не назвал свое имя-отчество, когда я представился ему: сам до того дня я ни разу не видел этого человека, а стало быть, и он меня тоже. Мне был понятен этот его святой неуклюжий протест, — сидеть вдвоем в кабинете — значит, наполовину умалить перед авторами, особенно начинающими, высоту своего редакторского пика, и развернутый от угла к окну стол не будет уже овеян для них неким мистическим значением, хотя местоположение моего стола не может не подчеркивать мою как бы второстепенную роль в делах этого кабинета. Я предпринял еще одну сомнительную попытку примирения на будущее и с видом парня-рубахи спросил, как у вас обстоят дела с курением, — пепельница на первом столе отсутствовала.

— Я лично не курю и просил бы...

Голос Певнева звучал по-женски. Я сказал, что все понятно. Мне все еще было лихо от своего безобразного «волокушного» ухода под отвратительный сытый хохот Верыванны, и требовалось что-то сделать, чтобы встать в прежний рост перед Иреной и перед самим собой. Теперь у меня был личный рабочий телефон. Я полуотвернулся от Певнева и позвонил Ирине.

— Вас слушают, — неприветливо сказала она. — Алло!

— Добрый день, Альберт Петрович, говорит Кержун, — сказал я.

— Здравствуйте... Николай Гордеевич, — на секунду запнувшись, ответила Ирина.

— Хочу предупредить вас, что с нынешнего дня я перебрался на новое место, — сказал я.

— Вы, кажется, были в творческой командировке?

— В кабинет редакции поэзии, — сказал я. — Номер моего телефона два девять ноль тридцать четыре.

— Это любопытно.

— Так благосклонно соизволило решить начальство, потому что здесь несколько попросторнее, — сказал я не столько ей, сколько Певневу.

— Вот как!

— Теперь такое дело. История слова труперда связана с именем Пушкина. Он называл так княгиню Наталью Степановну Голицыну.

Ирина слушала.

— Вот именно. Просто толстая и глупая бабища, — сказал я. — Она не принимала у себя Пушкина, считая его неприличным. Пижоном того времени, так сказать.

— Я этого не знала,— живо сказала Ирена.

— Так что вы смело можете оставить это слово в своей памяти как вполне правомочное. Конечно, Пушкин произносил его прононсом, на французский лад, но это ведь не меняет сути.

— Очень хорошо, Николай Гордеевич, что вы сообщили мне это вовремя. Такие исправления лучше вносить до корректуры.

— Пожалуйста,— сказал я.— Вы не могли бы навестить меня сегодня вечером?

— Нет, Николай Гордеевич. Этот абзац у вас я опустила полностью, потому что в нем пробивается какая-то рискованная двусмыслица. Может, вы переработаете его, не нарушая идеи?

— Жаль,— сказал я.

— Хорошо. Потом сообщите мне... Всего доброго!

— До свидания,— сказал я.

Январь надвигался на меня как гроза, после которой должно произойти обновление мира, когда в нем останется для меня только восемь простых беспечальных цветов — голубой, синий, зеленый, оранжевый, красный, белый, желтый и фиолетовый, а все остальные — и прежде всего серый — исчезнут! Я ждал и боялся января и себя в нем. Как это все будет? Как я смогу перевернуть обложку журнала и не ослепнуть при виде своей фамилии, не упасть и не закричать о помощи под непомерной тяжестью того неизъяснимо радостного и громадного, что обрушится тогда на меня одного!..

Это именуют по-разному, в зависимости от того, кто вы есть, и каждый называет это для себя исчерпывающе точно: один — везением, второй — случайностью, третий — как ему бывает доступно, но оно, независимо от всех эпитетов, в самом деле извечно существует среди нас и ради нас, людей, только место его находится где-то поверх земли, ближе к небу. Оно — это то, что иногда и как бы в последний миг исполняет тайное устремление вашего сердца, и я лично склонен называть это судьбой. Ей, судьбе, было угодно, чтобы тридцатого декабря в одиннадцать часов утра Певнев отлучился из кабинета минутой раньше звонка Ирены.

— Это говорит Альберт,— после моего отзыва сказала она басом, и я понял, что ей весело и рядом никого нет.

— Ты что, один там?

— Да, но могут войти.

— Слушай,— сказала она,— я сейчас насчитала в городе шесть «Росинантов», и все они хуже твоего...

— В десять раз! А ты где? — спросил я.

— Возле центрального универмага. Всем нашим добродетельным семейным дамам твой высокий покровитель неофициально разрешил сегодня и завтра готовиться к встрече Нового года. А поскольку ты одиночка...

— По твоей вине,— перебил я.— Где мне ждать?

Она сказала.

— Только сам не выходи из машины, слышишь?

— Да-да, Альберт Петрович, я сейчас же отправлюсь туда, но это займет минут сорок,— сказал я без всякого воодушевления, потому что вошел Певнев.

Бегать можно тоже по-разному и опять-таки в зависимости от того, кто бежит, как и в какое время суток. Я принял спортивно-тренировочную позу и взял размашисто-плавный темп как самый безопасный,— в этом случае ваш деловито сосредоточенный взгляд, устремленный в неведомую даль на линии бега, не вызывает у встречных пешеходов никаких обидных для вас моральных посулов. С таким чемпионским выражением лица можно бежать не только по краю тротуара, но и по мостовой с полной уверенностью, что вам не помешает ни грузовик, ни автобус, ни милиция...

Площадка у дверей чужого сарая была расчищена, и «Росинант» завелся без прокрута ручкой, от стартера.

— Соскучился? — сказал я ему.— А знаешь, кто решил вызволить тебя на свет божий? Впрочем, ты ведь железный. Слепой. Немой. И глухой... Нет? Ты все видишь, слышишь и чувствуешь? Ну не обижайся. Это я пошутил. Ты у меня хороший. Как и я у тебя. И она у нас с тобой хорошая. Она у нас просто золотой ребенок... Помнишь, как она сказала, что ты маленький и бедненький? Это она нечаянно обидела тебя, любя. Она сейчас ждет нас, и ты веди себя при ней, пожалуйста, как подобает настоящему благородному гранд-животному, ладно? Я думаю, что правую щетку дворника надо снять. Она нам ни к чему, понимаешь?..

Я управился быстрее, чем обещал Ирине: на условленном месте ее не было. У меня не оказалось сигарет, и я сбегал в гастроном и купил пачку «Примы» и четвертинку водки. В сдачу с моих последних, непотребно

замызганных двух рублей кассирша вложила в мою руку как подарок несколько двухкопеечных, новых и почему-то теплых монет.

Тогда выдалась тихая волглая погода. Липкий крупный снег падал густо, празднично и веско, и люди под ним утратили свою обычную сутолочную неприютность, и лица у них не казались буднично-серыми и неприступными. Все, что мне виделось, — люди, машины, дома, деревья, — все метилось каким-то чутким налетом робко подступающей новизны: вот-вот что-то должно было случиться впервые, хотя сути и имени ему никто еще не знает... Ирена появилась как предтеча этого тихо грядущего всеземного ликования. Она была вся белая, возбужденная, с какими-то разными продолговатыми коробками и пакетами.

— Ты кто? — сказал я ей. Она сложила на заднее сиденье коробки и пакеты, а сама села рядом со мной. — Ты откуда? — спросил я. Ирена приложила указательный палец к губам, это означало, чтобы я молчал или разговаривал шепотом. Было хорошо от всего, что уже случилось и могло еще случиться до вечера. Заднее и боковые окна «Росинанта» плотно залепило снегом, и в чистый полукруг лобового стекла, где моталась щетка дворника, виделся я один. Я ехал медленно и свободно — вот едем и едем, и никто, кому не надо, не видит нас, потому что в тот день этих «кому не надо» на улицах не было. Мы немного поколесили по центру. «Росинанта» влекла какая-то неведомая притягательная сила на набережную к мосту в сторону Гагаринской, но Ирена там властно простерла перед собой указательный палец, и я понял, что это перст, а не палец, и что мне следует ехать прямо, минуя мост.

— Ты уже больше не шалавка, да? — спросил я. Она утвердительно кивнула головой. Шапка ее при этом сдвинулась набок, преобразив ее в озорного школяра, и мне стало трудно держать на руле руки.

— Ты с ума сошел! Врежемся ведь! — шепотом сказала она. — Поедем за город. Что в радиаторе? Вода или антифриз?

Я не ответил. Мир за окнами «Росинанта» быстро обретал свои повседневные краски.

— До чего же ты дик! — погасше сказала Ирена. — Ну что я, по-твоему, не могла самостоятельно узнать, что такое антифриз? Разоришь ведь, все разоришь сейчас!

— Черта с два! — сказал я, потому что Ирена готова была заплакать.— Черта с два! Ты по-прежнему оттуда, сверху!

— Нет. Ты стащил меня в подвал! И сам залез туда... И Волобуя покликнул... и всех!

Это так и было, будь оно проклято! Я подрулил к тротуару, снял берет и трижды поклонился в колени Ирене, как кладут поклоны иконе верующие.

— Что ты делаешь?! Перестань сейчас же, я не хочу! — сказала Ирена, подвигаясь ко мне. Мы поцеловались по-земному, чуть не задохнувшись, а затем поехали вперед, к себе в лес, так как больше нам некуда было ехать...

Озарение мира исходит из нас самих, от нашего внутреннего светильника: во мне он вспыхнул тогда с обновленной яркостью, и потускневший было день опять засиял волшебным светом проступающего в нем торжества. Ирена снова была вестницей праздника, но уже не тихой и таинственной, а какой-то самоуверенной и властной,— когда нас, например, обгоняла «Волга», она непререкаемым жестом указательного пальца приказывала мне обойти ее, и глаза у нее презрительно суживались. Я невольно тогда засмеялся, подумав о нашей безопасности за заснеженными стеклами «Росинанта».

— Ну и что? В скрытом кукише тоже есть утеха,— сказала Ирена.— И ты не позволяй им обходить нас! По крайней мере сегодня!

Четвертинка сидела у меня в правом внутреннем кармане куртки. Временами, на ухабах, она мелодично булькала, и Ирена будто невзначай кренилась к моему плечу и недоуменно прислушивалась, по-детски поднимая брови, но меня ни о чем не спрашивала. Я тоже не спрашивал ее о коробках и пакетах, хотя все время помнил о них и гадал, что там могло быть...

Застряли мы бездарно, прямо у края дороги, когда въезжали в лес,— «Росинант» сел днищем на снежный валик, а лопаты с нами не было, и задние колеса, провиснув, свободно пробуксовывали в пожелтевших залоснившихся колеях. Снегу на нашем лесном проселке было немного, по щиколотку, но возле еловых кустов я тонул до коленей. Ветки не помогли. Ирена за рулем — тоже: по ее мнению, во мне не хватало лошадиной силы, чтобы стронуть «Росинанта» с места,— он реактивно выл и не двигался ни взад, ни вперед.



— Ты зря огорчаешься,— сказала Ирена, когда я вытряхивал снег из ботинок,— все равно тут лучше, чем там,— показала она в сторону города. Ее изводил неуместный, на мой взгляд, смех, и я заподозрил, что она вряд ли в лад с моими усилиями переключала скорости.— Конечно! Я думала, что ты тащишь его вперед... Как Санчо своего осла... Помнишь?

— Вот заночуем тут, тогда будешь знать,— сказал я.

— Такая придорожная идиллия невозможна,— возразила Ирена,— любой проезжий шофер-общественник обязательно заинтересуется, зачем мы пытались свернуть в лес, сообщит о нашей беде автоинспекции, а она... Тут ведь рядом.

В смехе Ирены пробивалось беспокойство. Я поцеловал ее и пошел на дорогу. Снег падал густо и тихо, и видимость была плохая. Минут через пять мимо меня в город прошел МАЗ, но я не решился поднять руку. «Колхиды» и «Татры» тоже нельзя было останавливать: такими солидными машинами, как правило, управляют пожилые опытные шоферы, которым не объяснишь, что моего «Росинанта» взяло и занесло на обочину. Я, скажем, затормозил неудачно, понятно, а меня развернуло и занесло, потому что снег скользкий, а колеса лысые. Совсем без протектора. Ну вот и занесло. А жена, понимаете, сидит и беспокоится... Нет, это им не скажешь. Из-за помпона на берете. Из-за куртки. Из-за Ирены. Никто из городских не поверит, глядя на нас, что она моя жена. Никто.

И я стал ждать полуторку со стороны города, и хотелось, чтобы она была колхозная. Я ходил по дороге взад и вперед вблизи «Росинанта»,— шагах в двадцати он уже не проглядывался в снежной пелене, и тогда становилось тревожно, несмотря на то что меня по-прежнему не покидало ощущение кануна праздника.

Это осталось невыясненным, припомнил меня рыжий владелец «Запорожца» или нет, а я узнал его сразу, как только он застопорил перед «Росинантом» грейдер — трехосную махину, выкрашенную в кроваво-бурый цвет. Красное на снегу — зрелище неприятное, в нем таится что-то отталкивающее и раздражающее, но в тот раз я не испытал ни тошноты, ни головокружения, как это обычно случалось, когда я видел красное на снегу.

— Кукуешь? — крикнул рыжий сквозь гул мотора, и мне подумалось, что эта моя тут встреча с ним сильно

отдает злорадной насмешкой судьбы над Волобуем.— Не проскочил?

— Буксует, гад!

— Ну?

— Засел вот, как видишь!

— Чувиху, что ль, волокешь в лес?

— Да нет... Жена, понимаешь, захотела дочурке елочку выбрать,— сказал я.

— Свисти кому-нибудь,— захохотал рыжий.— Залазь, покажешь место, где будете пилить елку!

Я влез к нему в кабину. Он с хвастливой небрежностью, чуть было не ударив «Росинанта» выносными колесами, двинулся в лес, опустив нож до основания.

— А потом столкну на чистое место. Бабец ничего? Или так себе?

— Не знаю... Смотри вперед, а то сосну заденешь,— сказал я.

— Неужели свежак? — азартно изумился он.

— Ну, свежак, свежак,— сказал я.

— Мать его впоперек, тогда тем более незачем домой, раз такое дело с собой! — Грейдер он вел как игрушку по столу.— Пни заметны, так что не страшно,— объяснил он мне.— Говори, где завернуть. Может, вон на поляне за теми кустами? Ни хрена не будет видно, слышь!

Мы были как сообщники по темному сговору, оскорбительному для Ирены, но я ничего не мог поделать, потому что полностью зависел от этой богом подосланной мне бесстыжей рожи, на которой отображалось все что хочешь — озорство, мужская поощрительная солидарность и добродушная зависть ко мне. Мы сделали так, как он посоветовал,— развернулись на поляне в стороне от проселка, где зеленой купой темнели кусты можжевельника. Мы объехали их дважды, до дерна счистив снег в отвал от кустов.

— Ну вот тебе и штраса. Подашь тут задом в прогал и...— Лохматый конец фразы рыжий досказал мне на ухо. Я достал четвертинку и всунул ее в карман его телогрейки.

— Больше ни черта нету,— братски заявил я,— полочка будет только завтра, понимаешь? Так что ты не обижайся, пожалуйста, добре?

— Да ладно,— сказал он,— у самого-то осталось что-нибудь тяпнуть?

Мне было бессовестно жаль четвертинки, и он это понял.

— Как же ты без гари будешь? Не! Возьми назад. Бери-бери! Ты ж без заправки не справишься...

Я благодарно сказал ему в душе, что он замечательная рыжая сволочь, и нахально забрал четвертинку назад.

Остатком этого нашего великодня распорядилась Ирена. Она не разрешила мне загнать «Росинанта» в прогал заросли, потому что в продолговатых радужных коробках лежали елочные шары, а их надо было развесить на можжевельном кусте, стоявшем в середине купы. В серых бумажных пакетах оказались мои кульки с изюмом, тыквенными зернами и конфетами, что я приносил когда-то ей, и была еще бутылка шампанского, хала и банка маринованных слив. Был еще — первый за все мои тридцать лет! — новогодний подарок мне — ручные часы на белом металлическом браслете. Такие же самые, что я ношу и теперь... Когда она надевала мне их на руку, я глядел на макушку наряженного нами куста, — тогда волей-неволей приходилось подставлять лицо летящему снегу, а он, как известно, быстрее всего тает во впадинах глаз...

В машине я сказал Ирине, что у меня было всего два рубля и на них вот закуплены пачка сигарет и четвертинка.

— Значит, это водка у тебя звучала? — растерянно спросила она. — Ну и пусть! И хорошо! Все равно нам радостно!

Было непонятно, кого она утешала — себя или меня — и что ей чудилось, когда «звучала» четвертинка...

Тридцать первого мело снизу и сверху, и у подъезда, где я поставил с вечера «Росинанта», образовался сугроб. Было тревожно за нашу «штрасу», за шары на кусте, — их могло посрывать, и было досадно, что январь отделился от меня еще целыми сутками — пустыми, лишними и ненужными. Я решил, что «Росинанту» лучше зимовать тут, — мало ли когда он может понадобится, да и вообще будет веселей, если он останется дома, со мной. Кому же надо оставаться со мной?

На улице мело во все концы и пределы, и на автобусной остановке люди жались кучками, чаще всего тесными парами. Во мне все больше росла тоска и обида на то, что наш с Иреной вчерашний день оказался скоротечным

и обманным,— от него ничего не осталось, чтобы в этом можно было жить всегда. Во вчерашнем дне все было выдуманно нами самими, потому что вернулись мы каждый к себе, поодиночке, в свою «волобуевскую» реальность. И Волобуя, между прочим, никакой не мажордом, а законный Иренин муж, отец ее и своего ребенка. А я — приبلуд! К тому же — нищий. Нищий приبلуд-пристебай с помпонам на финском берегу! Флакона духов не мог подарить ей! Что может быть унижительнее?.. А как я принял от нее часы, господи! Растрогался, видите ли, а того не подумал, что они могли быть куплены на деньги Волобуя! На его выслуженную в тюрьме пенсию!..

Я не стал дожидаться автобуса и пошел пешком, уверив себя, что у меня нет четырех копеек на билет. Нет и не будет, и январь мне ничем не поможет, и что так мне и надо! Я шел и ждал, что с меня вот-вот снесет берет, но что я не погонюсь за ним и не подниму, потому что это тоже надо было, чтобы его сорвало и унесло метелью. Она мела, задувала то с боков, то в спину, а надо было все время хлестать мне в лицо, и я несколько раз переходил на противоположный тротуар, возвращался назад и опять пересекал мостовую, но везде оказывалось то же самое. На мосту я снял часы и швырнул их через перила. По моему расчету, они должны были долететь до воды за пять секунд, и за это время я трижды мысленно поймал их и четыре раза бросил снова.

После обеденного перерыва я узнал, когда получал свои сорок пять рублей, что издательским женщинам зарплата была выдана тридцатого. И хотя это открытие ничего не меняло,— если Ирена и купила часы на свои деньги, жить-то она будет за счет Волобуя,— все же я испытывал какое-то очищающее меня чувство облегчения. После работы я отправился в универмаг. Часы стоили тридцать три рубля, а браслет два. Я купил еще духи «Серебристый ландыш» и синеглазую, косящую к переносью кубастую куклу-неваляшку. Я попросил продавщицу не завертывать ее и пошел домой пешком. Метель поутихла, но прохожие встречались редко. Куклу надо было то и дело перемещать из-под правой мышки под левую, а из-под левой — под правую. Тогда она звонила — сдвоенно, мелодично и приглушенно-жалобно, и прохожие приостанавливались и оглядывались на меня удивленно и чего-то ожидающе. Но их было мало...

Дома мне срочно понадобилось мыть пол. По свежесмытому полу хорошо ходить босиком, а когда он высыхает и твои следы становятся не видны, то тебе никто ведь не мешает вымыть его снова, уже в обратном порядке — сначала в кухне, затем в коридоре, а после в комнате...

В половине одиннадцатого мальчик-почтальон, обутый в громадные лыжные ботинки, принес телеграмму. Мне! В ней говорилось: «Пусть новый год войдет твою комнату добрым добрым великаном золотым мешком подарков радостей клюве белой птицы альбатроса тчк твой альберт».

Мой Альберт, конечно, не знал, что у белых альбатросов черные крылья. В воздухе они у них никогда не трепещут и не смежаются и видны на далеком расстоянии, как все черное под солнцем. Так что альбатрос — птица скорей всего черная, а не белая!..

С первых же дней января я стал жить ожиданием бандероли. Я помнил о ней непрерывно — на работе и дома, на улице и в автобусе, с утра и до ночи. По необъяснимой для меня самой убежденности бандероль должна была прийти семнадцатого, и это нечетное число постепенно приобрело в моем воображении недоброе значение урочного срока судьбы, когда мне суждено будет узнать, помилован я или обречен, — мне не верилось до конца, что «Альбатросы» в самом деле будут опубликованы: в бандероли может оказаться и рукопись. Дома я навел тогда идеальную чистоту и порядок. Все предметы моего обихода: оба стула, чайник, вилка, ложка, пепельница — строго-настрого определились на отведенных им местах в положении дружелюбного ожидания надобности в них. Это выражение гостеприимного ожидания достигалось тем, что чайник, например, всегда теперь был обращен носом навстречу входящему в кухню и дужка у него была приподнята, — только протяни к нему руку; ложка с вилкой лежали в кухонной тумбочке лонем и зубьями вниз, а не вверх, — тоже только возьми, пожалуйста. По утрам, отправляясь на работу, я прихватывал кусок халы и крошил его на заснеженном кузове «Росинанта» — воробьям. В автобусе я спешил поблагодарить кондуктора за билет. Я был предельно чуток и вежлив со всем миром, задабривая и подбивая на ответное милосердие то неизвестное и безликое в нем, что грозило мне пятницей под семнадцатым числом.

С Иреной мы не виделись, но изредка я звонил ей по рабочему телефону, «ошибаясь номером». Так мы уточняли, что оба живы и здоровы.

В те дни я предпринял еще одну попытку сблизиться с Певневым, но это ни к чему не привело. Зло, как я понял тогда, крылось не во мне, а в посетителях, особенно тех, что впервые переступали порог нашего кабинета: они почему-то сразу же направлялись к моему столу, а я не мог не встречать их с повышенным вниманием, потому что по одержимости и тайному чаянию сердца был им родней. То были поэты. Вернее, кто жаждал быть ими. Между прочим, я тогда открыл, какая глубокая пропасть разделяет городского и периферийного графомана. Представитель города мрачен, настырен и загодя враждебно предубежден к твоему приему его стихов, а периферийный нежно-застенчив и склонен к раболепию и угодничеству. Эти мне нравились больше первых, но и городским я не отказывал в ласке, прежде чем направить их к столу Певнева. Там все они наталкивались на хмурый привет специалиста по поэзии и по уходе прощались со мной с пламенной надеждой на новую и лучшую для них встречу. Певнев не понимал, каким огнем горели сердца этих людей и мое тоже. Он был полностью лишен чувства юмора, и ему приходилось плохо со мной в одном кабинете.

Журнал пришел шестнадцатого, а не семнадцатого. Он открывался моей повестью, но я не смог прочесть в ней ни единой строчки, — буквы разбежались, копошились и смешивались, а от страниц возбуждающе несло почему-то терпким запахом муравьиного спирта, и было невозможно отвести глаз от своего снимка: я вышел на нем широколобым, нахально прищуренным и высокомерным. Я впервые в жизни познал тогда, что бремя личного счастья тяжелей бремени горя, — в беде всегда остается надежда на лучшее впереди, а тут все сбылось полностью и до конца, и новое, что за ним должно последовать, не проглядывалось, поскольку время остановилось на той высшей точке хорошего, лучше которого ничего уже не могло случиться. Было все так, как я предчувствовал: мне хотелось кричать, и я знаю теперь, почему дикарь-одиночка издавал протяжный победный вопль, когда ему выпадала удача в охоте или в схватке с врагом, — он вопил не только от ликующей радости, но и от страха не справиться с ней в одиночку, он призывал на помощь! В «Росинанте» было холодней, чем на дворе. Я посидел с ним несколько минут наедине, пообещав ему новую резину на все четыре колеса,

как только получим гонорар. Он сильно настыл, и клаксон звучал сипло и перхотно, так что никакого возвестно-торжествующего сигнала у нас не получилось.

Певнев не поднял глаз, когда я вошел. Как всегда, он неважно выглядел за своим наискось развернутым столом, — свет от окна бил ему в затылок, отчего лицо его делалось в полутени еще более плоским и как будто заношенным. С тех пор как я вселился к нему, он, между прочим, ни разу не переменял галстук — конопляно-зеленый, перекрученный, как мутовка, и рубашки тоже менял редко, — возможно, потому, что они были немаркого цвета. Если бы Певнев не был по отношению ко мне такой занудой, я бы давно, пожалуй, посоветовал ему — как коллега, конечно, — навести порядок в своей одежде, и прежде всего подумать о кальсонах: когда он сидел, кальсоны всегда выпрастывались из-под штанин. Сам он, понятно, не замечал этого, но каково было другим видеть издали, от дверей, раздерганные концы тесемок на его худосочных лодыжках! Можно ведь скрадывать их носками, а не повязывать, черт возьми, поверх! Я бы попросил его уважить кое в чем и меня, — не шмурыгать, например, поминутно каблуками ботинок по полу, потому что трение резины о паркет исторгает такой же царапающий душу звук, как и скрежет зазубренного скобла по стеклу. Певнев читал не то «Огонек», не то «Крокодил» и не ответил на мое приветствие. Мне подумалось, как прочно и густо соединилось и перемешалось в нем ничтожное с жалким и что дурное в соседе аморально оставлять незамеченным. Особенно тогда, когда ты ощутил за собой кое-какую личную силу. Верно же? Поэтому я сказал ему, что мне показалось, будто я поздоровался с ним, войдя в комнату. Он буркнул, что это, мол, вполне возможно.

— Я убежден, что поздоровался с вами, — сказал я.

— А вас к этому никто не вынуждал, — ответил он.

Я объяснил, что дело не в нем, а во мне, так как я поневоле должен быть с ним вежливым, раз он сидит со мной в одной комнате.

— Это вы сидите со мной, а не я с вами! — взорвался Певнев. — А кроме того, я не считаю для себя обязательным быть с вами вежливым!

Я сказал, что в таком случае он может считать, что я не считаю для себя обязательным с сегодняшнего дня

курить в коридоре. Он ничего не ответил, и я разделся, сел за свой стол и с отвращением закурил, потому что на голодный желудок курить не хотелось.

— Что вам, товарищ Певнев, не нравится во мне? — спросил я.

— А почему вы должны обязательно нравиться мне? — сказал он.— Вы же не балерина?

— Вроде бы нет,— рассудил я,— а вы питаете к балеринам особую симпатию?

— Я ни к кому не питаю особых симпатий,— ответил он раздраженно.— И не мешайте работать!

— У меня создается впечатление, что вы не очень любите людей, не уступающих вам в физическом обаянии,— сказал я,— и если это относится только к мужчинам, то можно предположить, что вы находитесь в климактерическом периоде.

Мне тогда показалось, что Певнев собрался встать и выйти, но он только шмурыгнул каблуками по полу и остался на месте. Я снял телефонную трубку и позвонил Ирене. Она отозвалась слабым тусклым голосом.

— Рад вас приветствовать, Альберт Петрович! — сказал я нежнее, чем нужно было.

— Я одна,— ответила Ирена.— У тебя что-нибудь случилось хорошее?

— Да! — сказал я.— Сегодня утром.

— Что? Журнал пришел?

— Совершенно верно!

— Ну? Говори скорей!

— Его повесть напечатана!

— Чья?

— Ну того, кто там на снимке. Он совсем не похож, и я его не узнал...

— Господи! Поместили чужой?

— Нет. Просто он вышел чужим. Самонадеянным и надутым,— сказал я.

— Ну еще бы! Поздравляю тебя! Так им и надо!..

— Я заверил там, что вы тоже придете сегодня.

— Куда я приду? Что ты выдумываешь?

— Там просили не позже семи,— уточнил я время.

— Это невозможно.

— Там гарантируют достойный нас прием,— пообещал я.

— Нет... Принеси мне, пожалуйста, журнал на работу. Я несколько дней буду тут одна, понимаешь?.. Ну все. Ко мне пришел автор. До свидания.



— Ну разумеется. Черные костюмы, белые рубашки и темные галстуки,— сказал я в немую трубку, для Певнева.— В том-то и дело,— помедлив, сказал я опять.— Там убеждены, что вслед за талантами непосредственно идут те, кто способен ценить их. Вот именно! Я заеду за вами на своей машине. До свидания.

Видел бы Певнев мою машину!

В первых числах февраля мальчик в больших лыжных ботинках принес мне утром извещение на денежный перевод. Цифра была четырехзначная. Я поблагодарил мальчика и не узнал свой голос — он срывался на какие-то колоратурные ноты. На улице было тихо, морозно и сияюще, но я чувствовал себя так, будто отстоял на траулере две бессменные вахты в штормовую погоду,— меня пошатывало и водило по сторонам. На почте росла в зеленой кадке серая пальма, и я посидел за ней на подоконнике, а потом кое-как заполнил талон перевода.

— Сберкасса в пятом окне. Будете оформлять вклад? — спросила кассирша. Я сказал «нет» и снова не узнал свой голос. У меня разболелся затылок и перед глазами миражно мельтешились два красных светляка. В телефонной кабине — там же, в почтовом зале,— на деревянной полочке лежали белые женские варежки. Из раструба одной из них торчал кончик пятерки и автобусный билет. Я сообщил Ирене, что получил гонорар и нахожусь на почте. Она помолчала и сказала, что рада это слышать.

— Я неважно себя чувствую и боюсь не дойти домой,— пожаловался я.

— А как же быть, Николай Гордеевич? Я сдаю на этой неделе вашу рукопись. Вы когда уезжаете? — спросила Ирена.

— Я буду сидеть тут за пальмой,— сказал я.

— А прислать вставки с кем-нибудь не сможете?.. Ну что же делать. Тогда я подъеду минут через пятнадцать сама. Адрес ваш у меня есть...

Я прошел за пальму и стал смотреть в окно. Боль в затылке и миражные светляки не пропадали, и я вспомнил Бориса Рафаиловича и тетю Маню и подумал, что им купить. Потом я увидел Ирину. Она перебежала улицу прямо напротив почты, расставив руки, как бегают дети по льду. Шапка на ней сидела набекрень, и на руках были белые варежки.

— Что с тобой? — спросила она, когда зашла ко мне за пальму. Варешки ее были такие же, что лежали в телефонной кабине. Такие же самые.— Что случилось? Тебе плохо?

— Да нет. Уже нет,— сказал я.— Просто мне не удалось преодолеть звуковой барьер.

— Какой барьер? О чем ты говоришь?

— О своем авторстве,— сказал я,— высота и скорость оказались большими, а голова маленькой. Не вынесла...

— Глупости! Ты просто устал... хочешь, посидим где-нибудь в кафе? Днем там, наверно, бывает пусто.

— У меня дома новогодний подарок тебе. Может, заберешь? — сказал я.

— Не хитри,— поморщилась Ирена.

— Кукла-неваляшка и духи. С тридцать первого декабря лежат.

— Почему же ты молчал все время?

— Все стоило около четырех рублей, но сегодня мне не стыдно подарить тебе это,— признался я.

— Потому, что имеешь возможность купить подарок подороже?

Я снял с ее левой руки варешку и заглянул внутрь. Там лежал автобусный билет и пятерка. Телефонная кабина плохо проглядывалась из-за пальмы, и я сходил к кабине, но ничего там не обнаружил.

— Ты в телепатию веришь? — спросил я и рассказал о варешках.

— Пойдем домой, я провожу тебя,— беспокойно сказала Ирена.

— Думаешь, я спятил? Я видел варешки так же отчетливо, как вижу сейчас тебя,— сказал я.

— Ну и ладно, и пусть!

— Но я же их трогал,— сказал я.— И билет видел. И пятерку!

— Когда ты звонил, у меня не было ни билета, ни пятерки. Ее принес Владимир Юрьевич перед моим уходом, когда я уже оделась. Пойдем, пожалуйста, домой!

На улице Ирена приказала мне идти впереди, и, когда возле гастрономических магазинов я задерживался и оглядывался на нее, она стопорила шаг и тоже оглядывалась назад.

Мы впервые были у меня дома вместе. Ирена сняла варешки и шапку, а шубу запахнула на себе как перед дальней дорогой, и я не стал просить ее раздеться и

сам не снял куртку. Кукла и духи стояли на откинутой крышке секретера возле свечек, и Ирена прошла туда мимо незаправленной раскладушки как по обрыву над пропастью.

— Больше у меня ничего нет,— сказал я ей вдогон. Я имел в виду не только духи и куклу. Кроме халы и растворимого кофе, дома ничего не было из еды.— Может, мне все-таки сбегать в магазин за чем-нибудь?

— Нет-нет! Я тороплюсь на работу,— не глядя на меня, жестко ответила Ирена. Тогда я сообщил ей, сколько получил денег. Она нервно толкнула куклу, и та прозвонила печально и чисто.— Ты в самом деле... почувствовал себя на почте плохо?

— Ничего я не почувствовал! — сказал я.— И ты тоже с некоторых пор ничего не чувствуешь! Наладились дома отношения с нового года?

Она как под хлыстом обернулась ко мне.

— Я лучше уйду! А то мы сейчас поссоримся...

Я знал свою способность к мгновенному саморазорению и к оскорблению того свято-заветного, чему в эту секунду безгласно кричишь-каешься в своей преданности и любви. Я знал за собой эту темную и беспощадную силу слабости и, чтобы не дать ей обрушиться на Ирену, сказал, что я детприемовский подонок, что у меня ничего не болело и не болит и о варежках я наврал с умыслом, чтоб заманить ее на Гагаринскую.

— Вот! — сказал я.— Нравится?

— Не болтай! — заступнически сказала Ирена издали.— Ты все это придумал на себя сейчас! Я же вижу... Глупый! Пойдем, пожалуйста, отсюда. Нам нельзя тут быть. Мы тут чужие...

— Куда мы пойдем? В издательство?

— Поедем к себе в лес.

— Он же не вездеход,— сказал я о «Росинанте».

— А может, тот человек опять там окажется с трактором.

— Это был грейдер,— сказал я.— И что тот человек подумает о нас? Тебе же это не безразлично, правда?

— Совершенно безразлично. Важно, что я сама подумую о себе и о тебе.

Это не совсем соответствовало правде, но я не стал перечить. Духи Ирена забрала, а куклу оставила, так как ее некуда было спрятать, да и звонила она не всегда кстати...

У «Росинанта» оказались спущенными оба задние колеса. Судя по рваным дыркам в полотне покрышек, проколы были учинены чем-то толстым и трехгранным,— скорей всего заточенным напильником. Ирена ждала меня на ближайшей автобусной остановке, куда я должен был подъехать на «Росинанте». До обеденного перерыва в издательстве оставалось несколько минут, и мы решили отправиться в аэропортовское кафе. Таксист нам попался старый и мрачный,— бывают такие люди с заклёкло-кислыми физиономиями, которые сразу наводят тревожные мысли о прободении у них язвы двенадцатиперстной кишки. Это очень неприятный народ, склонный к зловредному перекоору, когда их просишь о чем-нибудь. Я сказал «пожалуйста, побыстрее», и шофер поехал со скоростью сорока километров в час. Мы сидели на заднем сиденье. Я украдкой обнял Ирену и прижал к себе.

— Ну вот видишь,— шепнула она.— Теперь мы совсем свои.— Она пригнула мою голову и сказала на ухо, кем чувствовала себя у меня дома. Слово было темное, но она произнесла его свободно и трогательно, и я поцеловал ее, а шофер резко увеличил скорость,— наверно, видел нас в зеркало. Как и в тот раз, в кафе было чисто и нарядно, но угловой столик за фикусом оказался занятым. Мы выбрали место напротив. Я подал Ирене карту-меню и, когда сел, то отрадно ощутил уютную помеху в заднем кармане брюк, куда переложил деньги из внутреннего кармана куртки.

— Ты, конечно, уже выздоровел,— насмешливо сказала Ирена. У меня и в самом деле все прошло.— Чем ты намерен попользоваться?

Я ответил.

— Еще бы! Значит, бутылка полусладкого шампанского.

— Три,— сказал я. Ирена внимательно посмотрела на меня и согласно кивнула. Мы заказали закуски — много, чтобы заставить весь стол,— и шесть плиток шоколада.

— Пусть лежат горкой,— почему-то сиротски сама себе сказала Ирена. Я погладил ее руку и пригрозил великаном. За нашим прежним столиком у фикуса сидели три девицы, схожие между собой как инкубаторские курчата. У них было две бутылки не то портвейна, не то вермута, и они лихобойно пили это из водочных рюмок. Шампанское я открыл бесшумно, хотя очень хотелось выстрелить пробкой в потолок.

— За твою повесть! — сказала Ирена, вставая, и высоко подняла бокал. Она пила дробными медлительными глотками, неудобно запрокинув голову, и мышцы у нее на шее некрасиво напряглись и выпятились, обозначив глубокую контрабасную ямку. Девахи тогда громко засмеялись. Они курили и глазели на нас, и Ирена присмирело села и поправила воротничок блузки. Глупая! Каждая из этих тройняшек была там старше ее лет на сорок. Каждая! Я расставил бутылки поперек стола фронтом на фикус, а в их интервалах разложил шоколад. Ребром.

— Как ребенок, — проговорила в тарелку Ирена. — Ну и перед кем ты? Они же дурочки. И годятся нам... в племянницы.

— С такими коленками? — сказал я. — Ты посмотри, что это такое! Они у них как ольховые чурбаки. Терпеть не могу тупые коленки!

— Не переигрывай, — сказала Ирена. — Это ты за меня обиделся на них, да? — кивнула она на девиц.

— Расстегни воротничок блузки, — посоветовал я.

— Зачем? — изумилась она.

— Тебе будет свободней.

— Нет... Уже все в порядке... Я только на секунду забыла, что ты мой ровесник.

Она все-таки передвинула свой стул спиной к фикусу и отвлекаясь спросила, как я полагаю, целы ли наши шары в лесу.

— Ешь, — приказал я. — Помнишь, что говорила бабка Звукариха? И вообще, как твои дела?

— Хорошо... Устроила на работу в издательство Владимира Юрьевича. Ретушером... Между прочим, он сегодня спрашивал, куда ты делся. Дать ему твою повесть?

Я разлил шампанское. Оно было чересчур холодное, и я обхватил Иренин бокал руками и стал его греть. Ладони сразу же занемели, и создавалось ощущение, будто меж пальцев снуют и жалят маленькие юркие муравьи, что живут в гнилых пнях по берегам озер. Эти паскудные белесо-желтые твари невероятно злы: я не раз наблюдал, как они нападают на большого красивого черного муравья из лесной пирамиды и умерщвляют его отвратительным конвульсивным приемом, впиваясь ему в места сочленения. Я рассказал об этом Ирене и признался, с какой ребяческой обидой на запоздалое мщение злу постоянно поджигал гнилые пни, когда писал в лесу возле озера своих «Альбатросов».

— Да-да. Желтые муравьи... — сказала Ирена, невидя-

ще глядя сквозь меня.— А известно тебе, что можно, оказывается, люто ненавидеть человека за то, что он мучается из-за тебя? — спросила она вне всякой связи с моим рассказом о муравьях. Я не хотел, чтобы с нами был тут сегодня Волобуй, и сказал, что ее шампанское уже согрелось.

— Нет, погоди... Ну почему он не может... взять и умереть! Без болезни... У мужчин его возраста сплошь и рядом случаются во сне сердечные припадки!

— Давай, пожалуйста, выпьем,— предложил я.

— Это подло, что я желаю ему, но ведь я думаю об этом, думаю! И ты сам спрашивал, как у меня дела...

Я выпил один, без нее, а после мне понадобилось обрезать края у ломтиков сыра и переставить с места на место тарелки с разной едой. Вообще на столе было ненужно тесно. Ирена оцепенело смотрела на свой невыпитый бокал,— на дне его зарождались и нескончаемо струились и струились бурунчики солнечных росинок, и черт знает откуда их столько там бралось! Мы помолчали некоторое время еще, потом Ирена подозвала официантку, и я заплатил по счету.

Если б нам не встретился тогда Дибров, я бы не сказал Ирене, что произошло со мной за столом, когда она смотрела на свой кипящий бокал и ждала от меня утешения и защиты: она показалась мне в ту минуту мизерной, злой и... старой. Помимо Волобуя, за которого непостижимо по каким законам вступилось все мое существо без спроса у меня, я с отвращением подумал почему-то об украденном ею блине и снова, как в тот раз осенью, не смог постичь, как он уместился на ее голове! Мы вышли из кафе порознь, потому что я решил забрать с собой шоколад и обе непечатые бутылки шампанского. Ирена успела одеться и спускалась по лестнице,— кафе было на втором этаже. Я подал гардеробщику номерок и юбилейный рубль, и он помог мне надеть куртку. Между прочим, в виде «чаевых» металлический рубль, оказывается, вручать свободней и проще, чем бумажный, и принимать его тоже, наверно, удобней,— во всяком случае, мы с гардеробщиком простились с обоюдным удовольствием друг от друга. Диброва я заметил с площадки, когда повернул на нижний марш лестницы,— он поднимался в кафе, и с ним был высокий смуглый мужчина в узорных

иркутских мокалинах и оленьей дохе. Они только что разминулись с Иреной, и я видел, как Дибров поклонился ей энергично и вежливо. У меня мелькнула мысль побежать назад и зайти в туалет, но наверху был гардеробщик, с которым я так представительственно расстался. Когда мы сошлись, Дибров вскользь и рассеянно взглянул на меня и отвернулся, но я все же успел поклониться ему энергично и вежливо. Он не ответил и прошел мимо. Он вообще, как мне показалось, не узнал меня в моем не виданном им берете с помпоном, с бутылками шампанского, которое я нес на сгибах локтей, под грудью, как держат котят, кто их любит.

Ирена стояла внизу и насмешливо смотрела, как я спускался по лестнице.

— Все равно что в бездарной книжке для завязки конфликта,— сказала она о встрече с Дибровым.— Ты с ним поздоровался?

Она не проявила ни смущения, ни растерянности, но на всякий случай я заверил ее, что он меня не узнал.

— Потому что ты так картинно держишь бутылки?

Я не видел причин для оптимизма и сказал ей об этом.

— Ничего нам не будет. Надо только объяснить ему, по какому случаю мы оказались тут в рабочее время. Занеси ему завтра журнал, он уже появился в киосках. А об остальном Дибров знает,— сказала Ирена.

— О чем он знает? — спросил я.

— Ну о нас, господи!

Я ничего не понял. Бутылки оттягивали руки, и стоять у лестницы было неудобно и небезопасно: Дибров мог не задержаться долго в кафе. Мы прошли через вестибюль в зал ожидания, где почти никого не было, и сели там в углу на деревянный диван с высокой сплошной спинкой. В окно нам был виден аэродром.

— Понимаешь, я не хотела говорить тебе... Нас тогда застал Певнев и доложил Диброву,— сказала Ирена.

— О том, что мы целовались?

— Да. Мне проболталась Вера.

— А ей кто сообщил?

— Тоже Певнев. Он ее заместитель по местному.

— Зачем ему понадобилось доносить Диброву? — спросил я.

— Певнев... холостой,— сквозь зубы проговорила Ирена.

— Так что же из того?

— Он всю жизнь холостой. Ему нельзя иначе... Ну что ты так на меня смотришь?

— И поэтому ему не по силам видеть тех, кто целуется? Опарыш из общественной уборной! — сказал я. Ирена подозрительно поинтересовалась, что это такое, и я пристойно объяснил.

— Фу, какая гадость! — брезгливо сказала она. — А знаешь, как Вера произносит теперь твою фамилию? Ержун.

— Понятно, — сказал я. — Но почему ты решила, что Дибров станет нам покровительствовать?

— Дело не в покровительстве. Таким эгоцентричным людям, как Дибров, приятно сознавать, что поддержка избранных уравнивает презрение множества, понимаешь?.. Хочешь знать, что он мне очень нравился? До тебя.

— Ты шалава! — задето сказал я.

— А ты Ержун!.. Может, объяснишь, что с тобой случилось в кафе? Все продолжаешь ревновать?

Я не смог ей солгать и только утаил, что подумал о блине: как он уместился на макушке ее головы.

— Глупый, — пораженно сказала Ирена, — ты все воображаешь, что я оттуда, с неба, — показала она на потолок, — а я земная. И живая... И люблю тебя вполне по-бабски. Но я не уйду оттуда сама. Мне это не по силам... Поэтому временами я начинаю придумывать и хотеть для своего освобождения от него такое, что у тебя волосы встанут дыбом, если рассказать! А ты, конечно, лучше меня... Ты ж не только из-за мужской солидарности вступился за него, ты просто благородный и добрый...

— Черта лысого! — сказал я с беспощадностью к себе. — Я хуже тебя в тысячу раз! Одно время я легко мог стать преступником...

— Не болтай, — беспокойно перебила Ирена. — Как это могло быть? Что ты хотел с ним сделать?

— Да не с Волобуем. Я тогда еще не знал тебя и жил в лесу, когда писал повесть, — сказал я.

— Ну?

— Я каждое утро мечтал, что вот вылезу сейчас из палатки, оглянусь, а он висит вниз головой.

— Кто?

— Шпион иностранной разведки. Парашютист. Мертвый... Стропы парашюта зацепились за верхушку сосны, а он напоролся грудью на сук...

— И это так и было?!



— Да нет! Но все равно ведь я ждал его, гада, чтобы обобратить, понимаешь? Их снабжают кучей денег. Ну вот. Обобратить и оставить висеть и никому не сообщать, представляешь?

— Конечно, не сообщай! — преобразилась в школьницу Ирена.— И мне тоже хочется обирать с тобой! Я буду подсаживать тебя, когда ты полезешь на сосну. А он... не разложился?

Я сказал, что предусмотрел и это.

— И как же?

— Не дышу, не смотрю и работаю на ощупь. Хуже всего то, что в его комбинезоне восемь карманов на застежках «молния», а у меня одна рука.

— А где вторая?

— Мне же надо держаться за сосну.

— А почему ты не обрежешь стропы, чтобы он упал? На земле ведь быстрее и легче работаты!

— Тогда будут все улики, что он обобран,— возразил я.

— Да, это верно... Ну давай дальше. Как только ты ограбил его, мы сразу же уехали, да?

— Немедленно, но предварительно я обмотал колеса у «Росинанта» материей от палатки.

— А с какой стати нам жалеть ее? Купим новую... Ну давай дальше!

— Шалопутная ты,— сказал я,— человек кается тебе в своей нравственной неполноценности, а ты чему-то радуешься!

— Я тебя по-дикому люблю,— с болью сказала Ирена.— Поцелуй меня, тут никто не увидит...

После этого мы посидели немного молча и тесно. В окно нам были видны белые тихие самолеты и отвратительные на фоне снежного поля красные бензозаправщики.

— Покайся мне еще в чем-нибудь морально неполноценном,— попросила Ирена.

Я покаялся, с каким затаенным мелочным тщеславием переживаю свое авторство и как всю эту зиму, особенно в январе, самым пошлейшим образом, стыдно и недостойно обшаривал глазами полы в продовольственных магазинах, когда заходил туда за кефиром и халой. Все, думалось, вот-вот увижу потерянный кем-нибудь трояк, а то и десятку.

— Это у тебя осталось от детства,— утешающе сказала Ирена.— Я сама до сих пор ищу эти проклятые

тройки, хотя сроду ничего не находила... Может, тебе сегодня и варезки с пятеркой померещились поэтому?

— Нет, я тогда уже ощущал в кармане тысячу шестьсот сорок восемь эр,— сказал я.— Ты бы не смогла взять у меня немного?

— Зачем они мне?

— Мало ли! Плащ себе купишь,— подсказал я.

— А дома что скажу, где взяла деньги?

— Выиграла, мол, по лотерейному билету. Или нашла в магазине.

— Не болтай.

— Вот видишь! — сказал я.

— Ты бы лучше приобрел себе диван... Эта твоя несчастная раскладушка...— отчаянно проговорила Ирена. Я поцеловал ее, и мы опять посидели молча и спаянно. Потом я купил в аэропортовском книжном киоске три номера журнала со своими «Альбатросами» и несколько газет,— в них мы завернули бутылки: Ирена согласилась передать их от меня вместе с журналом Владимиру Юрьевичу, так внушительно объяснившему в свое время Вереванне, чем пахнет очищенная от коры ореховая палка и третья бутылка шампанского...

В город мы вернулись на автобусе. По мнению Ирены, я мог не являться в издательство, так как до конца рабочего дня осталось полтора часа.

К Диброву я не пошел. Другое дело, если бы он вызвал меня для объяснения сам. А так... Он ведь тоже в рабочее время направлялся в кафе! Зачем же нам было смущать друг друга? Недаром же он «не узнал» меня?

То, что директор издательства мог появиться в аэропорту по уважительному делу — провожал или встречал, скажем, кого-то,— я не хотел предполагать. Мне было удобней думать, что он очутился там по сугубо личному поводу, как и я сам.

Дарить — хорошо. Тут одним разом достигается слишком многое: и сознание собственной широты и щедрости, и удовольствие от того, что ты можешь кого-то обрадовать и растрогать, и надежда, что твоим покупательским способностям никогда не будет конца, и многое другое, что поднимает человека ввысь. Дарить — хорошо, если знать, что за этим желанием ничего не скрывается, кроме благодарности тем людям, кого ты собрался наконец

отдарить. Тете Мане я углядел большую толстую шаль с бахромой,— меня привлекло в ней то, что ее вполне можно было назвать пледом, а не шалью. А плед это плед! Сложнее было с подарком Борису Рафаиловичу: тому ничего не подходило, чтобы я тоже был доволен. Я подумал о надувной лодке и спиннинге, но было неизвестно, рыбак ли он, да и как бы я заявился в больницу с такой ношей? Там наверняка есть свои Верыванны и Певневы, при ком не подаришь и не возьмешь. По этим же причинам не годилось и ружье, и палатка. Поразмыслив, я нашел, как мне казалось, самое лучшее, что ублаговворяло нас обоих,— в гастрономических магазинах оставались с Нового года принуднаборы в целлофановых мешках: к бутылке армянского коньяка туда были засунуты кое-какие кондитерские неликвиды и отличные овальной формы палехские шкатулки, на которых царевич убивает из лука черного коршуна над белой лебедью. Из трех таких мешков я собрал два — один себе, а второй, посолидней, Борису Рафаиловичу. В его шкатулку я вложил свои модные янтарные запонки,— они хорошо смотрелись там в жарком малиновом углублении, и это не могло ему не понравиться. Мне хотелось, чтобы «Альбатросы» понравились ему тоже, и я учинил на журнале краткую надпись и поместил его в мешке так, чтобы он скрыл бутылки. В гардеробной больницы я сказал бабушке, принявшей у меня берет и куртку, что иду в хирургическое отделение. Она поглядела на стенные часы, точь-в-точь как глядела, бывало, Звукариха на солнце,— из-под руки, и с добром к больным сказала, что до наведывания их еще двадцать минуток.

— Погуляй пока в коридоре,— посоветовала она. У гардероба никого не было, и я слазил рукой в задний карман брюк и захватил там что попало.— Заругаются ж, милай!..

Я подумал, что ей, наверно, впервые привелось тут получать наградные от посетителя,— руку с трояком она отвела назад и сама смотрела на меня растерянно и виновато. Я ласково солгал ей, что меня ждет Борис Рафаилович. Тогда она пошла в глубину гардеробной и вынесла новый халат на пуговицах и с тремя карманами...

...Когда мне приходилось видеть в кино лыжника, взлетающего с трамплина, я воображал себя им. Слушая зна-

менитого музыканта, я играл вместо него. Я плавал лучше всех в бассейнах, был непревзойденным художником и оратором: после моего выступления в суде виновные раскаивались, а судьи плакали. В цирках я пролетал под куполом и выкрикивал «оп-ча», когда зрители тревожно раздражались всеобщим «ах». В первую Отечественную войну я был попеременно то князем Андреем, то Багратионом, а в последнюю — то Кожедубом, то Рокоссовским. Я дважды погибал на дуэли, так как в первый раз был Пушкиным, а во второй — Лермонтовым. Гарибальди, Овод и полковник Пестель тоже были я. В тот раз в больнице у зеркала, увидев себя в белоснежном врачебном халате, я с ходу превратился в хирурга. Я блестяще делал сложнейшие операции на сердце и на черепных коробках и сюда явился на консультацию по приглашению Бориса Рафаиловича: в моем желтом пузатом получе-модане-полупортфеле укрываются всевозможные новейшие инструменты, медикаменты и бог знает что еще!..

Борис Рафаилович сидел у себя на топчане для осмотра больных в скорбно-обиженной позе мученика, окончательно потерявшего веру в людскую благодарность, а это значило, что пациент, которому он сделал сегодня операцию, чувствовал себя отлично. Нехорошо было только то, что с плоского расплющенного топчана неряшливо сбилась простыня, жутко оголив черный заглянцежелый дерматин, и что халат на докторе был мятый и несвежий. Я приютил свою ношу в угол за вешалкой, а потом уже поздоровался.

— Ты не мог показаться мне раньше?

Тон был ворчливый и изнуренный, и я опять подумал, что с оперированным все слава богу.

— Не мог?

— Не мог, доктор, — сказал я.

— Почему?

— Тогда я не был бы сегодня хирургом, — ответил я. Он испытующе посмотрел на меня, но позу не переменил.

— Ке-ем?

— Вы не замечаете, какой на мне халат? — спросил я, и мне почудилось, что он что-то понял и даже проникся к моей ребячливости подобием снисходительности.

— Покажись!

Он сидел, а во мне как-никак было метр восемьде-

сят три, поэтому я опустился на колени, обернувшись затылком к топчану.

— Да не так... Встань! — досадливо приказал мне.

— А какая нам с вами разница? — сказал я.

— Мне неудобно!

— А там уже ни хрена, доктор, нет,— сказал я,— там давно заросло... Ну все?

— Все! — не притронувшись к моей голове, сказал он.— Тоже мне... Шевелюра, как у пуделя. Завиваешься в парикмахерской, что ли?

Мы тогда уже стояли друг против друга, и я обратил внимание, что волосы Бориса Рафаиловича вполне могут звенеть, если к ним прикоснуться,— на висках они металлически светились и казались жесткими, как струны.

— Можно теперь перейти к неофициальной части? — спросил я его, показав в сторону чемодана.

— Нет,— властно сказал он, уходя от меня к столу.— Я не уверен, что ты не попадешь ко мне еще раз. С аппендиксом, например.

Я осведомился, что тогда будет.

— Не стану оперировать. Вообще не приму в отделение!

— Примете. Вы же знаете, что я хороший мужик,— сказал я. Мешок был перехвачен розовой лентой,— они так и продавались, только при переупаковке я попышней завязал бант. Журнал не скрывал бутылки полностью: их головки высывались и золотисто сияли, и, когда я поставил мешок на стол, он внушительно-веско брякнул.

— Ты убежден, что с головой у тебя в самом деле все в порядке? Сейчас же убери!

Это было сказано оскорбленно, грубо и, по-моему, не шибко медицински грамотно, поскольку речь шла о моем все-таки залатанном черепе. Я забрал мешок и пошел к вешалке, где оставался чемодан с пледом для тети Мани.

— Я не о том! — крикнули мне в спину.— Ты здоров, как лось, но надо же хоть что-нибудь да сообщать!

— Вот именно. Сожалею, что мы оба ошиблись,— сказал я из угла. Я не обиделся и не испугался, но мне почему-то стало тоскливо и муторно.

— В чем это мы оба ошиблись?

Я сказал, что принес сюда свою повесть, а не тамбовский окорок.

— Какую повесть? И что значит свою?

— Это значит, что она написана мною,— объяснил я. Чемодан не застегивался: в звеньях «молнии» увязла бахрома от пледа.

— А где она, это твоя повесть? Я пока что видел две бутылки водки!

— Три,— уточнил я.— И не водки, а коньяка!

— Ах, вот что! И в этом заключается наша обоюдная ошибка? Где повесть?

Я подал ему журнал. Мне было выгодно казаться незаслуженно обиженным,— это позволяло сохранять на лице «взрослость», когда доктор трижды сличающе взглядывал то на меня, то на мой журнальный снимок, а затем недоуменно-ревизионистски листал страницы в поисках конца повести: наверно, хотел знать, насколько она велика.

— И это ты написал сам? Лично?

Помочь мне ничего уже не могло,— мои губы самопроизвольно раздвинулись тогда в громадную восторженно-дурацкую улыбку, которую невозможно было ни согнать, ни спрятать. Борис Рафаилович тоже улыбнулся, но коротко и снисходительно.

— Что ж, рад за тебя,— сказал он.— Значит, вечер показал, какой был день. Ты после больницы написал это?

Я сообразил, что утвердительный ответ для него важнее истинного, и молча кивнул.

— Очень хорошо! Сегодня же начну читать.

— Можно вызвать сюда тетю Маню? Я купил ей плед,— счастливо сказал я.

— Пле-ед? — странно переспросил Борис Рафаилович.

— Ну, шаль,— пояснил я. Он кинул в ящик стола журнал и крикнул, что никакие пледы Марье Филипповне уже не нужны, потому что она умерла еще осенью! От инсульта! Понимаю ли я, что это такое? Я не знал и до сих пор смутно представляю, что значит инсульт, но он говорил о нем так, будто именно я, живой и здоровый, да еще он сам, хирург, повинны перед всеми, умершими от этой проклятой болезни... Когда я собрался уходить, он ворчливо приказал оставить ему бутылку коньяка. Я оставил все три. Я закатил их под топчан, к самой стене...

Как и было условлено, я в положенный срок сдал Владыкину свою рабочую рукопись и получил новую. Ве-

ниамин Григорьевич выглядел благостно, чистенько и розово,— наверно, сходил с утра в баньку и хорошо попарился. Я подумал, что ему в самый раз сейчас пришелся бы мой напрасно купленный плед, но не здесь, разумеется, а дома, в кресле пред радиоприемником или телевизором. По тому, как он неторопливо-важно вручил мне новую рукопись, по тихой, сочувственно-горестной полуушмешке, застывшей на его лице, я спокойно догадался, что он видел журнал с моей повестью, но что это не поколебало его неотступность в суждении о ее непригодности для печати. Я не собирался в обход Вениамина Григорьевича предлагать Диброву повесть к изданию,— на этот счет у меня были другие планы, и поэтому не испытывал ни злорадства, ни досады. Я понимал, что «Альбатросы» не могли нравиться Владыкину. Он был неспособен тревожиться из-за того, что важно для людей моего возраста. Только и всего!

Между тем земля вертелась и вертелась, и солнце каждый день всходило и всходило с востока. Был уже март... В наших отношениях с Певневым образовалась тогда новая полоса взаимного отчуждения,— он встречал меня с таким выражением, будто подозревал или наверняка знал, что у меня произошло или вот-вот должно произойти какое-то приятное для него недоразумение с правосудием, я же в свою очередь считал потребным скрыто презирать его, чтобы не терять уважения к себе. Мне нравилось изводить его издали и обиняком. Однажды я позвонил при нем Альберту Петровичу и спросил, известно ли ему, что отвечал Куприн в начале своей писательской известности тем господам, которые предумышленно произносили его фамилию с ударением на первом слоге? Ирена не знала.

— Он настоятельно советовал им не садиться без штанов на ежа,— сказал я.

— Не дразни ты его там и не злись сам,— засмеялась Ирена.— Чем плохо звучит «Ержун»? Мне нравится!

— Я тоже в восторге,— сказал я, поняв, что она одна.— А как вы находите заповедь от Иакова «Да будет всяк человек скор увидети и косен глаголати»?

— Он же, наверно, догадывается! — сказала Ирена.

— Нет,— возразил я,— вы ошибаетесь. Утверждение, что благосклонность к подлецам не что иное, как тяга к низости, принадлежит не библейским пророкам, а гре-

ческому философу Теофрасту. Он был современником Платона.

— Откуда ты нахватал все это? — удивилась Ирена.

— Да-да,— сказал я,— рассуждение, что только редкие и выдающиеся люди сохраняют в старости деятельный и смелый ум, тоже принадлежит древним грекам. По их мнению, старики всегда склонны задерживать бег времени. Кстати,— сказал я,— вы не задумывались, почему Наполеон громил пруссаков, превосходящих его войска по численности в два или три раза? У тех командовали старцы, а наполеоновские маршалы были наши с вами ровесники! Вот!

Певнев до конца тогда высидел за столом и ни разу не скорябнул каблуками,— слушал, но я так никогда и не узнал, как он понял притчу о стариках. Неужели тоже принял на свой счет?

В том тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году весна была буйная и ранняя: уже в начале апреля молочницы приносили в город фиалки и подснежники, и каждое утро по дороге в издательство я высматривал на подсохших тротуарах свою прошлогоднюю цыганку,— ей бы следовало попасться мне с пучком «колокольцев» или «мятух», и люди увидели б тогда, какое платье, черт возьми, могло оказаться на ней в следующее утро!

«Росинант» обрел все, что было ему обещано, и даже больше: кроме колес, я заменил аккумулятор и сигнал,— новый звучал гармонично и важно, что нам и требовалось. Мне давно мешал плед. С ним сразу же незримо поселилась в моей комнате тетя Маня, а это разоряло весну и заставляло не забывать то, о чем не хотелось помнить... С пледом нужно было срочно что-то делать. Я не мог передарить его бабке Звукарихе,— не та она была для меня бабка, кому он подошел бы со своей траурной бахромой, с тенью смерти в каждой своей шафранной клетке. Строго говоря, с ним нельзя было ни расстаться, если отдать кому-либо чужому, ни сохранять по ночам дома, и я застлал им сиденья «Росинанта». Это показалось мне единственным компромиссным выходом из положения для всех нас, своих, живых и неживых, так как «Росинант» был не только «своим», но и бессмертным. Все-таки он был железный...

В тот день, как мы с Иреной оторвались наконец «к себе», в лес, я позвонил ей при Певневе и спросил,



известны ли моему другу исторические комментарии русской императрицы Екатерины Великой к портрету королевы неаполитанской Иоанны Второй?

— Нет, Николай Гордеевич, книга ваша давно в производстве,— вежливо ответила Ирена,— а что вы хотели?

— В таком случае слушайте,— сказал я Певневу, а не ей.— «Красавицы, знатные дамы и государыни должны походить на солнце, которое разливает свой свет и лучи на всех и каждого так хорошо, что каждый это чувствует. То же самое должны делать эти великие и красивые, расточая свою красоту и прелести тем, кто к ним пылает страстью. Прекрасные и великие дамы, могущие удовлетворить множество людей либо своей нежностью, либо словами, либо прекрасным лицом, либо обхождениями, либо бесконечно прекрасными доказательствами и знаками, либо прекрасными действиями, что более всего желательно, не должны отнюдь останавливаться на одной любви, но на многих, и подобные непостоянства для них позволительны и прекрасны». Кавычки закрыты,— сказал я. Певнев снялся с места и вышел, негодуя хлопнув дверью,— не перенес бедняга екатерининской озорной насмешки над великосветскими ханжами и уродами.

— Это, конечно, любопытно,— озадаченно сказала Ирена,— но я бы не решилась представить такую вставку на визу главному редактору. Дело в том...

— Все ясно,— прервал я,— мой целомудренный лирик только что сбежал, поэтому слушай сюда. Я буду ждать тебя в конце набережной. Сразу же после работы. Ладно?

— Вот именно,— ответила Ирена,— дело не в возможности задержки набора, скажем, на час или на два, а в том, что вы только что правильно заметили сами.

Я сказал, что она гениальный ребенок и что мы будем ждать ее с «Росинантом» в конце набережной с шести до восьми.

Ручей еще не улегся в свое русло и вполне мог считаться маленькой речкой. Мы назвали ее «Колочёсиком»,— придумала Ирена, а что это означало — бог весть. Уже кудрявилась и зеленела прибрежная ольха, и на вербах падуче висели длинные пушистые серьги. Всюду под кустами

из-под бурой слеглой листвы пробивалась несметная сила фиалок, но мне не было позволено собрать букет: Ирена сказала, что они и так наши. Мы отыскиали грядку можжевельника. Шаров там не оказалось, но это не огорчило нас,— Ирена решила, что их сняли ребяташки. Девочка и мальчик. Понимаю ли я, что они унесут после этого в своих душах на всю жизнь, до самой смерти? Я сказал, что понимаю. Это ж им не блин и не трояк пьяного сторожа.

— Дурак,— обиженно сказала Ирена, а я приободрил ее великаном. В лесу было покойно, сиренево-сумрачно и торжественно,— мы как будто вернулись домой из отпуска, проведенного «дикарями», явились усталые, но здоровые, на исходе дня, а дом у нас прочный, прохладный и чистый,— ремонт был без нас, и мы бродим и бродим по нему в полумраке, и нам невозможно отодвинуться друг от друга, и разговаривать мы можем только шепотом...

Потому что Ирену, а затем и меня, сморил и опьянил лесной бражный дух, оттого, что мы оказались тут в недоступной безгрешной высоте для всех и для самих себя, нас предательски и ненужно застигла ночь. Ирена спала на моей левой руке, укрывшись пледом, и когда я, очнувшись первым, осторожно попытался высвободить часы, она встрепенулась и спросила, сколько времени. Я засветил плафон. Было половина третьего.

— Что же теперь делать? Ты не знаешь, где я была? Придумай скорей! Где я была?

Я погасил плафон, чтобы не видеть ее обезображенной страхом, и мы молча, скрыто враждуя из-за помех друг к другу, установили сиденья. В свете фар бурунно тек и клубился ползучий приземной туман, и мы не скоро выбрались на шоссе. Там я вслух подумал, что самое лучшее — ехать на Гагаринскую. Навсегда. Потом, сказал я, заберем Аленку. Издадим повесть. И напишем вторую.

— Ну что ты ползешь, как вошь по нитке! — истерично выкрикнула Ирена. Такое ей не следовало произносить. Я знал, что в детприемниках не учили изящной словесности, но это ничего не меняло.— Что я скажу дома? Не знаешь?

Больше ста пяти километров в час «Росинант» не мог выдать. Он вихлял и дребезжал. Улицы города были

пусты, и я не сбавил скорость и не стал включать дальний свет. Перед особняком на Перовской «Росинанта» юзом развернуло носом на площадку, — я резко затормозил, и фары высветили там Волобуя. Он был в кожаном пальто, блестящем, как кольчуга. Он стоял у дверей дома и заслонялся рукой от света. Фары ослепляли его, но мне казалось, что он видит нас навсквозь.

— Остаешься? — спросил я Ирену. Она с мольбой и ненавистью посмотрела на меня и вышла из машины. Волобуей стоял на прежнем месте, и я тогда понял, что никогда не расставался с тайным желанием отомстить ему за нашу с Иреной неволю в открытую, лицом к лицу, во весь рост. Ирена подвигалась к нему медленно, виновато-покорно, без порыва к самозащите и без надежды на чью-либо помощь. Он что-то сказал ей, чего я не расслышал, и вдруг не пошел, а покатился к ней навстречу, клонясь вперед и отведя зачем-то руку назад. Их разделяло шага три, когда я очутился на площадке в створе фар и крикнул Волобую, что превращу его в пригоршню кожаной пыли, если он посмеет тронуть эту женщину, — так я невзначай оскорбил Ирену: разве она была «этой»? Под моим окриком она побежала мимо Волобуя и скрылась внутри дома, а Волобуей, свирепо оглядев меня и попятившись из полосы света, позвал испуганно и захлебно, как тонущий при вынырках из воды:

— Милиция! На помощь! Милиция!

— Отправляйся спать, — сказал я, не видя его. — И чтобы все было тихо, понял?

Он снова где-то там в темноте покликнул милицию, но слабо, жалко, старчески, и я пошел к «Росинанту».

Все, что произошло потом, было стремительно кратко по времени и недостойно нас с Иреной, но это произошло, и заменить его в повести мне нечем... В ту ночь я долго колесил по кругу — набережная — центр — Перовская в надежде подобрать Ирену с чемоданом или узлом, — с узлом было бы даже трогательней: человека, значит, гнали, и он спешил уйти. Во всем особняке на Перовской светились только два окна на третьем этаже. В пять часов свет там потух, и я поехал домой. У меня было время вымыть полы на кухне, в коридоре и в комнате. Под моим раскрытым окном сухо и размеренно шаркали и шаркали метлой. Я снял с секретера куклу и незамет-

но для женщины, подметавшей улицы, выпустил ее из рук вниз. Она прозвонила дважды. Сперва когда ударилась и покатила по тротуару, а затем немного погодя, когда ее подняли. В девять часов у подъезда издательства я увидел пустую волобуевскую «Волгу». Пожалуй, сбывалось мое ночное предположение,— там заключен сепаратный мир: иначе в их квартире свет не горел бы так долго и для меня бесполезно. С нынешнего дня Ирине, значит, разрешено самостоятельно пользоваться «Волгой». Что ж, на здоровье! Пожалуйста! Сколько угодно!.. Только куда мы с нею денем себя и все наше? Что она с Волобуем думает на этот счет?..

Плащ и шляпка Певнева скуднели на вешалке, а самого его не было. Чтобы подтвердить догадку насчет «Волги», я набрал номер рабочего телефона Ирины, но после третьего гудка отозвалась Вераванна. Отключаться молча я не решился и спросил через кулак, когда приезжать за бочками.

— Какими еще бочками! Это издательство,— суматошно ответила она. Я сказал, что впервой слышу про такую контору, и повесил трубку. Оставалось позвонить на Перовскую, и если Волобуй окажется дома, то спросить у него то же самое. Трубку сняла Ирина. Я не ожидал этого и промедлил с голосом.

— Это ты? — безжизненно сказала она. Кроме меня, ей некого было так спрашивать.— Говори, я одна.

— Ну? — спросил я обо всем сразу.

— Нет-нет,— ответила она,— ничего такого не было... Я сказала, что в Москве напечатана твоя повесть, которую я редактировала, и ты пригласил своих друзей... и меня, как редактора, в ресторан... Ты был пьян и поэтому ударил его, не зная, что он мой муж.

— Ударил? — уточнил я.

— Ах, Антон! Зачем ты это сделал?

— Ну ладно, пусть,— сказал я,— а где он теперь?

— Поехал на рынок за продуктами. Сейчас должен вернуться, и я пойду на работу. Ты не звони мне несколько дней, ладно?

Я умолчал о «Волге». Мне показалось беспощадным сказать ей такое издали, одной: было ведь ясно, что Волобуй тайком от нее явился в издательство искать на нас управу.

— Ты все-таки приходи обязательно,— попросил я.

— Но ты мне не звони. Долго-долго не звони.

— До свидания,— сказал я.

— Нет, погоди. Я все думаю и думаю... Может, тебе все-таки уехать? Пожалей нас, Антон!

— Вас? — переспросил я.

— Да. Меня и Аленку... Мы не можем с тобой... не смеем приносить мою девочку в жертву чему бы то ни было, слышишь?

Я мысленно поцеловал ее в глаза и совершенно явственно ощутил на своих губах теплую солоноватую горькость.

— Ты что там? — тревожно спросила Ирена.

— Ничего. Перестань плакать,— приказал я.

— Господи! Что же нам делать?.. Антон, родной мой, послушай... хочешь, я оскорблю тебя? Я знаю, что тебе сказать... Тогда нам легче будет расстаться.

— Да-да,— сказал я.— Приходи, пожалуйста, на работу. Ладно?

Певнев явился минут за пять до обеденного перерыва. Он прошел к своему столу и, не садясь, объявил мне неожиданно помужавшим голосом, что в шесть часов на местком назначен разбор моего персонального дела в связи с письменным заявлением мужа сотрудницы издательства Лозинской подполковника в отставке Волобуя Лавра Петровича. Мое присутствие, предупредил он, обязательно, так как в ином случае дело будет передано в судебные органы. Он тут же вышел с брезгливым видом опоганенности, а я позвонил Ирине, и мы встретились на лестничной клетке своего этажа. Тогда я впервые взял ее под руку при всех сотрудниках — они шли в буфет на третий этаж — и повел по коридору к окну, где стояли два стула. Там я сообщил ей о персоналке-распиналке и сказал, что вот пришел великан. Большой, большой великан. Такой смешной, смешной. Вот пришел он и упал, сказал я ей. Всю нашу жизнь — нашу жизнь! — я говорил ей эти слова, когда ничего другого нельзя было придумать...

Около четырех часов звонком по телефону меня вызвал к себе Дибров. Я зашел в туалетную и осмотрел себя в зеркало. На мне все было как надо. Дибров не поздоровался со мной и не предложил сесть. Когда я подошел к его столу, он, внимательно и холодно оглядев мою шевелюру, сказал, что не то диво, что кукушка по чужим гнездам лазит, а то, почему своего не вьет.

— Слышал такую поговорку?

— Нет,— сказал я.

— Напрасно. А то, что по кривой дороге прямым путем не ездят?

— Эту слышал.

— Ну вот. Характеристика моя нужна?

Я тогда заметил на его столе журнал с моими «Альбатросами». Наверно, Дибров уследил направление моего взгляда, потому что тут же непререкаемо сказал:

— Лоб может быть и широким, но от этого в голове еще не всегда бывает просторно... Садись и пиши заявление об увольнении. Дату поставь двумя неделями раньше сегодняшнего числа. Это значит, что ты свободен со вчерашнего дня, понятно?!

— Да,— вырвалось у меня фистулой.

— Ну-ну! — строго сказал Дибров.— Тоже мне, альбатрос!..

Ирене я позвонил домой в половине шестого из своей будки возле моста и объявил, почему не состоится распиналка. Она часто-часто задышала в трубку и вдруг отчаянно-решительно сказала такое трагически бессмысленное и вместе с тем жертвенно-готовное принять там помилование на любых условиях, что я «поверил» ей и оскорбил ее тоже. Мне понадобилась всего лишь неделя, чтобы продать квартиру, «Росинанта», лодку, палатку и собраться в дорогу. Все эти дни я заряжал себя обидой к Ирене,— мне надо было придумывать многое и разное, чтобы столкнуть ее вниз с той высоты, на которой она была, и этим помочь себе в сборах к отъезду. Тогда во мне сидело два Кержуна — один я, настоящий, знавший всю лазурно чистую и возвышенную правду об Ирене, и второй — чужой мне и ей, очень похожий на мой снимок в журнале. Он убеждал меня, что Волобуй загнал Ирену в угол и там помиловал, так как покаянных и слабых не убивают, а берут в плен. Правда, в плен еще и попадают, если ты ранен или контужен. Или устал и отчаялся в сопротивлении. Но в таком случае это — сдача, а добровольная сдача в плен врагу — измена и предательство. Так или нет?

Этот второй Кержун нарочно не знал, что служил Ирене с Аленкой, а не мне. И все же он здорово мне помог. Только он один...

В небольшом старинном городе с милосердным названием я устроился слесарем-водопроводчиком в одном тихом домоуправлении. Мне дали комнату, и за полтора года,

вернее за пятьсот тридцать ночей, я написал эту повесть. Для всех нас в ней я долго и трудно подбирал чужие имена и фамилии, и только «Росинанта» не мог назвать как-нибудь иначе. Но «Росинант» и есть «Росинант». Он ведь все-таки железный. Он же глухой. И немой. И слепой...

*1971*

## «...И ВСЕМУ РОДУ ТВОЕМУ»<sup>1</sup>

Шел нудный, мелкий дождь, и даже не дождь, а мга — густая и туманно-седая, как это и полагается в Прибалтике в ноябре. Мга липкой паутиной оседала на бровях и ресницах, и надо было то и дело отирать лицо. Перчатка пахла отвратительно едко: бензин так и не выветрился за ночь, и свиная кожа стала неряшливо пегой, а не первозданно желтой, как это предполагалось вчера вечером. Перчатки чистил сын и оставил их в ванной до утра, а надо было вынести на балкон. Может, только из-за этого перчатки сильно воняли. Денис с петушиным вызовом всему свету сказал сегодня утром, когда пора было прощаться:

— Ничего, пап! Все равно ты еще как... знаешь кто?

Уже одетый, Сыромуков стоял тогда в коридоре и под горькую мысль «глаза б мои не глядели» рассматривал себя в зеркало. Он притаенно напрягся, ожидая, но Денис долго искал — в почтенных книгах, конечно, — на кого там вознесенно похож его отец, и ничего не нашел.

— Ладно, — бесстрастно сказал Сыромуков. — Ты тоже похож на него.

— На кого? — ревниво спросил Денис и вытянулся перед зеркалом до хруста в позвонках. Сыромуков опустил плечи, умалившись в росте, и все получилось так, как надо было: хохол на макушке Дениса торчал вровень с беретом на голове отца.

— Ну вот. Видишь? Осталось каких-нибудь сантиметров пять, — серьезно сказал Сыромуков. — Это как раз на четыре недели, даже меньше.

Денис согласно кивнул — верил, что подрастет на пять сантиметров за месяц, а Сыромуков досадливо подумал: до каких пор сын пребудет ребенком — лет до восемнадцати? Или до тридцати?

---

<sup>1</sup> Повесть осталась неоконченной и была посмертно напечатана в журнале «Наш современник» № 11, 1975 г.



Впрочем, он возмужает сразу же, как только настанет тот день. На фронте такое происходило с ребятами сплошь и рядом. Командовал же он сам остатками роты? Командовал! Почти целые сутки... Со свистком... Он отъял его из руки капитана Ершова, когда тому... Да и не отъял, а выломил, потому что пальцы ротного уже окоченели, а свисток казался суеверно необходимым: все надо было делать в бою так, как делал капитан...

— Ну, будь жив и здоров! — приказательно сказал Сыромуков, и Денис по-ребячьи ответил: «Хорошо». Они, отступив от зеркала, в з р о с л ы м рывком пожали друг другу руки, но Денис чуть-чуть задержал в захвате ладонь отца и пожал ее сильнее и судорожней, чем это бывало раньше, если им приходилось расставаться. Из своей комнаты — ждала там чужая, пока простятся свои, — в коридор вышла Филипповна, их приживальная хозяйка, бывшая нянька Дениса, древний божий одуванчик, «буся». Она ненужно спросила Сыромукова, не забыл ли он свои лекарства, а у самой губы скорбно собрались в трубочку, и Сыромуков с осторожной преданностью — как покойника — поцеловал ее в лоб.

Заказанного с вечера такси у подъезда не было. Еще не совсем рассвело, и фонари горели под мглой взерошенно и тускло. Перчатки, конечно, следовало вынести с вечера на балкон. Денис же возмужает сразу, как только... Может, это случится весной. В марте, например. Тогда через месяц обновится мир, а это захватит и уведет его в сторону... В мае все оживает и возрождается. В мае выводятся аистята... И начинается рыбалка... Но Денис до сих пор не умеет насаживать червя. Не то боится, не то брезгует. А возможно, и жалеет... Любопытно, сколько их там, внизу, пород? Шесть или двенадцать? И с чего они начинают? С мозга? Или с сердца?

Заказанная машина не появлялась, и Сыромуков решил идти к стоянке. Мягкий венгерский чемодан на весу выгибался и круглился как бурдюк, и было опасение, что поклажа сомнется к чертовой матери и что сквозь звенья «молнии» просочится сырость и рубашки пожелтеют.

— Надо было покупать отечественный турсук с железными нашлепками по углам! — вслух сказал себе Сыромуков и неизвестно на кого разозлился. Тогда как раз показалось впереди свободное такси, и он приветливо и нерешительно поднял руку. Новая машина про-

мчалась мимо с каким-то издевательски роскошным рокотом, обдав его грязью,— шофер, наверно, поддал газу, а Сыромуков подумал, как много развелось на свете разного оголтелого хамья. Ужас! Он поставил чемодан у кромки тротуара и раскрытым ртом глубоко и панически вдохнул в себя большую порцию мги. Было то, что случалось с его сердцем часто и уже давно,— оно там толкнулось, подпрыгнуло вверх и замерло, готовясь не то выскочить совсем, не то остаться так под горлом — стесненно затихшим, без воздуха в легких, потому что дышать в такие секунды было нечем. Кончалось это всегда одинаково: раздавался больно ощутимый толчок, за ним через долгую, как целый век, паузу второй, потом третий, а после начиналась скачущая дробь ударов под неподвластный разуму страх. Это — страх — каждый раз было новым, свежестрепетным ощущением, и боялся не мозг и не само сердце, что оно вот-вот разорвется, как граната, а страшилось все тело, и больше всего глаза и руки. Глаза тогда зовуще метались по сторонам, а руки самостоятельно совершали одно и то же заученное движение — они размеренно вскидывались над головой и округло опускались, вскидывались и опускались, и всякий раз, когда все уже кончалось, Сыромуков не мог объяснить себе, зачем они это проделывали.

— Ну вот и все,— сказал Сыромуков и достал из кармана пальто стеклянный цилиндр с нитроглицерином. Он знал, что после приступа это лекарство уже не нужно, но все же всякий раз, если приступ застигал его на улице, покорно глотал белое зерно.

Он не запомнил, когда и каким образом пересек тротуар и оказался возле каменного забора с широким черепичным навесом,— наверно, инстинктивно решил, когда остановилось сердце, что тут на всякий случай окажется сухое место. Рыжий сгорбившийся чемодан показался ему отсюда бездомной намокшей собакой, и Сыромуков крадущимся шагом пошел к нему, словно намеревался поддеть его ногой. До ближайшей остановки такси были три прогона в автобусе, но начинался утренний час «пик», и Сыромуков не решился рисковать,— в костоломной давке при посадке и выходе застежка «молния» на чемодане могла порваться: это все же заграничная штука, черт бы ее побрал, а не отечественный окованный турсук на замках. С тем-то, пожалуйста, с тем куда угодно!

Сердце работало нормально, в нем только чувствовалась ставшая давно привычной, ровная и тихо ноющая

боль, похожая на зубную, когда там где-то глубоко в корне образуется свищ. Маленький. Начальной стадии свищ, с которым можно примириться и жить... если, конечно, не нажимать на зуб сильно. Не есть, например, хлебные корки. Копченую колбасу. Не разгрызать сухари... То же самое и с сердцем — не надо на него нажимать. Ну, не совсем, скажем, не нажимать, а стараться отвращать его от лишних «затвердевших» мелочей жизни. Тут всегда с большой пользой для него работает чувство юмора. И еще рассудительность. Вот, к примеру, тот таксист, что не остановился. Во-первых, он, возможно, торопился по вызову. «А к тебе он явился по вызову?» Не в этом дело. Допустим даже, что он ехал не по заказу, а так. «А ты в это время шел по кромке тротуара и поднял руку...» Минуточку! Нужно всегда объективно и по возможности быстро вникать разумом в подлинную суть любого человеческого поступка и результаты такого исследования сообщать сердцу. Тогда все будет в порядке. «Потому что на основании полной информации нельзя принять никакого решения?» Да нет... дело ведь в том, что на таксистов подают жалобы, если те подбирают бродячих пассажиров помимо стоянок. А в автоконторах по этим жалобам принимаются меры к нарушителям, понятно? Значит, бессердечность и хамство таксистов тут ни при чем. Да и вообще не бывает сердечного хама. Ну что такое хам с сердцем? Абсурд! «Словом, надо уметь оборачиваться в будень изнанкой, а в праздник лицом?»

— Хреновый ты философ! — сказал себе Сыромуков. — Нельзя ведь жертвовать истиной ради какого бы то ни было интереса!

Стоянка такси была уже недалеко, и там бездельничало несколько машин.

Потому, что шофер аккуратно внедрил чемодан в чисто прибранный багажник, что сиденья новой «Волги» еще не обшарпались и в машине было уютно, что на ходу в ней ничего не дребезжало, а при подъеме в гору мотор не завывал в немогущем надсаде и ему не надо было помогать напряжением сердца, Сыромуков отрадно почувствовал то спокойное удовлетворение, которое всегда приходило к нему, когда жизнь вдруг представлялась прочной и благополучной. Он сел не рядом с шофером, а на заднее сиденье, один, проворно и праздно, и ему захотелось ехать долго и неизвестно куда. В этом всеприветном состоянии духа он ощутил почти самодовольное уважение к себе, к своему прошлому, настоящему и буду-

щему. «Ты еще достаточно молод и долго останешься таким, и значит, с Денисом тоже все будет в порядке».

— Все надежно и все хорошо! — нечаянно громко проговорил он.

— Да, машина будь здоров, если б не передние подшпники,— по-своему понял его шофер.

— А что? Подводят?

— Летят на третьей тыще. С «Запорожца» поставлены, понимаешь?

— Исправят со временем,— убежденно сказал Сыромуков.

— Понятно, что исправят,— согласился шофер.— Но я тебе скажу: самая правильная машина для нашего брата таксиста был «Москвич». Точно говорю!

— Мал ведь,— возразил Сыромуков.

— Не играет роли. Все равно по одному больше возишь. Зато там расход горючего меньше и управление легче... Там, бывало, знаешь как? Едешь, допустим, ночью и левой рукой рулишь, а правой настроение создаешь. Сколько угодно!

— Кому? — не понял Сыромуков.

— Ну кому! Понятно, пассажирке, ежели она не против и сидит рядом,— засмеялся шофер. Ему было лет тридцать пять, и то, что он посчитал уместным сказать Сыромукову про настроение, означало только одно — Сыромуков сошел за его ровесника, в крайнем случае за сорокалетнего, с кем еще можно толковать на озорные мужские темы. «Да-да, все пока хорошо и надежно,— подумал Сыромуков,— и этот шофер, видать, отличный малый с крепким нутром. Такие жизнестойкие, к р у г л ы е душой люди очень нужны. Они помогают ближним своим — тем, кто немного устал,— создавать некую радужно-бездумную моральную преграду для психической уязвимости. С таким народом полезно общаться... даже если они тяготеют к матерным словам. Подумаешь, великая беда!»

— Закурить можно? — бодро, с предчувствием чего-то еще лучшего спросил Сыромуков.

— Вот чего нельзя, брат, того нельзя,— помедлив, ответил шофер.— Понимаешь, мы с напарником договорились: ни самим чтоб, ни другим. Так что извини.

Сыромуков поспешно сказал «конечно» и спрятал сигареты.

Здание аэровокзала всегда производило на Сыромукова удручающее впечатление своим бегемотно-тяжелым ви-

дом, так как построили его тут уже давно, сразу же после войны, и руководящей идеей эстетически слепого архитектора, как полагал Сыромуков, не были избраны ни гармония, ни забота о парящем настроении пассажира. И у входа, и внутри самого здания было много массивных приземистых колонн, возведенных одна возле другой, но не несущих на себе почти никакой нагрузки. Склеп. А вернее, заземленный пантеон чьей-то давно померкшей славы, подумал Сыромуков, но тут же отметил, что сооружено это прочно, на века. Уже шла регистрация билетов на кавказский рейс, и Сыромуков стал в очередь: самолет отлетал в восемь, а на место прибывал в одиннадцать с минутами, — в Киеве была промежуточная посадка. Сыромуков плохо переносил высоту. Сердце в полете как бы разбухало, опускалось вниз, на желудок, и щемило так, что не помогали ни валидол, ни кордиамин. В сущности, он так и не выяснил до конца, что было причиной его дурного самочувствия в самолете — только ли больное сердце или же — помимо него — самая настоящая боязнь живота за благополучный исход полета. Изначальным всегда был тайный ребяческий страх у самолетного трапа, сердце же опускалось и щемило позже, когда взрывали турбины и следовало пристегиваться ремнями к креслу. Но как бы там ни было, а Сыромукову все же хотелось считать, что повинно во всем этом сердце, что страх появляется из-за него. Только из-за него.

— Вы будете крайний?

Сыромуков оглянулся и с нажимом ответил, что он последний. Спрашивал по-девичьи краснощекий молоденький лейтенант в отлично сшитой новой шинели. Фуражка с веселым задором сидела на его белесой голове, и белый шарф выпрастывался из-за воротника шинели по-уставному узкой кокетливой полоской. Эта опрятность в одежде лейтенанта и весь его радостно-удачливый облик погасили в Сыромукове досаду на то, что тот произнес слово «крайний», ибо с удачливыми по виду людьми ему казалось безопаснее летать в самолете. Он поверяюще оглядел очередь и заметил в ней двух высоких молодцов кавказского типа в глыбовидных кепках и в одинаковых темно-зеленых нейлоновых куртках. Парни не выпускали из рук громадные дорогие чемоданы, и это тоже успокаивающе подействовало на Сыромукова: дети гор в последнее время сильно полюбили Прибалтику, благополучно доставляя сюда на Ту-124 виноград и мандарины и

безаварийно увозя местный ширпотреб, главным образом ковры. Сыромуков решил сидеть в самолете рядом с лейтенантом или же с теми двумя...

Вылет задерживался сперва на час, потом еще на два, и посадку объявили в одиннадцать. Мга прекратилась, но небо было рыхлым и низким, насплошь затянутым тучами. На сыром аэродромном поле тесно стояли элегантные, хищно устремленные вперед самолеты, и, как всегда при виде их, Сыромуков испытал смутную обиду на свою судьбу — одного десятка таких «тутушек» хватило бы тогда, когда он командовал остатками роты под Ржевом. Да что там десятка! Хватило бы и пяти, даже трех, — каждый ведь небось может поднять две сотни пятидесятикилограммовых фугасных дур.

«Черт бы вас побрал!» — восхищенно и тихо обругал он в душе авиаконструкторов, опоздавших помочь ему тридцать лет назад. У нижней ступеньки трапа аристократически красивая девица, похожая на лермонтовскую Мери, проверяла билеты и паспорта. Благополучный лейтенант, стоявший впереди Сыромукова, лихо козырнул ей, прежде чем подать документы. Потом он козырнул вторично, когда взял их назад.

— Не задерживайтесь! — строго сказала ему «княжна», и Сыромукову это понравилось, непонятно почему. Свой посадочный талон, билет и бессрочный потрепанный паспорт он подал и принял безразлично-небрежно, не снимая с руки перчатку и избегая взглядом девушку, — тоже, как ему хотелось думать, неизвестно почему. Ни рядом с лейтенантом, ни позади тех двух в кепках сесть не удалось — каждый стремился занять свое кресло, указанное в билете, и в салоне образовалась толкучка. Соседом Сыромукова оказался человек неопределенного возраста с продолговатым болезненно-землистым лицом. Он доверчиво, с мягким прибалтийским акцентом сообщил Сыромукову, как только уселся, что едет на курорт по бесплатной путевке.

— Вы тоже, может быть, в Ессентук?

— Нет, я дальше, — ответил Сыромуков и тут же, укоряясь своей сухостью, вежливо, хотя и не без настойчивости объяснил, что ессентукские воды давно признаны самыми лечебными в мире. Сосед деликатно кивнул. Ремнями пристегивались не все, но леденцы, которые внесла в салон «княжна», брал каждый. Скрытно

от соседа Сыромуков положил себе под язык лепешку валидола и, глубоко втиснувшись в кресло, развернул газету — начинался взлет. Американцы, черт возьми, продолжали бомбить Северный Вьетнам... Они летают там на малой высоте, потому что иначе их сбивают ракетами. Это, наверно, очень просто — сбить высоко летящий самолет отлично сделанной ракетой. Они, надо думать, похожи на торпеды. Такие сигарообразные. Блестящие акие. Хорошие ракеты. Наши! Все-таки у нас — все прочное и добротное...

Ощущение земной тряски оборвалось внезапно, но в воздухе самолет чуть-чуть провалился, как бы осев на секунду в яму, и сердце у Сыромукова тоже провалилось — он не переносил невесомости. В иллюминатор было видно наклоненное крыло самолета, вернее, начальная его часть. Заклепок там хватало. Они отстояли одна от другой не дальше сантиметра, и Сыромуков оценил это как большое достоинство в самолетостроении — прочность ничему не вредила. Никогда. Хотя оконечность крыла не проглядывалась из-за тумана, Сыромуков решил, что заклепок там должно быть еще больше, раза в два. Наконец самолет пробился за пределы туч и сразу же перестал крениться и вздрагивать. Салон озарился солнечным светом, а табло погасло — разрешалось курить. «Княжна» по внутреннему радио хозяйски вежливо предупредила уважаемых пассажиров, что в полете воспрещается пользоваться фотоаппаратом, сообщила фамилию командира корабля, скорость и высоту полета, температуру воздуха за бортом: там было сорок четыре градуса.

— Колодно небе! — дружелюбно сказал Сыромукову сосед. Он предложил сигарету, но Сыромуков поблагодарил — под языком у него в помощь ноющему сердцу лежала горько-холодная лепешка валидола. Она будет лежать там, если не сосать усиленно, еще минут пятнадцать или двадцать. В «Огоньке» ничего не было для воздушного чтения, зато в «Смене» оказалась любопытная притча об итальянском короле Умберто Первом. Король и похожий на него ресторатор по имени Умберто родились будто бы в один и тот же час, женились одновременно на девушках с одинаковыми фамилиями, в одни и те же даты у них появились сыновья и дочери, которых нарекли тождественными именами. Оба двойника — и король, и простолюдин — погибли в один и тот же день, но с той только разницей, что ресторатор попал под колеса кеба, а короля пристрелил террорист. В

этой истории все было хорошо, кроме конца, — кому такое надо! Жили бы и жили себе эти Умберты. Но черт угодил ресторатора под какую-то там повозку. В пьяном состоянии, конечно. И поскольку его жизнь фатальным образом была связана с судьбой второго Умберто, то и тому предстояло умереть одновременно с ним, хотя и другим способом. Это и понятно. Не мог же рок — или какая-то там надмировая непостижимая сила, называй как угодно! — толкнуть короля под колесо уличного рыдвана. Его величеству и смерть возвышенная. Для того и существуют — ну пусть существовали! — террористы... Кстати, убийцу, конечно, схватили и повесили. Но могло же случиться, что у него был свой двойник. Не обязательно в Италии, а вообще на земном шаре. Как же в этом случае? Получается, что тот тоже должен погибнуть? Даже будучи ни в чем не повинным? Очевидно, так. А вообще-то люди, в сущности, все двойники. Все до единого. Может, оттого за безумные античеловеческие преступления одного какого-нибудь мирового выродка в конечном итоге расплачивается жизнью не один человек, а тысячи. Даже миллионы, потому что тогда происходит некая кошмарно кровавая цепная реакция... Да-да! Люди — двойники. И поэтому каждый обязан вести себя достойным образом. Всегда! При любых обстоятельствах!..

Это рассуждение Сыромукова прервал летчик, скорее всего бортинженер, зашедший в салон из пилотской кабины. Он был приземистый, темноволосый, в курчавых бакенбардах на кирпичном курносом лице — вылитый Давыдов из «Войны и мира», как отметил Сыромуков под успокаивающую мысль, что летному составу, надо полагать, запрещено пить. Давыдов прошел в хвост самолета, но вскоре вернулся и в проходе возле кресла Сыромукова отогнул с пола край ковровой дорожки. Он приподнял крышку оказавшегося там люка и неловко полез в него, подсвечивая себе карманным прожектором. Такие фонарики продаются свободно в любом хозларьке; ими в осенние вечера вооружены все ребяташки страны, и неужто для бортинженеров реактивных лайнеров не существуют светоизлучатели, которые своей, скажем, необычной формой внушали бы большую степень доверия к их надежности. Это во-первых. А во-вторых, почему внутренность самолета затемнена? Что тут хорошего — тьма, заключенная в алюминиевый цилиндр, несущаяся при солнце за облаками? И что вообще понадобилось там этому гусару? Сыромуков окинул взглядом салон и увидел, что



все пассажиры напряженно смотрят в сторону люка. Смотрели туда и те благополучные парни с гор, при этом они одновременно забрали с сетки свои кепки и насадили их на головы — синхронным движением рук. В люке тем временем что-то справно щелкнуло, и электрический свет заполнил чрево самолета. Оно было пустым, но вдоль видимого Сыромукову противоположного борта пролегал толстый сноп проводов — красных, желтых, синих и каких угодно. Временами на них напоззала перемежающаяся тень: бортинженер что-то делал там, никому не видимый, и Сыромуков оторопело подумал, неужели он знает и помнит назначение каждого провода в такой охапке? Невероятно! А что происходит, если в одном из проводов образуется надрыв или замыкание? Падение? Или взрыв? Конечно, этого не может быть... Случается, возможно, но очень редко. Очень! Между прочим, экипажи пассажирских лайнеров лишены права пользоваться и парашютами, потому что их просто не дают им, а это тоже что-нибудь да значит! Но все же, сколько это продолжается? Минуты три или больше? И как тогда ведут себя люди? Что они делают? Целуются, прощаясь? Или же кричат? Сходят с ума? И умирают от страха до того, как самолет врежется в землю? Этого никто не знает, потому что не остается свидетелей... А вообще-то надо обниматься и что-нибудь говорить друг другу... например, о том, что э т о продлится недолго. Или что мы останемся живы, раз пристегнуты ремнями. Да мало ли что найдется тогда сказать!.. А как потом устанавливают, кто был кто? По документам и билетам, конечно. Это ведь остается целым...

В правом кармане пальто Сыромукова лежали желуди. Пять штук — накануне отлета он с Денисом был в лесу. Ну, желуди едва ли вызовут удивление, а вот кальсоны! Главное, что они с широченной отвисшей мотней и сиреневые. Надо же выработать такую срамоту! Как запустили сорок лет назад, так и гонят. Да, такие несуразные кальсоны ничего не могут вызвать, кроме презрительной насмешки. А это совсем ни к чему. Нельзя, чтобы на Дениса легла хоть малейшая тень унижения за отца! Черт дернул надеть их!..

Сыромуков посмотрел в иллюминатор. Скошенное назад крыло самолета сверкало тускло и льдисто, и заклепок на его оконечности в самом деле было раза в два больше, чем у основания. Чистое небо синело какой-то прореженной утренней лазурностью, а под кры-

лом, глубоко внизу, снежно белело сугробное поле беспредельных облаков. Самолет шел с прежней неощутимой плавностью, и в гуле турбин не прослушивалась какая-нибудь посторонняя нота. Сыромуков не уследил, когда бортинженер покинул люк. Ковровая дорожка лежала на своем месте, и все пассажиры сидели в прямых покойных позах, и большие кепки парней-грузин громоздились на сетке одна поверх другой...

Из Минеральных Вод до Кисловодска Сыромуков подрядил такси. Шофер запросил двенадцать рублей, и он согласился, так как с сердцем было нехорошо. Гудела голова, и в ушах с неприятным ломким хрустом шелестели барабанные перепонки. Он уже сидел в машине, когда к шоферу подошли мужчина с женщиной, и тот взял их за дополнительную десятку. Сыромуков предложил даже переднее сиденье и перешел на заднее. Супруги почему-то посчитали нужным поблагодарить его за учтивость. Сосед Сыромукова сразу же отвернулся от него, заглядывая в окно. Женщина тоже села вполоборота к шоферу, по чему Сыромуков решил, что его попутчики — тайные любовники, пробирающиеся на курорт: тех всегда преследует опасность быть внезапно опознанными. Ехали молча, и было неизвестно, что лучше — отчужденная замкнутость, позволявшая каждому держаться в свободной независимости созерцателя предгорной природы, или же так называемая сердечная общительность, когда вынужденно приходится подлаживаться под тон случайного собеседника, даже если тот окажется дураком. Было хорошо вот так расслабленно и безответно сидеть и смотреть, как проносятся назад по обочине шоссе белые домики, заслоненные не то яблонями, не то другими какими-то садовыми деревьями с бурой лохматой листвой; как чарующе неколебимо текут из глинобитных труб этих домиков голубые дымы, — кизячные, наверно; как в жухлой пропыленной траве по канаве возле дороги бродят белые куры и белые козы; как на теплом розовом небе возникает и надвигается громада Бештау. Это все склоняло к покою и побуждало верить, что тут живут люди, зачарованные безмятежным потоком таких вот тихих розовых дней, и что никому из них не знакома зубная боль в сердце...

В Кисловодске совсем не чувствовался ноябрь. Здесь стояла настоящая августовская погода, когда небо бывает пронизано сокровенно нежной и глубокой просинью и на нем явственно проглядываются сверкающие нити парящей

паутины. Да, в этой благословенной котловине со своим микроклиматом царило еще лето, и курортный народ гулял по улицам в легкой одежде, хотя попадались кое на ком меховые шапки, валенки и даже мокасины — то были люди с Севера. Попутчики Сыромукова вышли в центре у нарзанных ванн. Женщина напряженно и прямо, как по бревну через пропасть, направилась к противоположному тротуару, а мужчина умышленно долго возился с бумажником, пока нашел там две пятерки.

Шафранные корпуса санатория, куда направлялся Сыромуков, стояли особняком, вознесясь над городом. В последний раз Сыромуков лечился в нем зимой шесть лет назад и помнил, как худо ему пришлось из-за сожителя по палате, тот почти каждый день после обеда с вежливым напорным нахальством просил его погулять — сам понимаешь, часик-другой по «Храму воздуха», — а там дуло со всех сторон, и поневоле приходилось забираться в дымно-воющую шашлычную. Сожитель этот был директором какого-то степного овцеводческого совхоза, могучий и денежно богатый мужик, полностью неуязвимый с моральной стороны: им так и не удалось тогда ни разойтись по разным палатам, ни поссориться, несмотря на то что овцевод временами предпочитал почему-то любить не в своей кровати, а в сыромуковской. Он не мог толком объяснить, что влекло его на чужую постель, и только бездумно хохотал и совершенно искренне — «ну братски, понимаешь?» — предлагал Сыромукову воспользоваться в любое время его кроватью. Сыромуков вдруг застиг себя на мысли, что хотел бы снова повстречать того степняка и — поселиться с ним в одной палате. Он не стал рассуждать о причине этого странного своего желания, так как к нему примешивалась горечь какой-то неосознанной утраты, а печаль о прошлом — первый признак старости, и больше ничего.

На площадке у главного корпуса своего санатория Сыромуков расплатился с шофером и пошел к подъезду мимо скамеек, где под заходящим солнцем сидели курортники — человек десять или пятнадцать мужчин и женщин неопределенного возраста, — они все были в синих лыжных костюмах с белой каймой по воротнику. Точно такой же костюм, называемый в Прибалтике тренингом, вез с собой и Сыромуков. Он купил этот тренинг с великим трудом перед самым отъездом, что называется, дос-

тал и поэтому втайне рассчитывал на его неповторимость.

— Послушай, друг! Бурдюк свой забыл!

Шофер держал чемодан так, как только, наверно, можно и нужно держать плохой бурдюк с большим вином,— обеими руками между расставленных ног. Шофер смеялся, и люди на скамейках тоже. Тогда на Сыромукова пала та гневно-страстная секунда затмения реальности, когда он бывал способен на вполне безрассудный поступок во имя своего достоинства,— он чуть-чуть не сказал шоферу, что дарит этот бурдюк ему. В регистратуре сестрица отобрала у Сыромукова курортную карту, путевку и паспорт, а взамен вручила ему талон в столовую и сообщила номер его комнаты. Путевка у Сыромукова была дорогой, в «палаты люкс», как значилось на ней, но то, что палата помещалась на третьем этаже, а не на первом, как он рассчитывал, что ее трехзначный номер состоял из нечетных цифр и на медном кольце громадного ключа, который выдали ему в гардеробной, болталась нечистая деревянная рукоятка, похожая на кляп из бочки, вселяло сомнение насчет «люкса». Гардеробщица сказала, что заносить в палату чемодан запрещено.

— Но там нужные мне принадлежности,— возразил Сыромуков.

— Чего надо заведи, а его сдай в камеру.

— Хорошо, я проделаю это позже,— сказал Сыромуков. В сердце вонзился маленький острый клещ и грыз и грыз его откуда-то изнутри, куда он не забирался прежде.

Палата оказалась в самом деле по-люксовски обставленной на двоих, большой светлой комнатой с высоким видом на Эльбрус, до его золотого на голубом небе седла отсюда чудилось не дальше пяти или шести километров. Сыромуков опустил в кресло и вместе с ним пододвинулся к раскрытому окну. Было тихо, одиноко-пустынно и почему-то жаль Дениса. Что он сейчас делает на краю света, один, в скучной мгме Прибалтики? Наверно, смотрит телевизор. А потом поужинает и ляжет спать. Но поужинает ли? Что ж. Ты сам тоже не будешь ужинать и ляжешь спать, а утром напишешь ему письмо, как и обещал. Сразу же по приезде. Вот и все. И нечего подкалывать себя булавкой! Собраться и уехать домой ты всегда волен в любую минуту!

Вечер наступил сразу же, как только солнце зашло

за Машук, но сумерки долго оставались прореянными таинственным изумрудным светом, будто мир проглядывался через витражный осколок. Такой свет покоил душу и одновременно вызывал пронзительную тоску. Сыромуков дождался времени ужина и по безлюдью за два похода перенес из гардеробной в палату содержимое чемодана, а его, обмякший и усохший, как вымя яловки, сдал в камеру хранения.

Проснулся Сыромуков на рассвете — утро наступило тут часа на два раньше, чем дома, в Прибалтике. Где-то далеко, не то в низине, не то в горах, протяжно и весело, как весной, пел петух, и на корзине под окном палаты натужно и страстно ворковали голуби. Было непривычным и странным тут сухое сизовеющее небо, празднично засеянное крохотными бестрепетными звездами, гаснущими ласково и замедленно. «Это все мне явилось оттуда, из детства,— с тихой радостью вспомнил Сыромуков,— это же давнее пасхальное утро, и ты ждешь мать из церкви с освященным куличом. На тебе новая ситцевая рубаша и новые молескиновые штаны, и ты ждешь на крыльце хаты, а на небе точно такие же кроткие зоревые звезды, и в соседних дворах возвестно поют петухи. Ты ждешь, чтоб разговеться крашеным яйцом и громадной легкой скибкой кулича. Если б только знал Денис, что это такое на вкус!» А вслед за безмолвной священной едой наступал великий солнечный день, колокольный трезвон, яркие наряды девок на выгоне, разноцветная яичная скорлупа на молодой траве...

Не спеша, стараясь сохранить в себе ощущение весны и праздника, Сыромуков оправил постель, побрился, принял ванну, а потом выбрал лучшую рубашку и любимый галстук. Костюм сидел на нем статно и влито, и Сыромуков никому бы не признался, что его почему-то молодо радовала эмблема марки голландской пошивочной фирмы на левом внутреннем кармане пиджака,— там был изображен оранжевый петух с весенней масличной веткой в клюве. Перед зеркальным трельяжем Сыромуков стоял умышленно близко к стеклу, чтобы видеть лишь воротничок рубашки, галстук и пиджак, так как начес на просвечивающуюся плешину вдоль темечка решено было сделать после письма Денису, перед уходом из палаты.

Письмо получилось каким-то ребячески восторженным, а это Денису не годилось. Ему надо помогать мужать и огрубляться! Ну, что хорошего в этом сюсюка-

ющем «родной мой мальчик»? «Не хватало, чтобы ты еще назвал его сироткой. Хочешь, чтобы он заплакал там? Давай пиши так: чижик, мол, привет! Да и не чижик, а просто — сын, как, мол, у тебя дела? Я, мол, доехал благополучно... и скоро вернусь. Погода тут чудесная, светит солнце, поют петухи...»

Плешь маскировалась мелкими зигзагообразными взмахами расчески с затылка наперед. Тогда остатки прежнего буйства волос пушились и небрежным грибоедовским коком укладывались над лбом. На ветру или при малейшем сквозняке волосы дыбились, заносясь назад, и поэтому Сыромуков не ходил по улице без берета. Он понимал, что это глупо, хотел быть моложе, а не старше себя, но все его попытки породниться со своим отражением в зеркале безысходно кончались бунтом сердца против самого себя. Не вышло у Сыромукова братание с самим собой и сейчас, несмотря на то что его все еще не покидало чувство соприкосновения с детством.

Из-за гор всходило красное близкое солнце. С «Храма воздуха» доносились взревы баяна и команды физзарядки, потом мощный хор рванул там знакомую с пионерских времен «Как родная меня мать провожала». Сыромуков растворил окно и до конца прослушал песню, глядя на солнце, чтобы убедить себя, будто это и есть причина слепящих слез, набухавших в глазах. Сердце было согласно на уютный для себя обман, оно билось мерно и небольно, и Сыромуков, аккуратно приладив на голову берет, вышел из палаты. Плотная ковровая дорожка в длинном широком коридоре по-больничному заглушала шаги, и лучше было идти у ее кромки прямо по паркету, скрипевшему, как крещенский наст тогда в деревне. Из глубины коридора ему навстречу стремительной четкой походкой двигался высокий человек в темном щеголеватом костюме и с беретом на голове. Человек шел не по ковру, а по паркету прямо на Сыромукова, словно не видя его, и то, как независимо держал он голову, как вызывающе сидел на ней берет — с напуском вперед и чуть набок, как надменно вскидывались и опускались на паркет его долгоносые сверкающие башмаки, вызвало у Сыромукова необъяснимо упрямое чувство протеста и желание отпора встречному. Не сбиваясь с походки, он загодя отвел от него глаза, решив не уступать ему дорогу, и чуть-чуть не столкнулся сам с собой в громадном стенном зеркале, вовремя заметив справа от него большую шахту лифта и марш лестницы. На первом этаже возле

лифта толпились толстые пожилые курортники и курортницы, вернувшиеся, наверно, с физзарядки. Их было много, безобразно выпуклых в синих лыжных костюмах с белой каймой по воротнику, и никто из них не желал подняться пешком к себе на второй или третий этаж.

«Ногами надо работать, окороками»,— мысленно посоветовал им Сыромуков, решив, что надевать свой тренинг не станет. Он миновал физкультурников чуть ли не строевым шагом, опасаясь, все ли на нем в порядке не только спереди, но и сзади. Еще не было восьми часов, и Сыромуков рассчитывал оказаться первым в регистратуре, чтобы получить курортную книжку и направление к врачу, но там уже ожидали приема несколько человек, судя по всему, только что прибывших московским утренним поездом. Он занял очередь, отметив про себя, что никто тут не был моложе его, если не считать девушки-карлицы в модном кожаном пальто-макси и серебряной шляпке-цилиндрике, надетой высоко и прямо. Малышка назвалась последней в очереди. Она отчужденно стояла в уголке, так как места на двух диванах были заняты, и эта нелепая шляпка на ней и раздутые колоколом полы пальто, доходившего почти до паркета, делали ее похожей на бутылку из-под шампанского. Такие, сочувственно подумал Сыромуков, слишком чувствительны и самолюбивы. Они постоянно находятся в повышенном психическом напряжении, так как каждую секунду ждут нанесения урона себе. Еще бы! Эта, например, не сядет на диван, если освободится место, потому что успела уже обидеться на всех тут за невнимание к ее отторженному крошечному величию! Как она оцепенело и неприступно смотрит перед собой. Какое благородное презрение кипит в ее судорожно подозрительном сердчишке ко всем этим ленивым тушам, воссевшим на диванах и вынудившим ее очутиться на виду у всех со своей обездоленностью. Да еще последней в очереди. Всегда и все ей последнее!.. Кем считает она их — и тебя тоже? Дураками и дурами, конечно, потому что сама, наверно, умненькая и злая, как все убогие,— у них выдается много времени для всяческих горьких раздумий. «Она недаром выбилась на курорт в глухой осенний сезон, когда здесь собирается разная старая заваль, на чьем фоне еще может выделиться ее единственное достоинство — молодость»,— подумал Сыромуков и пошел к лифту и взял там пустующее полукресло. Еще на середине пути, возвращаясь с ношей, он заметил, как защитно напряглась, подавшись в угол, карлица, взглянув в его сторону и

тут же отвернувшись,— у нее не было уверенности, что он не нанесет ей сейчас новое унижение. Сыромуков подумал, что, если она заупрямится, сам он тоже не сядет. Но все обошлось благополучно. Девушка жеманно, со старомосковским распевом на букве «а» поблагодарила его и опустила на краешек полукресла, страшась оторвать ноги от пола. В регистратуру заходили по двое. При выдаче курортных книжек там брали за что-то полтора рубля, и у москвички не оказалось мелких денег, а только «четвертные билеты», как она сообщила регистраторше протяжно и беспомощно. Сыромуков поспешил ей на выручку и заплатил тройак за двоих.

— Благодарю ва-ас,— сказала она, когда вышли в коридор.— Но как же я верну долг? У меня скверная зрительная память на людей.

— Не беспокойтесь, я вас запомню сам,— ответил Сыромуков.

— Да?— сухо произнесла она.

— Я художник, поэтому зрительная память у меня отличная,— безоглядно и противно для себя солгал за чем-то Сыромуков. Малютка помигала на него длинными кукольными ресницами, и Сыромукову показалось, что она присела в книксене.

— Ну хорошо. Тогда подойдите, пожалуйста, ко мне сегодня в столовой.

— Да, да, не беспокойтесь,— нетерпеливо сказал Сыромуков. Ему было досадно за свое вранье и хотелось поскорее отправить письмо Денису. Почтовые ящики — один красный, для авиаписем, и другой синий, под простые,— стояли на табуретках в вестибюле. Он опустил письмо в красный и тут же подумал, что напрасно написал Денису про петухов и солнце. Это может вызвать у него тоску по весне, а рассеянности на уроках там и без того хватает. Ему надо писать отсюда деловые письма. Серьезные. Занятые. В конце концов лечение — тоже труд, а не удовольствие. Как для него там математика, например. Или физика. И свободного времени, надо написать ему, тут не очень много. Везде и всегда нужен труд и труд. Только и всего!

«А ты в самом деле начнешь тут лечиться,— сказал себе Сыромуков.— Ты будешь выполнять все процедуры, что назначит врач. Кроме, конечно, физзарядки на «Храме воздуха». Это тебе не обязательно. Заряжаться можно самостоятельно у себя на балконе. А все остальное — беспрекословно!»



Он вернулся в корпус и отыскал кабинет, где проводились антропометрические измерения. Рост его остался прежним, давним, в о е н н ы м — сто восемьдесят три сантиметра, а вес достиг семидесяти пяти килограммов: на четыре больше, чем было шесть лет назад, когда он взвешивался в этом кабинете.

На воле было чисто и высоко. Вершина Эльбруса уже сияла слепяще и знойно, а в распадах гор текуче копился сквозяще сизый туман, и казалось, что там таится какая-то нежная подарочная тайна миру на этот день. Площадка перед корпусом оставалась пока в тени, но все скамейки были заняты курортным людом в тренингах — новых, не вылинявших и еще издали пахнущих уксусной эссенцией. Курортники сидели прочно и молча, и все держали в руках голубые фаянсовые кружки с парящими на них золотыми орлами — попили натошак нарзан и теперь дышали горным озоном, ждали солнца и целебного действия выпитой воды. Площадку окаймляли тополи и айвы, и под ними, с метелками, мешками и шестами-битами, копошились санаторные уборщицы — обивали и сгребали листву. Они поглядывали на скамейки, приглушенно переговаривались и хохотали, а там делали вид, будто ничего не замечают и не испытывают никакой неловкости. Было ясно, что уборщицы потешались над толстяками и толстухами, считая, что для их здоровья полезно порастрясти жир, и Сыромуков весело согласился с ними. Он чувствовал, как звенит в ушах от голода, потому что не ел целые сутки, но тело ведь не знает, что это не от беды, а только от прихоти. Ну, не совсем от прихоти, а и от сердца, потому что оно лучше работает, когда хочется есть, и еще из-за солидарности с Денисом, если он там не поужинал почему-либо вчера. Он подумал, что хорошо сделал, захватив с собой пять белых рубашек и кучу носков, — можно будет менять каждый день, и хорошо, что на внутреннем кармане пиджака ж и в е т оранжевый петух и что у берета сам собой получается задорно легкомысленный напуск. Уборщиц, пожалуй, надо было бы чем-нибудь одарить. Подойти и одарить ради этого несказанного утра, невообразимого неба и той хрустальной таинственности, что залегла в ущельях гор. Тут уместны были бы небольшие шоколадки в ярких обертках. Или крашеные яички! Тогда можно было бы — в шутку, понятно, — сказать каждой из них: Христос, дескать, воскрес,

и почитать древний обряд с поцелуями... «Старый ты пшют в берете,— поощрительно сказал себе Сыромуков.— Лысину-то прячешь небось? Маскируешь? Что ж, недолго осталось...» Он попятился назад, в вестибюль, потому что сердце споткнулось и замерло, подскочив к гортани, стремительно набухая там теснящей мукой зажатости и страхом. Как всегда, руки его вскинулись к голове, а глаза метнулись по сторонам, но сердце опало на свое место, будто вырвалось из петли, и трижды толкнулось сильно и больно.

«Это от перемены климата,— безгласно прокричал себе Сыромуков.— Это сейчас пройдет, ты только дыши поглубже!»

Он стоял у колонны вестибюля и обеими руками ненужно трогал и трогал берет, ощущая лопатками ознобную прохладу шероховатого туфа. «Прохлада — хорошо, это все равно что холодный компресс на грудь, если успеть с ним вовремя,— думал Сыромуков.— Не надо только показывать, что тебе плохо. Поправь еще раз берет и вздохни поглубже. Тут чистый кислород... И правильно делают эти жизнелюбивые люди, что сидят там на скамейках и дышат озоном. И ничего нет зазорного в том, что все они в одинаковых нелепых тренингах. Кому это мешает? И пусть они пьют свой сульфатный или доломитный нарзан, раз это им нравится...»

Когда уже можно было оставить берет в покое, Сыромуков небрежно, как леденец против курения, кинул в рот таблетку валидола и осторожным куцым шагом, чтобы не сбивать дыхания, приbedненно миновал скамейки. Недалеко за ними был, оказывается, бассейн без воды, окруженный зелеными кустами туи. В тесных нишах этих кустов скрывались узенькие, с крутыми неудобными спинками лавочки; никому бы и в голову не пришло прилечь на них. Сыромуков примостился на лавочке и стал смотреть в небо, запрокинув голову и дыша раскрытым ртом,— вблизи никого не было.

— Лавочки тут — хорошо,— отвлекаяще, без участия губ сказал он.— И это ничего, что они узенькие, Это ничего. А бассейн всегда можно наполнить водой. Когда угодно...

Небо уже по-дневному углубилось и посинело, и в нем обманчиво медленно плыл, звездно искрясь, крошечный истребитель, оставляя за собой бурунно-белую инверсионную полосу.

— Военные летчики тоже знают это,— на какую-то

еще нечеткую свою мысль вслух отозвался Сыромуков. «То есть самые умные из них», — подумал он. Как тот француз, сбитый немцами уже в конце войны. Он был на всякий случай графом и писателем. Рыцарская такая фамилия... Запомнялась. Да это и не важно. Потом, когда не нужно будет, вспомнится. Он сказал, что плевать хотел на пренебрежение к смерти, если в основе его не лежит сознание ответственности. Без того оно лишь признак нищеты духа, и больше ничего. Хорошо сказано. Смело и точно, — ему часто грозила смерть. Интересно бы знать, каким он бывал после этого? Тоже становился во всем сговорчивым и доброжелательным к миру? Вот как ты сейчас, когда тебя умилили эти пехтери на скамейках? Возможно. Иначе ему не удалось бы написать книгу «Земля людей». Как же его звали? Забыл... И все же человека всякий раз подстерегает глупость, если он подвержен страху смерти. В тот момент его покидает воля, и у него происходит распад связей. Он готов тогда благословить все сущее, красивое и безобразное, возвышенное и низменное. Все, дескать, благо, все добро и чудо. Значит, в этом случае получается, что страх облагораживает человека, поскольку он — пусть даже временно — становится доброжелательней к миру? Нет. Этого не может быть. Страх — чувство подлое по своей сути. Он всегда мешал жизни. Он прародитель лицемеров, предательства, холопства. Да мало ли!.. И все же за ним надо признать и некоторую творческую силу: он ведь учит людей приспособляться к условиям бытия, верно? Да, но только приспособляться, а не подчинять условия себе. Страх всегда обрекал человека на рабство и пресмыкательство!.. Ладно, пусть так. Но при чем тут люди на скамейках? Почему ты посчитал свое умиленное чувство к ним ошибкой? Да никто ничего не посчитал! Просто дело в том, что сытый субъект всегда опасен своим самодовольством и безучастностью. У такого умри на глазах — не отзовется. В то же время он склонен предъявлять нахально повышенные требования к деятельной личности, хотя сам всю жизнь препятствовал развитию этой личности...

«Ты бы лучше посидел спокойно, — приказал себе Сыромуков. — Ты приехал сюда лечиться, а не философствовать. Сиди и дыши... Но лечиться я не буду, — тут же подумал он. — Этого делать еще нельзя, потому что тогда наступит конец еще при жизни... Но ты ведь только что был согласен исполнять все, что предпишут

врачи... Это я обещал не себе, а Денису. И взвешивался для него. Я буду принимать нарзанные ванны и циркулярный душ. Как в тот раз...»

Самолета в небе уже не было, а полоса изломалась и расплылась. Сердце еще ощущалось, только во рту тошнотворно саднило от валидола и бурно урчало в пустом желудке. Если не ходить сегодня к врачу, то сидеть тут и ждать час завтрака не имело смысла. Сыромуков помнил, что кафе в городском парке открывалось рано, и в это время там бывало чисто и пусто, и на столиках стояли вазы с красными розами. «Я закажу чебуреки,— решил он.— Или лучше шаплык и бокал шампанского. Сладкого. Между прочим, от рюмки коньяка тоже ничего не случится».

В город можно было спуститься по асфальтированному терренкуру, но рядом в алычовых и боярышниковых кустах пролетала растоптанная самочинная тропа, засоренная обрывками газет, окурками и опавшей листвой, и Сыромуков пошел по ней,— ее тут проторили, конечно, здоровые и веселые люди. Вроде того овцевода. Хорошо бы повстречать его сейчас на этой тропе. Одно, понятно. Пускай бы он шел снизу, из города, только что тяпнувший перед завтраком. «Впрочем, это невероятно»,— подумал Сыромуков без всякого сожаления, потому что ему услужливо и радостно вдруг вспомнился другой человек — направщик бритв, местный старик горец с обезволивающими черными глазами ведуна. Он располагался при входе в парк у грота Лермонтова. Деревянный станок его, отдаленно похожий на прялку, был оснащен различными трансмиссиями с точильными кругами и всевозможными — латунными, бронзовыми и медными — шкивами, колесиками, шестеренками, валиками, шатунами, и все это начищено сверкало и горело, скользило, крутилось и вертелось в разных направлениях, как только старик нажимал ногой педаль, и невозможно было отвести глаз от станка — он зачаровывал и оцепенял, как затухающее пламя в осенние сумерки. Старика постоянно окружала толпа. Он работал, а люди смотрели. Вполне возможно, что все они были сердечники, приходившие к станку, как на врачующую процедуру: возле него можно было простоять с утра до вечера и ни разу не вспомнить о сердце. Старик все время был занят, он точил с о б с т в е н н ы е бритвы. Сыромуков понял это на третий день похода к нему, а в следующий раз принес две только что купленные бритвы и с тех пор направлял их ежедневно — то одну, то

вторую. Старик не показывал вида, что заметил его, — точил и точил, только плату сбавил наполовину против первого раза. Его следовало повидать до кафе, отрадней будет сидеть и ждать еду, решил Сыромуков. Но какой дурак пьет с утра коньяк, да еще в одиночку! Вот если бы этот колдун с гор взял и согласился... Станок же можно будет поставить перед окном кафе, чтобы все время видеть и не беспокоиться...

Внизу воздух был теплым и вкусным — в санаторных столовых накрывали столы к завтраку. В улицах царил покой, и норвалось идти так, чтобы металлические косячки каблучков прилегли к тротуару печатно ладно, и не шаркающе, тогда возникало звонисто-чистое эхо, будто кто-то — мало ли! — идет тут при шпорах. Старика на месте не было, и Сыромуков, торопясь, заверил себя, что он, наверно, запаздывает по какой-нибудь уважительной причине. Могут же, например, возникнуть в станке неполадки? А сам он, конечно, жив и здоров. Ему тогда было... ну, от силы семьдесят, а горцы живут по полтора ста и больше! Сыромукову хотелось, чтобы все в этом его первом курортном утре было справно и ладно, и он снова мысленно повторил, что со стариком все благополучно и что сам он поступил хорошо, придя на свидание с ним, — в конце концов всегда счастлив тот, кто видит в своем действии следы собственной воли. Он прошел к гроту, но вход в него оказался заделанным толстой стальной решеткой, заключившей в промозглой каменной дыре невеселый бюст поэта. Решетка не только не вписывалась в идею грота, но в корне подрывала и перевирала его смысл, и надо было искать оправдание действию тех, кто ее поставил тут, и верить, что ими руководила похвальная цель. Сыромуков, возможно, придумал бы для себя эту цель, не уходя от грота, но в верховьях парка — в стороне кафе — уже несколько раз булькающе запевал не то соловей, не то иволга, и это было пугающе маняще и невероятно: соловей в ноябре! Разъяснилось все просто и буднично: в центре парка Сыромуков еще издали увидел длинного сухопарого человека с лихими казачьими усами, вспомнил и узнал его. Как и шесть лет назад, на нем был закирзовевший брезентовый плащ с полуоторванными накладными карманами и непотребно грязная парусиновая сумка, по-побирушьи свисавшая с плеча, где он хранил запас глиняных соловьев. Маскарад с одеждой и сумкой придумал, конечно, не от добра — как-никак он занимался частнопредприни-

матерской деятельностью, а товар его раскупался с ходу, и все же он не вызывал к себе сочувствия, так как всегда был почему-то остервенело зол и груб с покупателями,— надоели, наверно. В тот, прошлый, раз Сыромуков привез Денису такого соловья, но в первый же день сын разбил его и потом долго плакал и просил снести глиняные осколки в мастерскую. Стоило ли покупать соловья теперь и ожидать возможное горе? «Но этот тип засвистит сейчас специально для меня, поскольку больше никого нет,— подумал Сыромуков,— «не услышать» и свободно пройти мимо него будет невыносимо». Усатый и в самом деле при подходе Сыромукова издал две переливчатые трели, свирепо глядя куда-то вбок и в сторону, и Сыромуков купил у него двух соловьев и посадил их в карман пиджака, где был изображен петух с веткой.

В кафе было чисто и безлюдно, и на столиках алели свежие астры.

Через час Сыромуков приблизительно знал, какой формы и цвета будет там у них аппарат стопорения времени — вроде портсигара из какого-нибудь лунно мерцающего невесомого сплава, а кнопка — они назовут ее как-нибудь иначе, таинственной и торжественной — будет, наверно, рдяно-багряная, как человеческая кровь. Впрочем, цвет этот тревожный, и они не захотят его. Кнопка, надо полагать, будет лазурной или зеленой. Аппарат сохраняется на груди, как носили когда-то верующие ладанку, и когда человеку понадобится, когда ему станет в какое-то мгновение до сладкого изнурения хорошо и радостно жить, он дотронется до кнопки, и мгновение остановится. «Да, им, будущим, не понадобятся на костюмах гарусные петухи для бодрости,— с жадной завистью подумал Сыромуков,— но что они будут говорить о нас, господи! Неужели станут стыдиться, как стыжусь я сам Смутного времени, Малюты Скуратова, Гришки Отрепьева — да мало ли! Но Куликовская битва, но Бородино, но полковник Пестель, дворцы Варфоломея Растрелли, разгром фашизма, полет Гагарина... Нет, черт вас там подери со своими аппаратами времени, нет! Вы только тем и будете знамениты, что мы жили на земле раньше вас и доводимся вам родней!»

— Понесся! — усмехнулся над собой Сыромуков,— а Денису удивляешься, что на уроках, забывшись, он

выхватывает деревянный пистолет и пуфпукает под ноги учителю!..

К гроту возвращаться не хотелось — лучше было «не помнить» о решетке и не думать ничего тревожного о точильщике, если его не окажется на своем месте. Курить бы тоже не следовало, чтобы подольше сохранить в себе ощущение чистоты и здоровья: сердце билось ровно и только чуть-чуть учащенно, но одна сигарета, подумал Сыромуков, ничего не будет значить, поскольку она с фильтром. Он пошел к своему санаторию кружным путем, мимо «Храма воздуха», и те курортники, что встречались ему, взглядывали на него любопытно и весело — напуск берета, наверно, потешал, но поправлять его не тянуло. Было по-летнему тепло, почти знойно. В горах миражно дрожал и струился разогретый воздух, и высоко над котловиной города трепыхалась большая стая голубей. Все это хотелось задержать в мире и в самом себе. Хотя бы на полдня или в крайнем случае часа на три... Но как же я узнаю, спохватился Сыромуков, что должно было быть вслед за этим! Я, скажем, застопорюсь, а на эти мертвые для меня мгновения жизнью, возможно, намечалось еще лучшее! Выходит, что я в таком случае лишусь его? Нет, это не годится! Аппарат времени не нужен! С ним можно уготовить для себя черт знает какие необратимые утраты! Надо, чтобы всегда, каждую секунду человек ждал и хотел прихода нового. Недаром ведь кто-то из великих писателей сказал, что день опять обрадует меня людьми и солнцем и опять надолго обманет меня...

Сыромуков помнил и конец этой краткой благодарственной молитвы в честь жизни: где-то упаду я и уже навсегда останусь среди ночи и вьюги на голых и от века пустынных горах, но цитировать его не стал. Он оглядел Машук и Бештау и решил, что вторая сигарета так же не повредит ему, если курить вползатяжки. День сулил так и пробыть до вечера, каким зародился — сизо-розовым по окраске и пасхальным по незримому в нем торжеству. Идти в гору было легко, потому что приходилось то и дело останавливаться и затаиваться: в притропных кустах боярышника копошились и флейтисто свистели какие-то продолговатые черные птицы — обклеивали ягоды, и Сыромуков попробовал ягоды тоже и убедился, что это сладко. На площадке перед санаторием несколько курортников состязались в меткости забросов резиновых колец — их надо было метров с двадцати накинуть на деревянные штыри в квадратном щите, помеченном цифрами-очка-

ми. Когда Сыромуков вышел к площадке, кольца кидала пожилая коренастая женщина в белой курортной фуражке и синем тренинге, и то, как она натерело, сноровисто сажала и сажала кольца на один и тот же кляп, как в момент броска по-девчоночьи тоненько вскрикивала, взбрыкивая короткой толстой ногой и крутым вздорным задом, возмутило Сыромукова. Он тут же подумал, что своей надменной походкой и беретом сам он также, наверно, способен вызвать протестующее чувство в другом, но это не погасило в нем странного и неосуществимого желания: подойти и шлепнуть ладонью по курдюку разрезавшейся старухи, чтобы не дурила!

В гардеробной не оказалось ключа от палаты, а это могло означать, что появился сожитель. Сыромуков заклинаяще попросил судьбу, чтобы она послала кого угодно, только не инвалида с протезом ноги,— тогда все двадцать пять суток превратятся тут в пытку виноватого сопереживания чужой давней боли и чужой физической неполноценности: ведь кровати стоят почти смежно, и каждую ночь протез тоже будет стоять рядом.

Ключ торчал в двери. Сыромуков постоял, прислушиваясь к шорохам в палате, и, когда ему почудился там ритмичный кожаный скрип, постучал в дверь.

— Войдите, пожалуйста,— слабо сказали за ней. Да, конечно. Интеллигентный инвалид. Такие всегда вежливы и просветленно печальны. Отселиться будет невозможно, не нанеся ему травмы, подумал Сыромуков, и, значит, придется уезжать раньше. Впрочем, сейчас все выяснится, только надо войти поприветней для него. В сущности, ты ведь сам тоже инвалид... В палате пахло одеколоном и каким-то грустным черемушным ароматом, и у зеркала, лицом к двери, стоял на своих собственных ногах опрятный поджарый старик с белым наивным лицом. Он с робким интересом смотрел на Сыромукова, загодя готовя правую руку, и Сыромуков с благодарной радушностью пожал ее, назвав свое имя и отчество.

— А меня зовут Павел Петрович Яночкин,— представился сожитель.— Вы давно уже здесь?

Сыромуков сказал.

— Ну, значит, и уедем разом. Поездом прибыли?

— Летел. А вы?

— Я, знаете, сплоховал. Угодил в купе с пьяницами. И от самой Москвы дым, крик, матерщина. Вы, извините, тоже курите?



— Изредка. Не переносите никотин?

— Терпеть не могу, хвораю тогда,— жалобно сказал старик. Глаза у него были младенчески синие и просящие. Сыромуков готовно пообещал, что курить в палате не будет. Сожитель понравился ему. Он, оказывается, не против коньячку и сухого винца, если под культурный разговор, но вот курить не надо бы.

— Договорились, Павел Петрович, все будет в порядке,— сказал Сыромуков,— но вы тоже примите на себя одно джентльменское обязательство, согласны?

— Пожалуйста, Родион Богданович. Какое?

— Не приводить в палату после своей шестой нарзанной ванны женщин и не укладываться с ними на мою кровать.

— Ах, чтоб тебе пусто было! — восхитился сожитель.— Не-ет, я, брат, на эти дела уже не гожусь. Зубы не те. Это тебе, молодому, одно на уме. Да я мешать не буду, я люблю побыть на воздухе, так что не беспокойся.

Сыромуков прикинул, сколько могло стукнуть Петровичу,— не больше, наверно, шестидесяти, и решил, что разница в двенадцать лет предоставляет тому привилегию обращаться к нему на «ты».

Как все безотцовцы, Сыромуков с детства был стыдливо застенчив в незнакомой ему среде. Он тогда — особенно на первых порах — замыкался и каменел в неприступной самозащитной позе, духовно напрягаясь почти до физического страдания, вызывая ответную неприязнь и отпугивая от себя прежде всего простых и общительных людей. Он знал за собой этот не истребленный возрастом ребяческий недостаток, граничащий с пороком, но ничего не мог с ним поделать. Временно избавившись от трудной для себя церемонии не постепенного, а одновременного знакомства с дружным, как это представлялось, коллективом стола, когда Сыромуков под милосердным для себя предлогом не пошел ни вечером, ни утром в столовую, он перед самым обедом внезапно осознал неотложную необходимость положить деньги в сберегательную кассу. Еще в кафе, лишь только официантка принесла в графинчике коньяк и в его смугло пламенеющем настое Сыромуков увидел свое далекое отражение, ему пришлось пережить минутное чувство щемящей вины перед Денисом: там дождь, уроки, тоска по отцу, а тут цветы, коньяк спозаранку и двести десять рублей, неизвестно для чего взятые из дому! Тогда и было решено спрятать куда-нибудь подальше от себя полтораста рублей, чтоб привезти

их назад. От этой утешной мысли на душе сразу полегчало и о деньгах забылось, но теперь вспомнилось снова и очень кстати,— в столовую можно будет пойти к концу обеда.

Оказия с вкладом оказалась не такой уже затяжной, как хотелось бы Сыромукову,— сберкасса находилась на территории санатория в здании почтового отделения, и перед окошком кассы стояли всего лишь два человека — мужчина в коверкотовом костюме и кожаной кепочке с пуговкой на макушке и рыжая девица с добрым счастливым лицом. Они считали деньги в помятых тройках, пятерках и десятках, которые мужчина доставал из кармана пиджака и брюк небольшими порциями. Он добудет, а она пересчитает и отложит в сторонку. Тогда он снова слазит в карман, и она опять пересчитает.

— Ну вот! Я говорю, гитару, мол, тебе! Все равно достану путевку раньше, ага, а он мне сызнава свое! — во весь голос, будто они были тут вдвоем, говорил мужчина, а девица неловко и блаженно смеялась, не прерывая счета. Сыромуков сиротливо следил, как постепенно росла и росла на подоконнике сберкассы стопка разноцветных замусоленных бумажек, и было непонятно, что источало противно-сытый запах ворвани — то ли руки мужчины с глянцевито-мазутными каемками под ногтями пальцев, то ли его кепочка, то ли деньги. Свои три новые пятидесятки он подал в окошко независимым жестом состоятельного человека, который знает по опыту, что на курортах удобнее оставлять при себе побольше мелких, а не крупных денег, так как в этом случае высвобождается драгоценное время при различных там мелочных тратах. Повидимому, операторша сберкассы разделяла это правило солидных людей, потому что, заполнив книжку, пожелала вкладчику всего хорошего.

В столовой уже схлынул активный эшелон обедающих, и за столами разреженно сидели припоздавшие. Еще от дверей Сыромуков увидел и узнал метательницу колец — она занимала место у третьего стола самого уютного приоконного ряда, и в силу того необъяснимого закона, по которому Сыромукову при любом дележе всегда доставалось наиболее нежелательное, он разоренно подумал, что его непременно определят за этот стол. Он сдал свой прикрепительный талон диетсестре, и она указала ему третий стол у окна и назвала номер салфетки — тоже третий. Сыромуков покорно поблагодарил. На метательнице колец была все та же белая фуражечка и синий тренинг.

Она сидела по-мужски, завалась на спинку стула, широко и вольно расставив ноги. Сыромуков с поклоном поздоровался и сел на свое место.

— Новый?

— Простите?— сказал Сыромуков, хотя вопрос расслышал.

— Откудова?

— Я из Прибалтики. А вы?

— Из Риги, что ль?

— Нет,— сказал Сыромуков и назвал город.

— А-а!

По тону это походило на «нелегкая вас носит сюда»! Сыромуков взял со стола свою салфетку и, умышленно критически осмотрев ее, бросил на место — это должно было означать, что салфетка могла быть свежее. Такой, к каким он привык в Прибалтике, черт возьми! Соседка не обратила внимания на этот его жест, которым он надеялся создать для себя силовое поле защиты, и вызов не достиг цели. Тогда Сыромуков подумал, что он просто-напросто теряет чувство юмора, что тут надо быть снисходительней и терпеливей.

— Вы, наверно, давно уже здесь?— дружелюбно предположил он.

— Сколько мне надо.

— Извините,— четко сказал Сыромуков. К столу, толкая впереди себя двухэтажную тележку, заставленную тарелками, подошла официантка. Она заморенно осведомилась у женщины, что та заказывала на обед, а перед Сыромуковым поставила вегетарианский суп, котлеты и компот.

— А завтра уже по заказу будете,— сказала она ему.— Завтрак у нас начинается...

— Погоди, это ты подавала мне утром? — перебила метательница. Официантка спрятала руки под передник и повинно призналась.

— Да. Что-нибудь не так? А почему ж я тебя не узнала? Ты похожа на эту нашу вторую, как ее...

— На Клаву? Нет, Клава же блондинка. А я Вера.

Она успокоенно и коротко вздохнула, а Сыромуков в упор взглянул на свою соседку. У нее были черные стоячие глаза и крепкое дубленое лицо монгольского типа. Она сидела в прежней бесконтрольной позе, и Сыромуков почувствовал, как в нем снова зарождается и нарастает смутная неприязнь к этой женщине, по всей вероятности его ровеснице. Кто она? Буфетчица? Кассирша универмага?

Или просто чья-то жена? Впрочем, судя по управлению моторикой своей речи, она скорей всего какая-нибудь начальница на небольшом пространстве — заведующая, например, пошивочной мастерской или дамской парикмахерской. Этакая торжествующая саламандра, подумал он, и в это время соседка басом объявила официантке Вере, что на первое у нее заказаны щи с яйцами. Сыромуков откусил большую долю хлеба и наклонился над тарелкой. Ему удалось скрыть лицо, но полностью подавить приступ шального смеха он не смог. Корчась и вздрагивая, он все ниже и ниже склонялся к столу, и все могло кончиться непристойным прысканьем, если бы метательница не спросила подозрительно, что с ним.

— Зуб,— задушенно сказал Сыромуков.— Извините, ради бога.

Ему едва ли поверили, потому что сочувствия не последовало.

В вестибюле Сыромукова караулила малютка, и по тому, как она чопорно двинулась к нему навстречу, близоруко щурясь и странно неся впереди себя опущенные руки, он понял, что ее с самого утра угнетает сознание невозвращенного долга. Сейчас отдаст два рубля, подумал Сыромуков, и отсчитывать ей тут полтинник сдачи будет невыносимо — оскорбится. Он сострадательно заметил, что ей трудно держать так, впереди себя, руки, что каблук ее кукольных лакированных туфель непомерно высоки и неустойчивы, а гофрированная юбка чересчур и умышленно коротка, икры ног у малышки были красиво выпуклы и упруги. Она вышагивала серьезно и строго, глядя поверх головы Сыромукова, и он еще издали преувеличенно дружески спросил, как ее дела.

— Благодарю вас, у меня все хорошо,— важно сказала она и, подойдя, протянула два рубля, сложенные вчетверо,— хранила в кулачке.— Спасибо, что выручили. Я во время завтрака искала вас, но не нашла.

— Да ведь не к спеху,— возразил Сыромуков. Рубли были теплые и волглые, и он поспешно сунул их в карман.— Сдачи не ждите. Засчитано в проценты.

— Ладно, наживайтесь,— произнесла она низким детским голосом и улыбнулась коротко и мелко, скрывая попорченные зубы. Сыромукову захотелось сказать ей что-нибудь одобряющее, чтобы это прозвучало шутливо и утешительно, а не отечески снисходительно, но ничего такого не придумал.

малось. Она осторожно и чинно ступала рядом с ним по скользкому паркету, набираясь решимости для какого-то нужного, видать, для нее вопроса, и он вспомнил, что отрекомендовался ей художником. Сейчас она признается, что тоже художница, решил он. Да и почему бы ей не писать? Акварельки, например? Идти рядом с ней было неудобно — приходилось ступать семеняще, подлаживаясь под ее шаги, и жило опасение, что она вот-вот поскользнется. Беспокоил и ее серебряный цилиндрок, надетый высоко и прямо и непонятно каким чудом державшийся на голове: его непременно надо будет подхватить рукой, если малышка вздумает взглянуть на собеседника.

— Скажите, а вы тоже москвич? — минорно спросила она в пространство, глядя перед собой, и, когда Сыромуков ответил отрицательно, почти торжественно заявила: — Я так и подумала, что вы нерусский!

— Да нет, я коренной кацап: только живу в Прибалтике, — сказал Сыромуков. Девушка исподволь посмотрела на него, и Сыромуков почувствовал себя так, словно отказал бедняку в помощи. Она, вероятно, читала или знала понаслышке, что прибалты отличаются высокой степенью уважения к женщине, что им свойственна subtilность в обхождении и они скорее извинят ей хромоту, чем вывих души. «Это, конечно, что-нибудь да значит для особы с комплексом физической неполноценности, не лгать же мне, что я латыш или литовец», — подумал Сыромуков. Сам он тоже не шибко обожал москвичей — те обычно попадались ему нагломерно уверенные от суетного сознания своей столичности и решительно все на свете знающие и не умеющие слушать собеседника. Это в них раздражало, но личной обиды не причиняло. Здесь же, по всей видимости, был особый, немного грустный и комичный случай, как в старинной притче о старухе, которая всю жизнь обижалась на Новгород, а он и не знал об этом.

Они вышли на волю. Сыромуков надел берет — с гор подувал сухой теплый ветер, грозивший разорить его начес. Малютка тоже накинула на плечики шелковую косынку и стала еще приземистой. Она спросила, в какой стороне «Седло», и Сыромуков показал.

— А «Красное солнышко»?

— Вон там. Хотите пройти?

— Нет, я ведь здесь впервые, — сиротски ответила она. Сыромуков неуверенно сказал, что может составить ей компанию. Она распевно поблагодарила... Было жарко. Асфальт терренкура, ведущего в горы, размяк под солн-

цем, и каблуки туфель спутницы увязали в гудроне. Ее следовало взять под руку, но Сыромуков не решился на это, так как плечо малютки, рассчитал он, окажется тогда прямо у него под локтем и придется идти перекосясь. Наверно, со стороны они выглядели карикатурной парой, так как все обгонявшие их курортники, шедшие в одиночку или группами, любопытно оглядывались на них, а встречные, сходясь с ними, замедляли шаги и даже приостанавливались. Сыромуков, не желая того сам, все дальше и дальше отстранялся от спутницы, примеривая, за кого она сходит при нем, на взгляд этих людей,— конечно же, не за дочку! Выручило его сердце. Когда он вскинул к голове руки и стал глотать воздух, малютка вскрикнула, но он взглядом приказал ей замолчать и помочь ему дойти до скамейки у поворота терренкура. Она торкнулась к нему под мышку, и они пошли, мешая ступать друг другу, и тоскливый страх, как всегда захлестнувший сознание Сыромукова, все же позволил ему удивленно отметить, что его поводырь крепко устойчив и женственно гибок. На скамейке — и опять с зверушачьей понятливостью — малютка догадалась по взгляду Сыромукова, что нужно достать из его внутреннего кармана лекарство, и сначала ей попались соловьи, а потом только стеклянная гильза с нитроглицерином.

— Ну вот и все,— немного погодя сказал Сыромуков.— Сейчас двинемся дальше.

— Никуда мы не двинемся. Это совсем глупо! — сказала малютка.

— Что глупо? — не понял Сыромуков.

— То, что вы пошли в гору с больным сердцем.

— А оно не верит в это. И вообще оно у меня не больное,— сказал Сыромуков. Ему было теперь покойно, ото всего свободно и просто.— Как вас величают? — спросил он.

— Лара Георгиевна Пекарская. А ва-ас?

Он назвал.

— Ну и зачем вы пошли?

— Так мне вздумалось, Лара Георгиевна...

— Пожалели меня?

— Не понял вас,— солгал Сыромуков.

— Не лукавьте.

— В мои годы лукавить с девушками грешно. Хотите, подарю вам соловья? В него надо залить воду и подуть вот сюда. Тогда он начинает петь.

— Да-а? Спасибо. А вам не жалко будет?

— Нет, Денису хватит одного.

— А кто это?

— Мой сын.

— Он маленький?

— Ростом? С меня.

— Денис,— протяжно произнесла она.— Слишком старинное имя выбрали вы своему сыну. Это, наверно, ваш художественный поклон исконной России издали, да?

— Может быть,— неохотно сказал Сыромуков.— Так звали одного сказочного старика в селе, где я родился.. Между прочим, сам я архитектор, а не художник.

— А что вы строите?

— Крупнопанельные коробки. Я работаю на опорно-показательном домостроительном комбинате.

Он тут же пожалел, что не смог сладить с ноткой жалобы, которая пробились в его голосе. Малютка пылливо посмотрела на него и как бы утешающе сказала:

— Но в вашей работе тоже ведь должны проявляться лучшие свойства человеческой души. Я имею в виду широту мысли, смелость, пафос.

— Конечно,— осторожно согласился Сыромуков. Было небезопасно слышать от нее такие монументальные слова — маленькие всегда бывают помешаны на грандиозном, и это делает их смешными.

— Тогда почему же вы как будто недовольны своей профессией?

— Не профессией. Собой,— досадливо получилось у Сыромукова.— О таких, как я, говорят обычно, что они всюду совались, а нет нигде...

— Это печально. Но такому человеку может мешать лишь единственное — он, очевидно, обнаруживает претензии, чуждые его специальному назначению, а это называется витать в облаках.

— И только? — оторопело спросил Сыромуков.

— Нет. В ином, лучшем для него, случае ему, значит, не хватает энергии и бойцовских качеств.

— Очень, простите, книжно,— сухо сказал Сыромуков.

— Вы не признаете за книгами мудрости?

— Смотря за какими. За современной беллетристической — нет.

— Любопытно, почему?

— Трудно ответить. Возможно, дело в том, что боль-

шинство нынешних писателей представляются мне чересчур резвыми и здоровыми, извините, мужиками, и поэтому чужая человеческая жизнь в их сочинениях похожа не на кардиограмму сердца, а на прямой вороненый штык.

— Не понимаю, при чем тут физическое состояние автора той или иной книги,— сдержанно возразила малявка.— Речь может идти только о степени его талантливости. Вы не согласны со мной?

— Не берусь спорить. Тем более что сейчас, насколько я могу судить, во всем мире охотно читаются только те книги, которые противоречат жизненной правде,— сказал Сыромуков.

Лара Георгиевна натяжно подумала и несмело заметила, что жизненная правда временами кажется слишком грубой и читатель, естественно, тянется к красивой сказке, к возвышающему его обману. Что же в этом плохого? Сыромуков молча повозился на скамейке. Он только что убедился в полном забвении имени собеседницы и теперь не знал, как быть. Не представляться же друг другу снова? Да и на кой черт, решил он, и достал сигарету.

— Вам же, наверно, вредно курить, Родион Богданович,— сказала Лара Георгиевна, и Сыромуков немного помедлил со спичкой — ему вдруг захотелось, чтобы у него взяли и отобрали сигарету. По каким-то потайным тропам к нему неизвестно почему прихлынула живая, как боль, тоска по Денису, и он подумал, что не вынесет тут месяца без него. Да и зачем это надо? Он докурил сигарету и, будто вспомнив о чем-то важном и неотложном, предложил спутнице вернуться в санаторий.

Домой манило с такой силой, словно все там горело и гило. Так всегда бывало в первые дни, куда бы Сыромуков ни уезжал надолго, и он знал, что если возвратиться досрочно, то дома наступит тягостная тоска по неизжитому и оставленному на стороне. Эта несчастная привычка к самогонимости осталась в нем с детства. Тогда он частенько убегал из школы домой, а найдя все прежнее в хате, стремился очутиться в ином месте — мать не могла объяснить ему, что значили слова «чужак» и «подкрапивник», которыми обзывали его не только ровесники в школе, но и взрослые на селе, и только советовала обходить злых людей стороной. Особенно трудно жилось веснами. В эту пору скрыться от людей было почти некуда,



а в хате не сиделось, потому что тогда становилось почему-то всего-всего жалко, что оставалось без тебя поодаль: чибисок на лугу в низине и сипящих грачиных в пегой березовой роще на бугре, одинокого серебряного ветряка в поле за выгоном и сизой кудлатой ракиты в овраге над речкой; и надо было побыть возле церкви, где заезжие с чужой стороны — и потому хорошие люди — устанавливали карусели к празднику, и хотелось в то же время увидеть свое отражение в гулко погребельной глубине колодезя, и быть еще там и там, но раз ты будешь там, то тебя не окажется тут, и с этим невозможно было смириться. Позже, в студенческие годы, бега-погони к «ветрякам-лугам-ракитам» прекратились сами собой — этого просто не стало рядом, но вместо них явилось новое — еще не изведанная даль. Ему казалось, что не только за горизонтом, но в любом соседнем квартале люди живут в какой-то загадочной любви и радости друг к другу, и его непреодолимо влекло туда. Жить и учиться с такой непоседливостью становилось все трудней и трудней, это перерастало в недуг, и тогда ему попала повесть Стефана Цвейга о гонимом человеке. Устрашась, что он тоже может стать амоком — ну пусть не совсем, а лишь наполовину, — он напряг всю свою волю, чтобы оставаться там, где был. Помогла ему в то время и вычитанная где-то французская пословица, что если нельзя иметь того, что любишь, то надобно любить то, что имеешь, а вскоре разразилась война, потом наступил мир, и со временем опасение завязки в нем чудной и жуткой болезни полностью забылось, но недавно он открыл, что в минувшую зиму Денис не раз и не два заявлялся домой в большие перемены, — «забывал ребенок учебники, — сказала бабуся, — а ей наказывал, чтобы не проговорила отцу. Ну она и... молчала. Какая ж тут оказия?» Он, наверно, успевал к началу следующего урока, так как школа находилась рядом, но дело заключалось не в этом, а в том, что Денис, стало быть, бегал по его «тропинкам». Если даже не считать это в мальчике родовым пороком, все равно ему грозила большая беда впоследствии — отторженность от людей, а от них прячутся обычно по двум причинам: когда ты стыдишься себя или когда убежден, что ты лучший среди равных. Как правило, ко второму выводу приходят от первого, иначе такому беглецу не за что будет держаться в жизни, и тогда он становится изгоем. А в одиночестве человек неизбежно приходит к ожесточенному убеждению, что отречение от обиходных коллективных правил требует

от индивида мужества и моральной красоты, что опустошенность не что иное, как одна из стадий нравственного развития, и что настоящий мужчина должен идти против течения. Рыцарски? Еще бы! Но с высоты своих злых и горьких лет Сыромуков не мог пожелать всего этого Денису, ибо за всем этим непременно будет скрываться его полнейшая беспомощность в практических делах. Было очевидно, что Дениса что-то угнетало в нем самом или же он подвергался насмешкам и оскорблениям в школе. Но каким и за что? За инфантильность? За то, что он застенчив и робок? Что его бросила мать? Все может быть. Расспрашивать об этом сына в упор Сыромуков не решился, это значило бы увеличить в его глазах значение того, что заставляло мальчика страдать втихомолку, и Сыромуков ограничился внушением ему ветхой истины, что все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать. Под этим подразумевалась необходимость воспитания в себе силы воли, самоотверженности и мужества, но Денису надо было еще как-то помочь создать новые связи с ровесниками, научить его преобразовать в дружбу свои повседневные отношения с ними. Но как помочь? Чем? Примеры из личного жизненного опыта здесь не годились — пришлось бы лгать, потому что не то было время и не те требования предъявляло оно своим ровесникам, а Сыромуков хотел, чтобы в Денисе уживались такие разнородные достоинства, как независимость и чуткость, убежденность и склонность к сомнениям, упорство и нежность, правдивость и деликатность, непримиримость и милосердие. Да мало ли! Возможно, что все так и сбудется — время само поможет потом Денису, а сейчас нельзя поощрять его к легкомысленности и нетерпению сердца, нельзя возвращаться до истечения срока путевки, хотя домой манило так, будто все там проваливалось в тартарары...

Когда Сыромукову приходилось отказываться от своей мечты, он становился беспомощным и сам себе жалким. Тогда в его мозгу начинала назойливо звучать какая-то похоронно-баюкающая мелодия под бессмысленные и немые слова: таторки-маторки, таторки-маторки. Под эту мелодию надо было ходить взад и вперед на небольшом пространстве, равном комнатному, и напев в конце концов забывался; вытесненный какой-нибудь грезой или воспоминанием. В вестибюле санатория было слишком просторно и пустынно: длились послеобеденные тихие часы, и Сыромуков вспомнил о гроте и пошел в город, но точильщика там не было...

Он поужинал в том же самом кафе — хотелось, чтобы вечер дня хоть чем-нибудь был похож на утро.

В широкой новой пижаме Яночкин навзничь лежал в своей постели, благостный и смиренно ясный, ожидающий чего-то радостного для себя. Затененный абажуром свет ночника на его тумбочке лампадно озарял палату, храня в углах покойный полумрак. Сыромуков бесшумно запер за собой дверь и полушепотом поприветствовал Яночкина с добрым вечером.

— Управился? — исповедующе спросил его тот.

— Прожил день, — меланхолично сказал Сыромуков.

— И как? Успешно?

— В общем, благополучно. А как вы?

— Видел тебя днем. Ви-идел, брат! Думаешь, не коротковата для твоего роста? Она ж тебе до пупка!

Яночкин смеялся дробным горошковым россыпом, и было неприятно видеть, как противоестественно сладко жмурились у него глаза. Сыромуков без укора сказал ему, что он, оказывается, озорник, и стал раздеваться. Вообще-то все было в норме — повод к этим неожиданным вечерним пошлостям подал Яночкину он сам, когда говорил ему утром о шестой ванне.

— Что слышно, Павел Петрович, на нашем лечебном фронте? — немного неприязненно спросил он, распяливая пиджак на вешалке, — у них еще было время расставить себя по своим местам. Яночкин, подождав, ответил, что принесли квитки на завтрашний врачебный прием и посуду под анализы.

— Я уже заполнил свою, — сообщил он. Сыромуков сдержанно сказал: «На здоровье» — и пошел в ванную, но теплой воды не было, и красный кран фыркал всухую. Яночкин не знал, когда она кончилась. Он по-прежнему блаженно лежал в своей большой курортной кровати, сине блестя разгулявшимися детскими глазами, и Сыромукову почему-то уютно подумалось, что этому человеку, вероятно, никогда не грозила какая-нибудь серьезная опасность в жизни и что он, слава богу, до сих пор, как видно, не помышляет о смерти.

— Хорошо жить, правда, Петрович? — радостно сказал Сыромуков. Яночкин ответил, что в последнее время он почти каждый год ездит на курорты, но здесь впервые. Надо сначала оглядеться, а потом решать, хорошо тут или плохо.

— Да, конечно,— кивнул Сыромуков. Он достал из тумбочки одеколон и смочил лицо.

— Слушай, Богданьч,— позвал Яночкин, повернувшись на бок,— я вот все ломаю и ломаю голову, кто ты будешь по занятию.

— И что, определили? — без интереса спросил Сыромуков.

— Сейчас скажу... Ты скорее всего спортсмен. Или артист. Угадал?

— Нет,— сухо ответил Сыромуков.— Я, к сожалению, всего-навсего так называемый зодчий. Так что, как говорится в миру, кесарю — кесарево, а слесарю — слесарево.

— А-а?

— В том-то и дело. Будем спать?

— Как хочешь... Рановато вроде,— неопределенно сказал Яночкин. Он, повозясь, потушил лампу, и тогда Сыромуков подsunул под свою подушку валидол и нитроглицерин. В наступившем сумраке стало как будто бы прохладней, и казалось, что расстояние между кроватями увеличилось вдвое. Окна приходились в ногах кроватей. Они остались незашторенными, и через их верхушки были видны большие надгорные звезды с густыми и резкими пучками лучей. Яночкин пару раз протяжно вздохнул, и Сыромуков, спохватясь, пожелал ему спокойной ночи.

— Не спишь? — подал голос Яночкин.

— Собираюсь,— сказал Сыромуков.

— А отчего ж Луна не сохранила свою атмосферу?

— Да ведь неизвестно, была ли она там?

— Ну, а если перебросить туда излишки кислорода от нас?

— В баллонах?

— А как угодно, об этом пускай ученые думают.

— И воду тоже?

— Нет. Раз там будет воздух, то появятся тучи, пойдут дожди и накопится вода!

— В самом деле? — удивился Сыромуков.— А зачем это нужно?

— Чтоб американцев опередить. Тут, брат, вопрос политики. Надо глядеть вперед, понял?

— Не совсем,— мягко сказал Сыромуков,— я, Петрович, житель Земли, и поэтому меня в первую очередь интересуют местные, а не космические проблемы. Политика же — штука деликатная, и заниматься ею поголовно всем нельзя.

— Это почему?

— Потому что она способна помешать простому человеку делать то, что он должен делать. Я хочу сказать, что кому-то надо уметь шить штаны, рыть уголь, понимаете?

Яночкин скучно заметил, что это неправильное рассуждение, и замолк.

Оттого, что засыпать стало с некоторых пор опасно и трудно из-за внезапных тогда и не поддающихся словесному объяснению взрывов ужаса в теле, Сыромуков приучил разум уводить себя на безоглядно далекие прогулки в прошлое. Для этого лучше всего подходило детство с одним и тем же, не то выдуманным, не то существовавшим когда-то в самом деле, громадным розово-сияющим летним днем, и, несмотря на то что все в нем уже было изжито и исхожено, все равно в него надо и надо было идти снова: тогда с сердцем ничего не случалось и сон наступал незаметно. Такие путешествия надлежало совершать с закрытыми глазами — в темноте больше почему-то виделось, и надо было держать левую руку на груди, а правую под головой, над тем местом подушки, где обычно лежало лекарство. Он был давно уже в дороге, и память его уже туманилась, скользя к грани забытья, когда Яночкин клетотно поперхнулся и дыхание его оборвалось. Сыромуков открыл глаза и прислушался к тому, как по-мертвому тягостно цепенеет тишина у кровати Яночкина и как бурно колотится у него самого сердце, справляясь с внезапностью яви. Имя и фамилию Яночкина он забыл, упомнив лишь отчество, но окликать так окороченно человека, который, возможно, умер, казалось кощунственным.

— Яков Петрович! Алло! — позвал Сыромуков. Яночкин шумно выдохнул ртом воздух, но не проснулся. Он, оказывается, был храпуном — не мирным, не носовым, а глубинно горловым, когда спазматически прерывистое дыхание спящего напоминает хрипение удушенника. Сыромуков некоторое время отдыхающе лежал, глядя на синий квадрат окна. Яночкин спал, и было безнадежно ясно, что никакое усилие воли не поможет «не слышать» его тяжелый храп. Звезды за окнами зрели и лучились. Изредка они срывались и неслись по небу, прочерчивая мгновенно гаснущие огненные полосы. Сыромуков попытался удивиться грандиозности световых тысячелетий, прошедших с момента гибели этих звезд, но Яночкин снова затих, зах-

лебнувшись, и надо было напряженно ждать и надеяться, что дыхание у него возобновится. Чтобы облегчить гнет таких пауз, Сыромуков сам начинал дышать глубоко и редко, сознавая в беспомощной отчаянности, как растет в нем невольная мстительная враждебность к сожителю. Паузы неизменно сменялись благополучно-прорывным всхрапом, и тогда возмездно хотелось верить, что Яночкин храпит лишь потому, что с вечера не проникся мыслью об ответственности своего поведения во сне,— его ведь занимала идея переброски воздуха на Луну, и поэтому в подсознание не поступило никакого предупреждающего сигнала! Старый чубук!.. Вообще храпу подвержены чаще всего эгоисты с безмятежной судьбой и нерастраченным здоровьем. Они храпят от телесного удовольствия, а не оттого, что им снятся кошмары... Кстати, у него какие-то поддельные глаза. Слишком наивно-тихие и в то же время внимательные, как у снайпера... Его все же надо, наверно, разбудить. Вежливо, конечно. Мол, повернитесь на бочок... И минуту спустя он захрапит с новой силой. Что тогда? Еще раз растолкать? Дескать, извольте теперь лечь на спинку?! Если бы он был моложе. Или хотя бы ровесником. Тогда все было бы проще. Какого, мол, дьявола! Веди себя прилично! А сейчас... Даже имя его запомнилось, и «Якова» он воспримет за насмешку или пренебрежение... Собственно, а в чем дело? Ну и пусть себе захлебывается! Чем ему это грозит!.. То есть как чем? Он же не дышит, поди, по четыре минуты! С ума можно сойти!..

Сыромуков свесил руки и нащупал возле кровати свой башмак — легкий, поношенный, с металлическим косячком на каблуке. На пятом хлопке им по паркету Яночкин обрел дыхание и заворочался, сладко почмокав языком. Он посапывал теперь покойно и ровно, а Сыромуков, высоко полулежа на подушке, бессмысленно смотрел на звезды и ждал его храпа. Спать не хотелось — веки не смежались, ломило в затылке, ныло в сердце. Наконец Яночкин захрапел, и Сыромуков с злобной радостью подумал о себе, что, в сущности, он невропатическое ничтожество, лишенное всяческой способности к защите, и что Дениса ожидает в жизни то же самое: он никогда не сможет ответить хаму, шельме или дураку его же оружием — нахальством, притворством или угрозой! Ни силы, ни решимости! Что в этом ценного? Кому такое нужно?

— А какой это болван решил, что мы не нужны жизни? — нечаянно громко и властно сказал Сыромуков.—

Почему же тогда ты, ты, а не кто-то другой командовал партизанским отрядом? Почему? Ну?

Он агрессивно посмотрел в сторону кровати Яночкина — там затаил храп — и вдруг вспомнил имя его и фамилию. Яночкин приглушенно кашлянул, неслышно выпростался из-под одеяла и ныряющей походкой повлекся в туалет. То, что он не зажег ночник на своей тумбочке и не надел шлепанцы, что дверь в туалетную комнату отворил и прикрыл не рывком, а медлительным потягом, что, укрывшись за ней, долго и тихонько чурюкал в унитаз, устыжающе подействовало на Сыромукова, — этот его «Яков», оказывается, был доступен чувству жертвенности и альтруизма.

«Вот так!» — мысленно сказал Сыромуков и подумал, что, наверно, невозможно ожесточаться против кого бы то ни было без раздражения самим собой. Да-да! Хочешь жить в ладу с собой, будь ласковей с другими. Ну хотя бы мягче, черт бы их побрал!.. Это же неверно, будто храпят одни лишь эгоисты и здоровяки. Разве не может человек страдать какой-нибудь хронической болезнью носоглотки! Мало ли!..

Яночкин вернулся и лег так же крадучись и неслышно, и это увеличило у Сыромукова дозу доверчивости к нему, породившую надежду заснуть одновременно с ним, — надо было, только не мешкая и не отвлекаясь ничем побочным — звездами тоже, — отправиться в путь, в свое детство. Да-да... «Помнишь, с чего начался тот день? — с каким-то счастливым полетным устремлением спросил себя Сыромуков. — Он начался с запаха меда от оранжевых чашек тыквенных пустоцветов. В них занято возились и туго гудели шмели, а подсолнухи стояли лицами в ту сторону, откуда приплывали изнурительно торжественные колокольные звоны, и на них сокровенно чисто и сладко сияла роса... На тебе тогда была новая розовая рубашка — мать сшила из своей кофточки, и ты хотел сделать дудку из стебля тыквенного листа, но каждый из них хранил в своем углублении выпукло круглую росяную каплю, отражавшую небо, колокольный звон, подсолнухи, тебя самого с ножиком в руках, лупастого и розового... Ты тогда не перенес бремени восторга от этого сияющего утра, обнял подсолнух и заревел в голос, а когда тебя отыскала мать, ты солгал ей, оклеветав шмеля... Шмеля... В школе потом ты выучил стихотворение про него. Он был черный, бархатный, с золотым оплечьем... Осенью он заснул на красной подушке увядшего татарника,

а угрюмый ветер сдул его в бурьян... Золотого, сухого шмеля...»

Несмотря на то что утро выдалось совершенным повторением вчерашнего утра — тот же натужно-призывный голубиный стон на карнизе под окном, такое же высокое синее небо и та же четкая близость Эльбруса, — Сыромуков, однако, встретил этот свой новый курортный день с подавленным и мрачным настроением. Было досадно и муторно от своих вчерашних побегов к гроту и в кафе, от того, как сдавал в сберкассе свои несчастные крупные купюры, от ребячливого подарка глиняного соловья той коротышной девице. Все это представлялось теперь каким-то мусорным вздором, а не достойным поведением безнадежно больного и пожилого — да, старого, давно уже старого! — человека, и здешняя погода казалась тоже несерьезной по времени года — она тут случайная, микрорайонная, а не природно законная, как везде!

Шел уже девятый час, когда он встал с кровати. Яночкин отсутствовал. Постель его была заправлена по-девичьи аккуратно и легкомысленно: с двухсторонней складкой на покрывале и стоймя уложенной подушкой, вызывающей зудливое желание повалить ее и смять. Настроение окончательно испортили посудинки с экскрементами Яночкина, заботливо выставленные в туалетной комнате, прямо перед унитазом. Прodelывать то же самое не только было противно, но казалось непристойным, и Сыромуков решил, что обойдется так, без анализов. Он находился в той полосе духовного самочувствия, когда с безоглядным упрямством хочется поступать наперекор самому себе, и поэтому надел тренинг, а ноги сунул в лосиные полутуфли-полутапочки, вполне годные, как он злобно отметил, для покойника. Было заманчиво заявиться в таком костюме в столовую — чем он лучше или хуже других — но есть не хотелось: садиться за стол с живым впечатлением от усердия Яночкина в заботе о своем здоровье представлялось так же немыслимо, как закуривать, например, вблизи трубы действующего крематория.

На прием к врачу Сыромуков пошел на полчаса раньше назначенного срока, но у дверей кабинета уже скопилась мужская очередь, и он оказался восьмым. Это был пожилой и солидный народ с медалями и орденами, давно и бесповоротно, видать, уверовавший в уникальность своего заста-



релого недуга, что и позволяло каждому тут держаться с затаенным превосходством над соседом по очереди. Отправившийся в кабинет врача оставался там возмутительно долго, но, несмотря на это, среди ожидающих не было и намека на взаимное отчуждение или ропот. Сыромуков как притулился на стуле возле колонны, так и не шелохнулся там на протяжении полутора часов,— была какая-то расслабленная оцепенелость в теле, и была смутная мешанина то смиренных, то непреклонных мыслей о тщете человеческой в смешном и жалком старании удержаться хотя бы за край жизни, когда она, грохочущая и вечно юная, уносится прочь... Ему уже хотелось есть, и он тоскующе подумал, как хорошо было жить весь вчерашний день и что сегодня можно будет снова сходить в кафе и выпить немного коньяку, рюмки две, в последний тут раз...

Врач, молодая женщина кавказского типа, сидела за столом, выложив на него руки, и смотрела в окно. Рот ее был полураскрыт, как у цыпленка в жару, и, когда Сыромуков вошел и поздоровался, она насильным усталым движением убрала со стола руки, но сама еще несколько секунд продолжала следить за чем-то не то в горах, не то в небе.

— Вы, наверно, устали. Я могу прийти завтра,— сказал от дверей Сыромуков, успев подумать, что сам он ни при каких обстоятельствах не смог бы, будучи врачом, осматривать больных старух. По-видимому, врач превратно истолковала его сочувствие к себе, восприняв это за проявление недовольства оказанным приемом,— Сыромуков заметил, как в короткой страдальческой гримасе поджались у нее губы.

— Проходите и садитесь. Как ваша фамилия? — деловито спросила она. Сыромуков сказал. Они встретились взглядами, и он попытался улыбнуться в надежде вызвать к себе ее доверие. Глаза у нее были странные, редко попадающиеся — орехово-золотые и продолговатые, и, когда Сыромуков извиняюще и беспомощно улыбнулся, в них отразилось недоумение пополам с тревогой. Чтобы погасить в себе нарастающее желание отпора,— «она, вероятно, считает меня тихим психом»,— Сыромуков летуче подумал, что ей совсем немудрено самой тут спятить, и опять улыбнулся конфузливо и виновато.

— На что жалуетесь? — недоступно спросила врач.

— Ни на что, доктор,— сказал Сыромуков.— Назначьте мне, пожалуйста, нарзанные ванны и циркулярный душ. Исследовать меня не обязательно.

— Даже так? А почему именно циркулярный душ? Вы лечились когда-нибудь физиотерапией?

— Нет, не лечился.

— Сколько вам лет?

— Пятьдесят! — с невольным вызовом ответил Сыромуков. Грузинка посмотрела в его курортную карту.

— Сорок восемь ведь? — полувопросительно сказала она.

— Какая разница!

— Раздевайтесь, товарищ Сыромякин. Вот там, — показала она на белую вешалку возле кушетки. Он подумал что она умышленно искажила его фамилию, и когда стащил через голову трениговую куртку, а затем и майку, когда увидел себя со стороны с дико всклокоченными волосами и оголившейся плешью, с запавшим плоским животом, конусно поросшим жесткой прямой щетиной, начинающей сесть, то не только не обиделся, но сам проникся к себе чувством отвращения и стыда. Под мысль «ну и черт со мной» он так добросовестно дышал и не дышал по приказанию врача, что голова начала туманно кружиться и была опасность не устоять на ногах. Осмотр затягивался. Надо было ложиться, вставать, упирать руки в бока и пофиззарядному, избегая глаз врача, приседать и выпрямляться, снова ложиться и опять вставать, и за все это время сердце ни разу не споткнулось и не подпрыгнуло, будто грузинка подменила его тут раз и навсегда. Сыромукову было противно ощущать и переносить едко-кислый запах собственного пота, выступившего в поросли живота, и казалось невероятным и противоестественным, чтобы эта красивая молодая женщина в элегантном тугом халате, пахнущем прохладной фиалковой чистотой, не испытывала к нему брезгливого отвращения.

Она долго заполняла «историю» его болезни. Писала она старенькой китайской ручкой, протекающей над пером, и поэтому указательный палец грациозно грозяще держала на отлете. Она не назначила ему ни нарзанных ванн, ни душа. Она сказала, что «все выяснится» после электрокардиограммы, рентгена и анализа крови, и Сыромуков не стал спрашивать, что должно выясниться.

Тут рухнула его надежда на постороннюю деликатную помощь в расселении с храпящим сожителем — Сыромуков был убежден, что грузинка отнесется к его просьбе как к привередливому капризу, поскольку он уже требовал назначения себе водных процедур без врачебного осмотра. Он вышел из кабинета с безрадостным самоутешением,

что Яночкин храпит не умышленно и что с этим надо примириться до конца.

В палате было по-летнему знойно, хотя на раскрытых окнах полоскались и парусили белые шелковые шторы, за ними тек по-вчерашнему роскошный пестрый день, и из него доносились чьи-то голоса и смех, и где-то внизу, в городе, звучала музыка. Сыромуков снял с себя тренинг, умышленно взлохматив голову, и подошел к зеркалу. Оттуда на него надвинулся юношески стройный, но лысеющий тип с взыскующим взглядом полинявших глаз, в углах которых скопились гнусные беловатые сгустки, черт знает откуда там взявшиеся.

— Одёр,— тихо и горько сказал Сыромуков.— Одёр...

Он не увидел в своем отражении ни достоинства, ни уверенности, и ему захотелось еще раз, как бы уже посторонне, поприсутствовать на своем позоре там, в кабинете врача, но больше трех раз присесть и встать перед зеркалом он не смог,— до такой степени это выглядело отталкивающе и непереносимо. Были остры и жалки четко выпятившиеся кости ключиц, почти ребячья тонкая шея с кукишем адамова яблока, смуглые бородавки сосцов на неразвитой груди, удлинненный запалый живот в какой-то козлиной шерсти конусом. Всему этому никак не соответствовало настороженное выражение глаз, так как серьезность их в такой ситуации была до комичности смешной.

— Пшел вон! — вчуже от себя сказал он в зеркало, и в это время в палату без стука вошла уборщица. Она заботливо спросила, «чи это он не пописал и не покакал для анализов», и Сыромуков, загородив руками живот, трагически кивнул.

— Что ж так?

— Это мне не нужно,— тоже на полупшепоте, в тон ей ответил Сыромуков.

— Та меня ж ругают за то, милой! Я ж и санитарки должность сполняю тут, чуешь?

Сыромуков беспомощно пообещал сделать все завтра утром, и хохлушка ласково сказала: «Ну то добречко». После ее ухода он принял душ, и когда одевался, то в примирение с собой отметил, как долго все-таки служат ему носильные вещи — майка, рубашки, костюмы и даже ботинки. Лет по пять служат, и дело тут, конечно, не в аккуратности бедности, а в более достойной причине, как, например, легкость походки. Ему хотелось, чтобы это было

именно так, а не иначе, и он подумал, что в войну на фронте в первую очередь погибали увальни, неряхи и растрепы. Поди объясни теперь кому-нибудь, почему так получалось, но он знал, как часто спасало его в бою сознание своей щегольской подтянутости и выправки,— это когда он помнил, а он ни при каких обстоятельствах не забывал о том, что на нем отлично сидят гимнастерка, брюки и шинель, в нарушение устава перешитые взводным солдатом-портным, что на ногах у него туго урезанные по икре сапоги и что он ладно затянут новой скрипящей и пахучей амуницией. Сознание этого не только сообщало телу ловкость, подвижность и быстроту находчивости, но и странным образом вселяло в душу почти фатальную веру в неуязвимость: не могло, не могло того произойти, чтобы его убили!..

Он решил, что к зеркалу не стоит подходить близко, даже будучи одетым,— совсем другое дело встречаться со своим отражением издали, шагов за пять-шесть, когда ты в состоянии видеть себя в общем плане, а не в каких-то там крохоборных мелочах! Он спустился вниз и сдал гардеробщице ключ. До обеда оставалось еще около часа времени, и в вестибюле у столиков за колоннами шла грохотная игра в домино под победные клики «отдуплившихся» и негодующую ругань оставшихся «козлами». Приступ настиг его у выходных дверей, и он кинулся назад, к пальме возле окна. Там стоял шахматный столик с громадными самодельными фигурами, и возле него, скрытый пальмой, он проделал руками все те движения, что полагались в таких случаях, дождался притока воздуха в грудь и проглотил лекарство. Его никто тут не видел, и все же ему понадобилось какое-то время, чтобы с видом заинтересованного чем-то человека постоять у окна, хотя в нем ничего не виделось, кроме пустого неба. Желание идти в кафе пропало. Он сыграл сам с собой партию в шахматы, размышляя над тем, почему сердечники, когда им становится худо на улице, бессознательно стремятся укрыться от людей в ближайшую подворотню или прижаться к витрине магазина. Дескать, стою и смотрю себе, и никого это не касается. Да и что им может помочь? Вот уже воистину, кто умирает в одиночку!

...Еще до дверей столовой Сыромуклов заметил свою малютку, одиноко питавшуюся за столом в центре зала. Он тогда же посмотрел в сторону своего стола и увидел метательницу колец, сидевшую в позе Стеньки Разина в челме. Ему показалось, что при его появлении она презрительно

фыркнула, и в пику ей, оскорбясь и внешне подтянувшись, он вскинул руку и помахал малютке приветственно и радушно. Та энергично покивала ему головой и тоже помахала ручкой. Сейчас она скажет «чао», беспокойно подумал Сыромуков. Он молча поклонился соседке по столу и уселся на свое место. Подавала чернявая Вера, услужливая и кроткая. Она спросила, что ему принести, так как заказ на обед не сделан, и он сказал, что доверяет ее выбору.

— А ему у нас не нравится,— сказала метательница, будто Сыромукова не было рядом.— Он брезгает.

— Правда? — наивно и трогательно удивилась Вера.— Отчего?

— Нет-нет,— сказал Сыромуков,— мадам изволит неудачно шутить.

— А чего мне шутить-то! Я всегда говорю правду. По-русски. Придут тут незнамо откуда и выпендриваются...

Сыромуков испугался — могла вспыхнуть нелепейшая застольная перебранка, если он не найдет правильной линии собственного поведения. Он прямым холодным взглядом попробовал подавить эмоции соседки, но это не принесло никакого результата: она, видать, плохо владела своими страстями. По ее террактово-красному лицу было видно, как тут глубинно возмущены, Сыромуков и сам сознавал, что «мадам» слетело у него с языка неосторожно, но переигрывать сцену было поздно. Да и как иначе он назвал бы ее? Гражданкой? Милой женщиной? Он тоскливо подумал, что, в сущности, от него требовалось тут всего-навсего одно какое-нибудь веское слово, равноценное ее выпадку и скрыто угрожавшее ей непонятными, но возможными неприятностями. Наверно, на его месте более решительный человек так бы и поступил. Он бы указал ей на родной угол, и все было бы в порядке раз и навсегда! Ты ж изволь вот сидеть и трусливо гипнотизировать ее, чтобы она не прорвалась базарной бранью.

— Пожалуйста, извините меня... Я, кажется, нечаянно обидел вас,— сказал он. Официантка подкатила к столу тележку, и надо было с преувеличенной осторожностью принимать у нее тарелки, усиленно благодарить, а потом сосредоточенно и торопливо есть. Он попытался осудить себя за повторную утрату тут чувства иронии и соразмерности — какие могут быть амбиции перед человеком, достойным сострадания? Глупо! Да и вообще нельзя ведь постоянно жить под высоким напряжением. Смешно же! Но до-

сада и раздражение не проходили, и волна ожидания опасности публичного опозорения не отпускала его. Малышка тоже почему-то торопилась с обедом, потому они одновременно поднялись с мест и сошлись в главном проходе. Она протянула руку, и Сыромуков учтиво пожал ее, испытывая боязливое желание оглянуться на свой стол. У него не было охоты вспоминать имя малышки, ни вообще узнавать его. Возле бара, недавно, видать, оборудованного здесь прямо напротив входа в столовую, он приостановился, решив, что ему пора вознаградить себя за пережитое унижение.

— Хотите кофе? — спросил он.

— Мо-ожно, — отозвалась малышка. — А вам не вредно?

— Што такоича? — сказал Сыромуков. — Извольте влезть на табурет и не поучать старших.

Шутка получилась не столь бравадной, сколько неуклюжей, — круглый вертящийся табурет был слишком высок для бедняжки, и ей в самом деле пришлось залезать на него. Сыромуков заказал кофе и полтора грамма коньяку. Бармен, молодой армянин с университетским значком, грамотно разлил его в разлатые розовые рюмки — поровну в каждую.

— Чао! — сказал Сыромуков, поднял свою рюмку. — Или это говорят в других случаях?

Малютка неопределенно кивнула. Она пила дробными поклевными глотками, запрокидывая голову и отстраняясь от стойки, а это было небезопасно, так как толстенные ноги ее не доставали до пола и оставались на весу. Бармен включил магнитофон, и под дикий завыв Тома Джонса она светски спросила Сыромукова, почему все-таки он считает, что хорошее здоровье должно мешать писателю? Очень странное утверждение!

— Разве я когда-нибудь говорил такую ересь? — притворно изумился Сыромуков.

— Да, вчера.

— Я, наверно, имел в виду не физическое самочувствие писателя, а его неспособность плакать над судьбами своих героев. Только и всего.

— Но если эти судьбы радостны?

— Насплошь?

— Да.

— Это, по-вашему, возможно?

— А по-вашему?

— По-моему, нет.

— Почему?

— Потому что...— Сыромуков запнулся,— трудно представить себе человека, который бы всю свою жизнь оставался на каком-то исходном уровне самосознания.

— Выходит, что радости и счастье доступны только умственно отсталым?

— Да нет, это никак не выходит,— возразил Сыромуков,— и вы, как мне кажется, отлично понимаете, о чем идет речь!

— Ну, может, немного и понимаю...

— И слава богу, что немного,— сказал Сыромуков с наигранной веселостью,— вам совсем незачем стариться преждевременно. Хотите еще коньяку?

— Нет, я могу опьянеть, и вам тогда придется каждую минуту отвечать на мои «почему».

— Становитесь любопытны?

— Смелею,— сказала малышка.— Я, например, могу тогда спросить, что вы испытывали вчера на людях, идя со мной рядом?

Она не смотрела на Сыромукова, попивая кофе и отстраняясь от стойки, и вид у нее был насмешливо дерзкий и даже злорадный. Сыромуков изобразил на лице выражение застигнутости и заказал новую порцию коньяка.

— Что ж, могу признаться,— запоздало сказал он.— Мне было не очень весело тащить рядом с вами свои сорок восемь лет. Не хочу, знаете ли, чтобы меня считали старым...

Он и сам удивился нечаянной правде в своем заведомо лживом ответе на ее уличающий вопрос и, чтобы не упустить этой мгновенной вспышки откровения, сказал еще:

— Кроме того, я вчера сразу же забыл ваше имя. Из-за склероза, понятно,— прибавил он поспешно.

— Ну, будем считать, что мы квиты,— сказала она,— звать меня Ларой, и я, представьте, тоже забыла ваше отчество. Денисович, да? А ваш сын Богдан, верно?

— Наоборот, но может сойти и так,— ответил Сыромуков и разлил по рюмкам коньяк.— Вот видите, мне уже неудобно сказать вам ни «чао», ни «салют».

— Почувствовали себя старше, сообщив мне свои лета?

— Что-то в этом роде,— признался Сыромуков.

— А вы вообразите, что вам тридцать пять. В этом случае мы окажемся ровесниками.

Он поклонился ей, не поняв толком, шутит она или издевается. Но, может, ей в самом деле тридцать пять лет? Маленькие собачонки до конца остаются щенками. Недаром у нее так по-взрослому развиты бедра... У Сыромукова вспорхнула неприятная для самого себя мысль: знала ли она мужчину и как это могло произойти? партнер был под стать ей ростом? Несомненно... И все равно едва ли это у них было похоже на таинство любви. Нет. Это как самораствление несовершеннолетних!

— Кто вы по специальности, Лара Георгиевна? — спросил он.

— Я работаю в одном НИИ, — с значительной безразличностью ответила она. Сыромуков иронически заметил, что звучит оно внушительно.

— И что вы там делаете?

— Ничего особенного. Перевожу временами кое-какие статьи из английских и французских периодических изданий.

— Понятно, — почтительно сказал Сыромуков. Он заплатил за коньяк и кофе, передав бармену два рубля на чай. Наличных денег при себе оставалось три десятка, а это значило, что за неполные тут двое суток профершпилено около тридцати рублей. Ничего себе гусь! Его обидела небрежность бармена, с которой тот бросил в ящик деньги, и то, что он не поблагодарил за чаевые: Сыромукову совсем не хотелось, чтобы у малютки возникло подозрение, будто он скуп, черт возьми, или беден. Наверно, она заметила его нерасположение к бармену и, когда они отошли от стойки, сказала, что не может понять, как этому молодцу с университетским значком удается ладить со своим занятием. Сыромуков охотно воздал бы бармену, но не с этого конца. Занятие его как занятие. Есть сколько угодно вредней и хуже. В конце концов, малый служит людям. И себе, конечно.

— Что ж, он почти приблизился к идеалу древних греков — веселью и удовольствиям, — сказал он.

— Насколько я знаю историю, это их и погубило, — учено заметила Лара.

— Да. Их не спасла даже христианская религия. Они просто выродились. Теперешний грек — это, кажется, помесь цыгана с гунном, — оживленно сказал Сыромуков, — невежа бармен получил свое сполна. — Лара, по-птичь скривив голову, зыркнула на него снизу и невинно осведомилась, а кто, по его мнению, вообще современные



советские люди. Сыромуков сбился с подлаживающего шага и настороженно спросил, что имеется в виду.

— Духовные ценности. Развитие исторического характера нации, прочность культуры, морали и все такое,— смиренно ответила она.

— Ах, вот лишь это,— разочарованно сказал Сыромуков,— но видите ли, если к этому делу подходить с позиции архитектора, то надо заметить, что в любом локальном решении о заселении новых районов почти неизбежен некоторый сумбур и хаос, так как оно исключает научно обоснованное размещение застройки в каждом отдельном случае. Понимаете?

— Вполне. Вы, кажется, испугались моего вопроса.

— Да нет, с какой же стати? Вы просто хотите, чтобы я уклонился от подчинения нормативам.

— Каким это?

— Действующим в этот момент. Ведь всякий архитектурный проект должен иметь еще и связь с определенными условиями жизни людей, а не только красиво вписываться в ландшафт и флору. Хотите, присядем вон за той пальмой у шахматного столика? У нас будет там неотразимая декорация.

— Хорошо. Но для чего вы говорите все это?

— О пальме?

— Об архитектуре своей.

— Внушаю вам уважение к себе как к современнику современников.

— Сомневаюсь в эффективности вашего метода.

— Это у вас от недостатка информационных данных обо мне. Впрочем, согласно новейшим научно-философским изысканиям сомнение полезно человечеству.

— Вот как! Где оно опубликовано? — заинтересованно спросила Лара.

— Не помню,— серьезно сказал Сыромуков,— но суть положения заключается в том, что субъект, лишенный сомнения, не может, оказывается, обладать высокой моралью.

— Но разве, например, Цезарь сомневался в своем величии? А я где-то читала, что блеск императорского солнца не повредил ему. Он был остроумен, очарователен и образован.

Сыромуков снисходительно заметил, что мораль тут ни при чем. Они уселись за пальмой. Он закурил, и Лара тоже попросила сигарету.

— Все же вы уклонились от прямого ответа на мой

вопрос,— сказала она, вьедливо затянувшись дымом. Глаза ее блестели, и вся она была какая-то шершавая и азартная.

— Вам хочется, чтобы я перечислил отрицательные стороны характера моего современника? — спросил Сыромуков.— Извольте. Он чересчур торопится заглянуть в любой финал. Скажем, в конец своей дружбы, любви, в конец книги, в конец своего пути. Кроме того, он изрядно и повсеместно обнаглел, требуя и получая от жизни больше, чем ему причитается.

— А кто может определить, что и кому причитается! — вскинулась малютка.

— Очевидно, общество. У человека должно быть недосыгаемое в жизни,— сказал Сыромуков,— потому что убежденность любого и каждого во вседоступности в конечном итоге сведет на нет творческое усилие таланта, просвещенность, честь, доблесть, трудолюбие и тому подобные высшие достоинства разума и воли!

Некоторое время Лара молчала, затем рассудила, что в его афоризмах — это слово она произнесла с язвительным нажимом — нет логики! То он пытается внушить ей уважение к современнику, то заявляет, что тот — повсеместный нахал. Как же ей быть? Сыромуков, с внезапно опавшей душой, уныло подумал, как сильно он постарел за последние годы. Лет шесть назад он едва ли бы пустился при такой пигалице в какие-нибудь рассуждения с целью блеснуть своей эрудицией! Интересно, догадывается ли она об этом? Очевидно, нет. Иначе ей не пришло бы в голову сделать такой добросовестный вывод из его «афоризмов». Она давно утратила внешнего мира, и ей почему-то вздумалось искать у него подтверждения своим каким-то, скорей всего мнимым, достоинствам перед этим миром. Только и всего. А он ударился в напыщенное красноречие. И с какой целью? Хотел, значит, понравиться...

Малютка сидела нервно взъерошенная — как-никак пила наравне, и Сыромуков почувствовал сострадание к ней и к себе.

— Я не обязательно должен быть прав,— сказал он, отвечая на ее вопрос, как ей быть. Она вымученно улыбнулась и возразила, что неправых бьют.

— Кто? — защитно спросил Сыромуков.

— Имеющие на это право.

— Сила еще не право!

— А право — сила?

Сыромуков сказал, что человечество всегда стремилось

к этому. По крайней мере лучшие его представители... Он ничего не мог поделать с собой,— говорить хотелось возвышенно, но причиной тому мог быть и коньяк.

Ларе, оказывается, уже были назначены какие-то послеобеденные процедуры.

Расстались они почти друзьями. А час спустя Сыромуков писал Денису, что тут тоже идет дождь с ветром, дующим с гор, а это хуже, чем там у него в Прибалтике, потому что горный ветер держится стойко. По целым суткам и даже неделям. Он уверял сына, что лично ему непогода не мешает. Совершенно. Он знает, что нужно добросовестно лечиться, помнит, что прошло уже почти три дня, а когда Денис получит это письмо, до возвращения останется всего лишь дней десять — двенадцать... Сам с собой Сыромуков поладил на том, что рано или поздно, но дождь все равно пойдет тут и что отсутствие каких-либо корыстных намерений по отношению к малютке вполне извиняет его сегодняшнее невзрослое поведение.

На ужин он не пошел.

Яночкин явился часу в десятом оживленный, в белой курортной фуражечке и с двумя бутылками «Киндзмараули». Сыромуков не успел погасить ночник, чтоб притвориться спящим, и тот доложил, что был в городе.

— Свободно, слушай, продают, — удивленно сказал он о вине, — и сколько хочешь. Надо же! А в Москве такое достать трудно.

— Конечно, запаситесь, — одобрил Сыромуков, подумав, что дожить до шестидесяти лет и сохранить себя в такой форме — истинно растительное качество. Он, вероятно, спрячет сейчас бутылки в тумбочку. Еще бы, черт возьми, предлагать ему распить их со мной! С какой стати? И все же... Неужели спрячет? Но Яночкин с бодрым пристуком поставил бутылки на стол, включил большой свет и стал извлекать из карманов мандарины.

— Во! Видал? Знаешь, кто любил это вино? Только его и потреблял... Давай-ка отметим наше знакомство, — с чувством произнес он. Сыромуков сказал, что уже отметил коньяком. Пить чужое вино не хотелось, это грозило моральной кабалой, но все же ему пришлось встать и одеться, — Яночкин с душевным благодеянием облупил несколько мандаринок, приготовил стаканы и торжественно ждал в кресле. Они выпили за знакомство, и Пет-

рович опять назидательно напомнил, кто любил «Киндзмараули».

— Как вот ты считаешь, это был великий человек? — спросил он, чисто светя глазами. Он целиком направил в рот мандаринку и перекатывал ее из стороны в сторону, как горячую картошку. Сыромуков в свою очередь спросил, как ему хочется, чтобы это было.

— А как есть на самом деле, — сказал Яночкин, успев к тому времени управиться с мандаринкой.

— Ну и считайте, что все так и есть, как кажется, — посоветовал Сыромуков, — это спокойнее.

— Да я-то знаю, как мне считать, а вот как ты? Для интереса разговора можно ж и поспорить, верно?

— У нас сейчас ни о чем не получится равный спор, потому что на вашей стороне явное преимущество. Вы старше меня, и я пью ваше вино, к которому вы питаете больше симпатий, чем я, — признался Сыромуков и сразу же пожалел о своей откровенной невежливости! Яночкин сухо сказал: «Как хочешь» — и обиженно замолчал. Ладу и миру в палате требовалась какая-то спешная милосердная помощь, и Сыромуков с отчаянной невинностью поинтересовался, дадут ли ему в этом доме выпить еще.

— Да тебе ж не нравится мое угощение! — пораженно возразил Яночкин. — Или это ты нарочно ломался?

— Мне просто совестно, — сказал Сыромуков, — по правилу, угощать полагалось бы мне вас.

— А будто мы последний день!

Яночкину снова стало хорошо, он налил по второму стакану. Речь о достоинстве вина больше не заводилась. Петровичу хотелось потолковать и выяснить ради беседы, как он сказал, кто тут, интересно, прислуживал немцам в санаториях во время оккупации — местное население или пленные. Сыромуков этого не знал. И разве санатории действовали тогда? Да, не все, но некоторые работали. Предателей хватало. Особенно среди пленных, это ведь ясно. Раз ты сдался врагу и остался жив — значит, что? Нет, сам он на фронте не был. По брони шел... Будем вторую бутылку начинать? Как угодно. А в плен, между прочим, люди попадали, а не сдавались, дорогой Павел Петрович. Особенно в сорок первом.

— Ну, мы знаем, Богданыч, как они «попадали». Ты был тогда еще молод...

— Да нет, — протестующе сказал Сыромуков, — мне, с вашего позволения, пришлось воевать! И лично я награбил бы всех пленных, кто остался цел в фашистских лагерях!

— Так из них же власовцы вербовались,— оторопело заметил Яночкин.

— Я сказал, кто остался жив в лагере,— уточнил Сыромуков.

— И каким бы ты их, к примеру, орденом?

Сыромуков сказал, что тут нужен был какой-то особый орден, с особым статусом.

— Чтоб за плен, значит, выходило?

— За страдание и муки.

— Ну, а назвать его как же надо было?

— Может быть, орденом «Скорбящей Матери».

— Гм!

— Не годится?

— Нет,— сумрачно сказал Яночкин.— Скорбная мать тут ни при чем. Вот ежели что-нибудь вроде блудного сына — дело другое. Тут все правильно. Получай и носи свой знак без права снятия. До самой смерти...

Сыромуков внимательно посмотрел в глаза Яночкина — бледно-серебристые, безвольные и почти ласковые, не принимавшие, казалось, участия в беседе и жившие сами по себе, отдельно от мыслей, рождавшихся в его мозгу. Сыромукову подумалось, что в детстве Яночкин, наверно, был нудной плаксой, не переносившим преимущества сверстников, и что оспаривать его не следует, хотя из-за такого потворства между ними создастся неразмыкаемый круг лицемерных отношений почти на целый месяц жизни!

— Спасибо вам за вино, Петрович,— с болезненной гримасой сказал он, ощутив, как зло и часто забилося сердце. Возле окна, куда он прошел, вскинув к голове руки, приступ прекратился, и Яночкин безмятежно спросил его в спину, не пойти ли им погулять перед сном.

— Или поздно уже? Говорят, будто в одиннадцать часов запирают двери и спускают овчарку? Ну и правильно!

— Да-да,— потусторонне отозвался немного сгоя Сыромуков с мятной лепешкой валидола под языком, вглядываясь в фантастично мерцающий трепет далеких городских огней в темной глубине котловины.— Все правильно и все прекрасно!

— А как же! — согласно сказал Яночкин. Он тоже поддался какому-то элегическому настроению, понуждавшему к замедленным движениям и молчанию, и они долго и кропотливо раздевались, а потом старательно укладывались в кровати. Все было покойно и устойчиво. Ночь могла пройти благополучно — после вина Яночкин не обязательно должен храпеть. Он вполне достойный и интерес-

ный человек, хотя и с непостижимым порой строем суждений, но мало ли у кого и чем пылает голова!.. И кто знает, может быть, эти злосчастные пленные нечаянно причинили ему в свое время горе или обиду. Мало ли! Жестокость и недобро сами собой не рождаются в человеческом сердце. Для этого нужны причины. Пусть даже ложные...

— Павел Петрович, а где вы работали в войну? — спросил Сыромуков так, когда в голосе бывает в меру и бескорыстного интереса, и уважительности к ожидаемому ответу. Они лежали навзничь, не видя друг друга, и поэтому нельзя было определить по лицу Яночкина, расслышал он вопрос или нет. Сыромуков, подождав, протянул руку к выключателю своего ночника, погасил свет и пожелал Яночкину спокойной ночи.

— А здесь, Богданыч, тоже, оказывается, есть цирк, — бодро сказал тот, — может, как-нибудь сходим?

— Можно и сходить, — безразлично согласился Сыромуков.

— Бывают, понимаешь, фокусы, что ничего нельзя понять, как такое может происходить. Вот, к примеру, номер с карасями. В воздухе ловят удочкой. Над головами зрителей. Живых, в ладонь величиной! Что это, как думаешь? Обман зрения?

— Черт знает, — сказал Сыромуков.

— Или же с карманными часами. У тебя, положим, просят, ты даешь, а их бросают в чугунную ступку и молотят железной долбешкой! А после всю эту крошку засыпают в ружье, стреляют — и часы вылетают сполна целыми. Во, брат!

— Еще как вылетают, — сказал в потолок Сыромуков, — у меня в партизанском отряде тоже был фокусник. Матрос. Бежавший из немецкого концлагеря. Он мог вынуть глаз и вставить его обратно.

— Чей глаз?

— Собственный.

— Стекланный?

— Да нет, зачем же. Живой.

Яночкин по-детски радостно засмеялся и повернулся на бок, чтобы видеть Сыромукова.

— А больше что он умел?

— Золотые зубные коронки делал из медных пятак.

— Настоящие?

— По форме и блеску.

— И куда их?

— Сбывал зажиточным хуторянам, кулачкам прибалтийским, за хлеб и сало.

— Любопытно... А ты, как командир, разрешал?

— Да. Самочинные партизаны нигде не стояли на довольствии, обирать население было нельзя, а этих сам бог велел.

Петрович почти застенчиво заметил, что партизаны не обирали. Ни при каких обстоятельствах. Сыромуков сказал, что неточно выразился. Реквизировали. Кстати, матрос загонял свое самодельное золотишко только тем лесным жителям, кто считал — кому война, а кому имение. На литовском, например, языке эта фраза звучит выразительней, чем в переводе на русский. Кам карас, кам дварас... Яночкин поинтересовался, чем фокусник обдeldывал коронки. Инструмент же нужен. Сыромуков перечислил, что он имел. Карманную ножовку. Сахарные щипцы. Напильник. Финку. Пинцет. Бархатную тряпку.

— И все?

— Еще пятаки. Их было труднее добывать, чем оружие.

— Ну хорошо. А вот ты заявил, что вы были самочинные. Это как понимать?

— В смысле окруженцев, бывших пленных, беглецов из гетто. Вообще всех тех, кого приговоренно не засылали в тыл с оружием и рациями.

— Понятно теперь... Значит, связь вы ни с кем не поддерживали. А кто же давал вам задания и учитывал действия?

— В том-то и суть, что этим людям все надо было делать самим! — сказал Сыромуков громче, чем требовалось. Они замолчали, и стало слышно, как неприятно сипят в ванной комнате водопроводные краны. Яночкин погасил свой ночник и некоторое время полежал притихше, затем разоренным голосом попытал Сыромукова, сколько таких людей было в его отряде.

— Фокусников? — невинно спросил Сыромуков.

— Да нет. Тех... от кого родные отцы отказывались.

— А! Примерно рота. Хорошая.

Мрак в палате был уже разреженно зыбкий, ласково призрачный — не то привыкли глаза, не то из-за гор всходила невидимая луна, — и на окна надо было смотреть сквозь прищуренные ресницы, тогда лучи звезд струнно протягивались к самому изголовью кровати и как будто гасили занимавшуюся боль в сердце — живую и отвратительную,

как клещ. Сыромуков подумал, что напрасно пил на ночь вино. Да еще чужое... И совсем зря затеял с Яночкиным этот дразнящий его, неуютный разговор! Он, конечно, не отойдет ко сну, не выяснив, каким образом Сыромуков сам оказался в глубоком тылу у немцев, а сказать ему правду... будет жестоко для него.

Но Яночкин не задавал больше вопросов. Несколько минут спустя он издал хилый неприличный звук и почмокал ртом — заснул, а Сыромуков достал из тумбочки одеколон и sprыснул лицо и подушку. Он повернулся на бок, но боль в сердце сразу же усилилась, и пришлось снова по-стариковски улечься на спину, а лицо прикрыть краем простыни. Так можно было не закрывать глаз и все равно ничего не видеть, а главное — не думать, что Яночкин непременно будет храпеть. Но чем упорнее он убеждал себя, будто не ждет, когда захрапит Яночкин, тем томительней становилось это ожидание, перераставшее в досаду на то, что тот медлит, — храп спокойнее, казалось, услышать наяву, с вечера, чтобы «привыкнуть» к нему и после уснуть самому.

Постепенно в душе Сыромукова стала накапливаться раздражительная злость к тихо спящему Яночкину. Почему-то представлялось, что у него розовое и мягкое темечко и что он лежит, младенчески выкинув руки поверх одеяла, и пускает ртом пузыри. Чтобы не дать воли ожесточенности, Сыромуков предложил себе отвлекающие, как он подумал, вопросы: счастлив ли Яночкин в жизни? И что он под этим понимает? Есть ли у него семья? Какому богу он молится? Бог, например, дикаря похож на него самого, кроме могущественности... Между прочим, зулусы, почитая души умерших богами, верят, что дети становятся добрыми духами, старики — творящими одно зло. А Яночкин — старик... «Но вы ведь тоже не юнец», — мысленно обернулся к себе Сыромуков, и ему снова показалась искусственной и ненужной жизни линия своего слюнтяйского поведения с Яночкиным, в которой он не проявил никакой потребности к самоутверждению перед ним. Он сдернул простыню с лица и заглянул на кровать Яночкина. Петрович и в самом деле спал, уложив руки на грудь, дыша ровно и чуть слышно, как могут спать только здоровые люди с ясной совестью, кому не грозят мстью никакие подземные силы. Сыромуков взбил подушку и привалился к ней спиной. Звезды в окнах были на прежних местах, сипели в ванной комнате краны, и продолговатый костяной клещ грыз и



грыз сердце. Мысли Сыромукова обратились на эту свою боль. Он подумал, что боль всегда была злом, а оно в свою очередь болью, и что только из-за этого, возможно, он негодует сейчас на здорового Яночкина, не спит и ждет его храпа... Но неужели ж зависть и жалость уживаются в человеке разом? Наверно, все-таки уживаются. Зачем? Кто это определил для нас? Жизнь со смертью? Да, вероятно. Они ведь тоже родственницы-антиподы!.. Итак, добро и зло сосуществуют рядом. Значит, если вообразить, что грядущие поколения уничтожат на земле зло, то, стало быть, и добру придется худо: его лишат арены битвы, противника не станет, и оно захиреет в бездействии? Что же тогда будет? Ни добра, ни зла, а что? Всесветная сытая скука и равнодушие?.. Впрочем, почему же непременно это? Люди, очевидно, вырвутся из оков земного притяжения, возродят для себя дополнительные виды и формы искусства, доступные участию каждого, откроют новые миры и галактики, которые надо будет осваивать и, может быть, побеждать...

— Но побеждать — значит нести добро и зло, так? — вслух сказал он и посмотрел на Яночкина. Тому было, наверно, жарко — он разметался и посапывал с свистящим полухрапом, готовым вот-вот перейти в удушье. Не надевая тапочек и невольно копируя походку Яночкина в его вчерашнем ночном рейде в туалетную, Сыромуков прокрался к нему и раскрыл его.

— Давай дыши, хрен семипалатинский! — шепотом сказал он оттуда Яночкину. — Небось о валидоле понятия не имеешь!

Он вернулся на свою кровать и снова попытался думать о родстве боли и зла и противоборстве добра и лиха, но Яночкин тогда стих и обмер, а потом захрапел, и Сыромуков с усталым удовлетворением закрыл глаза. Предстояло, как и вчера, очутиться теперь в том своем волшебном золотом утре с подсолнухами и шмелями, а там... Минуточку, мысленно сказал себе Сыромуков, а как это было, когда мать хотела спрятать тебя в печке? Да-да! Давай с самого начала памяти. Там тоже почти все годится, чтобы заснуть. Как тогда было?.. В ту пору будто бы свирепствовал голод, но ты помнишь, что мать каждый день розовой мукой древесной червоточины присыпала тебе под мышками, а это значит, что ты был сытый, раз подпревал в складках... Позже, лет трех, ты уже знал, что за изгибом печного боровка в теплых сухих

потемках живет у вас домовой Зеленые Уши. Оставалось неизвестным, какой он и на что похож, но страшно от него не было, потому что вещал он вам одно хорошее. Он вещал всегда по вечерам, когда вы укладывались спать. В хате вдруг что-то брякало и звучало, и мать, пригребая тебя к себе поближе, заклинаяще, но смело спрашивала:

— К худу аль к добру?

Наступала долгая тишина ожидания, и, когда вам становилось немного жутко, мать убежденно говорила себе и тебе:

— Слышал? К добру, сказал.

Ты подтверждал, что слышал, и просил ее рассказать сказку.

Их было три — про лапоть, пузырь и соломинку, сестричку Аленушку с братцем Иванушкой и еще про гусара. Эту мать рассказывала всегда тихо, в подушку, и тебе не нравился ее голос.

— Давай громче! — требовал ты.

— Ну вот, — шептала мать, — приехал он с войны, на побывку. Господи! Погоны горят, пуговики сияют, а хорош сам, а пригож... Тогда была троица. Мы — девки и солдаты — на лугу корогод водили, а он покликнул меня при всех, достал десять рублей и говорит: «Катюша...» Звал так меня.

— Ну? — понукал ты.

— Катюша, говорит, сходи ты сею минуту в лавку и набери рожков, ланпасет, подсолнухов, вина-фиалки и всего, чего тебе самой захочется...

— Ты накупила, а он взял и раздал все корогону, а фиалку выпил сам и пошел, а сапоги сверк-сверк!

— Да нет, — сквозь слезы счастливо возражала мать, — сверк-сверк было потом, через год, когда он приезжал в другой раз, а я провожала его по выгону...

Сказка про гусара на том и кончалась. Но что же тебя привлекло в ней? Что?..

Иногда, если вам не засыпалось, мать ни с того ни с сего начинала смеяться сама с собой и щекотать тебя — шмыгать пальцами по твоему животу. Наверно, ей нравилось, как ты хохотал и барахтался, и, продлись эта сладкая мука ее щекотки еще какой-то миг, ты бы трудно и радостно умер, но мать всегда вовремя прекращала щекотку, и вслед за этим наступал изнеможенно блаженный покой, когда хохотать еще хотелось, но уже было невозможно... Так в тебе зародилось опасение, что

домовой тоже может щекотаться и обязательно в самом смешном месте — возле пупка. И когда мать отлучалась из хаты, ты залезал на подоконник и прижимался к раме — прятал живот, а спина у тебя щекотки не боялась. Совсем...

И было однажды так. Тогда стояла зима. Ты продушал на замерзшем стекле кружок и глядел на двор. Прямо под окном хаты лежала высокая куча хвороста, и на ней сидела большая черная птица с седой головой. Мать вбежала со двора в хату — красивая и холодная. Она схватила тебя и кинулась было в сенцы, но тут же вернулась к впазу на печку, затем вы очутились в чулане, за ситцевым пологом, где стояла кровать. В хату входили чему-то радовавшиеся, невидимые вам чужие люди. Тебе хотелось туда, к ним, но мать не пускала тебя с кровати и не выходила сама из-за полога.

— Отец наш пришел с войны... Теперь убьет. Обоих, — шептала она, а глаза у самой были крепко зажмурены... Кончилось это так. Ты вырвался, влетел в горницу и в тишине, которая наступила с этим твоим явлением, сказал человеку, от которого прятала тебя мать:

— Здорово ж тебе! Ты на войне родился? А я тут...

Мать заголосила за пологом, а человек в громадных ботинках с длинными голенищами, унизанными желтыми лупастыми пистонами, посадил тебя на колени к себе и с той минуты стал твоим отцом... В ту же ночь домовой ушел из вашей хаты. Навсегда... Домовой Зеленые Уши... А неделей позже ты впервые увидел деда Дениса, или Жялу, как звали его по-уличному... Вы обедаете. Отец сидит на лавке в святом углу под иконой, ты одесную с ним, а мать напротив вас на скамейке. Голову она держит опущенно и покрыта платком низко-низко. Блюдо у вас разлатое, деревянное, цветастое. Ложки тоже. Вы едите щи — густые и горячие, как огонь. Ты тесно льнешь к отцу, и он перекладывает ложку из правой руки в левую, чтобы было свободней черпать. Мать почти склоняется над столом, и плечи ее начинают вздрагивать мелко и часто.

— Ну чего ты? — горестно говорит ей отец. Ты предательски и радостно сообщаемь ему, что она всю жизнь такая. Сперва смеется, а после щекочется. В эту минуту дверь из сеней распаивается, и шар белого пара вносит в хату человека в дубленой шубе, в заячьей шапке и в желтых лыковых лаптях. Прямо от дверей он

ударяется в пляс с присядкой под собственную присказку, навсегда запавшую в твою память.

Во саду ли, в огороде  
Двенадцать метелок.  
Бабы любят мужиков,  
Ребята девчонок.  
Гоп, мои гречаники,  
Гоп, мои белые!  
Чего же вы, гречаники,  
Не скоро поспели!

— Здорова была, Катък! — говорит он матери и выпрямляется у стола, сняв шапку. Голова его седая, коротко остриженная. Борода маленькая, ладная и блестящая, как иней на окне, а глаза черные, круглые и веселые.

— Родък, на-кось вот кочетка!

Это тебе! Пряник-петух душистый, невесомый, с малиновыми разводами по одному боку и с единственным пронзительно-голубым глазом-бисеринкой.

— Иду, понимаешь, а кобель ваш «к нам — к нам — к нам!» — наклоняется он к отцу. — Думаю, надо зайти!

— Ну и хорошо, что наведался, — сдержанно говорит отец. Мать встает из-за стола и уходит в чулан.

— Побалакать с тобой надо, — тихо, но со скрытой крутой силой говорит Жяло отцу и достает из кармана шубы бутылку. Он звонко ставит ее на стол и весело приказывает невидимой матери, чтобы она сходила в погреб за огурчиками. Мать приветно и слабо отвечает, что огурцы есть дома.

— А ты не торопясь холодненьких добудь!

Мать закутывает голову шалью и уходит из хаты, а Жяла садится рядом с тобой и, ковырнув пальцем твой живот возле пупка, говорит отцу странное:

— Слышь, Петро, а ить чей бы бычок ни сигал, а теленочек наш! Как думаешь?

— А я.. все простил и забыл, — не сразу отвечает отец в стол.

— Ты ж, почитай, семь годов пропадал без вести! Так што...

— Да я ж ничего, Денис Григорьич, — отзывается отец и кладет руку тебе на голову.

— Ну, тада все! Тада и рассусоливать нечего! А то мы с моей Андревной наладились, ежели чего, то забрать малого.

Ты не расслышал, что ответил отец Жяле. Наверно, что-то хорошее для тебя, потому что он засмеялся и хлопнул отца по плечу. Мать в это время принесла огурцы, а тебе пора было долго-долго есть своего петуха, и ты бежишь на печку... Потом, позже, ты узнал, почему так несуразно звали деда Дениса: однажды он пригрозил-похвалился, хмельной, на улице, что будто пчела в его пасеке с галку, а «жялы» у них с палку... Жялин пряник... Первый подарок в твоей жизни от чужого человека...

Утром, как только Яночкин тихонько ушел на зарядку, Сыромуков добросовестно исполнил, что обещал накануне уборщице, а после сдал в амбулатории кровь и отсидел положенное время в очередях у кабинетов рентгеноскопии и кардиографии. Никакого намека на дождь и ветер с гор не намечалось — утро снова походило на крашеное яйцо, но из-за солидарности с Денисом Сыромуков был хмур и озабочен. Он запоздал, как и хотел, на завтрак, поэтому стол его оказался свободным. Клава принесла ему кофе, котлеты и манную кашу, и все это он с удовольствием съел, не изменяя мрачного выражения лица. Сердце почти не ощущалось, и о нем не следовало помнить: медициной давно установлено, что боль — естественная, природная функция, помогающая человеку остерегаться опасности, угрожающей его телу. Другое дело перебои и остановки. А боль в сердце — ничего. От нее можно лечиться, что он и начал делать, как и обещал Денису...

День предстоял прогонно пустой, без занятости и прикаянности, а это могло вызвать истинную, а не поддельную хандру и тоску, и Сыромуков наметил для себя ряд неотложных дел, которые надлежало выполнить до обеда: купить газеты, сходить в библиотеку, а после спуститься к гроту — возможно, как раз сегодня старик появится там со своим точильным станком. Они тут молодцы и живут по сто лет и даже больше... Летуче, вскользь Сыромуков напомнил себе, что на всякий случай ему предстоит вполне реальная встреча с другим горцем — бывшим своим партизаном Зелимханом, но свидеться с ним следовало в последний срок, перед отъездом. Повод для этой встречи был немного обидный для Сыромукова: Зелимхан разыскал его адрес и объявился сам по делу — требовалась характеристика для буду-

щей, наверно, пенсии. Только и всего. Письмо пришло за неделю до отъезда на курорт, и Сыромуков сочинил ему героическую бумагу и заверил ее в военкомате. На здоровье! Привез он с собой и роскошный альбом-сувенир «Партизаны янтарного края», изданный в Прибалтике на русском, местном и английском языках. В книге был снимок Зелимхана — юного, увлеченно стремительного, похожего чем-то на тура... Сыромуков жертвенно подумал, что в альбоме, поди, килограммов шесть веса, и чемодан провисал и бурдючился главным образом из-за этого. Но теперь уже все равно. Теперь уже нечего. На здоровье... Зелимхан жил где-то тут на улице с печальным и сильным названием Павшие Герои, и пойти к нему надо в самый последний день, чтобы до встречи помнить его тем, прежним, двадцатилетним...

На воле было по-утреннему прохладно, звучно и высоко, и Сыромуков не стал противиться чувству беззаботности и благополучия. В тени на траве еще держалась сизая изморозь, и по ней, хрусткой и ломкой, манило пройти так, чтобы позади осталась свежезеленая борода, и хорошо было войти в ворох листвы под деревом и гремуче пошуровать его носками ботинок, и хотелось, но на виду людей не смелось пособирать каштаны — нежно масляные и багряные, как пенка на топленом молоке... Он пожалел о недоступности прикосновения к радости детских утех, свалил берет за ухо и направился к зданию почты. Оттуда поодиночке и группами шли с газетами в руках курортники. Мужчины-толстяки выступали со старательностью грузных людей казаться ловкими и легкими, не замечая, как при каждом шаге высоко и смешно поддегиваются у них штанины, оголяя носки. Сыромуков украдкой проследил, как у него самого выносятся и опускаются ноги, и удостоверился, что брюки его не подтягиваются. Нисколько. Он купил газеты, и в настенном фанерном шкафу просмотрел письма — а вдруг! — но в ячейке под буквой «С» валялись четыре пухлых конверта на имя какой-то Милаиды Сладкой. Что с ней могло случиться? Хорошее или плохое, если она не желает читать адресованные ей письма? Сладкая, видите ли, не очень-то удобная для женщины фамилия... Впрочем, неизвестно и то, какой Сахар пишет ей. И о чем... На какой-то миг в памяти Сыромукова обозначилась и не удержалась фамилия Лары. Тоже что-то связанное с завтраком, но не в пошлом оттенке. Не

то Чайницкая, не то Хрустальская. Что-то в этом роде... Он даже не заметил, что примеряет к малютке наиболее благозвучные фамилии: с ее ростом ей было бы совсем ни к чему называться Ситичкиной, например, или Ложечкиной.

На своей лавке у иссякшего фонтана Сыромуков прочел газетные новости. В мире все было по-прежнему. Во Вьетнаме воевали, в Америке бунтовали негры, и, по сведениям бюро погоды, в Прибалтике шел мокрый снег. Денис, конечно, теперь в школе... Кроме соловья, ему надо привезти что-то еще. Фаянсовую кружку с голубым орлом. Лучше бы кавказский кинжал. Хотя бы игрушечный. А бусе — козловые тапочки с розовыми помпонами. Как в тот раз. Их, наверно, продают все на том же месте — возле памятника основателю санатория перед лечебным корпусом, не позже восьми часов утра, пока спит милиция... Но как же все-таки фамилия этой Лары? Изюмская? Крупницкая? Черт знает... Вообще-то бог несправедливо обидел ее. Каких-нибудь бы десяток сантиметров — и все. Что там ни говори, а тело, в сущности, выдает характер. Ум у нее острый, но бедный... Хотя что можно узнать об уме человека за две беседы? Чепуха!.. Сейчас она, наверно, принимает нарзанную ванну. Неужели это ей нужно? Смешно...

От водолечебницы, куда по пути в библиотеку Сыромуков завернул как бы ради моциона, открывался просторный вид на юго-восточную гряду лилово-сиреневых холмов и гор, за которыми грандиозным сиятельным собором вставал Эльбрус с нависшим над ним белым причудливым облаком, похожим на парящего орлана. Да, верховный зодчий не поскупился тут ни на пределы и замыслы, ни на формы и краски — творил для непостижимой бесцельной вечности, в угоду своей яростной радости свершителя — да будет и это! Здесь, у водолечебницы, было солнечно, и возле портала на скамейках тесно сидели люди в синих тренингах, с рулонами полотенец на коленях, запрокинув лица в небо. Сыромукову незачем было гадать, кто мог загорать в отшибном одиночестве на лестничной ступеньке водолечебницы, — в позе малютки столько крылось зловредно-перекорного, непримиримого, вызывающего на отпор! На ней тоже был тренинг, но не синий, а голубовато-аспидный с металлическим отливом, как у жемчужной мухи. Она читала книгу — на солнце-то! — и Сыромукову озорно поду-

малось, что было бы, если б он, подкравшись, щелкнул ее в макушку мизинцем? Нет, у нее может случиться стресс... «Да и не в твои лета шутить так. И не с ней...»

Он все сделал для того, чтобы малютка заметила его сама, и медленно пошел мимо нее, вполшага от лестницы, напялив очки и глядя в газету. На обратном его рейде Лара подняла глаза от книги, получилось все так, как ему хотелось. Она первой поздоровалась, трогательно щурясь против солнца и не двигаясь с места. Сыромуков молодым движением сел рядом с ней на ступеньку, подумав о брюках, что гранитная пыль отчищается легко.

— Разве вам не жарко в этом своем десантном берете? — распевно сказала Лара. Было непохоже, чтобы она вкладывала в вопрос какой-нибудь иронический смысл, но Сыромуков защитно напрягся и в свою очередь спросил, как она сама чувствует себя в своем змеином выползне?

— Харашо-о,— польщенно ответила Лара,— а почему вы в очках? Вы же не читаете сейчас.

— А мне так легче будет руководить вами,— сказал Сыромуков,— вы не сможете поймать мой взгляд, если я буду в очках. Что вы читаете?

Она протянула ему томик стихов в радужной суперобложке со снимком автора. Поэт был запечатлен в позе атакующего боксера, задом к читателю.

— Сила! — сказал Сыромуков, возвращая книжку.

— Он вам не нравится? — спросила Лара.

— Мне трудно воспринимать его напевы за мысли. Этот боксер не разбудит дедовских могил.

— А ваш Есенин разбудил?

— Не любите златоглавого? А как же вам удалось запомнить его строку насчет напевов и могил?

— По этой самой причине. Помнишь ведь не только то, что любишь. Чаще всего наоборот.

Сыромуков сказал, что она мужественный человек. Лично он не осмелился бы признаться кому-нибудь в непонимании чего-то прекрасного.

— А что это такое — прекрасное? — полунасмешливо осведомилась Лара.

— Наверное, все то, что отличается от пошлости, как форма от безобразия, и постигается без усилия,— осторожно ответил Сыромуков и подумал, что его опять, как вчера, начинает заносить в дебри красноречия. Он



снял очки и берет — было в самом деле жарко, и по тому, как малютка посмотрела на его голову, устыженно догадался: начес разорился, обнажив плешь.

— Это у вас прическа под Тита Ливия? — с простодушием кроткой дурочки спросила Лара, но вид у нее был вполне невинный. Сыромуков в тон ей сказал, что скорей всего под Сысоя Лысого, и сразу почувствовал себя легче, — скрывать плешь тут было уже незачем.

— Не могу примириться. Ощущаю это как какой-то мелкий и для всех открытый позор без вины, — доверчиво пожаловался он, потеревив волосы. — И представьте, чувство это растет пропорционально лысине, понимаете?

Лара согласно кивнула, но сказала, что не представляет, как могут занимать такие ничтожные пустяки серьезного мужчину.

— Все еще хотите нравиться не только женщинам, но и девушкам? — с намеком на улыбку спросила она. — А как супруга относится к такому вашему пристрастию?

— Никак. Ее у меня нет. И пристрастия к девушкам тоже, — ответил Сыромуков.

— Но вы говорили, будто у вас сын, — напомнила Лара, следя за его лицом. Сыромуков, полуотвернувшись, сказал, что жена бросила его тринадцать лет назад, уйдя к другому.

— Бедный, — откровенно издевательски сказала малютка, — и лысете вы без вины, и жена оставила вас одного с ребенком. Ай-я-яй!.. Но вы тактически правильно поступаете, Родион Богданович. Женщины испокон веков любят утешать одиноких и непонятых. Это происходит у них из так называемого материнского инстинкта. Между прочим, они тогда не противятся тому, чтобы ими руководили. Даже без очков... Вы не опаздываете?

— Куда? — спросил Сыромуков.

— На процедуру.

— Нет. Мне не нужно, — досадливо сказал он. — А почему вы заговорили со мной в таком тоне? Какая муха укусила вас?

— Не переносу, когда избранники природы прикидываются несчастенькими, — злобно сказала Лара. — Эта роль им не подходит. Другое дело карлики, вроде меня... Скажите, у вас в самом деле больное сердце? Или...

Она не закончила фразу и посмотрела на Сыромукова уличающе-допросным взглядом. Он закурил и оскорбленно сказал, что все выдумал. И сердце и лета свои, и уход жены. Ну, и что из того следует?

— А то, что вы какой-то, извините, неестественный, выставочно-показной,— резюмировала малютка.— И имя-отчество у вас книжное, выдуманное. И сына вы назвали претенциозно — Денис! Кстати, а как ваша фамилия? Как она звучит?

— Правильно звучит! — сказал Сыромуков и с нажимом, по слогам, дважды повторил свою фамилию.

— Как псевдоним,— определила Лара.

— Рад слышать, но я не сам придумал ее! — возразил Сыромуков.

— А имя сыну?

Он сказал, что нарек так Дениса из противодействия натиску пошлой моды на заграничные имена. На Маратов, Робертов, Ричардов, Аполлонов. До известного времени такой Аполлон еще так-сяк может вписываться в родное пространство, но потом его ведь придется величать по батюшке. А тот — Сидор. И получится как в старинной русской поговорке — без порток, а в шляпе.

— Весьма изысканное выражение! — саркастически сказала Лара.— Вы, значит, современный русофил. А скажите, пожалуйста, какого стиля придерживаетесь вы в архитектуре? Псковско-византийского?

— Нет. Лазурного, вообразите себе,— едко ответил Сыромуков.

— А что это значит?

— Это значит — города вечного солнца, музыки и радости!

— Любопытно. И как встречались ваши проекты? Вы как будто говорили мне... образно так... что всюду совались, а нигде вас нет. Как это понимать?

— Прямолинейно. Проекты мои встречались молчанием.

— Почему?

— Те застройки, что я предлагал, пока что неосуществимы.

— Но вы с этим не согласны, конечно?

— Вполне согласен.

— И тем не менее...

— И тем не менее! — раздраженно перебил Сыромуков и надел берет.— Хотите со мной в город?

Лара замедленно кивнула и с разоряющей покорностью спросила, надо ли переодеваться.

— Вы подождете меня? Я быстро,— жалко сказала она.

С того места, где Сыромуков условился ждать, Эльбрус не проглядывался, заслоненный деревьями, и оставалась надежда, что облако-орлан над ним цело,— все величественное не исчезает ни с того ни с сего! Справа, с северной стороны за городской низиной, далеко просинивались пологие взгорья, и там по невидимой дороге картинно ехал крошечный всадник, которого вполне можно было принять за Печорина или Казбича, но, как ни старался Сыромуков отвлечься, это ему не удавалось; самоощущение у него было такое, будто он проглотил запеченную в булке муху, приняв ее за изюм, а булку ел черте зачем, не испытывая голода. Было муторно на душе, стыдно себя, и хотелось припомнить что-нибудь задорное и отталкивающее в ребяческих проступках Дениса — от этого почему-то становилось легче ждать. Беседа с Ларой представлялась Сыромукову какой-то мусорной перебранкой, в которой он оказался в роли защищающегося с неверным и фальшивым тоном, обязывающим продолжать отношения, но главное из стыдного было в другом — он не мог ответить себе, зачем ему понадобилось каяться в позоре своей намечающейся лысины, кокетливо жаловаться на молчание, с каким встречались его лазурные, видите ли, проекты, и выдумывать, будто жена ушла к другому? Ничего подобного ведь не было, она ни к кому не уходила, ни к кому! Нехорошо было и все остальное в беседе-перепалке, в особенности же Сыромукова неприятно озадачили слова малютки о том, что он неестественный, выставочно-показной,— его бывшая жена не раз и не два говорила ему совершенно обратное, совершенно: там возмущались его усредненностью и «стертостью».

— Поди объясни кому-нибудь, что это значит! — сказал Сыромуков и выругался темно и непутево в мечь и унижение себе. У него были сложно запутанные чувства к ушедшей жене: рядом с обидой в нем все больше и больше росло теперь сожаление к ней и сострадательное прощение того, что в совместной их жизни порождало его враждебность и ненависть. Оттого, что место ожидания Лары походило на скрытую засаду

и было неизвестно, за каким дьяволом он пригласил ее в город, Сыромуков не только без горечи, но почти с уважением оглядел мысленно свою супружескую жизнь, показавшуюся ему остовом недостроенного и заброшенного дома, возводившегося по вполне лазурному проекту.

— Попробуй Расскажи кому-нибудь толком, что у вас случилось! Как началось это ваше строительство и чем оно закончилось! — опять сказал он вслух и подумал, что не только посторонний человек, но даже сам он уже давно и сомнительно полуверит себе — да было ли все это на самом деле? Шел ли он в действительности тогда в форме немецкого лейтенанта? Шел? Или это перенесено на себя из многосерийных боевиков про партизан-разведчиков?

Но в том-то и дело, что шел. В том-то и дело!

Тогда, в сорок третьем, весна в Прибалтике наступила рано, уже в апреле в лесах зацвели дикие яблони и появились кукушки... Я недавно узнал, подумал Сыромуков, что тоскует-кричит не кукушка, потерявшая детей, а самец. Да-да, самец, и черт с ним, такая, значит, у него судьба...

На то, чтобы мысленно окинуть ту свою партизанскую весну, лето, осень, зиму и снова весну и лето уже нового, сорок четвертого года, Сыромукову понадобился один короткий миг — это все равно как если б лучом карманного фонаря поверочно высветить в темном подвале сложенное тобой же добро и удостовериться, что все там цело, все остается на своем прежнем месте. Другое дело заново перебирать-раскладывать это добро-недобро. Сыромуков подумал, что навряд бы он справился с такой задачей. Какие-то кладки пришлось бы оставлять неприкосновенными, а что-то именовать иначе для понятности людям, так как нажать эта принадлежит всем, а не кому-то одному... И тем не менее он все-таки шел в форме немецкого лейтенанта. В том-то и дело!.. Тогда, в апреле сорок третьего, к его группе нечаянно прибилась толпа бедолаг, бежавших из какого-то барак-лагеря на торфоразработках. Их было шестнадцать человек с палками-посохами в руках. Как и полагается, ими уже путеводил свой лидер, организовавший побег, — паренек лет девятнадцати. Нет, они не кинулись обниматься, все двадцать шесть сыромуковцев — сам он тоже, — встретили их молча, и бедолаги стояли тесно сбитой кучей, с мольбой и страхом глядя на тех,

кто до этого грезился им как осанна верующим. Эту безоружную ораву больных и голодных доходяг сыромуковцы поднять не могли. Беглым предстояло брести своей дорогой на восток, и лидер их, возможно, получил бы немецкую винтовку, лишнюю в группе, но в последний момент Сыромуков заметил торчащий у него за гашником столовый ножик с деревянной ручкой.

— А ну, покажи,— потребовал он.— На хуторе добыл?

— Так точно, товарищ командир! — по-военному ответил лидер. Острие самодельной косенки было как огонь, успел наточить.

— Выпросил или украл? — возвращая ножик, спросил Сыромуков.

— Дома была одна старуха. По-русски она не понимала...

— Но хлеба дала?

— Так точно! И сала тоже!

— Какое у тебя воинское звание?

— Старший сержант... бывший.

— Почему бывший, раз ты живой? Кто тебя демобилизовал?! — прикрикнул Сыромуков.

— Не знаю... в плен же попал. Не бросайте нас, товарищ командир. Мы ж свои...

Сыромуков не узнал, кто сказал тогда, что за линией фронта проверят, свой он или чужой. Это было выдано с дрянным полусмешком превосходства сильного над слабым и как бы правого над виноватым. Сыромуков, как под ударом, обернулся на эти слова. Его люди стояли, демонстративно покоя на животах игрушечно ладные немецкие автоматы. Да, это у них было. Уже было. Но перед кем же похвалиться? И зачем? Затем, что им, вооруженным, не будут потом заданы вопросы, чьи они родом? Не будут? А ведь всего лишь семь месяцев назад он точно так же вел их, голодных и безоружных, на восток, только толпа та была раза в три больше этой: в товарный пульман, откуда они бежали, немцы загоняли по сорок восемь человек... Сейчас невозможно было узнать кого-нибудь из них, тех, саласпилских. И нельзя было — не нужно в лесу — устанавливать, кто бросил камень в этих. Он метко попал в цель, вожак беглецов заплакал, а Сыромуков приказал ему построить своих людей.

— За что, товарищ командир? Мы же все раненные были! Не губите!

Он упал на колени, а люди его шарахнулись в глубь леса, но не врассыпную, а кучей, хватаясь один за другого. Потом, секундами позже, выяснилось все, и было трудно удержаться от желания ударить лидера за сумасшедшую мысль и за то, что подчиненные его не знают, как спастись в лесу из-под расстрела в упор... Осипшим голосом, подстегнутый каким-то устрашающим восторгом перед собственным решением, которое возникло у него, как возникает в человеке порыв к подвигу, Сыромуков объявил беглецам, что властью, данной ему как лейтенанту и разведчику генерального штаба Красной Армии, он восстанавливает им воинские звания и зачисляет в свою спецгруппу. Так был удостоверен смутный домысел его людей, кто такой на самом деле их командир. Сыромуков знал о существовании этой ложной на его счет догадки, но внятно не подтверждал и не опровергал ее: она не только предоставляла бывшим пленным основу для личных надежд на жизнь, но в первую очередь подчиняла их поведение интересам высшего порядка. Тайно, про себя, он уже давно решил, что только это — вера в его мнимую миссию — может придать нравственно ценный смысл их поступкам, помочь им — и ему самому тоже — не превратиться в обыкновенных мародеров. Другое дело, как все это будет. Сумеет ли он держать себя так, чтобы, не роняя достоинства генштабиста, не присваивать в то же время его привилегии. И как быть потом перед своими этими и своими теми, что придут? Сможет ли он объяснить, для чего ему понадобилась ложь? Наверно, все-таки сможет. Бежавших из лагерей будет все больше и больше. Они тут без знамен и без надежд. Им нужен, нужен генштабист со своей полномочной властью и силой, милостью и защитой, и не его вина, что такого человека среди них нет!..

Может быть, только тот, кто по злой воле судьбы оказывался в недостижимости законов своей страны и за чертой доступности ее послов, в состоянии понять, как отрадна бывает минута обретения над собой сладкого бремени защитной власти этих законов! Хотя русский человек склонен легко переходить от неприязни к любви и от печали к радости, все же тогда в прибалтийском лесу был несомненный повод для того, чтобы каждый побратался со всеми, а все с каждым...

Так пополнилась в первый раз группа Сыромукова,

и уже на второй день положение ее усложнилось вдвое. До сих пор она жила легуче, не отвлекаясь от главных шоссеиных дорог. Свалить в кювет любую автомашину, если она шла без сопровождающего броневика, не считалось трудным делом — для этого достаточно было двух автоматов, чтобы один бил по кабине, а второй по кузову. В «бьюссингах» и «опельблицях» попадалось не только оружие. В крайнем случае запас еды пополнялся при переходах, чаще всего на встречных хуторах лесников или старост — людей богатых и враждебных. Теперь же группа утратила свою жизнеспособность, затаборившись на одном месте: после братания и еды на новичков напал не то какой-то злостный понос, не то дизентерия. Они все оказались пораженными вшами, чесоткой, струпьями да болячками, и заряда жертвенной любви к ним у сыромуковцев хватило ненадолго. Больные лежали в шалаше из еловых лап и сосновых веток. В его крыше была дыра, но дым от костра не всходил вверх, а стлался понизу, гася пламя, и доходяги по ночам мерзли и задыхались. Уже на вторые сутки Сыромукову стало ясно, что тут ничего нельзя было поделать, если б даже все его двадцать шесть человек оказались разведчиками генштаба, решительно ничего, кроме единственного — сняться с места и уйти. Одним. Оставив тех в шалаше с замаскированным костром. Но генштабистом был он один на всех — и для этих, и тех, и главным образом, как ему казалось, для тех, только что восстановленных в воинских правах. Бросать их было нельзя. Тогда сама собой разрушалась и оподлевала идея его самозванства. Тогда им, вооруженным, прямой путь в бандиты. Чтоб пограбить и пожить, а там... Нет, бросать новичков было нельзя, но другого выхода Сыромуков не видел. Он быстро убедился, что до самозванства ему было легче командовать. Тогда требовалось лишь улавливать согласное желание всех и в соответствии с ним принимать решение. Теперь же все изменилось. Теперь люди безропотно помалкивали, ждали его приказа, что им делать и как быть. В их поведении появилось что-то скованное и притушенное; они стали отдаленнее от него. Сыромуков не знал, что надо было делать, и скрытно возненавидел тех, что лежали в шалаше. Никому и никогда он не признавался в том, как заклинаяще горячо призывал на них тихую легкую смерть, чтобы она прибрала их одним освобождающим махом, враз. Тогда бы их почетно похоронили в общей могиле, как

воинов и братьев, и группа снялась и ушла бы своей дорогой.

Но заклатья не действовали, доходяги оставались живы — им, обретшим права людей и солдат, нельзя, наверно, было так бессмысленно погибнуть. Сыромукову показалось тогда нужным покаяться бывшим пленным, что он обманщик, что настоящий разведчик не станет объявляться перед строем, о чем им следовало бы знать... Он представил себе — тут, перед шалашом! — этого настоящего разведчика. Подумаешь, какая засекреченность!..

И Сыромуков раздумал каяться... Сейчас бы он ни за что не согласился поглядеть на себя — того себя — даже издали. Что тогда с ним было? С какой стати он взял и надраил песком пуговицы на своей нелепой железнодорожной шинели? Она была черная, безобразно широкая и длинная, и латунные пуговицы ее чистить не следовало хотя бы потому, что на них изображался какой-то витязь на вздыбленном коне, а не своя красноармейская звездочка. Голенища яловых, польского фасона сапог тоже не надо было подворачивать, — на кой черт, ведь ходил же до этого в нормальную длину, а тут вдруг срочно понадобилось! Зачем? К какому смотру готовился? Утверждался, значит, в «генштабстве», зас...! Еще мельче и недостойнее было то, как он на третьи сутки братания воровски ловко спрятал свою беспомощность и растерянность за напущенной на себя неприступной таинственностью. Дескать, я знаю, что делаю, все учтено и выверено, и обсуждать что-нибудь тут нечего! К тому времени кончилась еда. Хотя никого из братвы не приходилось учить, как находить насущный свой кусок, все же добыть его без риска навлечь на себя карателей возможно было лишь в движении, а не сидя на одном месте.

В тот день он с утра не вылезал из своего командирского шалаша и с великим усердием провинившегося человека работал — протирал «вальтер». Это занятие, как и чистка пуговиц, тоже было ненужным и несрочным, но все же ему сообщался кое-какой смысл: оружие есть оружие, оно требует ухода и догляда. Он работал и думал, что выходить ему из шалаша только с подвернутыми голенищами и начищенными пуговицами немислимо, что он обязан отдать людям какое-то обнадеживающее их распоряжение, в котором проявилась бы и его командирская уверенность. Он поискал, чем



бы возмутиться по хозяйству лагеря, но приказывать людям было нечего. Они сами, по заведенному между собой порядку, распределяли на стоянках время смены друг друга в секторах, знали, чем грозит осечка или невыброс стреляной гильзы, и свои автоматы содержали в добре. Нет, приказывать братве на стоянке было нечего; и все же повод проявления «генштабской» воли в конце концов отыскался. Сыромуков распорядился принести ему в шалаш «штабной сейф». Это был фельдпостовский парусиновый мешок величиной с матрац, клейменный черными орлами. Четыре таких мешка с письмами и посылками на восточный фронт попались группе в подбитом «блице» минувшей зимой накануне Нового года. Писем как раз хватило на скорый обогрев костер — в тот день дул низовой промозглый ветер. Посылки были разной величины, но даже самые большие не превышали размера упаковочных картонок для дамских туфель, и все они уместились в одном мешке. Его несли поочередно, то и дело сменяя друг друга, и причина такой взаимовольной предупредительности была не в тяжести мешка, а скорей всего в святой ревности приобщения к тому, что в нем находилось. Досмотр посылкам учинили на первом же привале, и начался он с больших, окрещенных «гауптмановскими». Там лежали настылые, в фольговом серебре и золоте, шоколадные плитки, красочно расцвеченные пачки сигарет, грецкие орехи, брикеты галет и печенья. То же самое, но потусклее и помельче было и в средних, «фельдфебельских» коробках. Их досмотрели с таким же чинным сознанием своего права на это, как и «гауптманские», и, может быть, каждый считал и верил тогда, что эти новогодние подарки посланы ему самим господом богом... Маленьких посылок-пакетов оказалось раза в три больше, чем офицерских. Им не стали придумывать название — было ясно и так, что это солдатские. В той, что вскрыли первой, лежал в какой-то запретной сокровенности начавший плесневеть пирог домашней выпечки, серые, грубой вязки носки, три или четыре витые елочные свечки и фотокарточка старой женщины, покрытой темным платком на русский манер. На привале установилась трудная пустая тишина, пока посылка переходила из рук в руки. Ее водворили на место, в мешок, и кто-то из братвы крикнул, что хватит тех, больших, мать их в закон и веру, а эти холостить не надо, никто не нуждается... Сыромуков ушел тогда в

лес, борясь с удушающим комком, подкатившим к гортани, а вернувшись на поляну и все еще стыдясь своей минутной слабости, остервенело скомандовал поход. Он так и не узнал, потому что не хотел знать, куда делись эти солдатские посылки, когда и где братва похоронила их. С той зимней поры мешок и превратился в «сейф». Его мыслилось предъявить потом одновременно с самим собой тому, кто будет ведать дальнейшей судьбой бывших пленных, и предполагалось, что чем больше окажется в нем разной трофейной клади, тем благополучней сойдет та встреча...

Этот-то «сейф» и был доставлен в шалаш Сыромукова. В щель лаза он видел лишь сапоги того, кто его принес, — тупоносые, на двойной подошве в железных шипах, с удобно короткими голенищами в раструб. Брюки и шинель на парне тоже, конечно, были немецкие. Сыромуков впервые тогда подумал, что грядущая встреча со своими может обернуться лихом, если братва будет одета и обута так же, как и власовцы, — поди там определи сразу, чей этот малый родом и откуда он... Тот доложил тем временем об исполнении приказаний, назвав Сыромукова не командиром, как это было принято в группе, а товарищем лейтенантом, и попросил разрешения идти. Он стоял по команде «смирно» — это было видно по сапогам — и повернулся кругом по-военному собранно, и с места шагнул с левой ноги. Он, наверно, считал, что если воинское достоинство возвращается каким-то там пришей-пристебаям, только что сбежавшим из плена, то ему, кадровому сыромуковцу, сам бог велел числить себя военным. По его уходу Сыромуков ощутил себя полностью раздавленным сознанием неспособности оправдать надежды обманутых им людей... Сейчас ему не хотелось задерживаться памятью над тем, как он примеривающе нянчил «вальтер», мстительно отсылая братву самостоятельно решать, что делать с собой и с доходягами. Вспоминать об этом не хотелось потому, что даже теперь невозможно было определить, какая причина помешала тогда ему: мысль о таком злостном своем дезертирстве или же протестующий ужас тела перед вонючим куском железа. Но скорей всего это намерение было неискренним, выблудочным, чтобы потерзаться жалостью к себе. Недаром же он забыл о пистолете, как только в шалаш влетели две лимонницы. Они огненными лоскутками заметались в зеленой тьме, и он долго следил за их слепым трепет-

ным порханием, сам дивясь тому, с каким душевным напряжением, доходящим до физического страдания, ждет их излета на волю, а когда загад сбылся, подтянул «сейф» к ногам. Мешок был завязан нарочно окороченным для того трофейным поясным ремнем. Его пряжка покрылась налетом сизой окиси, но буквы девиза «готт мит унс» проступали на ней выпукло и почему-то блестели. Сыромуков знал смысл этого изречения и никогда не спотыкался на нем разумом — мало ли было кощунств на земле и помимо, но в тот раз он с безысходной смутой подумал, что даже вот у фашистов есть свой бог и свой Адольф Гитлер, а от него с братвой и от тех, что повалом лежали в вигваме, давно отступились все небесные святители...

Бесцельно, но сосредоточенно он стал доставать из мешка трофеи — бумажники с документами и марками, оторванные с мундирной тканью солдатские и офицерские погоны, затихшие часы, кресты и медали, губные гармошки, карманные фонари, портсигары, автомобильные ключи зажигания — и неизвестно зачем раскладывать подле себя. Дрязг этот отдавал сложно соединенным запахом слежавшейся нечистоты, железной ржавчины, солярки и еще чем-то невыразимо отвратным. С бессознательной брезгливостью и опаской, будто он захватывал живую мерзкую тварь, Сыромуков выбрасывал и выбрасывал из мешка, что попадалось под руку, и, когда там ничего не осталось из мелочи, безнадежно подумал, что едва ли этот хлам послужит хоть каким-нибудь свидетельством перед своими, что он с братвой тоже не чужой. Наверно, придется еще доказательно объяснять, как это собиралось, для чего и по чьему распоряжению... Его тогда впервые настигло раздумье, почему этот дурацкий мешок с муторной поклажей ни разу не навел братву на догадку, что их командир — такой же бывший пленный, как и они сами? Отчего они считают, что он неспроста куковал с ними в лагере? В чем тут причина? В том, что он организовал побег? Или же в том, что человеку хочется обманываться, если это сулит хоть какую-нибудь надежду?..

В мешке оставалась еще самая главная кладь — три жандармские нагрудные бляхи и комплект офицерского обмундирования. Кладь эту Сыромуков выбрал из мешка напоследок — хотелось убедить самого себя, что не все там дрязг и бирюльки. Предполагалось, что обезвреженные знаки жандармской власти должны бу-

дут произвести впечатление на любого с в о е г о тылови-ка-дознателя — если, конечно, не распространяться на-счет того, как они были добыты. Встреча с жандарма-ми не потребовала от братвы ни жертвенного подвига, ни даже маломальского солдатского риска: те были уко-бенены безобразно грубо, легко и безжалостно, а глав-ное, случайно: они шли по шоссе, ведя заглохший мо-тоцикл, и никто из них не успел схватиться за оружие или залечь в кювет. Уже мертвых, братва продолжала расстреливать их вблизи, и ей нельзя было приказать прекратить победно-яростную стрельбу... Да, отсвета во-инской доблести на трофейных бляхах, пожалуй, не было — жандармы полегли, как быки под обухом. Черт догадал их погибнуть без ответных выстрелов! Не удо-сужились выпустить хотя бы одну-единственную очередь! Тогда б кто-нибудь из ребят мог быть убит... а луч-ше всего ранен, в левую, например, руку, и с бляхами все вышло бы по-другому. Как-никак, а была бы стыч-ка, кровь.

Не много солдатской славы, как ее понимал Сырому-ков, причиталось его людям и от тюка с офицерским обмундированием — два месяца назад «адлер» так же был подбит из засады, и оба немца в нем — ефрейтор-шофер и этот Курт фон Шлихтинг — едва ли успели подумать о сопротивлении: машина перелетела кювет и врезалась в сосны. Ефрейтору угодили в голову, а на лейтенанте пулевые метины отсутствовали — разбился сам. На нем была щегольская шинель и сизо-белесый, с серебряным аксельбантом мундир, лакированные са-поги и миниатюрная кобура хромированного браунинга. В его бумажнике оказалось около тысячи рейхсмарок, надписанная фотография Геринга и личные докумен-ты. Он был каким-то там «фоном», хотя и без крестов. Он, несомненно, должен был считаться знатной шишкой, поскольку даже в машине сидел в лайковых перчатках, и поэтому обмундирование его попало в «сейф». Пол-ностью...

Тюк был завернут в домотканое рядно и перевязан веревкой, похожей на вожжи, а откуда это взялось, Сы-ромуков не знал, не помнил такого своего распоряже-ния — д о с т а т ь у хуторян попону, — братва, значит, сама, помимо него, заботилась о сохранности трофеев. Что ж, может, это и пригодится. Пусть не все, но хоть что-нибудь. Да и кто знает, сколько накопится в «сей-фе» тех же самых блях, пока придут свои. Их, возмож-

но, будет тридцать, а не три!.. И вообще любой трофейный запас мешку не порча. Нет, не порча! К нему можно будет приладить потом носилки, чтоб таскать вдвоем или вчетвером,— мало ли что еще в нем окажется, будь он проклят!.. Все еще без смысла и цели Сыромуков развязал тюк. Шинель, френч и бриджи почти не смялись, но фуражка сплюснулась и покривилась, приняв несерьезный, прощелыжный вид. Ее, наверно, следовало набить мхом и выправить, иначе какой дурак поверит, что такая лепеха принадлежала родовитому арийцу, разъезжавшему в «адлере». Чтобы придать фуражке первоначальный кандибобер, Сыромуков насадил ее на колено, и тулья выпрямилась. Он ради любопытства примерил фуражку — она пришлась точно впору — и ощупал ее края. Тулья топорщилась, как ей и полагалось, и только немного кренилась набок. Вслед за фуражкой, но тоже лишь в угоду ребяческому порыву состязания с мертвым избранником человеческой породы, он надел галифе, френч и сапоги. В шалаше нельзя было выпрямиться во весь рост, но, и стоя на коленях, Сыромуков ощущал, как подхватно ладно облекла его тело эта чужая воинственная одежда. Тогда он открыл, что в нем все еще не истреблена потаенная вера в неуязвимость на этой войне, и рядом с мыслью о позоре своего ребячества — «люди ждут приказа, что им делать, а ты тешишься примеркой фашистского мундира!» — рядом со стыдом этого самоуличения в нем жила и светилась какая-то своевольная искра упрямого торжества. Он придвинулся к лазу шалаша и прислушался, пытаясь вылущить для себя только те звуки табора, в которых проявилась бы его тревожная бедственность, и сразу же отметил, как по-весеннему ласково и сокровенно блестели иглы крошечных елок, росших перед шалашом и смятых сапогами того парня, что принес «сейф», услышал приглушенные стоны доходяг, но не омрачился ими,— незаконное чувство бодрости не поддавалось никакому укору совести... Он до сих пор отчетливо помнил, с каким счастливым чувством первооткрытия нашел в кармане фоншлихтинского френча хромированную зажигалку и ярко-зеленую пачку сигарет на десять штук. Обычно трофейное эрзац-курево сгорало за три затяжки и отдавало дымом пересохшей соломы, а эти сигареты курились с замедленной постепенностью и пахли настоящим табаком. Он помнил и то, как решил не возвращать в «сейф» перочинный ножик с перламутровым че-

ренком о четырех лезвиях — «возьму себе», решил, как о нечаянно обретенной потере, и взял, не постыдился... В груди трофейного дрязга лежали и другие заманчивые сокровища — например, те же губные гармошки, и осталось неизвестным, какую из них, металлическую или деревянную, он выбрал бы себе, если б ему не мешали. Тогда за шалашом возникли шаги, и он услышал, как кто-то из братвы сказал вперемежку с матом, что это, мол, называется скинуть сапоги, а самому обуться в лапти.

— Жди, падла, проческу. Конец нам тут будет разом с доходягами!

Ему с угрюмой обреченностью заметили, что это не его телячья забота.

— А мне лично все одно, что мед, что патока,— сразу сдался ожидавший проческу.

— Ну вот и сопи в тряпочку,— вразумили его.— Сухомятому видней, что к чему, понял?!

Кличку в группе носил каждый, чаще всего озорную или малопристойную. «Сухомятым» братва заглазно звала Сыромукова. И что ему, оказывается, было видней всех, что к чему. Ему одному!.. Даже теперь, тридцать лет спустя, он не мог с уверенностью сказать себе, что тогда потрясло его до восторженно-сладких слез — немая благодарность братве за ее преданную верность или же ликующая радость прозрению, озарившему его мозг и грозным гулом отозвавшемуся в сердце,— он нашел выход и знал, как ему следовало поступить!..

Лара подошла неслышно сзади и по-детски капризно пожаловалась, что ее задержал в палате врачебный обход. Она несла в руках небесную мохеровую кофту и черную круглую сумку в медных нашлепках, а на самой был серебряный шлемик, белые туфли на платформе и темное вязаное платье, сквозящее в ячейки чем-то тревожно малиновым, напоминавшим плоть младенца, которого искупали в непомерно горячей воде. В ее доверительной жалобе на задержку врачами Сыромукову почудилась притягательная претензия на его суверенитет, и он возмутился отвращающей модностью ее платья, толщиной подошв у туфель и сумкой, похожей на щит. Мальбрук в поход собрался!.. Ему по-прежнему не было ясно, за каким чертом он пригласил ее в город, и было стыдно за свое вранье об уходе Елены к другому. С какой стати сбрежал? Зачем? Какая-то подлая старческая суета и безудержь...

— Почему мы стоим? — подозрительно спросила Лара. Она, наверно, что-то уловила в его настроении.

— Но тут ведь негде сесть,— перекорно сказал Сыромуков. Лара сосредоточенно посмотрела на него снизу, и он заметил, как некрасиво и жалко задрожал у нее подбородок, а руки с ношей приподнялись и вынеслись вперед.

— Вы же хотели показать город... Не будете уже?

— А что там...

У него на этом слове споткнулось сердце, но не обрывно и не глубоко, так что он не успел испугаться. Он захватил ртом большую дозу воздуха и задержал его, а Ларе погрозил пальцем.

— Что такое? — смятенно спросила она.

— Тихо,— на выдохе сказал Сыромуков таинственно,— мы сейчас пойдем в город. Дайте, я понесу вашу кофту.

Он взял у нее кофту и уложил на свое плечо. От нее пахло загадочно, свежо и нежно, как пахло, бывало, от повилики после грозы, и Сыромуков вдруг расстроганно ощутил тихое чувство прикосновенности к чему-то сокровенному и забытому. Он спросил, какие на кофте духи, и Лара с безразличным видом ответила, что это «Шанель».

— Никак не воскрешу, что связано в моей жизни с этим запахом,— сказал Сыромуков.

— Неприятное?

— Нет, светлое.

— Когда долго помнится запах, возрождающий картину прошлого, это называется эманацией памяти,— объяснила Лара. Сыромуков изобразил на лице почтительность, а сам подумал, что ей больше подходит имя Эманация, чем Лара. Ему опять пришла шальная мысль щелкнуть ее мизинцем, и, чтобы скрыть глаза, он с учтивой изысканностью склонил голову, пристукнув каблуками и старомодно согнув калачом правую руку. Лара важно приняла ее и оглянулась по сторонам, но поблизости никого не было. Сыромуков коротким поощрительным движением пожал ее локоть, и она ответила ему благодарным взглядом. Они установили размер шага, удобный для обоих, и пошли под уклон терренкура, еще пустынного и влажного от ночной росы. Кофта держалась на плече Сыромукова грациозно и цепко, как ручная белка, и запах духов от нее исходил не постоянным током, а промежуточными волнами, как и следовало, что-

бы не привыкнуть к нему. Лара шла увлеченно, будто ее манила вперед серьезная цель, и шлемик ее плыл у плеча Сыромукова без кренов и покачек. В притропных кустах боярышника сыто и музыкально верещали птицы, в горах и в небе было покойно и вольно, и Сыромуков подумал, что Денису придется все-таки написать правду, как хорошо тут жить. Он спросил у Лары, довольна ли она своим курортным уделом. Она, оказывается, не решила еще, довольна ли, потому что все, от чего человеку бывает хорошо, дается ему, к сожалению, трудно, и что надо всегда начинать с себя, тогда возможен успех.

— Успех в чем? — не понял Сыромуков.

— Во всем. Вот мне, например, уже легче идти с вами, как только я предупредила, что не ошибаюсь насчет своего роста. И вам, как мне кажется, тоже не стыдно теперь со мной. Я права?

— Это вздор. Ваш рост...

— Идеален,— в нос сказала Лара.

— Не в этом дело,— запутался Сыромуков.— Хотя мне лично стало значительно свободней после того, как отпала необходимость скрывать перед вами свою лысину. Это точно!

— Но то же самое произошло и со мной. Против чего вы протестуете?

— Да я не протестую, а только хочу сказать...

— Что вы проникаетесь гордым достоинством перед встречными, идя со мной рядом, да?

— Вы язва,— восхищенно сказал Сыромуков.— Кстати, а вам не холодно в таком кисейном платье?

— В кисейном? Но оно же на чехле. А вы что подумали?

— Почти непристойное.

— Очень мило! С каких же это пор человеческое тело непристойное зрелище?

— Наверно, с тех самых, как с него исчез след рая,— ответил Сыромуков. Лара заметила, что всякие разумные примеры или доводы способны наносить обиду собеседнику, поэтому лучше их не приводить.

— Кстати, я хотела попросить у вас прощения за... ну, вы знаете, вам нравится руководить другими.

Сыромуков принял покаяние, а от приглашения руководить другими отказался, так как с детства якобы боялся и ненавидел тех, кто распоряжается чужими делами.



- Вы слишком непостоянны,— упрекнула Лара.  
Сыромуков сказал, что он любит движение.
- Это исключает последовательность?
- Конечно. Разнообразие всегда было врагом его.
- Вы хотите сказать, что правило боится оригинальности?
- Безусловно. Особенно когда это правило опущено.
- А что такое пошлость?
- Стократная повторимость. Или стихийная расхожесть моды на что-нибудь. На ваши мини-юбки, например, седые парики, на наши бороды, нелепые галстуки лопатой, на иконы, подсвечники.
- На портреты того же самого Есенина и Хемингуэя,— невинно подсказала Лара.
- Конечно,— сказал Сыромуков.
- Значит, пошлость — массовость? Но ведь в это понятие заложена идея блага для всех. Интересно, как вы вывернетесь сейчас.
- Ну и пусть заложена,— сказал Сыромуков,— но не станете же вы отрицать, что главным в идее блага считается теперь потребление и наслаждение?
- Допустим. А почему?
- Очевидно, потому, что главным органом индивидуальной жизни является все-таки пищеватрительный канал.
- О господи! Сама я тоже люблю говорить иногда несуразности назло так называемым праведникам, а вот слушать чужие благоглупости спокойно не могу. Вы не знаете, в чем тут дело?
- Не впадайте в панику,— сказал Сыромуков,— наличие у нас пищевода совсем не означает, что над человеком,— но над Человеком, заметьте! — не довлеет еще и благородный груз так называемого категорического повеления.
- Не зависящее от него самого? Что же это такое?
- Чувство долга, чести, самопожертвования.
- Но это тоже остается лишь в идеале, извините за выражение, поскольку здесь требуется человек с большой буквы, как вы сказали?
- Нет,— возразил Сыромуков,— не человек-исключение требуется, а благоприятные условия для осознания каждым...
- Он осекся — из-за поворота терренкура навстречу им

вышла женщина, внезапно остановленная тем знакомым Сыромукову преградным толчком взрывного испуга, когда человеку кажется, что он уже просрочил время, чтобы позвать кого-нибудь на помощь. Она была чудовищно толста и громоздка и стояла в напряженной позе ожидания конца удушья, как определил ее приступ Сыромуков, успевший мысленно обругать врачей за то, что они разрешают таким людям шляться по горам. Он подумал, что нитроглицерин поможет ей, но достать стекляшку не успел, заметив, как покойно-справно больная попятилась к кромке тропы, благополучно удерживая в руке полиэтиленовый мешок с апельсинами. Она приложила к надбровьям козырек ладони и с откровенным горестным удивлением глядела на Лару. Сыромуков загораживающе вынес вперед плечо, на котором лежала кофта, не зная, как ему поступить, если эта овсяная скирда возьмет и причетно заголосит: «А-я-яй, да господи же ты, боже мой!» Он покосился на свою спутницу и увидел, что сумку она несет впереди себя, болезненно глядя куда-то вверх и вбок. Они сбились с шага, потому что Лара попыталась высвободить свою руку из-под локтя Сыромукова, но он не выпустил ее и неестественно громко сказал, что то категорическое повеление, о котором они говорили, проявляется главным образом в условиях всенародных бед и войн в первую очередь у людей с большой душой, а не телом.

— Уразумела ты, в чем тут дело? — спросил он, когда они поравнялись с курортницей. Лара предслезным шепотом сказала, что все это пустые слова и что она не желает утешений.— Не капризничайте по пустякам,— отечески сказал Сыромуков и волоком, чтобы разорить начес, стащил с головы берет.— Извольте-ка нести вот этот мой десантный доспех, а то в нем жарко. Кроме того, некоторым бывшим военным пора, я думаю, надеть очки. Вы не находите?

Он преднамеренно низко склонил голову, когда передавал берет, и по тому, как Лара подлаживающе сменила шаг, решил, что деликатный баланс их индивидуальных достоинств восстановлен снова.

Терренкур вывел их к санаторию «Россия». Его гранатовое куполообразное здание было, по убеждению Сыромукова, одним из лучших в Кисловодске — архитектору удалось вдохнуть в свое творение живое настроенное радушие и привет. Это как бы запрограммированное здесь обещание добра не только витало над самым

зданием, но и распространялось окрест, и Сыромуков таинственно сказал о нем Ларе. Он убежденно объявил, что из всех искусств архитектура самое неотразимое доказательство того, что над людским родом никогда не тяготело и не тяготеет проклятие зла, ибо человек непорочен от рождения, раз способен возносить величественные храмы самому себе и богу. Лара мягко осведомилась, кто же тогда наполнил мир изуверствами? Бог, а не сами люди? И куда в таком случае человечеству деть своих иродов? Сыромуков хотел сказать, что любое преступное дело все равно регистрируется где-то там на незримых нам горних скрижалях и в конце концов наказывается неким внечеловеческим законом, но это показалось ему смутным и напыщенным доводом. Он промолчал и подумал, как все-таки легко стащить на землю того, кто взойдется на минутку под купол неба. Раз — и тот очутится на своем окровавленном песчаном шарике, накопившем слишком много темных летописей!

— Вот видите, как просто загнать оппонента в угол каким-нибудь ржавым историческим жезлом,— полусерьезно сказала Лара,— хотя мне совсем не хочется спорить с вами. Хотите знать, почему?

Сыромуков кивнул.

— Но я скажу только то, что касается лично вас. Так вот, мне вы показались сейчас совсем другим, а не тем, что я думала о вас раньше. Вы, оказывается, не до конца еще прошли сквозь такие эмоциональные стадии, как сомнение и разочарование. И когда вы споткнулись на ироде, я еле удержалась, чтобы не помочь вам.

— Оттащить его на обочину истории? — засмеялся Сыромуков.— Но в нем, поди, пудов пять или шеть веса. Как в той женщине с апельсинами.

— А я хотела призвать на помощь Достоевского. Ведь он будто специально для вас сказал: «Смелей, человек, и будь горд! Не ты виноват!»

Было неясно, что она имела в виду, подав Сыромукову эту утешительную милостыню,— его ложь об уходе жены к другому или полупризнание, что он не состоялся как архитектор. Но, возможно, она просто хотела понравиться, зная по-женски прозорливо, как любит мужчина, когда его жалеют и перевозносят.

— Так и заявил? — спросил Сыромуков в сторону, сам дивясь тому, как оточно-больно толкнулось ему в

сердце это утешение.— Никогда не увлекался и не понимал его,— сказал он о Достоевском. Лара с заботливым удивлением взглянула на него, но ничего не возразила и шла свободной раскованной походкой, погасив свои позиционные огни, согласная не противоречить. Через улицу, напротив «России», бульдозеры стирали с лица земли деревянные мансарды, утайливо разбросанные в зарослях холма. Эти летние подсобные гнезда санаториев были различных стилей, форм и окрасок, построенные невзвешенно когда, и теперь на их распланированном прахе сооружались бетонные типовые коробки всезонных лечебных корпусов. Сыромуков остановился и стал закуривать, освободив руку Лары. Было безветренно, но спички почему-то гасли, и, когда он повернулся спиной к стройплощадке, Лара певуче сказала о бульдозерах:

— Ка-а-кое варварство!

В душу Сыромукова нужно улеглось это ее возмущенное восклицание, но в то же время он уловил в нем и лицемерие в угоду себе, невольному неудачнику.

— Тут всего-навсего голая необходимость, а не варварство,— холодно сказал он.— Кроме того, никто из нас не застрахован от безвкусицы и отсутствия воображения. Только и всего.

— Вы так считаете? — вкрадчиво сказала Лара.— Но не потеряет ли в таком случае наше зрение способность к восприятию красоты? Мы не ослепнем эстетически?

Сыромуков ответил, что слепые хотя и не видят солнца, но теплоту его чувствуют, так что все тут в порядке.

— Я вас чем-нибудь обидела? — спросила она.

— Нет-нет,— спохватился Сыромуков,— я забыл, как это называется, когда запах оживляет забытую быль, и все пытаюсь вспомнить.

Лара напомнила, как это называется, и он взял ее под руку.

Точильщика бритв на месте не оказалось. У грота Лермонтова организовано толпились вокруг своих вожатых экскурсанты из разных санаториев, и протискиваться к казематной решетке дикарем едва ли было разумно. Здесь, в низине парка, совсем по-летнему млели цветы на газонах и даже душно парило, но Ларе вздумалось зачем-то надеть кофту на виду экскурсантов, что могло вызвать иронию, а то и открытую насмешку над галантностью Сыромукова, если бы он помог ей

одеться. И он, как нашкодившего котенка, взял кофту за воротник и передал ее хозяйке. Лара сказала «благодарю», но без обиды. Они медленно и порознь пошли в верховье парка, задерживаясь у фотовитрин подле рукотворных утесов, на которых топырились ветхие чучела орлов с расширенными крыльями и пусто сквозящим зрачком стеклянных глаз. В створках витрин приманчиво красовались групповые и одиночные цветные фотографии с надписями: «Привет с Кавказа», и орлы на снимках выглядели по-живому внушительно. Отклонясь от главной пешеходной дорожки, они вышли к тесному и глубокому руслу Подкумка. Перед ним росли заповедно-гигантские деревья, название которых Сыромуков не знал, но Ларе представил их кипарисами,— это звучало экзотичней, чем, например, ясень или вяз. Меж этих «кипарисов» в синем сумраке как будто залегла какая-то первобытно-непорочная тайна, побуждавшая к раздумью и печали. Сюда не доносились никакие шумы и пока еще не достигало солнце, и воздух тек разнослойными волнами — то атласно сухо, то прохладно и влажно. Лара показалась тут еще меньше, прислонясь к могучему дереву, оголенному от коры, величественно погибшему стоя. Она сняла шлемик, кинув его рядом с сумкой у подножия дерева, и с истеричной вдохновенностью на запрокинутом лице, зажмурившись, начала декламировать гортанным низким голосом: «За этот ад, за этот бред, пошли мне сад на старость лет... Для беглеца мне сад пошли: без ни — лица, без ни — души! Сад: ни шажка! Сад: ни глазка! Сад: ни смешка! Сад: ни свистка!... Скажи: довольно муки — на сад — одинокий, как сама... На старость лет моих пошли — на отпущение души».

Сыромуков оторопело увидел, как из-под смеженных ресниц по щекам Лары катятся слезы. Первым неосознанным порывом его было утешающе погладить малютку по голове — ну что, мол, такое,— но наперебой этому появилось новое властное желание — прервать ее плач окриком, не юродствовать и таким образом помочь самому себе достойно перенести беспощадную пронзительность этих цветаевских стихов.

— Идемте на солнце! — клетотно распорядился он. Лара, по-детски всхлипнув, подобрала сумку и шляпку, и Сыромуков подумал, что ему надо, надо было погладить ее по голове.

На главной тропе им повстречался соловьиный мас-

тер в своем страшном коновальском плаще с полуоторванным карманом. Он, вероятно, успел распродать утреннюю порцию товара, потому что не засвистел при их подходе.

Лара была молчалива и сумку временами несла впереди себя.

В санаторий они вернулись прежним путем, и там в продовольственном ларьке Сыромуков счетно купил четыре апельсина и две плитки шоколада, чтобы все это делилось поровну.

Ключа в гардеробной не оказалось — Яночкин, наверно, отдыхал до обеда, и, чтобы не беспокоить его, Сыромуков решил не подниматься в палату. Он припомнил, что бильярдная размещалась на первом этаже в конце коридора, и отыскал ее. Стол почти целиком загромождал комнату. На нем лицом к двери в одиночестве сидел лысый пунцоволикий старик в солдатской гимнастерке и что-то выкраивал из кожаного лоскута. Вместо правой ноги у него была деревяшка. Она горизонтально, как ствол противотанковой пушочки над бруствером окопа, лежала на борту бильярдного стола, нацеленная на дверь, и отполированные шляпки медных гвоздей, крепившие резиновый кружок к рыльцу ходульки, блестели притягательно тревожно.

— Что хотел? — окликнул старик, когда Сыромуков попятился в коридор. — Сыграть думал? Давай сгуляем, коли делать не хрена!

Было ясно, что он служит тут маркером, но гонять вокруг стола одноногого человека не представлялось достойной забавой. И в то же время из-за этого его увечья ему нельзя было нанести обиду отказом сгулять. Существовала и побочная причина для игры: выждать спад обедающих в столовой, но на этом умысле Сыромуков не хотел задерживаться, чтобы не признавать его. Он вернулся в бильярдную, успев отметить, как ловко и мягко спрыгнул старик со стола. От него еще издали несло перегарным смрадом, и то, как он вожделенно зыркнул на апельсины в руке Сыромукова, окончательно убедило того, что играть с ним надо.

— На интерес махнем? — проискливо спросил старик. — Я вчера врезал, мать его...

Сыромуков протянул ему оба апельсина и сказал, что сам он тоже, мать его, вчера немного тяпнул. Он не

только без насилия над собой, но с непонятной легкостью и даже охочестью подделался вдруг под стиль речи старика. Тот принял апельсины, отнес их на подоконник и оттуда шало заявил, что играть на такую мутому даже не подумает.

— Ты чо? Весь русский соглас и совесть растерял? Давай хоть на пару пива сладим, ну!

— Ну сладим, сладим,— согласился Сыромуков,— но я не пью пива и не знаю, где его тут продают.

— Не молоти мне рожь на обухе и не плети из мякины кружева,— сказал старик.— Будто не знаешь про чешское в баре? Двенадцать градусов как-нибудь!

Он установил шары и выбрал из поставца два кия.

— Какой хошь. Они все без кожаных нашлепок. Американку разыграем? Бей первым.

Сыромуков сначала проделал все, что полагалось, как он считал, любому уважающему себя игроку — покачал, взвешивая, кий, подтянул манжету на левом рукаве рубашки, а уже затем склонился над столом.

— С падающим,— с нарочитой угодой предупредил он партнера. Старик сопровождал удар Сыромукова коротким срамным словом, выкрикнув его бездумно и озорно.

— Ну, заяц, погоди! — дружелюбно сказал ему Сыромуков, сумевший все-таки попасть в пирамиду шаров и раскатить их по столу. Он тоже выдал под руку старика лохматый глагол, и получилась подставка. Сыромуков тычком кия закатил в одну лузу сразу два шара, на этой минуте и прервалась его беззаботная необремененность в поведении со стариком. Оказалось, что у того при каждом шаге рассохше крякала деревяшка, и не в «стопе», а где-то вверху, в той казенной части ее, куда, очевидно, всовывался культик ноги. И уже нельзя было не думать о том, каким веществом установлено гнездо деревяшки, что в ней скрипит и стонет, чем скреплена трещина, если она образовалась: ремнем, гвоздем или проволокой? Стало неприятно слушать поминутные матюки старика и возмутительно видеть, как он бестолково ширял-пырял концом кия между щепотью серых узловатых пальцев, а шары все же клал с трескучим костяным грохотом,— значит, первый удар скиксовал нарочно. Когда он с особым, ерническим вывертом плеча вогнал в лузу свой последний шар, Сыромуков отнес в поставец кий и сказал, что пойдет за пивом.

— А зачем пинжак одеваешь? — подозрительно спросил старик.

— Пиджак? Ах, да-да,— поморщился Сыромуков. Он забрал кошелек, а пиджак закладно оставил на вешалке и, когда шел по коридору к бару, почувствовал, что сердце бьется в завышенном ритме, азартно горит, а рубашка под мышками вульгарно взмокла. Так позорно продуть! Два на восемь...

— Ну и что тут такого! — вслух сказал он, неизвестно кого ободряя — старика маркера или себя.

Бармен поздоровался с ним по-приятельски радушно и спросил: «Что будем?» Сыромуков сказал. Пиво в самом деле было пильзенское, в небольших элегантных бутылках. Их понадобилось завернуть, чтоб не нести в открытую, и бармен умело сделал из «Правды» квадратный пакет.

— Послушайте, есть один небольшой принципиальный вопрос к вам,— сказал он, склоняясь к стойке. Сыромуков не без душевной заусеницы — это, оказывается, так и не прошло — увидел на лацкане его заграничной куртки под распахнувшимся халатом лазурный ромб университетского значка.— Скажите, как по-вашему, кто такие хиппи?

Сыромукову показалось, что на психику бармена что-то там немного давило,— он мог, например, вызвать у какого-нибудь солидного курортника с таким же значком публично-благородное негодование по поводу недостойного приложения знаний, бесплатно полученных им от государства, и так далее. Вполне мог. Но тогда было непонятно, какого черта он афишировал свое образование, нося в баре значок и не застегивая полы халата! Он явно нуждался в подпорке похиленной амбиции, но поддерживать его какими-то там аналогиями Сыромуков не собирался.

— Хиппи? Это, кажется, американские или английские парни с проснувшейся совестью,— многозначительно сказал он.

— Которые возмутились действительностью, да?!

Бармена почему-то устраивал полученный ответ, уж слишком пылко он обрадовался ему, и Сыромуков дал попятный ход.

— Возможно,— сказал он,— но дело в том, что они не знают, как и в какую сторону им плыть от этой действительности, вот в чем беда.

— А зачем плыть самому, когда тебя буксируют другие?

— Ну, это уже зависит от предпочтения одного спо-



соба плавания другому. Кто-то любит водные лыжи, кто-то кроль, а кто-то брасс.

— Но вы забыли еще один английский способ. Называется оверарм. Это когда плывешь на боку.

— Ну-ну,— усмехнулся Сыромуков.— До свидания.

— Всего хорошего, дорогой! — нахально сказал бармен.

Старик маркер ждал стоя, прислонясь спиной к подоконнику, где лежали апельсины, но не на прежнем месте, а прибранно в уголок. Сыромуков осторожно передал ему пакет и сказал, что пиво свежее, хотя сам не знал, так ли это. Старик сбил о кромку подоконника жестяные пробки с обеих бутылок. Сыромуков напомнил, что не пьет пива.

— Как хочешь,— отрывисто сказал старик. Он без передыха выпил из горлышка всю бутылку и проясненно-сосредоточенно воззрился на Сыромукова, едва ли замечая его,— где-то отсутствовал.

— Хорошо? — тихо спросил Сыромуков.

— Ох! А ты чо? В самом деле не пьешь?

— Не могу. Сердце. Закусите апельсином, будет еще лучше.

К Сыромукову снова возвращалось то первоначальное состояние здесь, когда он не ощущал потребности в самоотчете за происходящее, но было отчего-то грустно, и не хотелось оставлять старика одного.

— У меня плитки шоколада есть, хотите? — вспомнил он. Старик не ответил и посмотрел на него мутно и гневно — опьянел на взыгравшем вчерашнем хмеле.

— Ты что, думаешь, я маркер и больше ничего, да? — крикнул он.— Хрен в сумку! Я тайный сыщик, вот кто!

— Да ладно,— сказал Сыромуков,— вы лучше съешьте вон апельсин. Будет еще лучше. Увидите.

— Махал я твой апельсин! Не веришь про сыщика?

— Да верю, верю, старинарь. Я тоже сыщик. Такой же. Тайный.

— Нет, не веришь!

Он быстро пьянел, и лицо у него стало обиженное и мстительное. Наверно, сознавал сам, что с «сыщиком» вышло плохо, недоказательно, а вот деревяшка была, и была при нем, явной, всегда и у всех на виду...

В столовую попадать было еще рано, и казалось заманчивым, если бы не бармен, выпить рюмки две коньяку, чтобы застопорить вертящуюся в мозгу пластинку с бессмысленным напевом «туторки-муторки, туторки-матуторки», а после этого попытаться убедить себя, что нельзя рассматривать отдельные вещи и события в отрыве от общей оси мира, что при жизни вообще никто и никогда не был счастливым, что ногу старик не обязательно мог потерять на войне, совсем не обязательно. Это во-первых. А во-вторых, он ведь сам сказал... как это? Ну, что на обухе рожь не молотят, а из мякины кружев не плетут. Вот именно. Так что все закономерно, все правильно... И поэтому, может быть, хватило бы даже одной рюмки, если бы не бармен,— видеться с ним в эту минуту не хотелось.

После обеда Сыромуков пошел на почту и там написал длинное родительское письмо Денису, в котором сообщал под конец, что тут, в Кисловодске, по-прежнему дует ветер и хлещет дождь.

Вечер тянулся медленно и тихо. С балкона — палаткам люкс они полагались по штату — открывался просторный вид на юго-западную сторону света, где даже после заката солнца пылал и пылал Эльбрус, а небо оставалось подернутым золотисто-алой пылью, будто в том краю шла большая молотьба толокой. Позже небо нежно позеленело, затем покрылось протемью, а это означало, что молотьба на горизонте закончилась и счастливо уморенные люди пошли вечерять. Они будут есть утомившуюся в печке домашнюю лапшу с курятиной. И галушки. И вареники. И еще кавуны. У них, конечно, найдется чего и выпить — прохладная и вкусная, домашней готовки брага. Целая бочка. Дубовая, с чистым медным краном. Пить будут глазурованными глиняными кружками. Брага хмельная, веселая, но они там могут осилить по три и по четыре кружки, потому что все здоровы. Им можно... Это продлится у них долго, потому что пьют и едят они степенно, «не швыдко». Они же не в казенной столовке. Они ведь знают, что такое хлеб. Свой... Ну вот. Да и не следует, месяц же сейчас взойдет! Песни они будут «кричать» на улице. Первой пусть споют про то, куда милый скрылся, ах да где же его сыскать? Он в Ростове нанялся чувалы таскать. А чувалы — не малы, плечушки его болят. И болит его сердце, гребтится душа... Впрочем, о сердце не надо. Они все там здоровы, все...

Некоторое время спустя на шафранно-аспидном плоскогорье, левее Машука, засветился костер. Виделся не только приземленный косячок пламени, но явственно различался и неколебимо вставший над ним белесый ствол дыма. Это было тоже хорошо — жизненно древне и человечески ладно — далекий костер в полупотемках, но для того, чтобы не погубить очарование покойного созерцания, к костру и на пушечный выстрел не следовало подпускать раздумье — кто его развел, из чего и зачем, ради потехи или по необходимости, один или вдвоем. Сыромуков не мог заставить себя не думать об этом, и зародилась тревога неизвестно за кого, и надо было уходить с балкона. В палате густо пахло скипидаром — днем, вероятно, натирали паркет. Дощечки скрипуче пели под ногами, и у Сыромукова появилась возможность вообразить, как однажды в студеную зимнюю пору позади Некрасова — ну, загонщиком был у него, а то и просто знакомым, мало ли! — он из лесу вышел. Был сильный мороз. Глядь, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворосту воз... Беседы с Власом хватило на шесть рейдов от входных дверей до окна и обратно. Разговор можно было и продлить, но мальчишку не следовало задерживать на юру, да и отец ждал его за очередной порцией дров... Влас-Денис, Влас-Денис, живи-трудись и не ленись, на графине не женись, а тоска — хоть удавись, Влас-Денис, Влас-Денис.

Свет зажигать было неразумно — тогда в палату уже никого не зазвать и ничего не заластить, тогда останешься тут наедине с самим собой, отраженным в зеркале. А в темноте еще можно что-то придумать. Вплоть до очередного своего «лазурного» проекта. Черт возьми, всю послевоенную жизнь он только тем и занимался — выводил их путем мечтания. Призраки, появлявшиеся вразрез с реальностью, заданностью и серийностью. А неозвучное эпохе должно умирать, не родившись. Вот так! Интересно, кто это сказал? Здоровый, видать, мужик, с хорошо работающим трактором... Да-да. А снег ложится вроде пяточков, и нет за гробом ни жены, ни друга. Кроме Дениса. Да еще буси, если она сама... Но куда мог запропасться Яночкин? Тоже называется водитель! Пора бы и вернуться. Собственно, а что такое тоска? Ведь это же обыкновенная депрессия, возникающая из-за осознания какой-либо утраты, чувства необратимости, одиночества и так далее. Только и всего.

— Ох и надоел ты мне! — сказал Сыромуков. — И хотел бы я знать, куда ты исчезаешь, когда у меня останавливается сердце? Ни разу не помог вовремя никаким философским советом или изречением. Ни разу. Проваливаешься куда-то, и все! Ах, ты потом возвращаешься сам мудрецом? Ну давай, давай. Никто не против. Но все же где ты тогда прячешься?.. А вообще-то многое не нужно было. Многое...

Сыромуков не сразу осмыслил, что значили эти слова, произнесенные им не в связи с общим строем мыслей, на что они отзывались и к чему лепились — то ли к лазурным проектам, то ли к отпечатавшейся в памяти мысленно фразе-получастушке насчет женитьбы Власа-Дениса на графине. Он сел в кресло и зажмурился, и через какое-то время стало ясно: не надо было, оказывается, иметь такой дурацкий характер, с которым он всю жизнь невольно обманывался сам и обманывал других. Ну что это такое, скажите, пожалуйста, сулить и с ходу выдавать любому встречному и каждому совершенно непосильные и неоплатные авансы в счет дружбы и преданности! Кто его понуждал, например, приглашать в город эту несчастную Эманацию, чтобы тут же забрать свои «куклы» назад!.. Взять того же Яночкина. Ну для чего понадобилось с таким безудержным приветом и сердечностью встречать его в первый раз, а после духовно отдаляться! И так всю жизнь. И решительно со всеми. Ну-ка, копни только.

— Копай сам! — раздраженно сказал Сыромуков. — Как будто не знаешь, почему и как это происходило.

Когда он открыл глаза, палату затоплял пожарно-дымный, беспокойно мигающий полусвет — через отворенную балконную дверь пробивались беснующиеся рдяные и зеленые неоновые огни с недалекого ресторана на «Храме воздуха». Шесть лет назад там стояла глинобитная закутка-шашлычная, и дышать в ней было нечем. Сейчас, надо полагать, в ресторане хорошо и весело. «И шампанское тут, между прочим, дешевле почти на целый рубль», — подумал Сыромуков и зажег свет. Он переменял рубашку и галстук, почистил башмаки, но начес сделать до конца не успел: явился Яночкин. К нему шла белая фуражечка, молодежavo надевая козырьком к уху, шли два яблочко румяных, нагулянных в вечерней прохладе пятна на щеках, и вообще он крепко шел к себе весь.

— Нарезвились? — с бессознательной завистью спро-

сил его Сыромуков. Яночкин упоенно сказал «ага» и протянул, вынув из-под мышки, пухлую книгу, обернутую газетой.

— Вот слушай, штука интересная! Не читал?

Он был хорош. Он был, как ликующий школяр, отхвативший увлекательную книжку, и Сыромуков предположил, что это, наверно, Майн Рид, если судить по заношенности и отсутствию в ней заглавного листа.

— Называется «Ключи счастья»,— сказал Яночкин...— Не читал?

— Н-нет,— признался Сыромуков. С годами ему все трудней и трудней становилось читать ширпотребовскую беллетристику,— уже с первых страниц надо было напрягаться и помогать автору сводить концы с концами, не замечать, как он сшивает одними и теми же нитками разноцветные лоскутья своего сочинения, негодовать на его суесловие и фальшь. Осталась классика, мемуарная литература да еще фантастика. Он подумал, что этому тоже не надо было с ним случиться, и вернул книгу Яночкину.

— Ну спеши, спеши,— насмешливо сказал тот,— там возле раздевалки танцы, а твоя жучка забилась за кадучку с пальмой и сидит, ждет. Неужели не мала тебе, а? Или, как говорится, всякую шваль на себя пяль, бог увидит, хорошую пошлет? Ох, пижон ты, пижон!

Сыромуков пристально поглядел на него. На лице Яночкина по-прежнему держался и не вял алый налет, ясно и кротко голубели глаза, и было непросто найти объяснение такому утробному и ровному его цинизму — Петрович как бы совсем не участвовал в работе своего аппарата чувств. Чтобы осадить в себе всколыхнувшуюся душевную муть, Сыромуков попытался расценить слова его как непосредственное проявление им жизненной стойкости — просто он бытоустойчивый цельный человек вроде того овцевода, что любил укладываться на чужие постели,— но это не помогло: против Яночкина что-то протестовало и звало к отпору. Стараясь не смотреть в его сторону, Сыромуков натужно сказал, что определения «пижон» и «сноб» утратили в наше время отрицательный смысл, что теперь под этим подразумевается элегантность, утонченность вкуса и вообще порыв личности к развитию не без некоторой, конечно, уродливости в стремлении выломиться из массы.

— А что ж тут хорошего? — скучно спросил Яночкин.— Масса-то небось народ, а они тогда кто? С кем

же они останутся, если отломятся? Некрасиво, Богданыч, говоришь. Плохо думаешь, раз защищаешь шпану.

— Я говорю не о шпане,— сказал Сыромуков, ожесточаясь.— Речь у нас идет о тех парнях, которые так или иначе, но откликаются на возрастающие эстетические запросы современного общества. Так называемые пижоны и снобы, Павел Петрович, не появляются на улицах в грязных спецовках, не блюют в подворотнях и на лестницах, не похмеляются бутылкой «чернил» на троих и не ругаются матом при женщинах и детях! И многое другое не позволяют себе снобы. Между прочим, этот теперешний аристократ совсем не является представителем какой-либо особой и малочисленной прослойки. Это тот же слесарь, прораб, маляр, таксист и так далее. То есть в меру просвещенный молодой человек с достоинством.

— Трепотня,— махнул рукой Яночкин.— Я бы этих твоих аристократов...

— Несомненно, что вы бы их,— перебил Сыромуков,— но сейчас у этих людей нет причин считаться с былым временем!

Он нервно закурил, стоя вполупорот к Яночкину и внутренним зрением видя, как тот семеняще попятился к своей кровати. Оттого, что Яночкин безмолвствовал и не двигался, следя, в какую сторону тяготел сигаретный дым, мысли Сыромукова разбились на три самостоятельных ряда. Мысли эти были о том, что Яночкину незнакома была бы приблизительная схема абстрактного мышления, что оба они совершенно не умеют спорить, воспринимая ответные доказательства как взаимные оскорбления, и что сам он ведет себя непристойно, обижая человека и оставаясь у него в долгу за мандарины и вино.

— Что же вы молчите? Я забылся и курю, а вы не предупреждаете,— спохватился он.

— Да ничего, докуривай, раз начал. Балконная же дверь открыта,— безотрадно сказал Яночкин. Сыромуков загасил сигарету и понес ее в туалетную, чувствуя, как изнуренно гудит его тело. Там он переждал перебойный взлет и обрыв сердца, а после приступа умышленно долго мыл руки, ожидая, пока отступит страх и под языком истончится таблетка валидола. Балконная дверь была притворена. Петрович сидел на кровати и хмуро глядел в пол. Сыромуков рассеянно и уже как-то издали подумал о нем, что он счастливо здоров и

поэтому позволяет себе роскошь огорчаться по ничтожным пустякам — ну что ему эти пижоны?! Ведь не знает, где находится сердце, не знает. В шестьдесят-то лет. Какой молодец! Его требовалось возвратить в прежнее состояние, но формальное извинение едва ли было уместно, так как для него отсутствовал логический повод. Яночкин молчал, и в палате выдалась тягостная минута разобщенности поссорившихся людей.

— Есть компромиссный ход, Петрович, сводящий к ничейному результату наш спор, — с бескорыстной готовностью сказал Сыромуков. — Принимаете?

— Так то будет твой ход, а не мой, — ответил Яночкин.

— Наш, — сказал Сыромуков. — Удобство его заключается вот в чем. Если отнести существующее в мире недобро за счет человеческого заблуждения и недоразумения, то нам ничто не мешает признать, что в своем споре мы не проявили предельной ясности видения сути, а значит, оба и не правы.

— Да я-то в чем же не проявил? — удивился Яночкин. Было похоже, что он мог удовлетвориться лишь полной дискредитацией точки зрения оппонента.

— Ну хорошо, не прав я один, — беспомощно сказал Сыромуков. — Так подойдет?

— А зачем мне твое одолжение? — обиделся Яночкин. — Ты признай порочной свою позицию по совести, а не на словах!

По совести у Сыромукова выходило, что среди его подзащитных пока что больше было званых, чем избранных, что педантизм и высокомерное самодовольство еще не культура и не эlegantность, а только их уродливое искажение, подделка и фальшь.

— Вот это другое дело! — одобрил Яночкин. — Теперь ты рассуждаешь, как положено советскому человеку. А то заехал в какое-то моральное болото! В споре, брат, тоже надо уважать себя.

Сыромуков машинально кивнул. Ему неожиданно пришла оторапливающая и одновременно притягательная мысль о том, что, возможно, настает время, когда вместо индивидуального характера и темперамента человек будет обладать обязательным для него неким унифицированным морально-эстетическим эталоном поведения, и люди начнут новую эру жизни, творя уже не историю племени и нации, а как бы общенародную семейную легенду, исключаящую личные судьбы. В этом случае им

там будет грозить опасность утратить прежде всего способность смеяться и плакать. Без слез, конечно, обойтись можно, но как жить без смеха? Чем они его заменят?..

Яночкин тем временем разделся и с озабоченной участливостью к себе облачился в пижаму. Он аккуратно поставил в изножии кровати свои плотненькие полузимние ботинки, а рядом разостлал носки, и Сыромуков ощутил, как в палате грустно запахло смертным ароматом привялых васильков. У него самого скопилось уже три пары несвежих носков, и появилась срочная необходимость выстирать их.

— Кажется, теплая вода есть, Петрович,— предположил он.— Вам не понадобится сейчас ванна?

— Мне ж нарзанную делали нынче,— сказал Яночкин.— А на танцы не пойдешь?

— Есть горячая вода,— повторил Сыромуков.— Надо, наверно, воспользоваться, как вы полагаете?

— Давай, а я почитаю на сон грядущий. Интересная, знаешь, штука!

Теплая вода текла прерывисто, красный кран сипел и кашлял зарядами воздуха, но холодная была напорной струей. Стирка получилась неладной, зато угодной, и Сыромуков отдался над ней свободному потоку мыслей без малейшего усилия изменить хаотичный их бег. Ему почему-то подумалось, что князя Андрея Болконского нельзя вообразить в Бородинском сражении не в том своем белом мундире, в котором он танцевал с Наташей Ростовой на ее первом балу; что разрушение всегда давалось человеку легко, поскольку тут не надо думать. Недаром в старину говорили: ломать не строить, грудь не болит; что бестактность, грубость и хамство — оружие ничтожных и слабых, неспособных иначе достичь своего превосходства над другими; что если ты идешь или едешь медленно, то жизнь покажется огромной; что невозможно, нельзя было победить русских Наполеону, потому что наши солдаты надевали чистые рубахи и молились богу перед боем; что надо обязательно увезти домой целыми те три свои пятидесятки; что, в сущности, он уже лет пятнадцать живет в обнимку со смертью, и ничего, привык; что когда твое дело плохо, то поневоле помнишь о существующих в жизни утехах и радостях; что Дениса надо успеть научить в любом случае не отчаиваться и не унывать, а надеяться и верить...



*На этом повествование обрывается... Константин Дмитриевич Воробьев не успел завершить работу над повестью. Но на рабочем столе писателя остались наброски, которые позволяют судить, как бы развивалось действие повести, как бы складывались судьбы ее героев.*

## К ПОХОДУ В ЭНСК

Из всего этого родилось решение идти в город. А в этом были и самоотверженность, и преданность им, и утверждение присвоенного себе права генштабиста. Отчетливости не было. Работал больше инстинкт солдата, который хотел выжить сам и помочь спастись другим,— только и всего.

В безотчетном побуждении он попытался тогда скопировать приветственный жест фашистов и при выбросе руки заметил, как непотребно грязны его пальцы с отросшими ногтями и черными каемками под ними. Он вспомнил, что на фон Шлихтинге были перчатки, и когда они отыскались в карманах его шинели, то некоторое время подержал их как нечаянно обретенную потерю, а затем уже натянул на руки. И все равно решения еще никакого не было — Сыромуков находился от него пока что на таком подступе, когда сигнально пульсирующую точку в мозгу еще нельзя назвать ни мыслью, ни прозрением. Он был занят перчатками — они оказались коротковаты в пальцах, и в это время за шалашом слышались шаги...

Но как это сделать? Зайти в аптеку и сказать: «Битте, гебен зи мир, черт возьми, мазь от чесотки и порошки от дизентерии»? И — шнеллер, мол, шнеллер! Нет, это не годится... Немецкий офицер с аксельбантами — и мазь от чесотки? Глупость! Наверно, не надо думать, как это все будет. Все, что там будет, возникнет само, на месте. Предугадать это невозможно, и нельзя заранее рассчитывать свои действия, так как расчет — это обязательно ограничение. Во-первых, аптекарь может не знать немецкого языка. А ты — местного. Естественно, значит, ты прибежешь к ломаному русскому... Но можно и по-другому. Выждать, чтобы в аптеке никого не было. Войти и запереть дверь. Предложить пятьсот или тысячу марок. Не согласится — пригрозить пистолетом.

И тихо, мол, тихо... Да и не в этом дело. Не в мази суть похода... Сыромуков не мог выразить словами, почему этот его поход казался ему так необходим, ему самому и братве. Он ставил все на нужное место. Он как бы узаконивал его самозванство, придавал какую-то новую значимость трофеям, укреплял веру братвы в него как командира, восстанавливал и возвращал ему самому его собственный авторитет... Поход к тому же решал автоматически и другую задачу — группа снималась с места, ей тоже предстоял поход (продовольствие).

Этот поход искупал, залащивал его вину перед братвой, сближал с ней, обновлял его самого перед собой, озарял каким-то новым, романтическим светом эту их безрадостную тяжелую жизнь, тешил его тщеславие, дразнил опасностью, манил возможностью нанести своеобразную пощечину исторической спеси пруссаков, пройдясь меж ними в их мундире, и отомстить за все свои унижения, что выпали ему в лагере.

Даже теперь, тридцать лет спустя, Сыромуков не смог бы благополучно для себя объяснить дознавателю, с какой целью в марте сорок третьего года открыто посетил временно оккупированный фашистами прибалтийский город Энск. Но, может, сейчас и смог бы, потому что не те были бы вопросы, не тот подлый страх. А тогда...

...Радость оттого, что безмятежно и сладко пели жаворонки, что по склонам кюветов жарко горели одуванчики, что со стороны было невозможно и немыслимо принять его за немца — так надменно-уверенно чувствовал он себя в чужом мундире. Было не жарко, а у него все потела и потела неприлично для офицера вермахта левая сторона лица, только левая, и гулко, зло и очень часто колотилось сердце. И он подумал тогда, как он любит жизнь и хочет жить.

Как только он подступил к черте города, в памяти неизвестно почему ожила и назойливо-неотступно зазвучала нелепая присказка про страсть и девку, которую не надо было красть. Он пробовал отогнать эти слова, сосредоточиться на чем-нибудь достойном и важном,

но «ах, какая страсть» не отступала ни на секунду, и он перестал противиться этому, а потом понял, что так ему легче идти и ощущать себя увереннее, что так он тут не один.

Он подумает (тут, в Кисловодске), что этот день — поход в город — был самым счастливым в его жизни, потому что — подвиг! — по своей воле...

### О ПЛЕНЕ

Сыромуков заметил, что бывшие пленные с какой-то мрачной стыдливостью утаивали ужасы, перенесенные ими, поэтому мало кто знает, что пришлось пережить этим людям. Книжки же о плене, что попадались Сыромукову, далеки были от правды, и читать их не стоило.

Страх естественной смерти — не самое еще страшное, ибо в тот момент ты все-таки сознаешь, что можешь распорядиться собой по своему усмотрению, сохранив достоинство и не утерев свой человеческий облик. Хуже — смерть насильственная, когда ты видишь, как обряжают ее для тебя люди. Обряд этот обычно начинается с допросов и длится долго и унижительно, и ты тогда начинаешь спасаться и теряешь облик человека.

Когда бежали из вагона, то среди всех сорока восьми был один сытый. Сытенький. Перед посадкой ему одному дали буханку эрзац-хлеба и банку «фляша». Он пытался помешать Сыромукову выбить оконную решетку, тогда Сыромуков ударил его клумпой.

### ОБ ОТРЯДЕ

Будничная изнанка партизанской жизни неприятна, даже отвратительна. Голод, чесотка, вши, отсутствие медикаментов и врачебной помощи, как-то объяснимые в этих условиях случаи грабежей и мародерства... Это никому не надо знать, потому что неинтересно. Хвастаться тут нечем.

Но как это тебе удалось? В отряде ведь потом были бежавшие из плена майоры, капитаны, старшие политруки, батальонные комиссары и даже один полковник, но командовал ты, лейтенант. Как это тебе удалось?.. Не знаю. Я был... Но, может, и нет. Смелые были многие, но вот сохранивший себя настоящим лейтенантом — ты был один. И еще ты был красивым малым!.. Ну и тщеславен же ты! Но я ведь не вслух, а так только, для одного себя... Ну ладно. Конечно, ты был лейтенантом. Настоящим. И ты еще любил власть над другими и был не прочь порисоваться. Да, но плохо от этого никому не было. Только однажды, когда немцы догнали нас в болоте, а полковник отказался нести отрядный котел, потому что отставал и тонул с ним, ты поступил, как актер. Взял и передал по цепочке... Что ты ему передал? То был маленький бельгийский браунинг. Полковник понял все, остался цел и вынес котел, и браунинг я оставил ему, как награду. Ох и актер ты был!.. Ладно, давай о хорошем вспоминать. Вот, например, история с чехом Яношеком, который добровольно сдался в плен. Помнишь, как это было? По шоссе немцы гнали колонну пленных, и вы их встретили. Этот Яношек был у вас потом поваром, и партизаны звали его Яноськой. Он говорил, что никогда не слышал, как поют соловьи, потому что в Чехословакии будто бы их нет. Неужели это верно? Странно. Он погиб в апреле сорок четвертого, а соловьи в Прибалтику прилетают в мае.

#### К БЕСЕДЕ С ЛАРОЙ

Она говорила о Хемингуэе, что не может понять, как могут его герои так много пить, оставаясь неалкоголиками, почему им совершенно чуждо чувство верности в любви.

— Я не совсем понимаю причину успеха его книг. Неужели все дело в том, что герои их ведут себя чересчур уж... оголенно как-то?

— Нет, конечно, Хемингуэй — самый честный писатель нашего века. Книги его наполнены большим зарядом духовной мощи. Он-то знал, о чем писал.

— Вы смотрели фильм «Вертикаль»? Совершенно бездарное, а главное — ненужное, смешное, отвратительное пыженье. Обездоленные во времени! Ни войны, ни трудностей, ни борьбы, и вот выдумали — лезть на гору, где

уже побывали до них пятьсот тысяч таких же гавриков.

А в жизни, каждый день, столько подвигов, столько столкновений правды и лжи, столько искр от этих столкновений. А тут такое!..

— Люблю Голсуорси, Толстого, Бунина,— сказал Сыромуков.

— А из своих современных?

— Есть такой писатель Юрий Гончаров. Может быть, он родственник того Гончарова...

— А что он написал?

— «Обломова»,— едко сказал Сыромуков.

— Нет, этот ваш Гончаров.

— Он написал несколько книг. Отличных!

— Не читала.

— А вам встречался человек, с кем вы могли бы откровенно и до конца поделиться своими сокровенными мыслями?

— Да. Впрочем, нет.

— В том-то и суть. Но это совсем не значит, что этих людей вовсе нет.

— Наверное, все-таки нет.

— Ерунда. Просто дело тут в том, что вы опасаетесь. Всегда опасаетесь.

— Чего я опасюсь?

— Не вы, а мы. Очевидно, непорядочности. Просто самого настоящего, пошлого и гнусного доноса на себя, не в милицию, а вообще. Другу, знакомому, соседу.

Она подумала и туманно сказала:

— Да, грубость и оскорбления всегда ранят нас глубже, чем хотелось бы.

— Мы все поголовно совершенно невоспитанный.

— Вы?

— Вы тоже, смею вас уверить. Вот скажите, пожалуйста, вам когда-нибудь доводилось слышать, чтобы наша женщина в беседе с подругой сказала бы о своем легкомысленном муже, что он, к ее сожалению, в последние годы не слишком ценит постоянство, она скажет...

— Я знаю, что она скажет,— засмеялась Лара.

— Полагаю, что знаете. И эта разверзлая оголтелая грубость не улучшает ситуации. Наоборот. Согласны?

Благополучный человек неполноценен. Он недоступен состраданию и нежности.

— Но это же противоречит всякому здравому смыслу. Ведь все наши усилия направлены к тому, чтобы люди были благополучны!

— Верно, но, очевидно, в будущем это понятие обретет совсем другой смысл, нежели тот, что мы имеем в виду.

— Знаете ли вы, почему человек стремится немедленно перейти на «ты» со своим собеседником? Чтобы не думать.

— Не понимаю.

— Очень просто. Ведь если он на «вы», то надо держаться, как говорят, на высоте. Все время помнить о себе и думать, что сказать. Это все равно, как в гостях сидеть за столом и соблюдать этикет. Голодным ведь останешься.

— Да-да! Я знаю!

— Так вот. Думать — это создавать. А создавать всегда трудно. Значительно легче рушить, тут не требуется усилий.

**ЕЛЕНА ВЛАДИМИРОВНА РЕВИЧ,  
ЖЕНА**

1943 г. Город Энск. Елена идет с мальчиком, сыном погибшей партизанки, говорит с ним по-русски. Он (Сыромуков) в немецкой форме, слышит их русскую речь. Завязывается разговор, отрывистый, но значительный, лихорадочная попытка сближения, понимания в этих условиях. С ее стороны презрение, обида за форму. У переезда их останавливает товарный эшелон. Сыромуков осмеливается спросить ее адрес. Встречи. Помощь медикаментами, связь с городом. Елена не знает, что он бежал из лагеря, думала — он оттуда. Выяснится после войны.

Надо, чтобы Сыромуков разошелся с женой из-за партизана. Тот раз в неделю, а иногда и дважды, приходил

к нему с поллитрой. Скандалы. Жить стало невмоготу. Ей мешало какое-то инстинктивное отвращение к бутылке, принесшей страшное несчастье ее детству.

— Ты его возненавидела?

— При чем тут он? — сказала она.— Он просто хочет выпить, а ты с ним охотно пьешь, только и всего... по отношению к нему,— прибавила она.

— А ко мне?

— А по отношению к тебе все идет прахом.

— Что?

— Все, из чего складывается человеческая жизнь. Ты пару дней проработал, затем тебе хочется непременно выпить, и вы пьете. После выпивки два дня ты не тае...

— Что это такое?

— Пьешь валокордин, кордиамин и черт-те что, а потом пару дней работаешь, и опять все сначала. Вот тот круг, когда во всех измерениях все одинаково, одно и то же.

— Зачем ты всегда так стараешься занять собеседника? Может, хочешь понравиться ему? Но тогда ты попадаешь сразу же в кабалу, в зависимость, должен нравиться и дальше, начинаешь что-то обещать, что не всегда можешь выполнить, значит, еще более становишься обязанным. Желанием занять собеседника ты делаешь его иждивенцем, а сам становишься опекуном, по существу же полностью зависимым от него. А ты постарайся молчать, пусть активность переходит к собеседнику, в словах, в действиях. Если сумеешь уйти от опекунства, установится равновесие в отношениях, и ты свободен.

— Тебе хотелось, чтобы я так же была щедра в отношениях с твоими «избранниками», как ты сам. Ты перед ними распахивал всю душу, а они оттуда брали то, что им было выгодно, умело удовлетворяя твою потребность видеть их такими, какими ты их создавал в своем воображении. А я их видела в естественном обличье: не героев и не злодеев, но определенно тебя обманывающих и поддельывающихся под твой вкус. Поэтому, как правило, на меня они смотрели как на разоблачителя и настраивали тебя против меня.

...Ему было стыдно, что однажды у литовцев в гос-

тях, еще с женой, он запел за столом «Евсевну». Что это было? Когда он вспоминал об этом, корчился. Елена потом изумленно, обиженно и растерянно спрашивала, зачем он это сделал.

— Если бы ты знал, какие у тебя были глаза, когда ты пел!

Ему казалось: если бы там тогда был тот человек, от которого зависело осуществление его проекта, — потом и он запомнил Сыромукова и спросил бы себя: «Это тот, что пел «Евсевну»? Нет, рассматривать не буду».

И совесть твоя, и стыд, и жалость — это все равно что боль в сердце, тебе одному она известна, дорога и понятна, тебе одному с ней жить и умереть.

И стали накапливаться и расти до пределов важных событий ничтожные пустяки, мешавшие жить. Она иступленно говорила, что умрет, бросится под поезд.

...Однажды она сказала, что все в их доме видят и знают, как он носит в руках открытыми бутылки с вином. Он отвечал, что это ведь сухое вино и черт с ними.

— Что было бы, если бы они знали, как я носил открыто погоны обер-лейтенанта. Да! Если хочешь, с удовольствием!

Тогда-то и произошло все, что привело их к разрыву. Она не знала, о каком «удовольствии» говорит Сыромуков. Она решила, что он что-то скрыл от нее.

Он иступленно и глупо заорал на нее:

— Белогвардейка! Недобитая сволочь!

Она удивленно, с опасливым интересом посмотрела на него и болезненно сказала, что никогда бы не подумала, что он... а кто — не договорила.

## В РЕСТОРАНЕ

Этой варварской галопной музыке, сочиненной кем-то в беспощадно прогонном и безоглядном темпе, этой под нее шаманской экстазной пляске в тесноте и дыму хорошо подходило определение а-ля черт меня подери



и пропади все пропадом. Плясали мальчики с прическами святых отшельников и глазами юродивых. Они все были в резиновых кедах и замызганных семирублевых джинсах с изображением леопардов на задуге, и перед каждым из них старательно-работяще и преданно прыгали, наклонялись, приседали и чуть ли не запрокидывались с виду бесстрастно-порочные, красивые и юные девочки-недоноски. У них так же, как и у мальчиков, помешанно горели глаза, и создавалось впечатление, будто они не сознавали, что моделируют ритм их изнурительной работы.

Сыромуков поймал себя на мысли, что это — хорошо, даже красиво, потому что юно.

### ТАМ, ГДЕ ОН ЖИВЕТ

Живет мужик. Работает он слесарем в комбинате бытового обслуживания. Сын тоже. Гараж-мастерская, забита всевозможными инструментами, запчастями, сварочный аппарат, баллоны. Частнопредпринимательская деятельность. Это все, конечно, уворовано по месту работы. Два «Запорожца»: у сына и у себя. Две бабы, жены их, сидят дома, толстые, глупые, нечистоплотные. Выводят во двор прогуливать двух домашних собачонок «жучек». Те злые, на детей бросаются, запакощивают двор. И ничего.

Приделали к «Запорожцам» прицепы, на них моторные лодки,— и на озера. Продукты. Как? Что? Апельсины авоськами.

— А чем плохо? Рабочий человек достиг. Вот и все.

— Нельзя потворствовать развращению,— сказал Сыромуков.

### К НОЧНЫМ ВОСПОМИНАНИЯМ СЫРОМУКОВА

Уже полукраем сознания Сыромуков отметил, как отпустила его сердечная боль, заменяясь мучительно-сладкой тоской о детстве, и эта тоска помешала ему уснуть. И он вспомнил, как раскулачивали Сюрку. Мед в чайнике, спрятанный в печку. Он был горячий, мед, и они — член сельсовета Микишка Царев и он — унесли чайник в кулацкий пустующий огород и там в лопухах и черныбыле поочередно пили жидкий горячий мед из носка

чайника, и оба объелись и до вечера не могли двинуться с места, лежа с оголенными животами под солнцем, чтобы мед «попер сквозь пузы», как посоветовал Микишка: ему было под тридцать, и он знал, что делать, когда голодный облопаешься медом в июньскую жару...

Во вторую ночь:

— Давай о чем-нибудь веселом. Например, о Мине или о кладе.

М И Н Я. Так звала его жена — порывистая и веселая, тонкая, как былинка, и смуглая, как цыганка, ходившая и в будни и в праздники нарядно и пестро. Она — с девической, знать, поры — запомнила множество припевок на мотив «страданья»; и даже на утренней заре, доя корову, кричала их пронзительно-тонким веселым голосом. Жили они на краю села в белой каменной хате, стоявшей у самого обрыва пропастного яра, и соломенная крыша ее была сплошь утыкана игрушечными ветрячками о двух, четырех и шести крыльях — то ли самого себя забавлял Миня, то ли тешил жену Фросю, потому что детей у них не было. И оттого ли, что к западной стене их хаты подступало поле, а к северной яр, а потом уже село, или по другим каким причинам, но доступ на Минин двор горю или хоть какой-нибудь летучей кручине казался заказан...

У Мини была круглая темная борода, ладная и курчавая, как у древнего грека. Ходил он стремительно, пружинисто и прямо, закидывая голову назад, и нельзя было определить, сколько ему лет — тридцать? Сорок? Осталось неизвестным, за что взрослые люди села не любили Миню: может, за его нечеловеческую силу — поднимал сразу четыре мешка с рожью, по два каждой рукой, может, за ветрячки на хате, а может, за изнурительный Фросин голос. Он знал об этом и, вызова ради, а возможно, и на утеху своей души, вел с нами, ребяташками, настоящую, уважительную и равную дружбу. Он играл с нами в чижика, в бабки, а глухими зимними вечерами катался с горы. У них с Фросей были не салазки, а поддровни — широкие и емкие, набитые мягкой овсяной соломой, и за какую-нибудь треть минуты, летя с горы, Фрося успевала скричать частушку. Они поджидали нас внизу, возле речки. Скатившись, мы привязывали свои салазки к поддровням, в которых продолжала сидеть Фрося, и Миня тащил этот бесконеч-

ный цуг в гору, и мы вслед за Фросей «страдали» всей оравой, потому что ехать вверх еще интереснее, чем катиться вниз. На улице в это время мелкими кучками собирались бабы — следили издали за Миней и Фросей, — и неизвестно было, о чем они тогда судачили.

Как только сходил снег и заречный луг засвечивался «куриной слепотой», уличная стена Мининой хаты от повети до завалинки разрисовывалась синькой и тертым кирпичом. Синька шла на раскраску стеблей и листьев у подсолнухов, а кирпич — на головки. Изображались еще петухи с синими хвостами, глазами и клювами. Подсолнухи живописала Фрося, а петухов Миня сам. Они не слишком изнуряли себя работой в поле, и в субботний день шабашили и возвращались домой загодя до заката солнца, сидя рядком в задке повозки с венками на головах: на Фросе из ромашки, а на Мине из васильков. Здороваясь с кем-нибудь из встречных селян, Миня серьезно и почтительно, как картуз, снимал и тут же снова напяливал на себя венки. Ему обычно не отвечали на такой поклон, усматривая в нем шутку пополам с насмешкой, и Фрося тогда торкалась лицом в колени и смеялась, и Миня хохотал вслед за ней.

У них все — большое и малое, степенное и озорное — делалось сообща и с обоюдного согласия. Они любили водить в ночное своего жеребца вдвоем, и верхом ехала Фрося, а Миня шел пешком, рядом. Там, в ночном, поощряемый Фросей, Миня затеял однажды борьбу: сколько есть народу — все против него одного. Нас, ребятшек, было человек двенадцать, но свалить его мы не смогли.

— И-и, бестолочь! — кислым голосом сказал нам тогда дед Васак, Минин сосед через яр. — Ему ить не с людьми, а с лошадьми впору тягаться! Небось кровь-то густая, с дуринкой..

Он сказал это из-под зипуна — укладывался уже спать. Миня виновато и жалобно поглядел на Фросю, а у той в беззвучном каверзном смехе трепетали ресницы и алчно, неутерпно дрожали крылья тонкого цыганского носа — что-то замыслила. Как ребенка, когда он учится ходить, она поманила Миню обеими ладонями — дескать, ходи, ходи скорей!

— Давай ее... опрокинь, — сморенно валясь на траву, сказала она Мине, показав на табун. Сам дед Васак называл свою грустную чалую кобылу Умницей, а мы не-

много иначе — она была вислобрюха и водогонна, как бочка. Миня подкрался к ней незаметно и с ходу ухватился руками за хвост. Умница присела, а затем напряглась как под кладью наизволок и заржала, пятясь назад, к табору, куда влек ее Миня.

— Ой, лихо мне!.. Ой, ребята, будите деда...

Фрося не говорила, а пищала, как в тростинку, и дед Васак, учуяв недоброе, откинул зипун и сел.

— Ты чего делаешь? — заверещал он на Миню. — Ослобони скотину! Отпусти, нечистый дух!

Наверно, дед Васак пожаловался обществу, потому что через неделю, на троицын день, к Мине на всем праздничном карусельном миру подошел наш сельский председатель комбеда по кличке Золотой и, выждав затишок в гомоне, сказал ему:

— Нехорошо делаешь, Митрий. У бедных людей последних лошадей тягаешь за хвост. Мало других, што ли?

Фрося тоже это слышала — рядом была, а спустя час они пошли по воду — под гору, к речке, и назад Миня понес Фросю на руках, и она — с двумя ведрами на комысле — пела:

Ох, давай, Минька, посмеемся,  
Ох, пока с хлебушком не бьемся!

Это на всем миру-то!

И многое-многое другое, совсем безобидное, но все же несообразное летам и бороде его, водилось за Миней.

А тем временем приближался тысяча девятьсот тридцатый год...

**К Л А Д.** Мне — года четыре. В мире лето, неоглядная синь поднебесья, теплынь, горластый огненный петух. Мы с отцом — я поминутно называю его папашкой — точим на дворе лопату. Точит он, а я временами, когда скажут, плюю на каменный брусок раз и два и сколько хочешь — слюней у меня много. Вечером, в золотой полумгле зари, мы тайком уходим из села за выгон — сосед наш дед Бибич, отец и я. Мы идем гуськом — впереди отец, за ним я, а за мной дед, уцепившись рукой за подол моей рубахи: он слепой. Мы идем рыть клад — о нем деду три ночи подряд виделось во сне.

— Петък, только без обмана. Я ить мог и опричь тебя взять кого угодно, слышь?

Это предупреждает отца дед Бибич, набегая на меня сухими босыми ногами.

— Ты ж меня крестил, Парфеныч! — говорит отец, не оборачиваясь. Голос у него просительный и прерывистый. Я не знаю, что такое клад, не понимаю, как мог увидеть его во сне слепой дед. Мы долго идем по выгону, потом сворачиваем в поле и бредем зелениями и пахотью. Дед Бибич часто падает и валет меня. Отец пытается взять у него лопату: «малого поранишь», но дед не дает. Останавливаемся мы на кургане, где под самые звезды уносится верхушка какого-то темного дерева. Я сажусь под ним, а Бибич зачем-то обнимает отца и что-то бормочет, подняв лицо к небу. Как только они принимаются рыть землю, мне становится холодно и страшно. Наверно, отец догадывается об этом, потому что то и дело окликает:

— Сидишь?

Уже сквозь дрему я слышу тревожный голос деда:

— Чего там звякнуло?!

— Кость, должно, — неуверенно говорит отец.

— Дай пощупаю! — требует Бибич.

— Да где я ее... Выкинул, поди, — не сразу отзывается отец.

— Не бреши! Дай, говорю! — кричит дед.

Отец лезет из ямы и негромко и смешно ругается:

— Пошли, Родион, отсюдава к распротакой матери!

Но мы все же поджидаем деда и возвращаемся в село прежним манером. На этот раз свою лопату Бибич передает отцу сам...

Как я понял позже, клад нам был нужен до зарезу. Хата наша большая, каменная. Двор широк, травянист и пустынен — живности никакой нет, кроме двух овец и десятка курей. До войны и разрухи двор принадлежал к разряду богатых: жил дед Матюшка, умевший для села портняжить, столярничать, тесать улы-дуплятки, и было у него три сына — Дмитрий, Иван и Петр, сыном которого я потом стал. Он был младшим и грамотным — закончил церковноприходскую. Книжник, гармонист и песенник, он ненавидел крестьянский труд, отлучаясь по осени в город и возвращаясь домой по весне. Ну скажите, пожалуйста, как же ему, одетому в малиновую рубаху навыпуск и обутому в сияющие лаковые сапоги, было уметь пахать, косить, возить навоз?

Это делали братья и старик отец, а он услаждал их слух частушками под «ливенку», и все были внакладе. Петрак, как звали его свои и чужие, гребовал сельскими девками, носившими лапти, и свататься поехал аж за сорок верст — где-то там у захудалого однодворца жила в прислугах девка, сирота и красавица Катерина Сыромукова — моя потом мать. Это случилось в тринадцатом, а в четырнадцатом разразилась война. Вскоре помер дед Матюша и старший сын, Дмитрий. Иван погиб на фронте, а Петрак в чине унтер-офицера попал в плен, и когда вернулся в двадцать третьем году домой, то...

Клад нам нужен был до зарезу.

Все хорошее в детстве было исчерпано. Оставалось то, что не надо было воскрешать, потому что с ним не заснешь. Хотя кое-что можно... Помнишь, как тебя дразнили ровесники в школе и на улице: «Белый, белый, кто тебя делал? А, пыль да мука да четыре мужика!» Надо же! Ты к тому времени уже знал, «кто тебя делал», и ненавидел его люто, болезненно и страстно, а с ним заодно и мать, и отчима... этого только за то, что он не был настоящим тебе отцом...

Не надо об этом, к черту!.. И все же удивительно. Как живо и ярко он продолжает помнить многое, что было потом: и этот случай с майором Ивановым, и о Семене Дмитриевиче...

Школа. Изрезанные именами — Кузьма, Прохор, Андрияха — парты. Черная, истрескавшаяся доска, кусочек белой глины, тряпка-стиралка и въедливый, широкий запах гуммиарабика. Серый мартовский день. Пахнут в мягком утреннем морозце вишни. Звенят оттаявшие голоса синиц — весна.

Ребятишки запаздывают к началу урока, но являются радостные, добрые друг к другу. У некоторых губы и щеки лоснятся и светятся — масленица, ели блины, опаздывают через это.

Учитель молодой, высокий, строгий. Он носит голубую сатиновую рубашку с глухим воротничком. Хромовые сапоги с калошами, диагональные галифе образца гражданской войны. Учитель — комсомолец. Семен Дмитриевич Верин. Он вкусно произносит непривычное нам слово «пянер». Он сам повязывает нам красные галстуки, затем, отступив на шаг, щелкает каблуками сапог и грозно приказывает:

— Пянер, будь готов!

— Всегда готов! — радостно кричат Кузьма, Прохор, Андрюха...

Урок.

— Лермонтов — это дворянский писатель. За всю жизнь он написал только одно пролетарское стихотворение — на смерть поэта. Но это вышло у него случайно.

— Чайковский жил на даче. Денег у него было много, кругом леса, и ему бесплатно собирали ягоды. Сахар он покупал сам, затем варили варенье, он ел его и сочинял дворянскую музыку...

Мы слушали, и музыка эта казалась нам далекой, чужой и непонятной.

Прошли годы.

Однажды в филармонии выступал знаменитый скрипач, исполнявший Чайковского.

В залитом полумраком зале веяли крылья незримого восторга и грустной радости. Было напряженно тихо и томительно счастливо оттого, что в мире живут люди и эти звуки и что это человек создал их — бессмертные, живые, затопившие мир гордым и чистым восторгом, любовью и красотой...

Рядом со мной сидел высокий, строгий старик. Он сидел неподвижно и как-то строго, совсем покойно плакал.

Я узнал учителя.

По окончании концерта я настиг учителя в дверях и представился.

— А, да, да... я вспоминаю... Хотя и забыл.. да, очень рад.

Я пригласил его в ресторан, я не мог этого почему-то не сделать.

Я заказал две бутылки шампанского и банку клюквенного варенья. Учитель только поднял брови, но промолчал... (Как мы вели себя за столом и как он потом ушел, отодвинув строго и резко от себя банку, и что-то суровое сказал мне.)

Ведь с тех пор ощущение жизни все же притупилось, и многое из того, что когда-то манило и окрыляло, устрашало и мучило, волновало и радовало, теперь казалось малозначительным и неинтересным, а порой и вовсе ничтожным и жалким, но вот острота восприятия добра и зла осталась неизменной, и сердце отвеча-

ло на это с прежней силой признательности или негодования. Даже больше, чем прежде, значительно больше. Что ж, видно, сердцу, а не разуму положено до конца дней своих помнить, что в мире вечно и что преходяще. Может, оттого оно и не так податливо на прощение зла, как разум: тот ведь еще и дипломат лукавый!..

### ПЕРЕД ОТЪЕЗДОМ ИЗ КИСЛОВОДСКА

Вечер был сизый и кроткий, как ручной голубь из детства. Было безразлично, существовал ли когда-нибудь этот голубь у него самого, совсем безразлично — если не существовал, то должен был быть, потому что если его не было, то только по чьей-то злой, чужой вине, потому что этот голубь был в идее мира, ибо мир прекрасен и человек в нем — тоже. Сыромуков шел по пустынному терренкуру, не противясь благодарному, щемяще сладостному восторгу, охватившему его беспричинно и неожиданно. Он шел и тихо, облегчающе и восторженно плакал. Он думал, что это ничего не значит — ни то, что он вот-вот должен умереть сам, ни что уже умерли Лермонтов, Толстой, Хемингуэй, Экзюпери — тот французский летчик, вот когда вспомнилось, — что, возможно, усилиями темных, сытых людей потухнет на земле жизнь, но что даже это ничего не будет значить, потому что жизнь тут была и цвела, и если ее не станет, то только здесь на земле, а где-то за пределами здешнего неба она все равно будет продолжаться, потому что это невысказано дико, чтобы ее не было, такой же голубой, зеленой, багряной, белой, как наша, посланной человеку великой милостью Великой тайны...

### КОНЕЦ

При возвращении, когда его встречал Денис (он увидел его из окна вагона, на перроне, с хохолком на макушке, в самом деле подросткового, как показалось Сыромукову, острого, напряженно вытянувшегося в струну, — выглядывал в толпе отца и не находил), подумал, что им можно будет обняться и, возможно, даже расцеловаться, как всем взрослым после разлуки. Уже на перроне, поспешая к сыну, Сыромуков летуче и коротко помолился



ся в душе Денисовой судьбе, чтобы она была милосердна к нему и все сделала так, как его собственная, сыромуковская судьба сделала для него самого... Чтобы Денис никогда, ни на один день, ни на час и ни на миг, не стал бы довольным.

# **Рассказы**

## ДОРОГА В ОТЧИЙ ДОМ

*Рассказ партизана*

Конечно, героизм нужен был и тому, кого в тыл привезли самолетом. Но все же человек тот действовал по плану, рассчитанному для него другими людьми. У такого было и оружие, и еда в кармане, и инструкция в голове — куда податься в тылу и с кем там завязать сношения. Я же доставился в тыл пленным, да еще вдобавок тяжело раненным. И никаких указаний, что и как я должен делать с собой в такой индивидуальной беде, не имел. Насчет того, чтобы прикончить себя, возможность была, но ведь с такой работой конвоиры и сами управлялись хорошо. Одним словом, я с этим делом не торопился, и вижу теперь, что поступил вполне даже правильно.

В плен я попал под Волоколамском в сорок первом, и хотя прошло с тех пор шестнадцать лет, и остался я жив, и семью развел, и все такое прочее, но рассказать о том, как я прозимовал в плену, — не умею: нету у меня русских слов для этого. Нету! А чужих языков не знаю... Поэтому, если не возражаете, начну сразу с того, как я сбежал из плена.

Лагерь наш располагался под городом Шауляем в Литве, — ишь куда занесла меня судьба! По причине однорукости (правую руку оторвало мне в бою под Волоколамском) немцы за всю зиму ни разу не выгоняли меня на работу. И дело тут заключалось не в жалости у них ко мне, а в моей непригодности. Ну, да черт с ними. Весной нашлось применение и мне. Оказывается, в лагере был еще один пленный без руки, и тоже без основной. Одним хорошим майским утром выкликнули из строя наши с ним номера, дал нам немец в уцелевшие руки по большому ножу, вроде тесака с бойни, стал сам в трех шагах сзади и погнал зачем-то в лес километра за четыре от лагеря.

День тогда выдался — прямо как наш, обоянский. Тепло, солнышко печет, травка на обочинах дороги нежится... Напарник мой оказался человеком слабодушным. Отошли

мы метров триста от лагеря, снял он с головы свою грязную пилотку, подставил лицо ветерку — и как зальется слезами!

— Чего ты? — спрашиваю. А он слова вымолвить не может. Ревет — и все. Думаю: струсил, миляга, решил, что на смерть ведет нас фашист, а того, видно, не сообразил, что с ножиками на расстрел пленных не гоняют. Начал я ему объяснять это, а он и говорит:

— Да я не оттого! Ты слышишь, что в небе делается? Жаворонков чуешь? Они же русскими голосами поют. Точь-в-точь как у нас в Тамбовской области...

Ну, тут нас конвоир огрел прикладом разом обоих — тесно мы сошлись в разговоре... Жалко ему, сволочу, стало воздуха... слов наших утешительных друг другу. Ну, да черт с ним. Вытерпели мы и не такое, снесли и это, а через полчаса подошли к лесу.

При случае я, конечно, коснусь литовских лесов особо, а сейчас скажу только, что не леса, а чудо развели там люди! По несколько километров тянутся они в разные стороны, и между прочим, все в них растет такое же, как и у нас в России: сосны, дубы, ясень, клены... И даже цветы одинаковые. Может, вам случайно знаком весенний цветок «баранчик»? Кудрявый такой, желтоватый, на длинной ножке? В детстве мы их охапками ели, потому что вкус у них на мороженое смахивает. Вот эти-то «баранчики» я и увидел сразу, как только пришли мы в лес. С голодухи показались они мне не то что мороженым, а... вроде хлеба! Навалились мы на них со своим напарником, а конвоир...

Ну что он мог другое придумать? Избил, конечно. «Дас ист дойче!» — кричит. Немецкие, значит, «баранчики».

Ладно. Стал он нам прикладом объяснять, что мы должны делать. Оказывается, березовые прутья резать и складывать в кучки. Для чего они понадобились фашистам — ума не приложу. То ли на розги, то ли на метелки, чтобы фатерлянд свой подметать, то ли для банных веников.

На этом месте я хочу задержаться, чтобы лучше объяснить вам, каким путем появилась у меня тогда мысль о побеге. Конечно, об этом я думал всегда — и днем и ночью, и во сне и наяву. Но тогда, в лесу, решение это созрело у меня полностью и со всех сторон, и не потому только, что к этому представились условия местности. Нет. Дело тут оказалось в другом, в том, что конвоир боялся нас, вот в чем!

Первый признак к этому был тот, что он остановил нас почти на голой полянке. На ней, может, и было-то всего три березовых куста да один пенек дубовый... А второй признак — это наша с напарником однорукость. То есть две руки на двоих. Значит, еще в лагере у немца сидела где-то робость насчет того, чтобы идти с пленными в лес, и нас, таких, он выбрал умышленно. Понятно теперь? А на войне, да и вообще в жизни, получается всегда так: враг трусит — я смелею!

Ну вот. Определил нам конвоир дистанцию — дальше березовых кустов ни шагу, — сел сам на дубовый пенек и занял на губной гармошке какую-то свою немецкую кручинушку. А мы режем да режем. Напарник в одном кусте, а я в другом. Ножи, как я уже говорил, большие были и острые. Рубанешь одну веточку — она и набок. Хватишь две сразу — то же самое. Так что двух рук для такой работы вроде и не требовалось. «Неужели же, думаю, не хватит мне своей левши для того, главного своего дела? Неужели же мало ее у нее одной будет?»

С напарником я решил поговорить об этом осторожно, намеками. Но как только подошел к нему и увидел глаза его, так все разом понял: думал он то же самое, что и я...

Оказывается, такое дело нельзя скрыть друг от друга людям. Смертную решимость то есть. В человеке тогда напряжинивается все нутро его, а глаза отчего-то расширяются. И вот что удивительно — интереснее тогда человек и даже ростом вытягивается... Ну, одним словом, напарник тоже понял и сказал всего лишь:

— Давай!

Но одно дело решить задачу головой, а другое — выполнить ее руками. Да еще одной и к тому же — левой. А главный вопрос застревал в том, как подойти к конвоиру. Вплотную. И чтобы он не видел твоего лица, потому что иначе он за десять шагов обо всем догадается! Тем более что сидит он настороже и боится именно таких для себя результатов...

Все это мы обмозговали за одну секунду, — в такой обстановке шарики в голове работают здорово, — и решили вот что: транспортировать нарезанные прутья к конвоиру. Я свою порцию, а напарник свою. Но двигаться порознь. Первым — я, а он немного сзади. Это мы придумали вот зачем. Во-первых, у конвоира бдительность ослабнет, а во-вторых, за прутьями лица наши скроются...

Ох и долго же я шел через эту полянку — то есть от кустов до конвоира. Будто сызнова переживал час за часом плен свой, потому что всплыл он весь передо мной, как в кино...

А когда дошел и стал класть у вражьих ног прутья, то до того ослабел, что чуть не свалился...

Тут я опять задержусь на минутку, и вот для чего. Понимаете, если бы конвоир не помог мне сам тогда, может, ничего не было бы, потому что вера из меня ушла. Но он толкнул меня сапогом. Толкнул и крикнул:

— Даст ист вениг,— то есть мало, значит.

— Хватит! — сказал я ему и не услышал своего голоса — один сип какой-то вышел. Зато от этого толчка ко мне разом вернулось все то, что в кустах переживал...

Ну, я думаю, вам не интересно слушать подробности, как я его приголубил. Теперь я и сам дивуюсь — откуда тогда сила у меня взялась. Ведь я чуть ноги переставлял, а тут... Значит, самостоятельно береглась силенка в моей руке специально для этого случая, а я и не знал о ней. Можно было и раньше что-нибудь сотворить в этом роде...

После этого дела мы прихватили от своего бывшего конвоира винтовку и кинулись в глубину леса. Двигались изо всех сил — то бегом, то шагом, а то и ползком, потому что мочи было мало, а страху хватало — немцы могли пустить за нами погоню с собаками.

Но все обошлось. Под вечер перешли вброд небольшую речку и вылезли на другом берегу километра за два выше того места, где спустились. Это на случай собачьей погони, чтобы затерять след.

Только тогда мы решили отдохнуть и поглубже познакомиться друг с другом.

— Вот,— говорю,— Сидорчук, и закончилась наша неволя. Теперь мы с тобой, можно сказать, советские партизаны.

— Возможно, что и так,— ответил Сидорчук,— только я,— говорит,— не представляю, как это мы будем с тобой партизанить с одной винтовкой и с парой рук на двоих?..

Тогда-то и пришла мне мысль назначить себя командиром. Понимаете, дело тут упиралось не в должность, а в нужность. Кому-то из нас все-таки надо было сделаться старшим, чтобы принимать решения, а другому выполнять их и поменьше разговаривать. Винтовку носить решил я сам,

хотя стрельнуть из нее друг без друга мы не могли,— один из нас должен был подставлять для ствола плечо.

Все это я сообщил Сидорчуку. Он помолчал немного, а потом и спрашивает:

— Ты в каком роду войск служил до плена?

— В артиллерии,— говорю.

— Я так и подумал...

— Почему?— интересуюсь.

— А потому что привык ты из-за укрытия воевать. Вот и теперь норовишь из-за меня стрелять. Вроде как из-за орудийного щита...

— Ну,— говорю,— щит из тебя такой же, как из моей бывшей руки гуж, это во-первых. А во-вторых, стрелять будем, в случае чего, по очереди. Обойму ты, обойму я. Согласен?

На том и сошлись.

Ночью мы набрали на лесной хутор. Бедный такой, со всех сторон ветрам открытый, и так нам захотелось есть, что аж больно стало! Тут, возможно, заговорила долгая наша голодовка в лагере. А возможно, и то, что мы почувствовали подходящий момент достать еду. Трудно установить сейчас, что было главной причиной.

Близко к хутору мы не подошли, побоялись. И в то же время уйти от него тоже никак не могли. Я принял тогда решение — отправиться одному из нас на разведку. Решение, конечно, очень даже правильное, но вместо того, чтобы действовать смело и сразу назначить на это Сидорчука, я начал «голосовать»:

— Кто пойдет?— спрашиваю его.

— Наверно, что я,— говорит он,— потому как больше некому. Ты же командир...

Вижу — с обидой говорит он это, а обида в нашем положении штука нехорошая. Я, конечно, догадался, в чем дело: Сидорчук обиделся на то, что я сам назначил себя командиром, понимаете? Но ведь штаба же у нас с ним не было для утверждения меня в этой должности? Как же он, думаю, не постигнет этого?

Сразу я было решил идти сам, но потом подумал, что через такой мягкотелый поступок могу потерять авторитет в глазах подчиненного и тогда мне будет еще хуже.

— Партизан Сидорчук! — сказал я.— Идите сейчас же на хутор. Разведайте обстановку. И если ничего там подозрительного не заметите, возвращайтесь назад.

— А если замечу?— ехидно спрашивает Сидорчук.  
— Все равно приходи сюда,— говорю.

В общем, отправил я его, а сам стал ждать донесение. Прошло, может, не меньше часа. Кругом ни звука. Луна только светится да звезды блестят, а Сидорчука все нет и нет. Я стал уже сильно беспокоиться и предполагать беду, но в это время он показался совсем с противоположной стороны.

Тут я должен сообщить вам насчет молочных бидонов. В Литве наши горшки не приняты под молоко. Для этого у них там в моде белые жестяные бидончики со стеклянным окошком в боку, чтоб отстой был виден. Вот с таким точно бидоном и возвратился из разведки хутора Сидорчук.

— На-ка, попей холодненького,— говорит, а от самого таким нестерпимым вкусом сливок несет, что даже за пять шагов слышно.

— Где ты его взял?— спрашиваю.

— А в колодезе,— докладывает.— На веревке был спущен туда, охлаждался.

— Та-ак,— говорю.— Значит, первое наше с тобой действие в тылу у противника началось с воровства молочного инвентаря у мирного населения?

Это я спрашиваю у Сидорчука, а сам, между прочим, пробую снять крышку с бидона. То есть не по желанию пробую, а совсем даже наоборот. Просто ничего не могу поделаться с собой,— так захотелось глотнуть оттуда хотя бы полстакана!

Выручила меня должность, иначе бы не стерпел. Выходит, что разум тоже приходит к человеку вместе с назначением на пост, но, конечно, не ко всякому...

Чтобы долго не задерживать вас на этом месте, скажу коротко: в эту ночь мы заглядывали еще на три хутора, кроме этого, и всюду нас принимали как родных братьев,— к бедноте попадали. К утру мы так нагрузили животы, что идти уже совершенно невозможно стало, а есть все хочется.

Но хорошее без плохого не бывает. От невоздержанности с мясом и по причине выпитых ранее сливок Сидорчук захворал. Понятно, конечно, чем, а такая болезнь в нашем с ним положении хуже не придумаешь,— сидеть надо было, вместо того чтобы двигаться.

На рассвете кое-как довел я его до лесной глуши и определил в кустах орешника, а сам отошел чуть подальше. И только снял с себя винтовку и хотел прилечь, гляжу —



крадутся мимо двое, и такого нечеловеческого вида, что я враз догадался, кто эти люди, чьи они и откуда...

Понимаете, мы с Сидорчуком и сами страшили хуторян своим обличем — до того довели нас в лагере, но таких, как эти, я видел впервой за весь свой плен. У одного волосы до плеч, лоб с хороший кавун, а лицо — с огурец: высохло, и вместо рубахи — мешок с немецким орлом, представляете? Второй тоже далеко не радостной наружности. Гимнастерка без рукавов, лицо — сплошная корка засохшей крови, сам же весь до того мал и худ, ну прямо инкубаторский цыпленок! Но оба все-таки держат в руках по голышу. Жить, значит, еще хотят и даже обороняться собираются...

Поступил я с этими людьми не совсем правильно. Можно сказать, даже плохо. Понимаете, вместо того чтобы обрадоваться своим живым братьям-славянам (а это, между прочим, с одной стороны души так у меня и было) и по-человечески расспросить их, что и как, я начал снимать с них форменный допрос, да еще с разными там намеками — почему, дескать, живы остались, да как это было возможно для вас в плен сдаваться, когда у вас все цело и по уставу это не предусмотрено.

Чуете? Охамел — и все! А причина тут скрывалась в оружии. В винтовке, которую я держал между колен и рукой поглаживал: до таких размеров расперла она мою важность, что по-другому разговаривать я не мог!..

Ну, ладно. Люди наши, как известно, на междоусобные обиды забывчивы и душой друг к другу отходчивы. Мне это тоже потом простилось и забылось, — жить же надо было вместе! Но сперва-то я все-таки допросик с них снял. И выяснил: фамилия того, что был в мешке — Климов, звать Сергеем, а по отчеству Андреевич, год рождения девятнадцатый, неженатый, лейтенант. В плен попал в сорок первом под Ельней, раненным в ногу. Вторым, который без рукавов, тоже оказался командиром по фамилии Воронов Иван. Находились они в офицерском лагере под Ригой, бежали с эшелона сутки тому назад, и кроме травы ничего еще не ели...

После их допроса я рассказал о нашем с Сидорчуком побеге, и хотя в действиях с конвоиром совершенно упустил из вида отсутствие своей правой руки, так что нагрузка получилась на две целых, результат у меня вышел все-таки крепкий: Климов обнял меня и даже за-

плакал. Я тогда тоже не удержался. В первый раз за все время нестерпимо стало за себя и за всех нас таких, без вести пропавших...

Между прочим, Климов оказался мужиком норовистым. Я это сразу заметил, когда выдал им на двоих хлеб. От вида деревенской ковриги Воронов аж подпрыгнул, а Климов отломил ему кусочек с гулькин нос, вручил, как свой, да еще и приказал:

— Ешь не сразу. Хлеб ржаной. Ясно?

— Ясно,— отвечает Воронов, а у самого, бедняги, голос рвется.

В тот же день у меня с Климовым получилось разногласие насчет партизан. Он не признавал их никак. То есть не верил, что они хоть что-нибудь да значат в войне с немцами.

— Ну,— говорю,— в войне они, может, и действительно сильно не значат, но в истреблении отдельных фашистов роль все-таки играют.

— Возможно,— говорит,— но немцев надо громить по всем правилам стратегии на фронте, а не играть с ихними ездовыми на проселочных дорогах в тылу. Ясно, товарищ Курочкин?

Я промолчал, потому что чувствовал свою слабость в военных словах, но насчет партизан остался при своем личном мнении.

К вечеру Сидорчуку полегчало, и мы вчетвером двинулись прямым курсом на восток, к своим. На этом и закончилось мое старшинство, несмотря на винтовку. Старшим, как известно, всегда является тот, что оказывается впереди, а головным у нас оказался Климов. За ним шел Воронов, потом уже я, а замыкающим Сидорчук, поскольку ему приходилось еще временами задерживаться.

Вот тогда-то я и узнал, до чего человек сложная механика! Я на себе это понял, потому что полночи шел и все думал: «А на каком основании Климов захватил верх? Кто к кому пристал — мы к ним или они к нам? У кого оружие — у них или у нас?» Понимаете? Это, значит, личные интересы у меня зашевелились, как раньше у Сидорчука. Чуете? Но именно этим сравнением я и успокоился. Выходит, что худа без добра тоже не случается...

Ну, хорошо. Утром, на восходе солнца, нам встретилось шоссе, и только мы собрались пересечь его, как издали показался легковик. Был он от нас километра за полтора, а то и дальше, но мы все же... кинулись назад, да так, что

остановились метров через двести, а то и через все триста от дороги...

Теперь трудно сказать, кто побежал первым. Думаю, что все в одно время, потому что ни передних, ни задних у нас не было.

Потом, часов через несколько, каждый из нас понял, отчего это с нами случилось. То есть почему мы оказались тогда такими... Дело тут важнее, чем можно сразу подумать о нас. Дело не в страхе смерти было и не в личной трусости, а в другом — в плене нашем проклятом, ужасную память о котором мы еще носили с собой... Эх, трудно мне объяснить вам это, ну да вы поймете все сами по ходу дальнейших событий.

Забрались мы после этого в лесную глухоту, друг на друга не смотрим, молчим, и сразу же по кустам — спать вроде, а какой там, к черту, сон был! Так, отвод от себя своих же глаз. И вот лег я вниз лицом, наблюдаю жужелицу в траве, а сам успокаиваю себя тем, что сваливаю вину за это дорожное бегство на других, а главным образом на Климова. Разное пришивал ему, а себя оправдывал однорукостью... Но потом все-таки понял общую причину своего слабосилия и решил так, что с обеими руками я, может, бежал бы еще шибче, — размахивать было бы чем... И захотелось мне не только обругать себя последними словами, а прямо-таки избить, хотя за что именно — точно не знал. От обиды, конечно, а может, от стыда...

Климов лежал от меня метрах в пяти, и вот слышу — шепчет он такую страшную ругань, что теперь от нее уши завяли б! «Стоп, думаю, значит, люди мы еще не пропавшие, раз чувствуем коллективную боль от своей неспособности. Значит, рождаемся мы сызнова для хозяйской жизни на этом зачумленном немцами свете!..»

Вот тогда и повернулась у меня душа на что-то хорошее к себе, а Климов распространил эту мою радость на всех нас четверых. Понимаете, подполз он ко мне, вперся взглядом в винтовку, и хотя молчит, но я уже знал, что он хочет. Точно знал, потому что именно это и хотел он, как потом выяснилось.

— Бери,— сказал я. Только всего и сказал. Схватил он винтовку, проверил патроны и тоже мне почти одно слово:

— Я один пойду.

— Нет,— говорю.— Надо всем вместе. Для г л а з нам надо. А может случиться — и для помощи тебе.

— Верно,— говорит.— Надо всем!

И вот пришли мы к шоссе на то самое место, откуда сбежали. Климов лег в кусты, обнял винтовку и притих. Я примостился рядом, остальные тоже замаскировались в разных местах и стали ждать. Ох и тяжелые ж минуты мы тогда прожили! Тут ведь не один только враг подстерегался. Тут мы вроде назначили первую встречу с самими собой, то есть с такими, какими мы еще не были, но должны были стать, понимаете?

Ждали часа полтора и все же дождались,— грузовик показался! Крытый, лобатый и черный, как моя лагерная зима, а прет, собака, так, что аж камни на шоссе гудят. И почудилось тогда мне, что никакая сила не задержит его и не своротит с дороги!

Солнце било грузовику в зад, и потому ветровое стекло проглядывалось нами ясно,— в кабине сидят трое: один в фуражке, а двое так. Мы, конечно, знали, кто у них фуражки носит, и вот вижу, как Климов стал заваливать ствол винтовки вправо, к офицеру, а надо-то влево, к шоферу!

— В бритого веди! — крикнул я, но тут такой грохот образовался, что я, наверно, зажмурился от нечаянности, потому что потерял грузовик. Как будто кто метлой смел его с дороги! Будто провалился он без огня и дыма! Оказывается, под выстрел он перелетел через кювет и кусты в лес и так резанулся об ясень, что кабина очутилась в одном месте, а остальной шарабан — в другом. Вдребезги! Это ему собственная скорость поспособствовала — и черт с ним!

Ну, коротко коснусь трофеев. Двое из трех фашистов оказались еще живыми, но ненадолго. За баранкой, как установили, сидел офицер: она была устроена в правом боку кабины, что меня и смутило, а Климов разглядел ее правильно. Из оружия мы захватили два автомата и один пистолет. Ну, конечно, двое часов попались, поскольку они нам нужны были, сигареты, зажигалки и другая разная мелочь, в войне роли не игравшая. Между прочим, весь кузов был забит солдатским обмундированием, но больше четырех комплектов нам не понадобилось, а остальное... куда ж его было деть! Подожгли, понятно, на то и война!

Если бы только вы видели, как мы уходили от этого радостного нам места! Воронову достался автомат, и вот он несет-несет его на руках, потом прижмет к лицу, да как вдарится — то в смех, то в слезы! Климов сначала ругался на него, а потом подошел и давай целовать в

макушку, поскольку Воронов приходился ему до плеч только. Ну, глядя на них, и мы с Сидорчуком побрались...

Привал мы устроили километров за десять от шоссе и первым долгом переоделись, поскольку нужду в этом терпели невыносимую по двум причинам — от насекомых и от своего лагерного вида, будь он трижды проклят! Тут мы опять сделали одно нам нужное дело, совершенно не сговариваясь, но по общему желанию: сложили в одну кучу лагерное тряпье и молча подожгли. Воронов только не утерпел и, когда запылял мешок Климова, полоснул по нем из автомата, за что и получил от нас взбучку. За патроны, конечно, а не за действие.

Вечером я повторил разговор с Климовым о партизанах.

— Ну как, — спрашиваю, — одних ли только ездовых на проселочных дорогах могут подсидживать партизаны или и другое кое-что делать?

Молчит, но поглядывает на меня как-то по-новому.

Но не только это событие на шоссе привело нас потом в партизаны. Скоро появился к тому и другой толчок, и заключался он в плохом отношении к нам населения. К форме то есть нашей, немецкой. Зайдешь на хутор, а хозяева — и особенно, конечно, женщины — сразу в плач, а то и в ругань, и хотя делали они это тайком и на своем языке, но нам от того не легче было: ни тебе прежней еды, ни приветов! Поэтому приходилось объявляться прямо с порога — дескать, мы — советские!

— А, милости просим, — и все тому подобное, включая яичницу. Такое положение дураку только могло быть неясно. Значит, население, за вычетом, понятно, кулаков и некоторых прочих, могло представить нам полную гарантию для партизанства, а местность для этого в Литве — лучше не придумаешь!

Все это мы, конечно, замечали, но двигались все же на восток, потому что цель у нас была одна теперь — пробиться через фронт к своим. Должен сообщить, что силой мы наливались не по дням, а по часам, потому что ели беспрерывно. Пройдем немного — и давай молотить сызнава. Так что все протекало у нас нормально, кроме одного: не знали, что творится на фронте и где он застрял.

Ну вот. На четвертую ночь после того как мы подвооружились, разразился несусветный ливень, и хотя в смысле безопасности он нам не мешал, но к утру мы добились до того, что не могли переставлять ног. И вот видим:

лошадь на привязи пасется, значит, думаем, жильё должно быть рядом, и точно — скоро сарай в лесу показался, а в нем ворох соломы, что нам и требовалось. Закопались мы в нее и спокойно пригрелись. Воронов должен был первый час охрану стоять. А он возьми и засни следом за нами, поскольку хоть и не с головой зарылся в солому, а только по шею, но тоже, конечно, разомлел.

В сарае же, оказывается, неслись хозяйские куры, и ввиду того, что дождь давно перестал и выглянуло солнышко, они и явились туда для своего дела. А места-то заняты?

Сколько они там кудахтали — неизвестно, потому что проснулись мы не через них, а от нестерпимого женского крика: хозяйка пришла уточнить причину куриного волнения и перво-наперво наткнулась на голову Воронова без всякого туловища! А личность у него была далеко не нормальная по причине содранной кожи. К тому же Воронов спал.

Дальше произошло вот что: покуда женщина билась в родимчике, а мы выпрастывались из соломы, к сараю прибежало человек десять мужского и женского пола, — оказывается, мы попали не на хутор, а в целую лесную деревню!.. Ну, теперь трудно сказать, хорошо или плохо мы поступили тогда с этими жителями, но, поскольку в наши планы не входило общее знакомство со всей деревней, Климов прикинулся немцем и как крикнет:

— Век! Раус, — то есть: «Пошли по домам, а то плохо будет!»

Понятно, народ кто куда, а мы — в лес. И только отошли с полкилометра, смотрим — человек нас настигает. По лицу вроде старик, а по ногам довольно даже резвый. Поскольку он раза три окликнул нас «товарищами» и еще издали снял картуз, мы приостановились.

— В чем у вас дело? — спрашиваем.

А он:

— Товарищи! Мы же вас давно ждем и даже ищем! Это он почти на чистом русском языке произносит, а у самого и в самом деле глаза веселые.

— Ты, дед, ошибаешься, — это Климов ему, — мы совсем не «товарищи»... — ну, словом, опять насчет того, что мы немцы.

— Какие вы там немцы! — смеется старик. — Я русского человека за километр узнаю. Не бойтесь, я, — говорит, — свой.

— Бояться нам некого,— отвечаем,— а вот почему ты «свой»— нам неясно.

— Оттого, что вам это неясно, я, пожалуй, чужим не сделаюсь,— обиделся старик.— В моем погребке десять месяцев красноармейцы живут. Двое. Раны у них затянулись, так что определяйте их к себе, а то мне уже не под силу с ними...

Чуете, какую подозрительную откровенность толкнул? Да еще потребовал, чтобы мы подождали до ночи, поскольку днем нельзя вылезать тем двоим из погреба,— в деревне, дескать, народ всякий.

Ну, что было делать? Нельзя же во всем не верить людям! Посоветовались мы и решили: ждать до темноты, но только в другом месте, а старика на всякий случай до тех пор не отпускать.

Но он никакого подвоха нам не замышлял и с наступлением вечера действительно доставил в назначенный пункт леса двух наших земляков — одного по фамилии Калитин, а другого, кажется, Жариков. Ничего особенного собой они не представляли, потому что ни плена не видели, ни настоящего фронта: были подранены на второй же день войны под городом Паневежисом и прибрели в эту деревню. Так что ни боевого опыта, ни злобы нашей не имели, но ввиду того, что дело это наживное, мы их, конечно, взяли, а старика отблагодарили тем, что пообещали ему правительственную награду сразу же после войны...

В таком составе дней через семь мы благополучно достигли Двинска, и, когда обходили его стороной, опять случилось нам шоссе, и опять рано утром. Я до сих пор и сам не пойму, каким путем и образом эта дорога оказалась схожей с той, на которой мы подвалили первый грузовик, помните? Ну, прямо как вылитая. Одинаковая низина, одинаковые деревья, одинаковый кювет — ну все точь-в-точь! И то ли от хорошего утра, то ли от прошлой удачи, но только такая нас уверенность охватила и желание попытать счастья сызнова, что мы без лишних разговоров присели в кювете, а потом залегли в кустах.

Я, кажется, не сообщал вам, что носил пистолет, поскольку пользоваться им мог без посторонней помощи. Сидорчук винтовку, а Климов и Воронов — автоматы. Когда же мы притаились ради дела в кустах, Климов приказал передать оружие от Сидорчука Калитину,— двуручному, значит. И только они успели это, как на шоссе замельтешились пешие немцы. Хотя они были далеко,

мы все же разглядели — много их, взвод, может. И чуть ползут.

Чтобы было короче, я скажу вам одно: если б это действительно оказались немцы — мы все равно не сдвинулись бы с места, потому что на виду друг у друга невозможно было вставать и... убегать. Ноги потому что не двигались, а языки не поворачивались для совместного разговора об этом...

Но то шли совсем другие люди. Пленные наши... Не идут, а бредут по четыре в ряд, и у каждого на плече кирка или лопата. И все у них, как и положено человеку в плену: шинели без хлястиков, на ногах — у кого один ботинок, у кого половина, у кого совсем ничего, и всех их на одно лицо превратил лагерь, только глаза остались у каждого свои...

Да... я сейчас закурю только, а потом продолжу. Между прочим, спички какие-то пошли в последнее время... Дым от них, вонь... Зрение только портят!

Ну вот. Идут в количестве восьми рядов. Конвой состоит из четырех автоматчиков — один спереди колонны, один сзади, а двое по бокам. Думаете, мала охрана? Нет, вполне даже достаточная для тридцати двух пленных, какой бы они нации ни значились. Я сам через год после этого случая гнал четырех жандармов, и, несмотря на мою однорукость, они шли как милые... Тут всю роль играет сам плен, а потом уже другие беды — слабость в ногах, поджидание более удобного, чем этот, момента, страх и разное там другое.

Еще до подхода вплотную к нам пленных мы распределились так: Климов взял себе переднего конвоира, Воронов заднего, а мы с Калитиным бокового. Без действия остался только тот, что скрывался от нас за колонной. Да все равно. Ему потом пришлось еще хуже... от лопат да кирок.

Работы нам с этими конвоирами вышло на две минуты. Самое же трудное наступило, когда бывшие пленные узнали, кто мы есть. Понимаете, подкинуть вверх силенок не хватает, так они навалятся человек по пять на каждого из нас и от волнения слезть не могут. А радоваться им все-таки было рано, потому что ни мы, ни они сами не знали толком, что делать дальше и как быть.

Посудите сами. Идти через весь вражий тыл и фронт с такой голой оравой при шести автоматах да одной винтовке с пистолетом — дело дурашное: или переколотят в непосильном бою, или опять очнешься в пле-



ну без последней руки, черти б его взяли! Распределяться же на малые группки — тоже не резон: оружия всем нету, вид у ребят пленный, кушать все хотят, как из пушки, — значит, полезут не только в хутора, но и в деревни, а там их любой сопливый полицай приструнит.

Все это мы обсудили вдвоем с Климовым, потому что хотя он и являлся теперь у нас фактически командиром, но меня уважал сильно как первоначальника группы, а во-вторых, за первую у нас винтовку и за того березового конвоира. Что ж, что верно, то верно.

— Какое же примем решение, товарищ Курочкин? — спрашивает он.

— Пока не знаю, товарищ Климов, — признаюсь, а сам, с одной стороны, переживаю в себе гордость, а с другой — изо всех сил думаю: что решить.

Так мы в этот день ничего и не придумали, но двигались от шоссе по всем правилам войны. То есть мы с Климовым впереди, «крестники» наши в середине. Воронов с Сидорчуком сзади, а Калитин с Жариковым в боковом охранении. Ни разговора, ни шума — ничего! Только лес шумит да птички разные свирестят. И вот идешь идешь, а когда оглянешься, то и подумаешь: у Пугачева и то, наверно, приличнее обстояло дело...

Перед вечером мы нарочно залезли в болото, и Климов послал меня с группой наших ребят в хутора за сухим пайком, потому что некоторые из вызволенных дошли до ручки совсем.

После еды и отдыха мы двинулись прежним порядком, а утром устроили большой привал, и там Климов... восстановил нам всем воинские звания. Понимаете, был ты, скажем, до плена сержантом, — им и остался. То есть стал опять. Был солдатом — будь им и до конца!

Хорошо это он придумал насчет восстановления, правильно, потому что мы тут же, и немедленно, превратились в настоящий взвод, разбились на отделения и назначили командиров. Между прочим, я стал заместителем Климова по всем вопросам, Воронов — по разведке и боевой части, а остальные — кому что было положено.

Потом мы собрали совет — я, Климов, Воронов и командир первого отделения Калитин — и решили временно не идти на восток по той причине, что на наших глазах начали мельчать леса и укрупняться деревни. Нам же надо было сначала вооружиться и обмундироваться, а после мыслить уже насчет перехода фронта всем взводом. Вот с

этой целью мы и рванули с новыми силами, но не назад и не вперед, а в бок, в Белоруссию...

Кто его знает, отчего нам везло: то ли от нашей личной злобы, а может, по причине охамления тыловых немцев, поскольку на таком расстоянии от фронта они тогда мало еще чего боялись, но только не проходило дня, чтобы мы не подковырнули грузовик, а то и два.

И вот удивительное дело! Чем больше становилось у нас удач, тем меньше оказывалось радости. Непонятно? Нет, все очень даже просто. Радость хороша, когда причину ее видят и ценят свои люди. А если и не видят, то верят ей на расстоянии. В одиночку же радость наша казалась нам... скучной.

Понимаете, пройдешь, бывало, километров пятнадцать от того места, где дотлевают разные обломки от грузовика, сядешь под кустом крушины и думаешь: «Ну, хорошо. Вот ты прикончил трехтонку. Не доедет уже она до фронта и не довезет туда сто пятьдесят смертей, потому что лежало в ней пятьдесят снарядов к гаубице... Может, спас я в ту ночь сто пятьдесят детишек от сиротства и сто пятьдесят баб от вдовства! Сразу вроде бы и выпрямится душа в тебе, и возликует там что-то — воюю же теперь не за одного себя, как в лагере! Победим же его, сволоча, обязательно dokonчим, и вот как дойдешь до этого места, до победы то есть, так и стоп!

Ить после войны сразу же потребуется анкета. А там будет один маленький вопрос — находился ли в плену? По месту этот вопрос всего лишь для ответа одним словом «да» или же «нет». Там нету пространства для упоминания грузовика из-под снарядов и для доклада об избеженных тобой смертях. Там от тебя требуется только одно — «да» или же «нет»!

И тому, кто вручит тебе эту анкету, совсем не важно, что ты сделал в войну, а важно, где ты был! Ах, в плену? Значит... Ну, что это значит — вы сами знаете. По жизни и по правде такое положение должно было быть совсем наоборот, а вот поди ж ты!..

Одним словом, думки эти сидели в каждом из нас, будь ты с одной рукой или даже без обеих. Графа остается графой для всякого. Но все-таки ни один из нас сроду не заводил об этом разговора. Молчали, и правильно делали, потому что черт его знает, к чему могли привести нас такие откровенности.

Долгая это будет песня, если я начну вам рассказывать

обо всем, что с нами было на этой дороге... Поэтому скажу коротко: ровно через три месяца мы присоединились под Красным Урочищем к большому партизанскому отряду, и сразу же нас хотели расформировать. Но когда мы выстроились с пятью ручными пулеметами, с двадцатью тремя автоматами да с винтовками, гранатами и пистолетами,— командование отряда оставило наш взвод в таком составе, в каком он и был, только называться мы стали шестой отдельной партизанской группой...

О том, как мы действовали до самого прихода своей армии, я расскажу в другой раз. Да это, думаю, и не важно. Важно то, что мы не только живыми оказались, но и в человеческий строй вступили, что мы опять превратились в бойцов, а русскими людьми мы оставались и в лагерях...

1948

## СЕДОЙ ТОПОЛЬ

Тысяча девятьсот сорок второй год. Весна. Латвийская станция Саласпилс — чистая, скромная и тихая, будто зачарованная. За ее невысокими строениями, на запад, к морю, стелется луг. На нем — первый в том году зной, желтые гусенята и старые задумчивые козы железнодорожников. Это сразу. А дальше шесть тяжелых серых барачных, обнесенных пятью рядами колючей проволоки и восьмью сторожевыми вышками. Это лагерь военнопленных «Долина смерти». Кто его назвал так — неизвестно, но люди с воли знают, что осенью немцы привезли туда две тысячи раненых советских командиров,— железнодорожники считали на станции, чтобы знать и запомнить. А теперь пленных осталось пятьсот человек, не больше.

На станции знают — видно же, — что посреди лагеря стоит тополь, огромный, прямой, старый. В тихие дни его раскидистая крона зеленеет светло и прозрачно, а под ветром с моря тополь напрягается, гудит, и листва его становится седой, почти белой. От земли, и пока, достает рука самого высокого человека, тополиный ствол лишен коры,— объели пленные. А тополь почему-то не засыхает, и листья на нем не свертываются в трубочку, не жухнут.

На станции известно, что по утрам пленным выдается черпак воды на каждого и буханка эрзац-хлеба на двенад-

цать человек. Днем — черпак сизой мути, баланды из костяной муки, а вечером снова вода.

И еще знают на станции, что голод и тоска в лагере сильнее тифа и тяжелее ран, потому что и в предсмертном бреду пленные не забывают о хлебе и родине...

Дрожащей сиреневой дымкой весна окутала залагерные дали, а к пленным не прошла — запуталась в колючих проволочных изгородях зелеными космами травы и огневой россыпью одуванчиков, и в ветреные дни они порошили гулкий ток черного лагерного квадрата теплым белесым пухом. Прихода ветреных дней этих в лагере ждали жадно. Все пятьсот человек, оставшиеся от двух тысяч, верили, что одуваний пух хранит в себе много калорий, если его размочить в воде.

Верил в это и лейтенант Сергей Климов, коротавший свою двадцать первую весну на втором ярусе нар в третьем бараке — самом емком в лагере: осенью барак вместил триста пятьдесят пленных. Теперь в нем оставался шестьдесят один человек, и лежали они на нарах далеко друг от друга — обжились каждый на своем месте.

По утрам лагерный полицейский приносил в барак пять буханок хлеба. Он кидал их на нары, отходил к дверям и оттуда наблюдал дележку. В пяти дюжинах пленных был один лишний. На него не выходило пайки, и все шестьдесят один стремились попасть в первый ряд своей дюжины.

— Гос-спода офицеры... — с бесконечным презрением цедил полицейский и ударом ноги открывал дверь.

В два часа дня тот же полицейский вносил в барак ведро баланды. Тогда все шестьдесят один медлили, чтобы оказаться в очереди последним, — на дне ведра могла оказаться гуща.

— Гос-спода офицеры!..

На голове Сергея Климова пилотка с опущенными полями, закрывшими шею, лоб и уши. Штанины ватных брюк достают только до икр, а пальцы босых ног распираются врозь затвердевшей между ними грязью. В бумажном мешке с жирным черным орлом и надписью «Фельдпост» Климов прокусил три дырки — одну, чтобы просунуть голову, а две для рук. Подвязанная обрывком красного телефонного кабеля, с его острого плеча свешивается каска, — в нее он получает баланду. При ходьбе левая нога Климова издает сухой треск, похожий на холостой щелк курка нагана, — неправильно срослась щиколотка. Заросшее

нетвердой и негустой щетиной лицо покрыто лишаями и струпьями. Волосы его русы и длинные, концы их свисают из-под пилотки на плечи и вьются. От всего себя Климов сохранил только голос — резкий и четкий. Непонятно, почему охранники до сих пор не прибили Климова, — они ведь особенно ненавидят высоких, крутолобых и сероглазых пленных. Не прибили, видно, потому, что в своей орлатой рубахе Климов развлекал скучавших сторожей унизительным зрелищем своей нелепой наружности.

По ночам в душу Климова входила всегда невероятная мечта: утром кто-то из своих, из русских, но не похожий ни на одного из обитателей лагеря, появится здесь и скажет, что делать и как жить.

Но этот «кто-то» не появлялся, и в тающем теле Климова росла непонятная обида, почти ненависть к себе и ко всем братьям по бараку. Он ненавидел себя за то, что должен погибнуть молча, а умирающих — за то, что они жалуются и стонут. Он не раздумывал над источником этого чувства. Оно росло в нем, по мере того как иссякали его силы. Его бесило собственное неумение не только что-то сделать для своего освобождения, но просто что-нибудь для этого придумать.

Однажды вечером Климов прикрикнул на умирающего, чтобы он перестал стонать. Тот мгновенно притих, а сосед Климова, седой подполковник, приподнялся на локте и прошептал:

— Правильно! Это надо делать молча, раз мы оказались неспособными отвечать за себя, за судьбу Родины, за судьбу мира... К черту! Надо хоть умереть по-человечески!..

Тогда Климову показалось, что он открыл сильного друга, который знал название его чувству и испытывал его сам. Из книг же ему было известно, что люди, готовые «по-человечески» умереть, бывают способны на смелые поступки в жизни. Притаив в душе смутную надежду, он уснул, а утром его разбудил крик:

— Что он делает?

В углу нар хрипел и дергался человек. Климов подполз к нему и узнал седого полковника, — сидя, тот пытался задушить себя брезентовым пояском. Он долго и яростно сопротивлялся попытке Климова снять с его шеи брезентовый калачик, и Климов дважды ударил его кулаком по лицу!

— Гад старый!..

Седоголовый сплюнул на руки Климова пену, спрятал поясок за пазуху и молча отполз на свое место.

Днем Климов снова подошел к нему. Голый, он сидел под тополем и о чем-то напряженно думал.

— Что вам? — не поднимая головы, шепотом спросил пленный.

— Товарищ полковник, — сказал Климов, — нас около пятисот человек...

— Уже меньше, — выдохнул полковник.

— Все равно... Но если мы со всех сторон полезем на проволоку, то...

— Нет. Я думал... Идите.

— Почему же нет?

— В одну минуту восемь пулеметов выбрасывают семнадцать тысяч шестьсот пуль... В среднем тридцать четыре пули на каждого... Всего нужно перелезть тридцать метров проволоки, не считая мотков «Бруно». Каждый метр — три ступеньки... В минуту шесть ступенек, значит, пятнадцать минут. Следовательно, пятьсот десять пуль на каждого...

Откинув за спину каску, Климов побрел от тополя, но через несколько шагов остановился, медленно обернулся к полковнику и с горечью и злобой сказал:

— Дохляк! — Он видел, как побелел рваный рубец раны на впалой груди старика. — Облезлый заяц!.. Орден в гашнике штанов прячешь... Ответа за него боишься, жить хочешь — а как? Как?

Полковник беззвучно шевелил синими полосками губ и все ниже и ниже склонялся головой к своим остро высторченным коленям. С минуту Климов ненавидяще разглядывал его желтую спину и вдруг качнулся вбок и пошел от тополя к бараку, как по канату через пропасть: расставив руки и приседая. Перед его глазами со звоном плыл и дрожал густой багровый сумрак, и Климов знал, что если он упадет, то наступит долгая сверлящая боль в затылке и обморок...

В тот вечер Климов впервые не осилил подъем на второй ярус нар и впервые за время плена заплакал. С этой минуты он считался доходягой и оставался на первом ярусе, где лежали те, кому до смерти были считанные часы.

А по ночам доходяги подползали к станинам нар, обвиняли их иссохшими плетями рук и пытались влезть на второй ярус. Может, гнала их туда боль в теле. А может, страх в сердце: на второй ярус смерть влезала не так ско-

ро — лишь через несколько суток, тогда как на первый она являлась за кем-нибудь на рассвете каждого утра...

Климов забился в угол на первом ярусе и затих. Он ждал рассвета, он вслушивался в свое тело, — на нем вспыхивали и мгновенно гасли трепетные движения мышц, и в местах этих коротких судорог тело пятнилось холодом, будто от прикосновения ледышек. «Это крылья... Они у нее, как у летучей мыши», — подумал Климов, страшась назвать смерть по имени. До ближайшей станины нар было далеко — четыре переворота с бока на спину, потом на живот и снова на бок. Он трижды сорвался и упал, и каждый раз, независимо от его волевых усилий, руки сами обхватывали голову перед ударом о пол.

И вот на полу к нему и явился тот «кто-то», кого он все время ждал для своего освобождения, и этот «кто-то» был он сам, Климов. Все было настолько внезапным, простым и осуществимым, что радость Климова перешла в испуг — плен его кончался через несколько часов на рассвете, и надо было лишь не сойти с ума до этого!

Он влез на свое место, вытянулся, уложив ступни ног так, как стоят они у мертвых — деревянно-прямо, торчком. Не у всякого доходяги остаются полуоткрытыми веки, многие перед концом крепко зажмуриваются, а кончик носа у Климова уже давно не по-живому был острым и раздвоенным. Оставалось дыхание, но Климов попробовал надолго притаить его — и смог!

Вот и все, что нужно было сделать давным-давно и оказаться на воле и, может быть, уже в бою! Утром в барак придут «крючники» — похоронная команда из пленных. Веревками с железным якорем на конце они зацепят мертвяка за ногу, сдернут его с нар и поволокут из барака во двор лагеря, к повозке. Туда его закинут с ходу и утрамбуют с другими мертвяками. В повозку впрягутся «крючники», сзади пойдут два конвоира с винтовками, а за лагерем в желтом буруне трупы сбросят в яму и присыпят песком — всего лишь на одну пядь, не больше. В братской могиле надо прожить день до вечера, — выпростать руку на волю, прижать к плечу рот и дышать...

Секунды рассвета казались Климову столетиями. С ночными потемками исчезла бездонная глухота барака, и он становился гулким и пусто-сторожким. Прямо на Климова в разбитое окно текла утренняя прохлада, и от этого ошутимей был запах кислой прели шинелей, прогорклой

крысоедины и противно-сладковатая вонь чьих-то незаживших ран.

На втором ярусе нар кто-то громким сухим шепотом выругался в бога, а кто-то крепко зажал губами стон, но он выбился наружу — длинный, прямой и, как струна, тонкий.

Климов лежал недвижимый, и как только раздался ржавый скрип дверей, перестал дышать. Нелегкими шагами «крючники» прошли мимо него в глубь барака, и кто-то из них сказал: «В мешке готов». У Климова в горле быстро рос тошнотворный ком удушья, а высоко в груди, под самой шеей, гулко и редко толкалось сердце. Оно сразу опало и забилось ровнее, как только он украл для него глоток воздуха, и снова больно подскочило вверх, когда он замер, услышав нарастающий скрежет каблуков по цементному полу барака.

— Цепляй.

Тот, кому предстояло сделать это, неторопливо присел на край нар у ног Климова и начал долго простуженно чихать. «Сейчас у меня разорвется грудь,— подумал Климов, и тогда же крючок пронзил на нем штанину выше левого колена.

— Волоки.

Падая с нар, Климов изо всех сил прижал руки к бокам, зажав в кулаки ладони, но удар получился мягким, а руки на лету привычно кинулись к голове и успели: голова легла на локти.

— Он жив,— сказал над Климовым «крючник» и принялся чихать снова, а второй, старший, видно, обозленно выкрикнул:

— Да волоки ты, ну тебя к черту! Не дойдет дорогой — там прикончат..

— Собака! — не сразу и потерянно отозвался чихавший.— Как будто тебя самого не сволокнут туда... шакал с помойки! Давай положим на место. Бери за ноги!..

На нары Климов влез сам, а минут через двадцать к нему подполз знакомый капитан, такой же, как и он, доходяга с первого яруса. Глядя в сумрак угла поверх глаз Климова, он сказал прерывисто, будто чему-то радуясь:

— Разве ты не знаешь, что «их» стреляют там... Перед тем как зарыть?

— Мертвых?— спросил Климов.— Зачем?

— Не ты первый захотел воскреснуть... Кто-то бежал уже так из шестого... Попался и выдал!



Сволочь! — опустошенно сказал Климов. — Сволочь.

Расставив колени и локти, капитан пополз от Климова, волоча тело по нарам, но вдруг качнулся в сторону, проделал круглый поворот и вернулся. Он не рассчитал расстояния, когда выкинул руку для очередного шага, уперся ею в каску Климова и упал на бок. И лежа, оскалив белые десны, яростно зашептал:

— Он мечтал въехать на санях в Берлин... Малой кровью... Могучим ударом... На чужой территории... Но вот он издали увидел врагов своих, новых викингов...

— Ну?! — таким же яростным шепотом спросил Климов, кося глаза на впалый, блестящий высохшей кожей висок соседа.

— И он встал на колени! Отдал Россию... Москву... Забился в лагерь — жить! Но тут смерть, и он, как и подобает рабу, захотел вернуться... в подлую жизнь, через братскую могилу... из-под трупов! А зачем? Для чего? Ведь все кончено! России уже нет! И никогда не будет... Никогда!

— А леса? А реки? А все наше? Где все это будет? — едва выдохнул Климов. — Где все?

— Что все? — злобно выкрикнул сосед его.

— Все! — угрожающе повторил Климов. — Пусть нас, людей, не останется... Пусть! А Россия-то будет? Будет? Куда же она денется?

Очень долго они молча и враждебно дышали, потом капитан привстал и проговорил за два раза!

— Колхозный... баран!

Климов приподнялся:

— Я тебя... гад вшивый... Я тебя сейчас...

У него хватило еще сил снять с плеча каску, вскинуть ее и бросить в уползавшего капитана. Тот припал к нарам, и нельзя было понять, рыдает он или хохочет...

Потом в неясном свете барака потянулась неприкаянная, злая и длинная жизнь до вечера: черпак воды, тяжелый маленький кусок хлеба, баланда на две каски и непроходящее с начала плена могучее желание есть.

Перед вечером в барак вошли трое эсэсовцев и пятеро лагерных полицейских.

— Строиться! — оглядев нары, сказал немец, а полицейские вразнобой закричали:

— Выходи строиться! Ходячим взять лежачих! Быстро!..

Строились неровным полукругом недалеко от барака. Климов оказался замыкающим. Он сел, прислонясь спиной

к тополю. Тополь был теплый и тихий, но в нем, в глубине кряжа, ощущалось кипение жизни. Не слухом, а телом Климов чуял мягкое замедленное потрескивание тополиного ствола, будто его изнутри украдкой сверлил кто-то. «А что, если это подкоп с воли?— вспыхнула обжигающая надежда в мозгу... Что, если это тот освободитель, кого он все время ждал? Да-да! Он ведь может явиться через тополь — и с автоматом!..»

Так начинался бред, и Климов понимал, что это бред.

Он поднял голову. Переводчики уже давно говорил что-то перед строем. Неподалеку от Климова стояли эсэсовцы и презрительно посматривали на серую массу пленных. «Викинги», вспомнил Климов и стал глазами искать капитана. Он искал долго, отдавая этому все свое внимание, и оттого смысл слов переводчика не достигал его сознания.

А капитан стоял третьим от Климова, и на его запрокинутом лице застыло необычное, настороженно-взволнованное выражение. Климов долго смотрел на него и наконец разглядел на лице капитана оттенок насмешки. «Над чем это он?»

Климов прислушался к словам переводчика и понял, о чем тот разглагольствует вот уже полчаса. Оказывается, у тополя найден орден Красного Знамени. Немецкое командование хочет создать его хозяину лучшие условия, потому что оно уважает героев и рыцарей...

Но в строю молчали. Молчали, стоя на правом фланге, молчали, лежа и сидя на левом, и, не меняя положения головы, намертво закрепил свою усмешку капитан, вперив глаза в черные кобуры эсэсовских «вальтеров». Чужие кобуры по-чужому были и подвешены — на животы, отсвечивали кровавой чернотой, потому что садилось солнце, и плясали на животах, потому что «викинги» смеялись...

Климов заплакал. Ему не хотелось, чтобы в строю видели это. Он приподнялся и сказал:

— Орден мой! — Но оттого, что голова была опущена, никто не слышал его признания, и тогда он поднялся на ноги.— Мой орден!

Он пошел к притихшим эсэсовцам зигзагами, глядя поверх голов их. Туда же из середины строя двигался маленький ссохшийся пленный в артиллерийской фуражке без козырька и в длинной гимнастерке с оторванными рукавами. Он шел ребячьей подпрыгивающей походкой и остреньким голоском выкрикивал под левую ногу:

— Мой! Мой!

Это был второярусник младший лейтенант Иван Воронов. Климов не любил его за то, что по ночам тот часто и подолгу плакал. Они сошлись, не дойдя до эсэсовцев шагов пяти, столкнулись и остановились, дыша тяжело, с хрипом.

Худой длинный эсэсовец лающе крикнул что-то переводчику. Тот почтительно произнес «яволь» и, подойдя к Климову, спросил:

— Так чей же орден?

Климов понял, что поверят ему, а не Воронову. За рост, за голос, за его глаза и лоб поверят. Но в это время на правом фланге строя кто-то сказал спокойно и четко:

— Орден Красного Знамени мой!

Климов и Воронов оглянулись разом. Из строя на шаг вперед вышел полковник. Он стал по команде «смирно».

— Могу назвать его номер. Я потерял его вчера... вот здесь. И я готов за него ответить!

...Воронова били полицейские вдвоем, а Климова трое. Мимо, на выход из лагеря, шел полковник, окруженный эсэсовцами.

То, что думали о Климове и Воронове полицейские, думал о них и весь строй: ложным признанием они хотели улучшить условия своей жизни...

Климов лежал под топодем. Воронов оказался рядом. Климов сказал:

— Не вышло у нас... зато полковнику хорошо теперь...

— Мучить только станут... перед расстрелом, — согласным шепотом отозвался Воронов. — И пусть! И пускай знают, гады, что мы... что у нас тоже...

Климов порывисто обвил рукой тонкую шею Воронова и с какой-то свирепой радостью и гневной обидой крикнул:

— Перестань плакать! Ну!

— Не буду...

Они не скоро дотащили друг друга в барак. В ту ночь в нем впервые был нарушен закон «Долины смерти», не позволявший людям произносить больше тридцати слов в сутки, шевелиться или как-нибудь еще расходовать силы. И тогда впервые Климов почувствовал всю лютую горечь унижительных оскорблений, брошенных человеку человеком не в запальчивом крике, а произнесенным тихим, размеренным шепотом, полным убеждения и веры.

— Давай им скажем, что мы не для «этого» вышли,— просил и плакал Воронов,— что мы... ну ты же знаешь почему! Давай скажем!

— Не надо. Они подумают, что мы оправдываемся... Перестань плакать! Замолчи! — свирепел Климов.

— Не буду...

К середине ночи барак умолк. С правой, восточной его стороны в небе взошла маленькая чистая луна, и на первом ярусе, от окна, под которым лежали Климов и Воронов, далеко в глубь нар пролегла узкая световая тропинка. Климов не спал. Тесно прижав спину к его животу и подтянув колени к подбородку, лежал Воронов. Лунная тропа начиналась на его лице, и дыбком вставший на щеке пух светился тихой блеклой зеленью. «Как у гусенка»,— сравнил Климов. Не меняя положения тела, он стал искать глазами фуражку Воронова, чтобы прикрыть ему лицо, и недалеко от своего места, на световой тропе, увидел капитана.

— Чего тебе?

— Сейчас,— сказал капитан.

Он сел на краю лунной дороги, протянув ноги в темноту, будто свесил их над обрывом. Потом молча растегнул брюки, залез в них обеими руками и принялся что-то делать там, закрыв глаза.

— Что ты возишься там?— испугался чего-то Климов.— Вынь руки!

Воронов сонно вскрикнул и стал приподнимать голову, но капитан протянул над ним свои ладони, и Климов различил на них темный, узкий и продолговатый предмет.

— Это соль... в мешочке...— поперхнулся душным шепотом капитан.— За лагерем ее нет, слышишь? Ничего там нет... А мне конец... к утру. Ну бери... пригодится!

— Не надо! Ты сам ешь... с водой! — почти прокричал Климов...

Жил капитан еще полные сутки и все время, лежа между Климовым и Вороновым, пытался просвистеть какую-то забытую мелодию.

— Фии-фию... фить-фить! — выдыхал он сквозь помертвелые губы и крутил над ними указательным пальцем — желтым, узловатым и длинным.

Воронов сдавал на глазах. По утрам, проглотив свою пайку хлеба, Климов подтаскивал его к краю нар, слезал сам на пол и подставлял другу спину.

— Лезь.

— Не надо, Сергей... Иди один,— просил Воронов.

— Лезь! — пригнувшись, командовал Климов. Сидя на нем, перехватив ему живот ногами, а руками обвив шею, Воронов продолжал плакать.

— Замолчи, а то сброшу! — грозил Климов. Сейчас сброшу!

— Ну и бросай! Бросай! — соглашался между всхлипами Воронов и пытался разжать свои пальцы на шее Климова, но тот намертво зажимал их обеими руками.

На второй день, после того как эсэсовцы увели полковника, у Климова появилась в руках крепость, и он влез на второй ярус нар, чтобы взять там забытую Вороновым консервную банку под баланду и воду.

Одно непостижимое разумом обстоятельство — то, что есть тополь,— изгнало из сердца Климова неизбывный страх, что на заре он умрет. Нет, никто не рыл там подземного хода и никто не сверлил его кряж, чтобы появиться в лагере с автоматом. Тополь просто лопнул сухой умершей древесиной в том месте, где его кору объели пленные, и в расщелину выперла и взбухла бледно-зеленая новая кора!

Оттого ли, что кора пахла горьковато-остро и чисто,— весной и лугом, или потому, что на его глазах впервые в лагере свершилось попрание смерти жизнью, но только Климов понял вдруг, что он не умрет на первом ярусе! Он не знал, что случится с ним и что он сделает, но вера эта крепла, и он хотел, чтобы Воронов ощутил то же.

— Ты прижмись щекой к дереву. Щекой! — почти суверенно говорил Климов, и Воронов прижимался, но не мог удержать голову.

— На воздухе я все куда-то падаю...— признавался он.— Пойдем домой, в барак, а?

В тот день Климов отдал Воронову свою пайку хлеба; отдал не легко и не сразу. Целый день он носил теплый и по-живому упругий квадратик за спиной под «рубашкой», и целый день хлеб кричал, что его надо съесть. И только ночью, когда глаза ничего не видели, Климов вынул из-под мешка хлеб и поднес его ко рту Воронова:

— Ешь, скорей только!

За проволокой, с правой стороны барака, опять всходила луна. Снова на первом ярусе нар пролегла серебристая дорога, и на ближней сторожевой вышке опять запел эсэ-

совец-охранник. Песня была деревянной, плоской, насыщенной отрывистыми, как команда, словами. В ней не было ни радости, ни тоски, ни разлуки, ни зова. То был марш-напутствие чему-то тяжелому и механическому, как танк. Да, да, танк! Климов зримо видел его — огромный, пыльный, из железобетона, тысяч в триста пудов весом. Тупо, нигде не задерживаясь, танк лезет по земле, подминая под себя все — березовые рощи и горы, города и ржаные посевы, иссушая реки и опустошая луга. Он лезет, а сзади, на всей земле, пролегает черная глубокая рана-след, и там во веки веков не будет жизни...

Климову хотелось всем телом, чтобы на пути этого пыльного чудовища возникла зеленая пушка с необъятным солнечным жерлом и выстрелила, и разнесла вдребезги этого чертова погубителя Земли!..

Лунный луч отодвигался все дальше и дальше в глубину нар, отыскивая по пути серые притихшие фигурки пленных, будто прощально целуя их. По-детски обиженно вздыхая, лежал Воронов. Изредка он сладко чмокал ртом, тихонько стонал и шевелился. Климов потеснее придвинулся к нему.

— Сейчас бы картошки печеной, правда, Сережа? — отчетливо проговорил вдруг Воронов и судорожно сглотнул слюну.

Климов промолчал.

— Или молока! Топленого... аж коричневого... с пенкой... из погреба!

Прямо над головой Воронова, на втором ярусе нар, кто-то ответил ему заглушенным голосом, лежал вниз лицом видно:

— Молоко что! Вот горячие лепешки, на сковороде...

— Товарищи! Неужели нельзя молча думать об этом? — прошелестел чей-то умоляющий голос. — Думать — и все. Ведь с ума сойдешь!..

В положенный час утра в барак не принесли хлеб. Воронов бредил едой, не поднимал голову, и Климов пришел к тополю один. На дымной тополиной вершине звонко плескались листья, и Климов верил, что если б сорвать хоть пять штук их для Воронова, он бы выжил. Нечем было наковырять коры, которая стала теперь плотной, литой.

До полудня Климов просидел под тополем. Над лагерем сияло солнце, кусками пышного теста проплывали облака, а с толстых крыш бараков каплями сочной патоки стекала разогретая смола. Весь видимый Климовым мир не стоял

на месте, все уплывало куда-то в сторону и вбок: черные бараки, черные вышки с черными эсэсовцами, черная земля, и может быть, поэтому расстояние между тополем и баракком увеличивалось теперь почти вдвое,— на обратном пути Климов упал дважды.

В бараке стыла сумрачная тишина. Воронов сидел на краю нар и одной рукой обнимал станину, а второй ловил что-то в воздухе. В широко раскрытых глазах его не было зрачков: глаза были тусклые, большие и белые, и, повинувшись какому-то мгновенному безымянному чувству, Климов вскинул к его лицу руки и коротко ударил ладонью по щеке. Воронов вздрогнул и зажмурился, но Климов ударил снова и закричал:

— Не спи!.. Не надо!..

Когда Воронов открыл веки, зрачки оказались на месте. Он оглядел удивленно, силясь что-то понять и сказать, но Климов притянул его голову к себе, отыскав на ней ртом холодную раковину уха.

— Не спи! Слышишь? Сейчас принесут баланду... Ты съешь и мою порцию... Не спи!

Но баланду не принесли... По нарам беззвучно запрыгало слово — акция! Это значит — ни крошки пищи. Это значит — ни капли воды. Может, только день. Может, два. А может, пять! Акция — чужое слово, но знакомый смысл: серый комок смерти, выплодок лагерей и эсэсовцев!..

А перед заходом солнца явились полицейские:

— Ходячим строиться! С вещами! Быстро!

С вещами? Это значит — взять с собой котелки. Или банки из-под консервов. Или каски, как у Климова. Ходячий? Это значит — на отправку. Может, в Германию. В шахты...

Климов подтянул ноги и притих, обняв Воронова. В бараке поднялась вялая суета и послышались звонкие, как пистолетные выстрелы, удары: вдвое сложенными ремнями с пряжками на концах полицейские ускоряли сборы.

— Эй ты, в мешке! Орденоносец!.. Целыми днями по лагерю шакалишь, а как на работу... сволочь! А ну вылазь!

Климов понял, что это ему. Он привстал и повесил на плечо каску. Лица Воронова не было видно — на нем косо лежала фуражка, и Климов поправил ее, уложив прямо. Он уже полез с нар, когда его настиг шепот:

— Сергей... не бросай... вместе...

Под хохот полицейских он усадил Воронова к себе на

спину. Тот заученно обхватил его шею руками, не выпуская банку, и Климов вдыхал из нее знакомый запах баланды...

К центру лагеря из всех барачков стекались люди. Там стоял крытый «опель-блиц», несколько эсэсовцев и ползвода солдат-конвойных.

— Разберись по два! По два! — визжали полицейские и стреляли ремнями. Строй возникал быстро, ломано протягиваясь через весь лагерь, огибая тополь и теряясь хвостом где-то за третьим барачком. Но Климов мог двигаться только к тополю. Там он уронил Воронова и услышал голоса пленных, в которых билась живая открытая радость, смешанная с тревожным недоумением:

— Хлеб дают! По целой буханке! На двоих!

Ощувив в теле раскаленную боль голода, Климов волоком потащил Воронова в середину строя, выкрикивая в его запрокинутое лицо:

— Дают хлеб! На двоих! Буханку!

В строй их впустили не сразу, — хлеб ведь мог кончиться именно на них, — и, зажатый телами, Воронов встал на ноги. Из кузова «опель-блиц» чьи-то красные мясистые руки кидали подходившим пленным тяжкую, как кирпич, буханку, и к ней бросались руки — гибкие, желтые.

— На двоих — на пять дней! На пять дней! — издали предупреждал переводчик. Брошенный хлебный кирпич поймал Климов, но Воронов тоже протянул к нему руки и выронил банку. Она слабо звякнула, подкатилась к ногам конвоира, и тот ловко сыграл ею в футбол.

— Пусть, — сказал Климов, — будешь держать хлеб...

Уже в сумерках конвоиры построили пленных в колонну по четыре в ряд и вывели из лагеря. За проволокой иные были запахи, иной трепет звезд, иные шумы недалекой станции. Климов все это видел и слышал, двигаясь в хвосте колонны с Вороновым на плечах. Отставший с ними конвоир то и дело пинал прикладом спину Воронова, и тогда Климов невольно ускорял шаги.

Они падали через каждые десять — двенадцать шагов. Конвоир топал ногами и выкрикивал свои немецкие ругательства. Климов молча вставал, подтягивал на плече Воронова и, шатаясь, брел вперед к станции. До нее оставалось уже мало, не больше, чем было от барака до тополя, когда Климов споткнулся и долго не мог встать. Он видел, как конвоир спешно пошел назад, к лагерю, но через несколько шагов остановился и стал ладить винтовку к плечу.



«Все! Конец!» Климов хотел сказать это Воронову, но тот лежал вниз лицом и ел хлеб, вгрызаясь всем ртом в буханку, давясь и содрогаясь. «Пусть... Я скажу этому...»

— Стреляй, бандит!.. Стреляй... в душу твою черную... холодную... Русские люди всегда и всюду... умели... Стреляй, подлюга, паук серый!..

Климов стоял на коленях, прижав к щекам кулаки, и конвоир, наверно, принял исступленные слова его за молитву и просьбу. Он задержался, визгливо прокричал: «Шинель!»— и выстрелил мимо, вверх, в горевший красным огнем Марс...

...Станционный гравий еще излучал дневное тепло. С глухим стуком и скрежетом закрывались двери товарных вагонов, и в пробоины запоров конвоиры вбивали железные болты.

Климов и Воронов погрузились в хвостовой вагон состава, последними из колонны. Они долго лежали у дверей. Потом Климов вспомнил о хлебе и стал ощупывать Воронова. Размеренно поднималась и опускалась оголенная грудь его,— он дышал, а под плечом, у самого уха, берег буханку. Осторожными движениями пальцев Климов исследовал ее края. И то, что была она целой, только чуть-чуть объединенной с уголка, вдруг погасило в нем темное, почти враждебное чувство к Воронову, родившееся от мысли, что он съел хлеб один. «В друга не поверил!..» Коротким тяжелым словом обругал себя Климов и позвал виновато, страстно:

— Ваня! Друг... проснись. Давай есть.

Вокруг них лежали и сидели люди. Кто-то у кого-то допытывался, куда их везут, кто-то просил пить, кто-то стонал протяжно и надрывно, будто пел. Временами вагон сотрясался, вздрагивал и раскачивался, а порой почти останавливался,— состав мчался рывками, как убегающий вор.

— Съедем всю... да, Сережа?— невнятно спросил Воронов, когда от буханки оставалось уже меньше половины.

— Всю,— сказал Климов. Он жевал сухой, лишенный запаха и вкуса мякиш и следил за пестрым световым бликом на противоположной стене вагона. Пятно перемещалось вправо и влево, вниз и вверх, наполняя вагон каким-то неживым, сыпучим светом. «Луна. Слева по ходу состава. Значит, везут не на восток. Везут на запад».

Вслед за этим открытием Климов, как и в лагере, когда ожидал прихода «крючников», испытал немой и жаркий испуг за свой рассудок, — плен кончался! В вагоне окно!

Он перекатился через Воронова и, давя чьи-то неподатливые тела, полез туда, откуда падал в вагон световой блик.

Да, окно! Узкое и продолговатое. Под потолком. Снаружи оно опутано неразлучной спутницей пленных — колючей проволокой, оттого и блик на стене пестрый. Внутри над окном — крюк, и не один, а много. Для чего они? Раз и два Климов ударил кулаком в проволочную сетку, потом вытер руки об голову и пошел назад, за каской.

— Иван... друг... все! Сейчас все! Не спи!.. Давай руку!..

Звон от ударов каской в проволоку был чистый и тонкий, будивший что-то далекое, хорошее и светлое.

Климов бил и бил по сетке и, когда она отвалилась, услышал голоса:

— Товарищ! Что ты задумал?.. Ты уйдешь, а нас расстреляют...

— Давай, давай, браток!..

— Опомнитесь... Других пожалейте!

— Давай!.. Все вылезем!..

Воронов сидел на корточках под окном. Климов снял с него ремень, зацепил на крючок и крикнул:

— Вставай! Держись за ремень... Ну?!

Он продел в окно ноги Воронова, потом протолкнул туловище и плечи. Руки Воронова свисали внутрь вагона, голова тоже, и Климов видел его глаза — радостные и бессмысленные.

— Оттолкнись ногами! Ногами!.. А я выброшу твои руки, ну!

Но Воронов потусторонне улыбался и ничего не делал. Тогда Климов изо всех сил толкнул его от окна и упал сам. Он тут же поднялся, но у окна уже копошились люди, и кто-то немощно подтягивался на ремне.

— По очереди... Сейчас — я! — сказал Климов и властно забрал ремень в свои руки.

Множество чьих-то рук помогли ему подтянуться к окну и протиснуться, и он повис на ремне, глядя вперед, в голову состава. Климов видел его весь сразу — длинный, стремительно изогнувшийся на повороте, освещенный лунной. Подобрал ноги, он уперся в прохладную обшивку вагона, оттолкнулся и полетел навзничь, чуть клонясь головой вниз, к земле. Климов глядел в небо и видел, что

вместе с ним и на него падали и звезды, и пронзительная луна, рассыпавшаяся на мелкие сверкающие осколки, на лету вдруг ставшие седой тополиной листвой.

1948

## НЕМЕЦ В ВАЛЕНКАХ

Тогда в Прибалтике уже наступила весна. Уже на нашем лагерном тополе набухали почки, а в запретной черте — близ проволочных изгородей — проклеывалась трава и засвечивались одуваны. Уже было тепло, а этот немец-охранник явился в наших русских валенках с обрезанными голенищами и в меховой куртке под мундиром. Он явился утром и дважды прошелся по бараку от дверей до глухой стены: сперва оглядывал левую сторону нар, потом правую, — кого-то выискивал среди нас. Он был коренастый, широколицый и рыжий, как подсолнух, и ступал мягко и врозваль, как деревенский кот.

Мы — сорок шесть пленных штрафников — сидели на нижних ярусах нар и глядели на ноги немца, — эти сибирские валенки на нем с обрезанными голенищами ничего не сулили нам хорошего. Ясно, что немец воевал зимой под Москвой. И мало ли что теперь по теплыни взбрело ему в голову, и кого и для чего он тут ищет!

Он сел на свободные нары, закинул ногу на ногу и поморщился. Я по себе знал, что отмороженные пальцы всегда болят по теплыни. Особенно мизинцы болят... Вот и у немца так. И мало ли что он теперь задумал! Я сидел в глубине нар, а спиной в меня упирался воентехник Иван Воронов, — он был доходяга и коротал свой последний градус жизни. У нас там с Вороновым никогда не рассеивались сумерки, — окно лепилось над третьим ярусом, и все же немец заметил нас, точнее — меня одного. Он протянул по направлению ко мне руку и несколько раз согнул и расправил указательный палец.

Я уложил Ивана и полез с нар. Там и пространства-то было на четыре вольных шага, но я преодолел его не скоро: немец сидел откинувшись, держа ноги на весу и глядя на меня с какой-то болезненно брезгливой гримасой, а мне надо было балансировать, как бы табанить то правой, то левой рукой, чтоб не сбиться с курса, чтоб подойти к нему

по прямой. Я не рассчитал и остановился слишком близко от нар, задев поднятые ноги немца своими острыми коленками. Он что-то буркнул — выругался, наверно, и отстранился, воззрившись на мои босые ноги с отмороженными пальцами. Я стоял, балансировал и ждал, и в бараке было и тихо и холодно. Он что-то спросил у меня коротко и сердито, глядя на ноги, и я отрицательно качнул головой, — мы знали, что охранники и конвоиры особенно усердно били доходяг, больных и тех, кто хныкал, закрывался от ударов и стонал.

— Шмерцт нихт?<sup>1</sup> — спросил немец и посмотрел на меня странно: в голубых глазах его, опущенных белесыми ресницами, было неверие, удивление и растерянность. — Ду люгст, менш!<sup>2</sup> — сказал он. Я понял, о чем он, и подтвердил, что ноги у меня не болят. Он мог бы уже и ударить, — я был готов не заслоняться и не охать, а на вопросы отвечать так, как начал. Ожидание неминуемого — если ты в плену и тебе двадцать два года — главное самого события, потому что человек не знает, с чего оно начнется, сколько продлится и чем закончится, и я начал уставать ждать, а немец не торопился. Он сидел, о чем-то думал, странно взглядывая на меня и поддерживая на весу свои ноги в валенках с обрезанными голенищами. В бараке было тихо и холодно. Наконец немец что-то придумал и полез рукой в правый карман брюк. Я расставил ноги, немного наклонился вперед и зажмурился, — начало неминуемого было теперь известно. Оно тянулось долго, и, когда немец что-то сказал, я упал на него, потому что был с закрытыми глазами, и звук его голоса показался мне глохлым эхом конца события. Немец молча и легко отвалил меня в сторону, и я побарахтался сам с собой и сел на край нары. В бараке было очень тихо и холодно. Наверно, Воронов видел, как я подходил к нему, и теперь сам двигался к нам тем же приемом — будто плыл. Он глядел мне в лоб, — может, ориентир наметил, чтоб не сбиться с курса, и глаза у него были круглые и помешанно-блестящие. Немец не замечал Воронова, пробуя склеить сигарету, — я поломал ее, когда упал на него, а Иван все шел и шел, табаня то правой, то левой рукой. Я не знал, что замыслил мой друг-доходяга. Управившись с сигаретой, немец увидел Воронова и сперва махнул на него рукой, как кот лапой, — перед своим носом, а затем уже крикнул:

---

<sup>1</sup> Не болит? (нем.)

<sup>2</sup> Ты лжешь, человек (нем.).

— Цурюк!<sup>1</sup>

— Иди назад! — сказал я Ивану.

— А... ты? — за два приема выговорил он, по-прежнему глядя мне в лоб сумасшедшими глазами.

— Я тоже приду, — сказал я.

— А он? Чего он?

— Форт!<sup>2</sup> — крикнул немец и махнул рукой перед своим носом.

— Иди к себе! Скорей! — сказал я, и Воронов округло повернулся, и его повело куда-то в сторону от нашего с ним места в углу нар. Зажигалка у немца не работала — наверно, камушек истерся или бензин иссяк, и он все клацал и клацал, не упуская из виду Ивана, — опасался, может, что того завернет сюда снова. Воронов добрался до места и лег там животом вниз, уложив по-собачьи голову на протянутые вперед руки. Он глядел мне в лоб. В сумраке нар глаза его блестели, как угли в золе, и немец издали опять махнул на них кошачьим выпадом руки, а Иван тоненьким — на исходе — голосом сказал:

— Хрен тебе... в сумку.

— Вас вюншт дивер феррюктер?<sup>3</sup> — спросил немец. Возможно, он произнес не эти слова, — я ведь не знал по-немецки, но он спрашивал о Воронове, и я ответил, тронув свой кадык:

— Он просит пить.

Немец наморщил лоб, глядя на мой рот, и понял:

— Вассер?<sup>4</sup>

— Да, — сказал я.

— Бекомт ир денн кайн вассер?<sup>5</sup>

— Нет, — понял я.

— Шайзе, — негромко и мрачно выругался немец, а Иван попросил меня рвущимся подголоском:

— Саш, скажи ему... хрен, мол, в сумку!

Он сулил ему не хрен, а совсем другое, что, как казалось ему, не лучше стужи под Москвой, я кивнул, обещая, и Воронов притих и перестал блестеть глазами. Немец закурил, но сигарета плохо дымилась, потому что была поломана, и он протянул ее мне. Я зажал на ней надрыв и затянулся до конца вдоха. Сигарета умалилась до половины, а я подумал, что Ивану хватит «тридцати», и

<sup>1</sup> Назад! (нем.)

<sup>2</sup> Прочь! (нем.)

<sup>3</sup> Чего хочет этот сумасшедший? (нем.)

<sup>4</sup> Вода? (нем.)

<sup>5</sup> Вы не получаете воды? (нем.)

затянулся вторично. Я видел, что немец ждет, когда я выдохну дым, но его не было — осел там, во мне. Барак, нары, ждущий немец поплыли от меня, не отдаляясь, прочь, и в это время Иван позвал, как из-за горизонта:

— Саш! Двадцать!... Ладно?

— Ецт вилл эр раухен?<sup>1</sup> — спросил немец, показав на Ивана и на сигарету. Я подтвердил, а немец удивленно выругался. Я решил, что проход — в нем и было-то каких-нибудь четыре вольных шага! — надо преодолеть падением вперед, тогда ноги самостоятельно обретут беговой темп и меня уведет в сторону. Воронов ожидал меня не меняя позы, только растопырил указательный и средний пальцы правой руки, — приготовился. Я вложил между ними окурок и подождал. Иван затянулся и зажмурился, — поплыл, наверно, вместе с баракком, и тогда я оглянулся на немца. Он некоторое время смотрел то на мой лоб, то на ноги, потом позвал, но не пальцем, как раньше, а в голос.

— Алле зинд да флюхтлинге?<sup>2</sup> Ком-ком! — спросил он и посеменял по доскам нар короткими пальцами, поросшими медным ворсом.

— Все, — сказал я и сел на свое прежнее место. — Только не в одно время и из разных лагерей.

Немец приподнял с пола ноги, и лицо у него стало каменным и напряженным, — наверно, защемило пальцы. Мне хотелось лечь там у себя рядом с Вороновым, подтянуть колени к подбородку, а ступни обжать ладонями, чтобы затушить боль в мизинцах. Я безотчетно, но на такую же высоту, как и немец, приподнял свои ноги и нечаянно охнул.

— Шмерцен? — спросил немец.

— Ну болят, болят, — со злостью сказал я. — Тебе от этого легче, да?

Мы встретились взглядами, и в глазах немца я увидел какой-то опасный для меня интерес, как бы надежду на что-то тайное для него.

— Теперь тебе легче, да? — спросил я. Он не понял, видно, о чем я, потому что посунулся ко мне на руках, не отпуская ног, и сказал торопясь:

— Их бин бауэр, форштеест? Ба-у-эр. Унд ду?<sup>3</sup>

Из военного словаря мне было известно, что такое «бауэр». Ну конечно! Он должен быть этим бауэром, и никем

---

<sup>1</sup> Он хочет курить? (нем.)

<sup>2</sup> Все здесь бежавшие? (нем.)

<sup>3</sup> Я крестьянин, понимаешь? Крестьянин. А ты? (нем.)

другим. Они дуют пиво — «нох айн маль», жрут желтую старую колбасу, рыжеют, а потом воюют со всем светом и отмораживают ноги под Москвой!.. Я не знал, что он задумал по теплыни, чего ему от меня хочется, и не ответил на вопрос.

— Их бин ба-у-эр! — как о светлом, о котором он внезапно вспомнил, сказал немец.— Унд ду?

Может, потому, что у меня все время не проходила боль в мизинцах и думалось об обуви, я выбрал ремесло сапожника. Немец не уразумел, что это значит, и я показал на свои босые ноги и помаhal воображаемым молотком.

— Шумахер?— догадался немец.

Я кивнул. Он поглядел на свои сибирские опорки и что-то проворчал,— моя профессия ему не понравилась. В бараке стояла прежняя трудная тишина: пленные ждали конца события, а немец держал на весу ноги и молчал. Я следил за выражением его лица. Оно было тяжелым и напряженным.

— На, аллес,— сказал он.— Цайт цу геен!<sup>2</sup>

Пленному полагалось двигаться впереди конвоира шагах в шести. Такая дистанция очень опасна, если ты задумал бежать,— не в бараке, понятно, а за лагерем, когда уже известно, куда вы оба направляетесь. Тот, кто это пробовал, всегда падал убитым в десяти шагах от конвоира, если неся по прямой, в пятнадцати, когда бежал влево, и примерно в двадцати, если кидался в правую сторону. Пленные хорошо знали этот необъяснимый закон, и тот, кому судьба определила залагерную прогулку, неизменно бежал вправо. Можно было, конечно, и не бегать, но число двадцать на четырнадцать единиц больше шести, и ясно, почему беглец выбирал правую сторону, если не считать, что сердце у него в этом случае оказывалось защищенным от конвоира правым боком...

Я так и пошел к выходу — впереди немца, но он сказал: «Момент», и я задержался, а оглядываться не стал, чтобы не видеть глаза Ивана. Немец поравнялся со мной, и мы пошли рядом,— я табаня то правой, то левой рукой, а он врозваль и глядя на мои ноги. У дверей в цементном полу была глубокая колдобина, заполненная янтарно-радужной кропой доходяг. Мы там споткнулись одновременно, и немец выругался резко и коротко, а я длинно и, наверно, заклинаяще, потому что он притих и

<sup>1</sup> Еще раз (нем.).

<sup>2</sup> Ну все. Пора идти! (нем.)

прислушался. Мне нужно было потереть зашибленные пальцы, чтобы они распрямились, и я присел и опять помянул души живых и мертвых.

— Что ты там бормочешь?— подозрительно, вполголоса спросил немец.— После этого не болят, да?

Возможно, он произнес другие слова, но смысл вопроса был этот, я не мог ошибиться. Мне было ни к чему разуверять его, и я словами и жестами подтвердил его догадку. Кто-то из наших засмеялся тоненько и болезненно, и, наверно, немец понял злорадный смысл этого смеха, потому что оценивающе оглядел меня с ног до головы. Я уже управился со своими ногами и был готов идти, и тогда немец дважды спросил меня о чем-то, чего я не понял.

— Их хайзе Вилли Броде,— сказал он и большим пальцем ткнул себя в грудь.— Унд ви ист дайн наме?<sup>1</sup>

Я назвал свое имя. Немец старательно и неверно произнес его по складам и, не торопясь, врозваль, ушел. Я постоял у дверей и побрел назад, на свое место. Иван пошевелился и, не открывая глаз, всхлипывающе спросил:

— Чего он хотел, а?

— Не знаю,— сказал я.— Может, вернется.

— Хрен ему... в сумку.

Я лег, как и хотел, подтянув к подбородку колени и обжав ладонями пальцы ног. Весь день и ночь в бараке было тихо и холодно, а утром немец явился опять. Он не захотел переступить колдобину и встал у дверей. Мы с Вороновым сидели заученным доходяжьем приемом — спина к спине, и я чуть-чуть подался назад, чтобы стояк нар загородил меня от немца. Он и загородил, но немец в это время по складам сказал: «Алекшандр», и я уложил Ивана и полез с нар. Немец стоял у дверей — коренастый, неподбранный и рыжий, как одуван в запретной черте нашего лагеря. Наверно, ему хотелось зачехот, чтобы я споткнулся на вчерашнем месте,— смотрел он на меня так, когда чего-то ждут от человека, но я остановился перед колдобиной и тоже стал ждать.

— Моен,— невнятно и мрачно сказал немец. Я не понял, что это значило, и промолчал. Он оглянулся на дверь — крадучись и опасливо — и сунул правую руку в карман френча. Теперь трудно сказать, что из того вышло бы, если бы я сделал то, о чем подумал в эту минуту: у немца

---

<sup>1</sup> Меня зовут... А тебя? (нем.)



отсутствовали глаза и правая рука; в колдобину он упадет плашмя и я тоже, но сверху, на него...

Но этого не случилось.

Он дважды сказал: «Нимм»<sup>1</sup>, а руку держал перед собой,— видно, хотел чтобы я полез через колдобину, как вчера. Мне смутно виделось, что было у него в руке, и я не двигался и не шатался.

— Ду хаст гут гефрюштюк, я?<sup>2</sup>

Это он сказал рассерженно, оглянувшись на дверь и протянув ко мне руку, и я различил маленький квадратный пакет из серой бумаги. Концы ее были аккуратно заправлены, как у бандероли, и я взял пакет и сразу почувствовал невесомую важность хлеба, его скрыто-живую теплоту. Немцу б надо было уйти тогда, чтобы я отнес хлеб на нары и там посидел бы и как-нибудь сладил — справился с собой, со всем нашим пленным обруганным миром и с ним — охранником-бауэром в наших валенках без голенищ. Ему б уйти, но он обиженно-ожидаяще смотрел на меня, а я молчал и пытался засунуть пакет в нагрудный карман гимнастерки, не спуская глаз с дверей барака — недаром же он сам оглядывался туда!

— Ах, менш!

Он по-кошачьи махнул в сторону дверей, перешагнул колдобину и подтолкнул меня к пустым нарам,— пленные ютились в глухом конце барака, далеко от дверей. Мы сели рядом и подобрали ноги. Я ощущал изнурительный запах хлеба,— край пакета высывался из кармана гимнастерки, и голова против воли клонилась к нему.

— Нун, вас вартест ду нох? Ис дайн фрюштук!<sup>3</sup> — сказал немец. Он показывал на пакет, и я понял, что ему зачем-то нужно, чтобы хлеб был съеден при нем. Он отобрал у меня обертку и спрятал в карман. Ровно обрезанный хлебный квадратик был намазан не то маргарином, не то каким-то другим эрзацем. Я перевернул хлеб намазанной стороной вниз, чтобы не было крошек, а немец что-то проворчал и отбивно махнул рукой в сторону дверей.

Таких бутербродов я мог съесть тогда дюжин пять. Немец неотрывно и пристально смотрел мне в лицо, и мне надо было откусывать хлеб микроскопическими дольками, неторопливо и долго жевать, а потом бесстрастно глотать, чтобы не вытягивалась шея и не ерзал кадык.

<sup>1</sup> Возьми! (нем.)

<sup>2</sup> Ты хорошо позавтракал, да? (нем.)

<sup>3</sup> Ну, чего ты еще ждешь? Кушай свой завтрак! (нем.)

— Шмект эс?<sup>1</sup>

Ему не надо было это спрашивать: не мог же я работлепно соглашаться, если ел так безразлично и лениво.

— Гут?— не унимался немец.

— Ну гут, гут! — сказал я. В бараке стояла какая-то враждебная мне тишина. Иван плашмя и молча лежал на своем месте, и глаза его тлели, как угли в золе.

— Не дури там! Я помню! — сказал я. К тому времени от хлеба осталась ровно половина, но я подровнял еще немного углы и, когда бутерброд округлился, как коржик, рывком спрятал его в нагрудный карман.

— Цу миттаг?<sup>2</sup> — недоверчиво спросил немец и поглядел на нары, где лежал Иван.

— Да. На абенд<sup>3</sup>. Мне! — подтвердил я, поторкав себя в грудь. Немец сказал: «Зеер гут», достал обертку и аккуратно оторвал половину. В нее я завернул остаток бутерброда.

Нам пора было идти — немцу к себе, а мне к Ивану: тому хватало окаянства и без этого ожидания. Но немец не уходил. Он сидел и молчал, изредка взглядывая на меня, а я на него. К нему ладно подходило все, чем он владел, — и царапно-кошачий взмах руки, и соломенная желтизна волос, и валенки без голенищ. Я подумал, что он плохой стрелок: при нем, если броситься вправо, можно остаться живым...

Он ушел после того, как мы выяснили, сколько нам лет, — немец был старше меня на целое детство. Мне было трудно пробираться на свое место, потому что люди привстали на нарах и смотрели на меня отчужденно и почти мстительно. Я не чувствовал никакой вины перед ними, но они и не обвиняли, они только смотрели, а с двадцатью двумя парами глаз — больших, исступленных и гневных, как у святителей на церковных картинах — не потолкуешь!

— Чего он опять, а?— спросил у меня Воронов.

— Не знаю. Хлеб вот дал, — сказал я. Мы разговаривали шепотом, и бутерброд Иван доел неслышно, уткнувшись лбом в нары, будто молился. С этой минуты я стал ждать конца дня и исхода ночи: очередной бутерброд нужно делить не на две, а на четыре части, следующий снова на четыре, потом опять и опять...

Вилли Броне пришел в свое время. Он позвал меня от

---

<sup>1</sup> Вкусно? (нем.)

<sup>2</sup> На обед? (нем.)

<sup>3</sup> На вечер (нем.).

дверей и проворчал: «Моен». Мы сели на нары, и он дал мне бутерброд — не больше и не меньше прежнего. Я перевернул хлеб намазанной стороной вниз, отломил от него четвертую часть и съел ленивей вчерашнего. Лицо у Вилли было хмурое и мятое, он морщился и непрестанно поднимал и опускал ноги.

— Поставь их сюда,— показал я на нары. Он понял и уселся, как я: составил ступни вместе, подогнул колени, а на них оперся локтями.

— Теперь легче, да?

Вилли отрицательно качнул головой, снял с левой ноги опорок, затем стащил серый, под цвет френча, шерстяной носок, и я различил там белую копошащуюся россыпь.

— Лойзе<sup>1</sup>,— объяснил Вилли и посмотрел на меня беспомощно и жалобно.

— Ничего страшного,— сказал я.— У меня тоже есть.

— Филь?— оживился он.

— Хватает,— сказал я.

Он осторожно и долго разматывал бинт. Все пять пальцев на его ноге казались одного размера и рдели, как черносливы.

— Тебе их отрежут,— сказал я, потому что тут ничего нельзя было поделаться. Вилли кивнул, решив, видно, что я просто утешил его. Я поглядел на пальцы своих ног и сказал, что у меня их тоже отрежут, если будет кому. Вилли опять согласно кивнул, и в его рыжих глазах была надежда. Он явно чего-то ждал,— может, хотел, чтобы я произнес над его отмороженными пальцами те самые слова, что говорил вчера над своими, и я сказал:

— Тебе их оттяпают к чертям собачьим! И мне тоже оттяпают, мать его в плен, в войну, стужу и в бурю!

Наверно, он по-своему понял этот мой причет, понял так, как ему хотелось, потому что его толстые обветренные губы расползлись в улыбке, и он лапнул и потербил мое плечо. Ушел он бодрей, чем вчера,— может, перестало щемить? Я проводил его до колдобины у дверей, и он кивнул мне и что-то сказал,— возможно, обещал приход назавтра.

Иван уже не лежал, а сидел. Я дал ему его долю — половину вчерашнего,— а остальное понес в конец барака. Тут дело было не в «святом чувстве спайки» и не в моем «самоотречении»,— для штрафников в моровом лагере это всего-навсего жалкие слова. Тут все обстояло значительно короче — просто я знал, что после разового укуса хлеба доходя-

---

<sup>1</sup> Вши (нем.).

га оказывается в состоянии встать и пройти несколько шагов. Только и всего. Я это знал и нес хлеб — по разовому укусу — первым двоим доходягам. Возможно, так надо было сделать сразу, вчера еще, но... все ведь видели, как это получилось у немца, у меня и у Воронова — моего напарника по побегам и нарам. Вчерашний день поминать нечего. Нынешний тоже не в счет. А завтра хлеб получают «свежие» четверо доходяг, послезавтра еще четверо, потом еще и еще,— мало ли, сколько раз вздумается прийти сюда этому человеку!..

Меня уже не так сильно шатало, и хлеб я нес почему-то на ладонях обеих рук. Пленные лежали на нарах лицом к проходу, и сидел тут только один военинженер Тюрин. Ему было под сорок. Мы знали его армейский чин — в плену с ним жили недолго, если о том узнавали эсэсовцы, и поэтому Тюрин был у нас негласным старостой барака, назывался военинженером и ютился немного обособленно, в углу,— мы так захотели сами. Он сидел, опершись на руки, поддавшись к краю нар, и сумасшедшими святительскими глазами следил за мной. К нему я и направился, кивнув еще издали, что все, дескать, будет в порядке, а он, не меняя позы, срывным западающим голосом крикнул пленным:

— Товарищи! Помните, что я сказал... Тот, кто примет от него вражескую приманку, должен будет сурово ответить! Крепитесь, товарищи!

Он сразу же лег, а я споткнулся, выронил и поднял хлеб.

— К охранникам подлизываешься... Сволочь!

Это сказал не староста, а кто-то другой, и я падением вперед достиг своего места. Иван сидел и пораженно глядел мне в лоб.

— Ну чего ты?— спросил я и разломил хлеб на две части.— На! Ешь! Ну чего остолбенел?!

Он зажмурился и взял хлеб.

Весь день и ночь в бараке было тихо, холодно и пустынно. С утра Тюрин начал показно и суетно к чему-то готовиться. Он простился со всеми, кроме нас с Иваном, но этот праведно спал и ничего не слышал. Незадолго до времени, когда являлся Вилли Броде, Тюрин обмотал ноги портянками, завязал их веревочками и спустился с нар. Осипло и надрывно он пропел начальные слова песни «Вы жертвою пали» и прощально оглядел барак и пленных. Я разбудил за чем-то Ивана и полез с нар. К Тюрину я пошел, прижав руки к бокам, и он тоже стал по команде смирно.

— В нечаянные мученики собрался, товарищ военинже-

нер? Или в посмертные герои? — спросил я. — Ничего у тебя не выйдет... Останешься тут! С нами! Выше старосты не подымешься!

— Иди и делай свое черное дело! — шепотом сказал Тюрин, глядя мимо меня, на дверь барака. Я оглянулся и увидел унтера Бенка и фельдфебеля Кляйна из комендатуры, — кто ж их у нас не знал! Между ними, в середине, шел Вилли Броде. Мундир на нем был распахнут, и пилотка сидела на голове криво и мелко. Я стоял впереди Тюрина. Они подошли, и Кляйн, не глядя на меня, безразличным тоном спросил у Вилли:

— Дизем?<sup>1</sup>

Вилли поспешно и громко сказал: «Найн» и вздернул голову, а распрямленные ладони прижал к бокам.

— Дизем? — показал Кляйн на Тюрина. Я не услышал, что сказал Вилли: Бенк шагнул мимо меня и наотмашь ударил Тюрина ладонью по рту. Тюрин упал на нижний ярус нар и по инерции проехал вглубь, к стенке.

— Брот брал я! Их! — сказал я фельдфебелю Бенку, и сердце у меня подпрыгнуло к горлу. — Тот человек не ел. Это я один! Их!

Кляйн брезгливо, тыльной стороной ладони ударил Вилли — тоже по рту, — а на мой затылок Бенк обрушил что-то тяжелое и кругло-тупое, как бревно. Я упал на пол лицом в сторону дверей, оттого и запомнил, как уходили из барака Бенк, Кляйн и Вилли. Он шел в середине, а они по бокам, и возле колдобины с нашей кропой Вилли споткнулся, но руки у него остались прижатыми к бокам...

Вот и все.

Между прочим, Иван Воронов остался жив.

Иногда я думаю, жив ли Вилли Броде? И как там у него с ногами? Нехорошо, когда отмороженные пальцы ноют по весне. Особенно когда мизинцы ноют и боль конвоирует тебя слева и справа...

1966

## УХА БЕЗ СОЛИ

Мы приезжаем сюда, на это свое потайное место, каждый год седьмого августа, часам к пяти пополудни, в любую

---

<sup>1</sup> Этому? (нем.)

погоду. Табор мы разбиваем в подлеске возле трех окостеневших дубовых пней, метрах в двадцати от озера. В нем мы до сумерек удим рыбу, а потом варим уху — хоть из двух ершей. В полночь мы обмениваемся взаимными подарками — по большому листу сахарной ботвы и по одной брюкве, величиной с кулак. Ботву и брюкву мы съедаем сразу и молча, потом принимаемся за уху и выпивку, а в два часа ночи начинаем петь песни.

Так мы с конца войны отмечаем день своего рождения, и то место, где мы разводим огонь, не зарастает никакой травой, — глубоко, значит, прокалилась земля.

В этот последний наш выезд выдалась смиренная серая погода с притушенным мглистым солнцем. Мы поймали девять окуней, но один оказался с кованым шведским крючком в верхней губе, — попадался уже раз, и его пришлось отпустить. Вечер подкрался рано и незаметно — тоже тихий, согласно-покорный какой-то, как ручной теленок. Над лесом за озером вставал большой тусклый месяц, и над землей реяла та засушливая жемчужная мгла исхода лета, что навеивает человеку покойную цепенящую грусть. В этом настроении непостижимо споро ладится любая работа, — это оттого, видно, что рукам тогда не сообщается усилий, а уму — конечная цель дела. Я легко и почти бесшумно срубил и расколол засветло еще облюбованную сухую ольшину, почистил картошку, рыбу и лук, а напарник мой все тер и тер озерным песком казан под уху — старинный медный котел с каким-то таинственным клеймом: там был изображен волк верхом на человеке. Котел увесист и гулок как колокол, и уха в нем не остывает часами. Он хорош своей уютной округлостью и каким-то прочным и давним благополучием. К нему очень идет подовая коврига ржаного хлеба, — тогда любая зримая и предполагаемая беда кажется неугрозной и одолимой. Впрочем, все, что принадлежит моему другу, — его вот старенькая неказистая «Победа», самодельная брезентовая накидка для нее с круглыми марлевыми окнами, ухватная ясеневая ручка топора, которым я срубил ольшину, лециновая удочка, отполированная до бубличного глянца, — все это выглядит долговечным, ладным и сноровистым, обещающим верность крепкой охотной службы жизни, и все это каким-то странным образом похоже на своего хозяина. Я знаю это давно и, наверное, потому что все, принадлежащее лично мне, подвержено прихоти различных капризов, поломок и стопорений, потому что мои вещи тоже похожи на меня самого...

Из озера ко мне на берег друг понес котел как дароно-

сицу — осторожно и торжественно, стараясь не расплескать воду.

— Принимай, брат летчик!

Это говорится раз навсегда выверенным тоном, четко, серьезно и сострадательно. Я никогда не был летчиком, но мне не приходится обижаться: двадцать пять лет тому назад я на самом деле назвался ему летчиком-истребителем, сбитым под Вязьмой, в бою с пятью «мессерами». Не с одним и не с тремя, а с пятью, из которых двух я уничтожил будто бы с ходу. То был не к месту вздорный, даже там, в лагере военнопленных, не иссякший во мне запал мальчишеского тщеславного вранья и бахвальства, за которым дрожал и бился простодушный расчет на внимание и помощь сильного, несловоохотливого пленного солдата Дениса Неверова. Потом, позже, выяснилось, что никакой я не истребитель, но с тех пор Денис Иванович называет меня летчиком — наедине, по ночам, в день нашего рождения. Я в свою очередь величаю его тогда «Диванович», вместо «Иванович»: в каком-то местечке на Брянщине он — уже будучи партизанским разведчиком — пробыл около двух часов в топчане, на котором в это время полусидел, полулежал немец, неурочно навестивший нашу связную «гестаповку».

Это — «Летчик» и «Диванович» да еще вот ботва и брюква — предел в наших поминаниях прошлого. Оно не то что свято или проклято, но просто непосильно теперь нам. И даже невероятно. Столько там изжитых стыдных унижений! Может, поэтому наши взаимоотношения в такие ночи грешат какой-то старомодной церемонностью и взаимопочтительностью: мы лишний раз говорим друг другу «будь добр», «спасибо», «пожалуйста», «благодарю», и движения наши спокойны и медлительны, и беседы отвлечены и немного сентиментальны.

Я подвесил на рогатку котел и одной спичкой, — это тоже входит в обряд нашего праздника, — разжег под ним дрова. Денис Иванович сел напротив меня и с какой-то элегической расслабленностью произнес благодарную хвалу творцу, создавшему землю, небо, озеро и окуней.

— Хорошо, что человек не властен над этим, — сказал он и повел рукой по ночи. — Испортил бы, стремясь улучшить.

Он не сказал подходящего в этом случае «испаскудил» или «испоганил», — в такие ночи мы сознательно избегаем грубых слов, и я молчаливым кивком подтвердил свое согла-

сие с ним и попросил, чтобы он был любезен и достал из машины соль.

— Чего? Со-оль?— с тихо нарастающей к миру враждебностью не сразу переспросил он.

— Совершенно верно. Соль. Для ухи,— подтвердил я, поняв его, и тогда Денис Иванович длинно и непуतेво выругался в стужу, в бурю и в свой склероз.

— Ты тоже, понимаешь, хорош: пришел с портфельчиком, уселся как какой-нибудь директор пивзавода и поехал. Не мог, понимаешь, поинтересоваться на месте! Гусь лапчатый!

Я посоветовал ему выражаться утонченней, но он сказал, чтобы я не придуривался и думал лучше, как добыть соль. Тогда я поинтересовался, постигает ли он теперь главную причину моральной неполноценности китайских хунвейбинов, но Денис Иванович сделал вид, что не понял меня, и поднялся от костра. В призрачной белесой мгле, под знойный стрекот кузнечиков и сухой подирающий вскрик коростелей, зрела ночь. Котел вздрагивал и даже тихонько погудывал, и от него исходил полынно чистый дух лаврового листа.

— Ну что будем делать, а?

Голос Дениса Ивановича звучал нетерпением и досадой. У нас было два выхода — остаться без ухи или завести машину, выбраться на шоссе и там на пятнадцатом километре отсюда, в домике дорожного мастера, разжиться солью. На этом мы и порешили, и я поодиночке, рыльцами вниз, отпустил в бурунную благодать котла окуней и сотворил в душе хвалу творцу за все мне посланное в жизни.

Вот под это все он и вступил в белый круг нашего костра, неслышно вступил, неожиданно, и оттого, как мгновенно пересохло у меня горло и как пригнулся и шагнул прочь Денис Иванович, я понял, что нам с ним никогда не избыть страха погони и застигнутости! Нет, узнали мы этого шатуна позже, минут двадцать спустя, и не лично его мы испугались, а вообще человека в ночи.

На нем были до окоженелости заношенные солдатские брюки и китель, большая, от ветхости оранжевая железнодорожная фуражка и растоптанные кирзовые сапоги. В руках, на манер ружья, он держал удочки, а за спиной у него, налезая узлом на затылок, громоздился парусиновый мешок от надувной лодки. Наверно, он порядком устал, потому что сразу же освободился от лямок мешка, а затем уже поздоровался с нами и спросил: клюет ли?

— Да мы вот с другом словили на ушицу,— сдержан-



но сказал Денис Иванович и упомянул соль и свой склероз. Откровенно говоря, мне не хотелось, чтобы у незнакомца оказалась соль и чтобы он вообще задерживался тут, у костра, — тогда разорялась наша ночь, но соль таки у него нашлась. Он сказал, что рыбак рыбака «должен выручать с пониманием», и каким-то спутанно-слепым и как бы бесцельным торканьем рук, будто их било непрерывным тиком, стал развязывать мешок.

С этого — бесцельного на первый взгляд — метанья его рук и началось мое узнавание ночного гостя.

Он по-прежнему — если это был он! — выглядел сухим и рослым, но время тронуло его голос, — он осел и притух, сгладило и увеличило лоб, изменило нос, — он у него разбрык и покраснел, подбило линькой глаза и высекло морщины по краям прежнего щелистого рта. Да, это был он, кого мы никак не должны были тут встретить, но мне хотелось, чтобы я ошибся и чтобы Денис Иванович как-нибудь подтвердил эту мою ошибку без моего намека.

Человек тем временем достал из недр своего мешка маленькую, на карман, холстинковую сумочку, туго наполненную и аккуратно завязанную шнурком от ботинка. В такую тару влезает примерно граненая стопка соли. Не больше. Между прочим, в войну не было пленного солдата, чтобы он, готовясь к побегу, не таил за гашником такую вот сумочку с щепоткой в ней «бузы», добытой бог знает как и где. Теперь трудно сказать, почему мы считали соль совершенно необходимым достоянием на воле, но это было так. Более того — сумочка с солью являлась как бы залогом благополучного побега. Лагерные полицейские хорошо знали, для чего пленный «шакалит» соль, и дважды в неделю подвергали нас подноготному обыску, и когда находили сумочку, завязанную обычно тесемкой от обмотки или шнурка от ботинка, то...

— Хватит? Или добавить?

Пришелец протягивал мне соль на ладони, минуя костер, но у меня прочно были заняты руки — левой я придерживал рогатину, а правой зажимал ложку и помешивал ею в котле. Я помешивал, глядя на огонь, и ждал, как поступит Денис Иванович, — отвергнет он соль или примет, и как в этом случае быть с моей догадкой. В это время, как нарочно, выдалась длинная минута тишины, — даже кузнечики примолкли, и только звонисто гудел котел, и у меня появилась боль напряжения в затылке — это ведь одно и то же: дает человек или просит, его нельзя заставлять ждать с протянутой рукой. Возможно, что я в конце концов подставил

бы ложку под эту чужую руку, если б Денис Иванович чуть-чуть помешкал, но из нас двоих он первый не выдержал и принял соль. Тогда мы и обменялись с ним взглядами, и никакой разговор о госте — ни длинный, ни короткий — нам уже был не нужен. Тот копался в своем мешке, — упрятывал на прежнее место сумочку, когда Денис Иванович проговорил каким-то клеклым голосом:

— А ведь мы тебя, пожалуй, знаем!

Гость поднял голову и, шурясь через костер, отчего казалось, что глаза у него смеются, оглядел нас вскользь и без интереса.

— Знаем ведь, летчик?

Это опять сказал Денис Иванович, обратясь ко мне, и тогда опознанный нами человек засмеялся на самом деле, — коротко и квохчуще, будто охал.

— Где ты служил летом сорок второго года?

Мне, пожалуй, не следовало сбиваться на крик, но так уж вышло. Зато он тоже спросил нас прежним, тем, визгливо осатаневшим голосом:

— А вы сами тогда где были? В вяземском лагере, выходит, отсиживались, да? Шкуры берегли, а потом мученья себе выдумывали, чтоб оправдаться?!

— Слыхал? — пораженно сказал мне Денис Иванович. — Ты понимаешь, чьи слова он повторяет, свол... сволочь?

Он рассевным взмахом кинул соль в костер и вдруг по-ребячьи обиженно всхлипнул и уткнулся лицом в колени. Это было некстати, ненужно, а главное, невероятно: Денис Иванович всегда казался мне человеком-кремнем, и, может, только за это, — за его надежный, выносливый и какой-то себе-наумешный вид, — ему больше других выпадало в лагере плетей и палок. В тот наш последний лагерный день — седьмого августа сорок второго года — ему спутанно-слепым и как бы безадресным взмахом арапника с мудреным свинцовым нахвостником полицей рассек лицо. Я к тому времени уже ходил бок о бок с ним, потому что был летчиком, сбившим двух «мессеров», а таких он ценил. По этому праву я попытался тогда утешить его, но он засмеялся и сказал, что пехота — не авиация, она, мол, выдюжит, — намекал на мою жидковатость: временами я не выдерживал и ревел. При нем. В тот день — седьмого августа — мы работали километрах в пяти от Вязьмы, где стояли немецкие зенитные батареи. В полдень над ними появился наш «ястребок» — невысоко, беззащитно и нам нужно. Немцы сбили его быстро, и когда он заку-

выркался вниз, Денис Иванович похоронно сказал мне:

— Вот еще один твой приятель...

— Ему, идиоту, надо было ложиться в пике или делать бочку! — сказал я. Он посмотрел тогда на меня с надеждой, и я поверил, что могу быть сильным.

Вечером мы бежали. А в полночь Денис Иванович разрешил мне на первый раз съесть лист сахарной ботвы и одну брюкву. Сам он съел две брюквы, потому что полагался на свою выносливость...

Теперь, спустя четверть века, он сидел у своего праздничного полевого стола и плакал. При мне. И при нем — бывшем полице. Его, посланного нам сюда недоброй прихотью черта, отделял от меня метр земли, прокаленной нашими торжественными кострами, котел со странным клеймом, несколько ольховых чурок и ладный, ухватный топор. Мне ничего не мешает признаться в своей тогдашней летучей мысли об аморальности для людей любого неотомщенного преступления, и он, бывший полицай, каким-то сверхсознательным чувством догадался об этой моей мысли, потому что вскочил на колени и крикнул, косясь на топор отрезанно и помешанно:

— За вас с меня уже взяли! Слышите? И по закону не положено наказывать два раза за одно и то же, слышите?

Он все тем же тиковым движением руки сшиб со своей головы фуражку, и на его гладком голом темени я увидел при бликах костра крупные бисеринки пота. Мне невольно подумалось: как здорово он полинял! Там, в Вязьме, он ходил в форме советского командира-танкиста, с выпиленной звездой в пряжке ремня. С левого плеча у него, как аксельбант, свисал крупный ременный арапник с мудреным свинцовым нахвостником. Им он...

— Ты же убивал, а сам вот жив!.. — почему-то шепотом, горько и потерянно сказал Денис Иванович, а тот все стоял на коленях, и отсветы костра метались по его лицу, отчего казалось, что оно искажается диковатыми гримасами, и хотелось, чтобы он сел или встал и накрылся своей нелепой фуражкой.

— Сколько людей там... А ты вот жив! — опять проговорил Денис Иванович и зачем-то потрогал свои колени, бока и грудь, словно отыскивал самого себя. Было трудно молчать и ждать, пока гость оправлял на себе лямки мешка, насаживал на голову фуражку и поворачивался к нам спиной. За пределами желтого ока костра он не то споткнулся, не то остановился по воле и глухо,

вполголоса, как сообщникам по ночной краже, сказал нам:

— Не один я убивал и не один живу. Небось за свои лагерь тоже мало кто ответил!

— Во, гад, куда метну-ул! — растерянно проговорил Денис Иванович и страдающе поглядел на меня.— То же культ был, отребник ты чертов! — крикнул он во тьму и поднялся на ноги. Было томительно тихо. Потом не скоро в прибрежной осоке, на мелкоте, звучно и грузно плеснулась большая рыба, и лунная оранжевая тропа на озере заколыхалась и сморщилась. Мы некоторое время подождали чего-то, потом Денис Иванович пошел к машине, и я услышал, как там что-то сдвоенно стукнулось о землю и покатилося к озеру — брюкву выбросил. Тогда я остатками выкипевшей, обаландившейся ухи загасил костер. Мне ничего не хотелось — ни есть, ни пить, ни спать, ни бодрствовать.

— Сейчас, наверно, у нас на Урале мед качают,— не в связь с событиями этой нашей ночи сказал вдруг Денис Иванович.

Я промолчал.

— Говорю, мед у нас качают сейчас! — уже с явным раздражением проговорил он.

— Ну и пусть качают,— сказал я.

— Пусть, пусть! Давай лучше помоги сиденья в машине раздвинуть. Спать будем, нечего тут!..

Мы улеглись, стараясь не задевать друг друга, но телу сразу же стало неудобно, ломотно и беспокожно: сквозь марлевые окна накидки в машину проникали жалящие запылы комаров, и от них все время приходилось отмахиваться впустую, а потом уже на закате месяца, с противоположного конца озера, с какого-то, видать, голого там пригорка, к нам трепетно пробился продолговатый и узенький косячок света приземленного пламени. В ночном костре, если смотреть на него издали, всегда чувствуется что-то тревожное и неприкаянное, почему-то хочется тогда знать, кто его жжет, что на нем варит и о чем думает. Мне казалось, что Денис Иванович давно спит, но он спросил, есть ли у меня, черт возьми, закурить или нету, и полез из машины. Вернулся он часа через полтора, когда на востоке уже рдело небо и над озером всходили и текли на берег клочья парного тумана. Я сидел на подножке машины и курил.

— Расстрел дали,— издали сообщил он мне.

Я ждал.

— Потом заменили четвертаком. Шестнадцать отбыл... Это все-таки не шестнадцать месяцев, правда?

- Конечно,— сказал я.  
— Не спит... Уставился в огонь, как сыч, и сидит.  
— Ему есть о чем подумать,— сказал я.  
— А мне не о чем, что ли? Я ее, Вязьму, двадцать шесть лет трижды на неделе во сне вижу!  
— Давай поспим,— сказал я.— Мне она тоже снится.  
— Снится, снится! Вот она, наша славянская душа! Не можем до конца сохранить ненависть к преступнику и насильнику над тобой, не можем!  
— Не ворчи, философ вяземский! — сказал я.  
— Философ, философ!.. Ну спокойной ночи. Тебе там не поддувает в окно?  
— Нет,— сказал я.

Утром, уже при палящем солнце, мы настигли его на шестом или седьмом километре от озера. Он брел со своим мешком посередине дороги, и Денис Иванович не стал сигналить и объехал его с левой стороны по засеvu желтого люпина. На подъезде к шоссе мне запоздало подумалось, что хорошо было бы привезти люпиновый букет домой прямо с обросевшими на нем шмелями, и в ту же секунду Денис Иванович резко затормозил и остановился.

— Слушай,— просяще сказал он,— а ну его к черту, луская садится, а? А то плетется, как мы тогда!..

Он глядел на меня сердито и ожидающе. Я закурил и промолчал. В зеркале мне виднелась недвижно повисшая сзади нас над дорогой густая оранжевая пыль...

1968

## ЧЕРТОВ ПАЛЕЦ

Когда до села оставалось километра три,— оно укрылось за пологим взлобком,— Кондратьев съехал на край поселка и вылез из машины. Поля уже были голы, и по жнивью серыми тучами метались скворцы, собираясь в отлет, но по обочинам дороги еще цвел репейник, и на его малиновых пупырьках ворочались большие, лохматые шмели. Кондратьев вспомнил, как в детстве он ловко ловил их двумя пальцами за крылья, всовывал в зад соломинку с вышелушенным колоском, и шмель улетал с этим украшением, и надо было ловить второго и третьего. Он поглядел вдоль дороги и пошел по жнивью искать такую соломинку, но тут же подумал, что это жестоко и небезопасно, и вернулся к своему «Запорожцу». Его, пожалуй, следовало помыть или хотя бы

обтереть тряпкой,— нос капота и фары были густо облеплены дохлой мошкаррой, и Кондратьев неожиданно ощутил чувство беспомощной досады за мизерный, смешной и несчастный вид машины: он подумал, что автомобиль, черт возьми, все равно что одежда, по которой люди продолжают встречать гостей.

В Чекмарёвке — своем родном селе — Кондратьев не был около тридцати трех лет и теперь испытывал какое-то все нарастающее виновато-тревожное опасение от предстоящей встречи с теми, кто его знал там и помнил. Он достал чемодан и надел белую рубашку и черный костюм. Шел пятый час дня, а раньше восьми в селе, пожалуй, появляться не следовало: наверно, там по-прежнему мужики сходятся по вечерам на колхозном дворе, и поэтому лучше приехать об эту пору. «Скажу, что направляюсь на юг и решил, мол, наведаться. Бензин, мол, кончился». Ему почему-то вспомнилась старинная чекмаревская притча о двух сыновьях, посланных стариком отцом в город на зимние заработки и вернувшихся домой на Пасху. Младший, как только вошел в хату, приткнулся у дверей на край лавки и стал гладить приласкавшуюся к нему кошку: «Кисынька, кисынька», а когда она подошла к старшему, севшему за стол в святом углу, тот крикнул: «Брысь», и отец понял, кто из сыновей явился с деньгами, а кто с пустыми руками.

С какой-то теплой, родственной симпатией Кондратьев представил себе мягкие русые волосы и голубые глаза младшего и почему-то обозлился на его брата. «Подумаешь, брысь!»

Он сел за руль, решив обождать на взлобке, откуда могла виднеться Чекмаревка, и на первой скорости, под сверлящий, немощный вой мотора преодолел подъем. Там, заслоняя село, мрела необъятная сила подсолнечника,— уже свечно-желтого, спелого, и над ним церковно сияла сторожевая вышка, сколоченная из белых раkitовых слег. Кондратьев решил, что это светносное поле он зарисует завтра с вышки, а саму вышку — отсюда, с дороги, но надо, чтобы там был человек. Старик. В белой рубахе... Дорога была усыпана пустыми шляпками подсолнухов. Кондратьев ехал и урывками поглядывал на приближавшуюся вышку: там и в самом деле показался человек с ружьем в руках. Он, наверно, стоял на коленях, потому что едва виднелся из-за перил помоста, зато ствол его ружья целиком высывался наружу и переливчато блестел на солнце. Было похоже, что караульщик собирается стрелнуть вверх.

«Может, тут нельзя ездить?» — подумал Кондратьев. Он затормозил, и, когда выходил из машины, на вышке хлопнул сухой, ржавый выстрел. Кондратьев невольно пригнулся, хотя уже видел и знал, по ком стреляли: над вышкой, но высоко и в стороне, парил коршун. Он упруго взмыл еще выше, будто его поддуло, а караульщик крикнул Кондратьеву:

— Криво летел, мать его, а то б я его срезал!

— Конечно, срезали б! — прокричал в ответ Кондратьев.

— Я их тут черт-те сколько насшибал! — азартно сообщил караульщик и без паузы, не меняя тона, спросил, не найдется ли закурить. Кондратьев поспешно сказал, что коршун — птица дерьмовая, а закурить найдется. Ему не удалось проследить, каким приемом скатился вниз по лестнице караульщик — то ли сидя, то ли лежа, то ли кувырком: он как-то падуче мелькнул под стропилами вышки и пропал в подсолнечных зарослях. Коршун в это время снова приблизился в заходном вираже к опасной точке на небе, и Кондратьев с болезненным напряжением стал ждать нового выстрела.

Караульщик появился на дороге метрах в десяти впереди машины и на прежнем азартном крике опять сказал Кондратьеву:

— Я их тут навалил будь здоров!

Он по-детски перевально передвигался на обрубках голеней, всунутых в черные копытообразные кожаные поршни, опираясь на ружье, как на палку. Кондратьев пошел к нему навстречу неторопливо, умышленно мелкими спутанными шагами, пытаясь скрасить свое физическое преимущество перед его увечьем. Они сошлись на середине пути. На караульщике была малескиновая телогрейка и круглая кепка из косячков с блескучим клеенчатым ремешком над козырьком. Ему, видать, перевалило за шестьдесят, но он был из тех редких людей, кто до восьмого десятка ходит в мальчиках-подростках, не наживая ни усталости духу, ни веса телу и лишь незаметно выветриваясь и легчая. Кондратьев протянул ему сигареты, но тот сперва в судорожной встряске пожал его ладонь, здороваясь, а затем только взял курево. Кондратьев узнал его: признал дробное, сухощавое лицо с безвольной пипкой подбородка, молочно-голубые, восторженно стоячие глаза, по-детски умильно оттопыренные уши, и очень долго подносил ему зажженную спичку, — надо было справиться с накатной волной какой-то неосознанной не то обиды, не то жалости к себе и к этому человеку. То был Яков Семенович Коче-

ток, попеременно ходивший в сороковых годах то в председателях Чекмаревского сельсовета, то сельпо. Кондратьеву было нехорошо и почти страшно, оттого что Кочеток по-прежнему носил кепки того самого покроя и фасона, которые в свое время шил ему его, Кондратьева, покойный отец. «Кто же их теперь мастерит для него? Неужели сам?.. В сущности, я, наверно, зря сюда еду, потому что... И дай бог, чтобы он потерял ноги на войне», — неожиданно и тоскливо подумал Кондратьев, а Кочеток в это время сладко затаился дымом и угрожающе сказал:

— Я их тут навалял!

— Они, наверно, слишком высоко летают, — осторожно предположил Кондратьев, но Кочеток не принял его сочувствия. Он запальчиво возразил, что американские самолеты тоже не низко летают, а их вон сколько насшибали вьетнамцы! Кондратьев оторопело кивнул и вдруг проговорил почти завистливо:

— Не стареете вы, Яков Семенович! Совсем не стареете!

— А чего мне? Сижу под самым горизонтом, воздух там свежий, — засмеялся Кочеток. — Это вы там чахнете в своих сельхозуправлениях. Ты в наш «Рассвет»? Или в Гахово?

— Я Кондратьев Иван... Сын Петра Степановича, — понуро сказал Кондратьев.

— Да Петрак же помер! Аж в тридцать шестом... Нет, брешу: в тридцать пятом! — почему-то уличающе сказал Кочеток.

— Да. В тридцать пятом. Я похоронил его на огороде, потому что... рыть там было легче. И вообще ближе... — трудно проговорил Кондратьев.

— Факт, что ближе! — согласился Кочеток. — То-то я думаю, вроде ты, а не узнал. И куда теперь? К нам? По делу или как?

— Да вот решил было наведаться попутно, — неопределенно сказал Кондратьев. Он подумал, что заезжать в село уже не стоит: созданную им яркую и манящую картину детства, для встречи с которым он ехал, затмила горечь были, воскрешенная Кочетком. Да, пожалуй, следовало возвращаться назад. В узкой туннельке проселка залегала пахучая духота безветрия, — проселок тоже надо было бы написать, но без «Запорожца»: его кастрюльная голубизна на шафранном фоне подсолнухов казалась пошлым бездарным мазком.

— Ну что ж, рад был повидать вас, Яков Семенович, — сдержанно сказал Кондратьев и понес свою руку к руке



Кочетка. Тот цепко забрал ее, судорожно потряс и просительно сказал:

— А может, посидим немного в холодке, а?

Кондратьев решил, что старик, — все-таки Кочеток был старик! — хочет побыть в машине, — так просто, от скуки и блажи. Он сказал «пожалуйста» и приглашающе отступил в сторону, но Кочеток тычками ружейного приклада принялся валять подсолнухи, готовя съезд к вышке.

— Пойдите, Яков Семенович, зачем же губить! — опешил Кондратьев.

— А им ни черта не сделается, доспеют и лежат, — бесшабашно ответил Кочеток.

— Да нет, так не годится, перестаньте! — приказал Кондратьев, и Кочеток проворно убрал под мышку ружье и поглядел на Кондратьева ожидающе и испуганно, как ребенок.

— Я, вишь, думал... посидим там с тобой, — просветленно сказал он и переступил на своих поршнях. — Не виделись-то небось...

У Кондратьева опять щемяще заняло сердце. Он сказал: «Конечно, посидим!» — и подумал, что Кочеток, наверно, по-прежнему любит выпить и надо его угостить. До машины было метров двадцать. Кондратьев побежал к ней, чтобы взять рюкзак с провизией, и когда достал его и оглянулся, то увидел торопящегося к нему Кочетка. Он сменил, клонясь вперед как под ветром, и рот у него был раскрыт не то в изумлении, не то для оклика.

— Сейчас мы выпьем, Яков Семенович! — утешающе крикнул Кондратьев. — Вы что предпочитаете, коньяк или водку?

— А я... все потребляю, — не останавливаясь, растерянно признался Кочеток.

— Ну вот и ладно! И хорошо! — сказал Кондратьев.

На тесной извивной тропе, по которой повел его Кочеток к вышке, толстым слоем лежала иссохшая отцветь подсолнухов, и ступать по ней было легко и мягко. Тут реяла зеленая покойная полумгла, навевавшая Кондратьеву какое-то летучее воспоминание о чем-то оторапливающе радостном и давнем, — то ли об игре в прятки в таких же вот таинственных дебрях подсолнухов и конопли, то ли о кануне какого-то большого летнего праздника, то ли просто об одном из сказочных снов в детстве, и чтобы не разрушить в себе это, он старался не глядеть на кепку Кочетка, мысленно прося его не оглядываться.

Вышка стояла на прогале, заросшем сурепкой и осотом.

У ее подножия горбатился крошечный соломенный шалаш с низким, округло звериным лазом, выходявшим прямо к лестнице, и гребень шалаша венчал — как вымысел — малиново-жаркий матерый петух с ситцевой лентой-привязью к ноге.

— Это вы чтоб коршунов заманивать? — безразлично попытал Кондратьев.

— Да не, он тут так, — смутился Кочеток. — Прижился и...

«На мутовке-то прижился!» — мелькнуло у Кондратьева, но на Кочетка он поглядел сочувственно и понимающе.

— Вам бы сюда собаку, — посоветовал он.

— А если месячная ночь? — панически спросил Кочеток. — Она ж все печенки вымотает, как завоет! Не, петух в сто раз лучше. Ему все одно, какая погода. Скукарекал когда надо, и будь здоров!

Он всунулся в шалаш и выволок оттуда заскорузлый полушубок с клокастой шерстью, перебитой соломенной трухой. Кондратьев, сложив рюкзак, пошел за шалаш, чтобы наломать листьев подсолнухов, — ни садиться, ни тем более выкладывать еду на эту подстилку Кочетка было невысказано, и там, за глухой стенкой шалаша, увидел пасеку. Она занимала шага полтора в диаметре и была насплошь огорожена тынком из сухостойного чернобыла, увитого живой повиликой. Десятка три ульев, сделанных из комлей подсолнечных будыльев, — телесно-светлых, величиной с граненый стакан, сидели на кольях-подставках тремя прямыми рядами, обратив закупоренные летки в одну сторону — на восток, и ряды их разделились песчаными аллеями, и на песке аллей копошились большие жемчужные мухи. Кондратьев склонился над пасекой и стал глядеть на нее, как на ночной костер — бессмысленно и оцепенело. Он слышал, как вкрадчиво притопал и остановился позади него Кочеток, и по тому, как тот молчал и ждал там, Кондратьев понял, что пасеку он завел не ради забавы и что ему надо что-то сказать о ней вполне серьезное, а не шутливое. «Вот так я всегда, всегда!» — безнадежно подумал о себе Кондратьев и, не оборачиваясь, склоняясь еще ниже к земле, тихо, но отчетливо спросил:

— А почему же... ворот нет в плетне?

— Были. Заделать пришлось, — тоже почему-то шепотом сказал Кочеток. — Суслики, вишь, могут залезть... А эти сволочи все одно не приживаются!

— Пчелы? — догадался Кондратьев.

— Ага. Споймаешь, запустишь — сидит, а как откроешь

очко — шмыг, и нету. Некоторые по неделе живут, а не привыкают!

— Они сволочи,— страдальчески сказал Кондратьев, выпрямляясь,— но мы все равно сейчас выпьем. У вас найдется какая-нибудь посудинка?

— А из колпака от термоса! — сказал Кочеток. Кондратьев кивнул и пошел за листьями.

Они разместились между шалашом и пасекой. Кондратьев достал из рюкзака бутылку «Российской», жестяную банку с халвой — «раз нету меда», сказал он Кочетку, батон белого хлеба, колбасу и два вареных яйца. Кочеток притих и облагодобразился. Он уселся удобно для себя и для Кондратьева — упрятав под зад поршни, но кепку не снял, хотя Кондратьев и понуждал его к этому, скинув свой берет. В наружных и внутренних поясках пластмассового колпачка от полулитрового термоса клебли какие-то бурые инородные кольца, не поддававшиеся ногтю, и Кондратьев подумал, что это в конце концов всего лишь чекмаревская почва, и больше ничего.

— Ну, за встречу! — загодя морщась и содрогаясь, сказал он Кочетку, наблюдавшему за ним с суетным светом в глазах. Кочеток по-хозяйски приветливо и поощряюще сказал: «Пей на доброе здоровьице», и Кондратьев поглядел на него удивленно и растерянно. Когда хозяин пасеки выпил свой колпачок, а затем неторопливо и уважительно к еде закусил, Кондратьев, не перестававший исподтишка следить за ним, вдруг недоуменно сказал:

— Удивительно! Никак я не свяжу вас вот теперешнего с тем прежним Яковом Семеновичем. Никак!

— Так сколько годов-то прошло! — резонно заметил Кочеток.— И обезножел я к чертям, а то б и теперь...

— Я запомнил вас верхом на чем-то кулацком жеребце,— раздумчиво сказал Кондратьев.— Вы носили черные галифе, хромовые сапоги «бульдо» и вот такую же кепку. Вы и зимой так ходили... По нашим морозам-то! На меня вы нагоняли самый настоящий подлый страх, я не переставал удивляться отцу, как он вас не боится!

— А почему ему надо было?— сумрачно спросил Кочеток и отложил в сторону хлеб.

— Понимаете, Яков Семенович,— доверчиво сказал Кондратьев,— вы ведь не умели тогда нормально разговаривать. Вы постоянно кричали — на взрослых, на нас, школьников, на собак... Помните, как вы стреляли их? Верхом, из нагана?

— Так их по три штуки у каждой подворотни сидело! У вас и целых два кобеля было!

— Один. Мы его Аршином звали,— не забыл Кондратьев.— Вы убили его на погребце, и отец тогда ничего не сказал. Значит, тоже боялся вас!

— Не, с Петраком мы на коротких гужах ходили, он был свой человек,— сказал Кочеток.— А собак по чекмаревскому сельсовету я решал всех подчистую, так что ваш кобель подлежал тоже!

— Ну раз подлежал, значит, подлежал,— усмехнулся Кондратьев и наполнил колпак. Кочеток опять хорошо пожелал ему доброго здоровья и сам потом выпил с прежней степенностью.

— Таких людей, как твой Петрак, я уважал крепко! — с внезапной убежденностью хмелеющего человека сказал он.— Чем он тогда захворал? Простудился, кажись?

— Нет, был уже май... Отец умер с голоду,— нехотя ответил Кондратьев.

— Да брось ты буровить! Голод проходил у нас раньше, в тридцать третьем! — сказал Кочеток на полукрике.— Тогда спрашивается, а чего ж ты не помер?

— Не знаю, Яков Семенович,— шепеляво сказал Кондратьев.— Впрочем, отец ведь лежал, а я как-никак... то чибисиное яйцо, то щавель, то вьюна...

На шалаше захлопал крыльями и взыскующе, истошно закричал петух. Кочеток восхищенно поглядел на Кондратьева и в каком-то непостижимо легком подсиге пружиристо выбросил из-под себя ноги и постучал один о другой поршнями.

— А я, понимаешь, обезножел. Во, видишь?

— А что... случилось с вами? — ознобно поежился Кондратьев.

— Давно отморозил к чертям! Да они мне и не нужны теперь!

Он засмеялся тоненько, упоенно, крутя головой и хмурясь, и Кондратьев не стал дознаваться, когда и где он потерял ноги. Пожалуй, пора было закругляться,— шалаш, пасеку и их стол накрыла косая узорная тень, падавшая от стропил вышки, и тянуло уже предвечерней, медвяно-сырой тут прохладой, и Кочеток был почти пьян. Он как будто споткнулся на какой-то своей неровной мысли и сидел притаенно, почти навалившись грудью на поршни, стерегущие уставясь на носки кондратьевских ботинок. Редка, худа и остиста была его пегая щетина бороды, росшая по заскульям, минуя обветренные, старчески глянцевиные щеки.

и затухающе тускло синели теперь у него глаза, и натруженно, непосильно хмурился его млечный узкий лоб под мелкой продольной морщиной. Кондратьеву хотелось сказать ему что-нибудь ободряющее,— в конце концов, Кочеток сам ведь считает, что ноги ему уже не нужны, но тот вдруг встрепенулся и опять зашелся в щекотном изнурительном смехе.

— Слышь? Погоди-ка!.. А ты знаешь, к примеру, чем коза бедна?— таинственно спросил он, и глаза у него ожили и встали торчмя. Кондратьев посидел немного поникше и молча, потом достал из кармана свежую пачку сигарет и положил ее на банку с халвой.

— Ну вот, Яков Семенович... Спасибо за компанию. Рад был встрече,— сожалеюще сказал он и встал.

— Да не, ты не увиливай,— рассердился Кочеток,— ты ответь, чем она бедна?

— Не знаю,— раздраженно сказал Кондратьев.— В ваши годы надо бы задумываться над другим!

— А не знаешь, так и говори! — ошалело вскинулся Кочеток.— У ей же вымя видна, понятно?

Еще до этого Кондратьев никак не мог решиться попросить у Кочетка пару головок подсолнухов, чтоб захватить их домой на память о неувиденной Чекмаревке, теперь же такая просьба показалась ему совершенно невозможной, да, пожалуй, и не нужной. Он забросил на плечо рюкзак и, не оглядываясь, стиснув зубы и ссутулясь, пошел мимо вышки. Он уже был шагах в пяти от тропы, когда из ее синих, издали различимых потемок на поляну наклонно вышел, будто вынырнул, коренастый, средних лет человек в белесом парусиновом плаще и выгоревшей медно-палевой соломенной шляпе.

— Ваш, что ль, козел на дороге? Проехать же нельзя! — недовольно сказал он Кондратьеву, глядя на него твердыми, без блеска, ореховыми глазами. Кочеток свидетельски подтвердил через поляну:

— Его, его — тут же прокричал угодливо и беспокойно: — Алексеич, а ты угадай, кто то такой! Сроду не угадаешь! Это ж Петрака гузенного Иван! Узнал зараз? Тебе не скажи, так ты...

— Во дурак! — извиняюще сказал Алексеич Кондратьеву о Кочетке, но смешину в глазах потушить не сумел.— Правда, что ль?— с сомнением спросил он Кондратьева.— Это ты будешь, Иван?

— Я,— сказал Кондратьев как пожаловался и снял с плеча рюкзак. Он не помнил никакого такого Алексеевича

из своих сверстников, а тот обрадованно выругался по-матерному и с такой яростной приветливостью пожал ему руку, что Кондратьев услышал, как у обоих хрумкнули пальцы.

— А я нет-нет, а вспоминал про тебя! Думаю, цел или как... Да ты что, не узнал меня? Васюк, ну!

— Бузука?— сорвалось у Кондратьева.

— Ну! — засмеялся Васюк.— Домой едешь? В Чекмаревку?

— Домой! — сиротски сказал Кондратьев, но Васюк не заметил этого.

— Ну вот разом и поедем! Давай понесу сумку,— засуетился он. Кондратьев безвольно и молча передал ему рюкзак, а Кочеток в это время что-то прокричал им издали.

— Ты ему, случайно... не подносил там? — подозрительно спросил Васюк.

Кондратьев не понял.

— Выпить ему не давал, говорю?

— Давал... Но мы немного...

— Тогда подожди, я пойду гляну.— Он пошел к вышке наклонно и ныряюще, неся рюкзак на отлете и чуть впереди себя, и Кондратьев вспомнил, как однажды они — Бузука тогда точь-в-точь так же держал свой картуз без козырька — бродили по болоту в поисках чибисиних гнезд. Холщовые портки свои они сложили на берегу родника, и кто-то плотно набил их свежим зеленым коровяком и поставил стоймя.

— Пошутил какой-то негодяй,— вслух сказал Кондратьев и засмеялся, мысленно увидав диковатую и согласную стойку двух оскверненных портчонок под громадным весенним небом, заполненным светлым текучим зноем и тревожным криком чибисов...

Васюк подошел к вышке и что-то спросил у невидимого Кондратьеву Кочетка. Наверно, Кочеток попробовал приподняться, потому что верх его кепки снующе поторкался из стороны в сторону, но до конца из-за шалаша не показался.

— Что, хочешь, чтоб опять ружье забрал, а костыль оставил?— спокойно, но с начальственной строгостью сказал Васюк.— Тебе ж раз навсегда было заказано, забыл?

— Да я полколпачка всего! — страстно солгал Кочеток.— Не прогонять же человека, раз он пришел!

— Полхреночка! Тебе полнаперстка нельзя давать! — повысил голос Васюк и позвал Кондратьева:— Иди-ка глянь

на эту заботу! — засмеялся он. — Видал, какую церкву себе устроил?

Кочеток с обиженным и сытым видом сидел на прежнем месте с ружьем в руках. Бутылка стояла перед ним на банке с халвой, а колпачок с очищенным и, видать, плотно застрявшим в нем яйцом громоздился на горлышке бутылки, и тут же, у лаза в шалаш, на кончике белой ракитовой шестины обреченно пристраивался на ночь петух. Кондратьев осуждающе взглянул на Васюка и тронул его за локоть.

— Погоди, ты ж не знаешь, — поморщился Васюк. — Если он до конца придушит бутылку, то такой буёж поднимет на все село, что будь здоров!

— Да какой там буёж! — сказал Кондратьев, а Кочеток не то кашлянул, не то хихикнул и вдруг подмигнул ему озорно и весело.

— Ну видал его? — кручинно покачал головой Васюк. Он явно не знал, как поступить с лишней для Кочетка водкой, — в бутылке ее оставалось колпака на три. — Может... вылить? Или как? — нерешительно спросил он Кондратьева.

— Лучше «или как», — сказал Кондратьев и забрал у него рюкзак. — У меня есть еще бутылка коньяка. Садись, пожалуйста.

— Тут прямо?

— Ну давай на вышке, — предложил Кондратьев, но Васюк предостерегающе показал глазами на Кочетка.

— Я, в случае чего, не видал и не слышал про вас, — устерег его тот. Васюк молча стащил с себя плащ и кинул его на шалаш, вспугнув петуха.

— Мне твой случай до лампочки, — сумрачно сказал он Кочетку, усаживаясь. — Я с другом детства встретился, ясно тебе?

— А чего ж тогда моргаешь? — ядовито спросил Кочеток. — Я когда-нибудь докладывал про тебя?

— А что ты мог докладать? Кому? — поразился Васюк, испытующе, вприщур глядя на Кочетка и неторопливо, по-хозяйски захватно унося от него бутылку вместе с халвой и колпачком. Яйцо в нем застряло прочно, и Васюк остервенелым взмахом руки вытряхнул его к ногам Кочетка...

Закусывали жесткой усохшей корейкой, нарезанной Кондратьевым большими рваными ломтями. Кочеток убедленно и отверженно сидел прямо, напряженно и сосредоточенно глядя перед собой, и возле черных поршней его

ненужно и противоестественно бело мерцало выброшенное Васюком яйцо. Как и до этого, Кондратьеву хотелось сказать Кочетку что-нибудь ободряющее, но он не знал что. Васюку, наверно, тоже было не по себе,— не соблюдая очередности, он молча выпил лишний колпак, но не повеселел.

— Ты хоть где живешь-то и по какой линии работаешь?— почему-то сердито спросил он Кондратьева. Кондратьев потянулся к ногам Кочетка, не скоро захватил там яйцо и швырнул его в сторону.

— Секрет, что ли?— отчужденно посмотрел на него Васюк.

— Да нет... Я рисую. Художник,— сквозь зубы ответил Кондратьев. Васюк подождал, соображая что-то, потом вслух решил, что это тоже хлеб.

— Один вон из наших чекмарей... да ты его должен знать, Роман Онучин, помнишь? Шептуном что дразнили? Так он в Лебедине музыку к песням придумывает, а живет будь здоров! Две казенных квартиры имеет, паразит!

Кондратьев, не слушая, наполнил коньяком колпак и протянул его Кочетку, но тот в мученическом старании не глядеть в сторону Васюка, затряс головой:

— Дуже надо! Захочу — и сам куплю...

— Ну что ж,— миролюбиво сказал Васюк,— значит, сыта теща, коли гущи не ест!

По тропе к вышке кто-то не шел, а бежал коротким, топотно подпрыгивающим шагом, как солдат при сугреве, и Васюк, спохватясь, приподнялся на колени:

— Сашок, это ты там? Ходи сюда!.. Сын, понимаешь,— объяснил он Кондратьеву.— В третий раз мотаемся в автоинспекцию, права его выручаем...

С колпаком в руке, отвергнутым Кочетком, Кондратьев тоже привстал на колени и оправил на себе пиджак. Сын Васюка был как подсолнух в июле — высокий, яркий, в пестро-золотистой ковбойке и зеленых расклешенных брюках. Он учтиво поздоровался с Кондратьевым, назвав свое имя и отчество — «Александр Васильевич», а Васюка укорил: «Я ж замерз. И лошадь не поена». С Кочетком он тоже поздоровался, и тот молча и судорожно потряс его руку. Сашок охотно и умело — не торопясь и мелкими глотками — выпил коньяк, и, когда поблагодарил Кондратьева, тот вдруг ощутил царапную боль в сердце. Наверно, для того, чтоб представить его Сашку, Васюк как-то в упор и немного насмешливо спросил



у Кондратьева, что он рисует — людей или картины и сколько за это платят.

— Небось не меньше, чем за песни?

В глазах у него мельтешились подмывные чертики, и Кондратьев не ответил и обернулся к Сашку:

— А у вас... у нас тут, поют по вечерам?

— Кричат,— сказал за него Васюк.

— Да брось ты, пап! Ну кто кричит?— сдержанным баском возразил Сашок.

— Как это кто? Девки!

— Да брось ты! — опять сказал Сашок.— Кроме вас, бригадиров, никто не кричит...

Васюк растерянно поглядел на Кондратьева и без видимой нужды потрогал на себе шляпу.

— Не кричат, так будут! — сказал он, а Сашок засмеялся.

На Кочетка было трудно смотреть. Он сидел в какой-то старинной папертно упрямой позе обойденного милостыней, уводя глаза в сторону пасеки, и Кондратьев пододвинул поближе к нему банку с халвой, а чтобы не вызвать его новый, никому тут не посильный своей неразрешимостью отпор, спросил почти ласково:

— Сельсовет у нас все там же, Яков Семенович, в большаковском доме?

Кочеток не шелохнулся.

— Он его еще при своем председательстве в разорпустил,— равнодушно заметил Васюк, а Кочетка тогда как пружиной вскинуло:

— По-твоему, выходит, кулацкие постройки не нужно было рушить, да?— враждебно спросил он не Васюка, а Кондратьева.— Тогда линия такая была, камня на камне чтоб не оставить, понял?

Кондратьев поспешно сказал «конечно» и встал. Было уже сумрачно и прохладно. Над поляной трепетно металась летучие мыши и крутыми спиральями гудуче носились какие-то антрацитно блестящие жуки. Васюк забрал бутылку с недопитым коньяком и, к удивлению Кондратьева, заботливо внедрил ее в карман кочетковской телогрейки.

— Опохмелись завтра... А зараз лезь в курень и спи. Ладно?— попросил он Кочетка.

— А ты больше не моргай при чужих! — капризно сказал ему Кочеток и пощупал бутылку.

По тропе к дороге двинулись гуськом — Васюк с рюкзаком впереди, Кондратьев в середине, а Сашок с от-

цовским плащом — сзади. Сашка изнурял приступ задушенного и, как казалось Кондратьеву, беспричинного и обидного смеха, и он, не оглядываясь на него, то и дело за чем-то одергивал на себе полы пиджака, натываясь лицом на ворсистые мягкие, обросевшие головки подсолнухов. Васюк приостановился и взял Кондратьева под руку, но пошел не в ногу, а вразноступ, тесно и неудобно, и Кондратьев, неизвестно на что озлобясь, спросил его в макушку шляпы:

— Ноги ему... на войне?

— В «Кобыльем логоу»,— не сразу сказал Васюк и за чем-то оглянулся на Сашку.— Вывалился из саней и отморозил... В сороковом аж!

— Ну!

— Чего «ну»?— тоже почему-то ожесточаясь, сказал Васюк и освободил локоть Кондратьева.— Оттяпали в больнице — и все! А во время оккупации он в погребе спасался. Между прочим, в твоём, понял?

— Рад слышать,— глухо сказал Кондратьев,— но наш погреб завалился еще при мне.

— Здорово тебе! Завалился! В твоей хате с каких уже пор Стенюха живет, а она как-нибудь хозяйка!

— Стенюха? Большакова?— неверяще спросил Кондратьев.

— А то чья ж,— безразлично отозвался Васюк.— Потому у полицаев и подозрения не было, что Кочеток Яков Семеныч сидит в ее погребе...

Кондратьев споткнулся и молча забрал Васюка под руку, и они опять пошли не в ногу, тесно и неудобно.

— Она сама догадалась?

— Кочетка прятать?— умышленно, как показалось Кондратьеву, не понял Васюк.

— Да нет,— недовольно сказал Кондратьев,— хату мою занять!

— А-а! Не. Раньше там стоял наш пришлый коваль из Гахова. Стенюха вышла за него перед самой войной. Вдова давно. Сын на Донбассе, кажется...

Подвода стояла впритык к задку «Запорожца». Высокая темная лошадь в сыромятной белой узде вожделенно, с сахарным хрупом жевала подсолнух, и на ее губах до самых ноздрей пузырилась светлая пена, шматками падавшая на капот. Она пахла приторно сладко, но чисто; в этом запахе было что-то весеннее, знакомое Кондратьеву с детства, и он не стал очищать капот. Васюк велел Сашку отогнать «на

двор» подводу и прежде Кондратьева залез в машину.

— Ты ее купил или выиграл? — полушутя, полусерьезно спросил он у Кондратьева, следя за движением его рук и приборами. Кондратьев рывком тронулся с места и под вой мотора сказал, внутренне напрягшись и вдавливаясь в сиденье:

— Могила на моем огороде... цела?

Васюк не то не расслышал, не то не понял, о чем его спрашивали, и Кондратьев опять сказал вполголоса:

— Могила, говорю...

— Да знаю, знаю! — перебил Васюк. — Там колхозный коровник давно...

Кондратьев сбавил скорость и закурил.

— Между прочим, хату Стенюха перекрыла под черепицу, — немного погодя, сказал Васюк. — И сарай обновила. Так что много ты не получишь, но рублей триста запросить можно...

Он непростудно кашлянул и, не оказывая глаз, снова спросил, купил или выиграл Кондратьев машину. Тогда как раз оборвались заросли подсолнухов и свет фар рассеялся и померк, — выехали на пустой и гладкий как ток чекмаревский выгон. Село сидело к нему задом, невидимое за пряслами огородов, и Кондратьев широко и плавно развернулся и выключил мотор. Он решил, что подсолнухи срежет теперь без спросу. Их, наверно, надо будет переложить листьями и завернуть в брезент палатки, чтоб не завяли.

— Подожди тут Сашка, — сказал он Васюку и вышел из машины. Было темно и тихо. Низкорослая, прибитая и уже иссушенная трава хрустко шуршала под ногами, и выгон манил и манил лечь на него ничком или навзничь, как тогда, в детстве. За селом, на далеком заречном бугру, тревожно и зазывно светился, не разгораясь и не потухая, чуть видимый костер, и Кондратьеву почувдился ладанно-горький запах кизячного дыма, и дышать стало несвободно, а сердце поднялось к гортани и не хотело спуститься в свою клетку. Он сел на землю и стал глядеть на костер. «Как тогда было хорошо», — подумал он про болото, про птиц и небо над собой и Бузукой и тут же вспомнил и мысленно увидел, потому что никогда прочно не забывал об этом, вишневое низкое солнце о двух радужных столбах, синюю ледяную тропу от села к колодцу и на ней Стенюху и себя с большой деревянной лопатой...

Костер не вырастал и не умаялся. Васюк неслышно подошел к Кондратьеву и сел поодаль и чуть сзади. Он сказал, что коровник построен до войны и, значит, обижаться тут не на кого.

— Слышь, что говорю?

— Я сейчас,— рассеянно отозвался Кондратьев.— Посижу немного и поеду назад...

Васюк повозился на своем месте,— не то хотел встать, не то усаживался поудобней, и вдруг сказал по-бузукски басисто и не в связь с прежним:

— А я знаешь на ком женат? На Манечке староверовой, что раскурдяйкой дразнили. Помнишь?

Кондратьев издал какой-то птичий писк горлом, а Васюк посунулся к нему и проговорил в спину:

— Не дури, Вань! Ладно? Давай поедем домой, ко мне, а? Что ж тут теперь...

В машине он зачем-то снял шляпу, обнял Кондратьева и, сияюще лысый, не хмельной и не трезвый, на томительный лад «страданья» запричитал непутево озорные и лохматые, только к темным ночам пригодные чекмаревские частушки давних лет, и Кондратьев сидел притаенно и ехал осторожно и медленно...

На второй день было воскресенье, и село топилося запоздало,— над трубами хат вились одинаково квёлые дымы, золотисто пронизанные солнцем. К своему двору Кондратьев пошел низом, по-над речкой,— отсюда явственней проглядывался посад села и было дальше от огородов. Тут, у речки, все оставалось прежним, знакомым и давним — и дуплистые прибрежные ракиты, и мшисто-зеленые орясины колодезных журавлей, и лекарственный запах увядающего аира. Свою хату — белую, маленькую, покрытую розовой черепицей, Кондратьев увидел и узнал издали: у нее не изменилось просительно-ожидательное выражение окон... Он долго всходил на свое крыльцо,— надо было искать и находить на нем памятные зарубы и выщербы, и долго стоял в сенцах — ручка у дверей была та самая, медная, и он сперва потрогал ее, а затем уже постучал в дверь. На середине хаты лицом к дверям стояла рослая смуглая женщина с усохшим ртом, по-старушечьи покрытая белым миткалевым платком. Кондратьев с порога ищуще оглядел хату и неуверенно спросил:

— Степанида Никифоровна?

Не двигаясь с места, Стенюха тихо сказала «ага» и

смятенно и слабо улыбнулась как под болью, когда нельзя охать.

— Не признали?

— Да нет, почему же... Вы мало изменились,— солгал Кондратьев и снял берет.

— А я вас сроду б не узнала... Я завсегда думала...— сказала она и замолкла. Она была похожа на отца — черного, степенного и богатого мужика Никифора Большакова, дом которого заняли потом под сельсовет. Семейю их увозили тогда под вечер, а наутро Стенюха объявилась в селе и стала жить по дворам поденно, но ходить опять в школу чекмаревские бабы ей не велели...

В хате ничего не осталось прежнего, кондратьевского, кроме темной иконы Варвары-великомученицы под потолком в красном углу. Кондратьев все еще стоял у порога. Стенюха смотрела на него растерянно и чуть-чуть сокрушенно, и он внутренне усмехнулся сам над собой, а ей вдруг мужественно сказал:

— Может, ты позволишь мне сесть?

— Господи, да я ж совсем забыла,— встрепенулась она,— садись вон туда, на лавку... Я ж вчерась аж узнала, что ты приехал...

Они сели друг против друга, разделенные столом, и Стенюха, будто застигнутая на чем-то не своем, начала торопливо и беспокойно говорить о хате, о своем недолгом замужестве, о войне и о сыне Костике, уже женатом шахтере. Наверно, Кондратьев слушал и смотрел так, когда другому становится тревожно не только за нужность своих слов, но и за свое обличье, и за все, во что он одет и обут. Стенюха опять смятенно улыбнулась и потербила концы платка.

— Ну, а ты сам... давно хочь женат-то?— спросила она.

— Давно,— вяло сказал Кондратьев.— Сын тоже...

Студент.

— А жена... хорошая ж?

— Да так... Как все,— ответил Кондратьев, заглядывая в окно, на речку. На том ее берегу, по заказанному в прежние времена лугу, обрывавшемуся затем в северной стороне села болотом, картинно бродило большое стадо пестрых коров, а выше, за лугом, на фоне предосеннего остывающего неба льдисто искрились не успевшие еще слежаться и померкнуть соломенные стога.

— Что ж она, ученая? — напомнила о жене Стенюха.

— Ну еще бы! — едко сказал Кондратьев.— Кандидат

юридических наук! Это в судах там,— вскользь глянул он на Стенюху. Она чему-то усмехнулась и погладила себя по щеке ладонью — широкой, костистой и сильной, как подумалось Кондратьеву. Он закурил и понес горящую спичку к дверям, где стояла лоханка, и оттуда сказал с каким-то откровенным злорадством:

— Ушла моя Надежда Павловна к другому. Четвертый год уже...

— Господи! Да что ж она, взбесилась? — на чекмаревский подголосный распев сказала Стенюха.— И сын к ей отошел?

Кондратьев промолчал.

— А похож на тебя, ай нет?

— Да. По крайней мере внешне,— неуверенно сказал Кондратьев.

— Ну хочь это пускай!

Стенюха опять погладила себя ладонью по щеке, глядя на Кондратьева устало и жалеючи. Она попытала, надолго ли он приехал, и Кондратьев ответил, что на пару дней.

— Ну, а как же мне теперь с хатой? Может, ты захочешь... продать кому? — спросила она и спрятала руки под настольник.

— Я подарю ее тебе... Давно уже подарил,— сказал Кондратьев. Он хотел сказать это просто и сердечно, а по голосу получилось четко и жестко.— Только вот то... если можно,— показал он лицом на икону.

— Забрать хочешь? — поняла Стенюха и поглядела на красный угол, как глядят на грозу в поле.

— Это мамина венчальная,— сказал Кондратьев. Стенюха подолом фартука смахнула с лавки невидимую пыль, затем встала на нее растоптанными кирзовыми сапогами и, не поднимая рук к иконе, оглянулась на Кондратьева.

— А может, оставишь? — угасше сказала она под толком.— На ей у меня так всё вот и привыкло. И похоронная на Колю, и письма его с войны, и... Куда ж мне потом-то?..

Она, наверно, не поняла, зачем пошел к ней от стола Кондратьев, и привстала на носки сапог, приемно готовя руки под икону, но он вовремя крикнул:

— Не надо! Не трогай!

— Оставишь? — тихо спросила Стенюха.

— Да-да! Я ведь не знал...

— Ну спасибо ж... Тогда я зараз покажу тебе что-то... Вспомнишь, ай нет? — загадочно сказала она. Кон-

дратьев отступил к столу и сел на табуретку,— ни в ту минуту, ни позже он так до конца и не понял, что его испугало в этих словах Стенюхи. Он сидел, ждал и тупо глядел на ее нелепые бурые сапоги с густой траурной бахромой на обрезках голенищ.

— Во, гляны! — таинственно сказала Стенюха, не сходя с лавки. Она держала на ладони какой-то аспидно-янтарный, заостренный с одного конца предмет, похожий на разрывную пулю от крупнокалиберного зенитного пулемета.— Помнишь, ай нет?

— А что это? — издала спросил Кондратьев.

— Да «чертов палец»! Помнишь, ты подарил мне его на святой? Когда овечек стерег с ребятишками на выгоне?

— На святой? Забыл,— виновато сказал Кондратьев.

— Вы ж тогда, дураки, догнали меня, повалили и...

— Что? — смутился Кондратьев.

— Да взяли и заголили платье!

— И я тоже?

— А то либо нет!

— После того, как подарил «чертов палец»?

— Не-е. Его ты после мне дал. Покликал и дал... Ты тогда был в голубой рубахе в белую полоску...

Стенюха все еще стояла на лавке. Кондратьев пошел к ней, и она, неловко спрыгнув на пол, подала ему «чертов палец».

— Не помнишь?

Он взял ее руку, покрытую сухой цыпковой шелушкой, и поцеловал благодарно и кающе.

— Совсем-совсем не помнишь? — по-девчоночьи обиженно заморгала ресницами Стенюха, удерживая на весу, как зашибленную, руку, которую поцеловал Кондратьев.

— Я помню только, как однажды зимой мы катались с тобой с горы на нашей деревянной лопате. По очереди,— сказал Кондратьев.

— Да у вас же сроду не водились салазки, а я тогда была уже раскулаченная,— невесело засмеялась Стенюха. Кондратьев покраснел и стал разглядывать «чертов палец». Это был круглоцельный, миллион, может, лет тому назад окаменевший не то хвощ, не то моллюск. Они попадались на меловой горе возле болота и в игре в лодыжки сходили за три битка.

— А на лопате мы катались разом, а не по очереди,— проговорила Стенюха.— Что ж ты, и про ланпасеты позабыл?

— Нет. Это я помню,— угрюмо сказал Кондратьев.

Он и в самом деле помнил, как за обрезки овчин и веревочные осметки купил в тот день на возке у тряпичника восемь штук сахарно-мучных полосатых монпансье. Два он съел сам, а остальными угостил Стенюху, когда катались... Но как угостил! Ронял украдкой ей под ноги, когда лезли в гору от колодца, и она молча подбирала их и прямо со снегом запихивала в рот, и рука ее была красная и прозрачная, как гусиная лапа, и чья-то чужая бабья кофта на ней топорщилась седыми кудельными ключьями...

— Надо ж! Стыдился дать мне ланпасеты в руку! — с тихим недоумением сказала сама себе Стенюха, будто Кондратьева не было в хате.— И, наверно, таким и остался, раз жену упустил...

Кондратьев достал очки и зачем-то напялил их старательно и прочно. Наверно, в них он показался Стенюхе совсем бесприютным, потому что она поднялась с лавки и молча, с какой-то упрямой решительностью стала накрывать на стол. О том, что его ждет Васюк, Кондратьев сказал, когда она уже поставила перед ним большую алюминиевую миску с лапшой.

— Лучше я съем ее завтра,— беспомощно запротестовал он.— Всю съем, ладно?

— Ну ежели гребуешь...— сказала Стенюха и прошла в чулан. В хате стало не по-жилому тихо и скорбно. От лапши всходил и растекался под потолком томленный радужный пар, и Кондратьев взял ложку и погрузил ее в миску. Сквозь запотевшие очки он смутно видел, как появилась из-за полога Стенюха и встала там, наблюдая, как он ест.

— Я ж на завтрашний день отпросилась в Суслонку,— виновато сказала она.— Посылку хочу отправить Костику. И в магазин надо... Да ешь же ты за-ради Христа! Ну кого тут стыдиться! Ты ж в своей хате!..

Кондратьев покорно подумал, что сейчас заревет. Вот скажет она еще что-нибудь про хату, про себя или про еду — и он заревет.

— В каком часу... ты уходишь? — не поднимая лица, спросил он.— Мне тоже надо завтра в Суслонку... За бензином... Что ж ты, пешком пойдешь!

— Да я хотела с зарей. Ить семнадцать верст туда, да семнадцать обратно,— сказала Стенюха.— А ты взаправду заедешь за мной? — опять как-то по-девчоночьи, неверяще спросила она. Кондратьев отодвинулся от стола и молча, ослепше стал глядеть в окно...



Наверно, потому, что он так и не снял очки, Стенюха проводила его, как маленького, на улицу и там показала рукой, в какую сторону ему идти. Кондратьев пошел напряженно и неестественно, ощущая затылком чужой несмещающийся взгляд, и только возле Васюковой хаты заметил, что унес с собой «чертов палец»...

Утром он проснулся в пустой хате,— ни Васюка с Манечкой, ни Сашка́ не было. На столе под газетой сидела остывшая сковорода с бараниной, а рядом открыто лежал, прижатый по углам порожними бутылками, ватмановский лист бумаги с черной углевой пометкой каких-то диких болотных зарослей, невероятно громадных птиц и пары стоячих детских порток. «Напился, скотина»,— с безнадежным сочувствием подумал о себе Кондратьев и только тогда вспомнил о Стенюхе...

Он догнал ее в «Кобыльем логоу» — выгонной балке верстах в пяти от села по пути в Суслонку. На ней было длинное голубое платье и коверкотовый мужской пиджак, а на голове блиновидный красный берет. Она шла посередине дороги валким размашистым шагом, кренясь под большим узлом, завернутым в темный полушалок, и когда оглянулась на машину, то сронила его с плеча и понесла в руке, и ступать стала мелко и спутанно, то и дело поправляя берет, сгоняя его на ухо. Кондратьев на предельной скорости обошел ее и так затормозил, что машину развернуло поперек дороги. Он молча, рывком отобрал у Стенюхи узел и кинул его на заднее сиденье.

— Дура! Глупая! — клетотно сказал он, когда она усеелась, и со стиснутыми зубами неожиданно и издали поцеловал ее в лоб. Она беспомощно охнула, ткнулась ему головой в грудь и заплакала. Кондратьев распахнул полы своего пиджака и накрыл-укутал ими голову Стенюхи, туго обняв ее плоские неподатливые плечи. Она совсем ушла к нему под мышку и плакала там уже в голос — благодарно, щедро и неумно, и сам Кондратьев рыдал судорожно, редко и трудно, и в то же время думал, что уехать надо ему нынче же, до ночи...

1967

## БОЛЬШОЙ ЛЕЩ

В середине лета на толстого ленивого выползка берет лещ. Рыба эта умная, осторожная и солидная. Она

обходит суетного удильщика с неустойчивым или сварливым характером, не любит мрачных и похмельных рыбарей и хорошо и полновесно идет к тому, кто приносит на озеро вместе с удочками и приманкой тайно прикопленную благодарность в душе за свою близость и причастность к большому живому миру. Тут ничего нельзя поделывать, тут, наверно, нужно загодя и исподволь готовиться к совершению какого-нибудь тихого доброго дела или просто поступка, нужного людям, и тогда, если ты рыбак, поезжай на озеро — и удача тебя не обмывает...

Я уверовал в это не сразу, — до того была тусклая вереница воскресных невезений, но в середине прошлого месяца моя затянувшаяся работа поманила меня на лещевое озеро, — я неожиданно закончил ее и, грешным делом, приготовился к встрече с опоздавшей радостью.

Тогда была золотисто-начальная заря в небе, была сиреневая тишина в улицах, а в глубинах пустынных дворов еще копилась потемки, пахнувшие яблоками и укропом. В такую пору испокон веков дети «летают» во сне, и у них в немом восторге трепещут ресницы; в эту юрань повсюду и всегда разговаривают шепотом те, кто расстается до вечера; в войну на рассветах устанавливалась тишина в окопах, а у раненых затухала боль. Мне хотелось думать «красиво» и картинно, — это всегда вычеркивалось редактором из моих ранних рассказов, и я шел и размышлял так, как в юности, потому что был совершенно один, а кривой узкий переулок казался бесконечным, и его затоплял кроткий полумрак и сон. Тут все было хорошо и непреложно нужно, — и смеженные ставни домишек, и растрепанные головы подсолнухов за изгородями палисадов, и целомудренная воркотня просыпающихся голубей. Оттого, что мне надо было «забрать» все это с собой на озеро, я не заметил, когда и откуда появились впереди меня те четверо. Какими-то понужденно балетными шагами они рассредоточенно, загородив переулок, шли мне навстречу, засунув руки в карманы брюк, и по их безразлично-напряженным взглядам на крыши низеньких пригородных домишек я догадался, зачем им понадобился рассыпной строй. В моей рыбацкой сумке лежала краюха хлеба, светлая бутылка и малосольные огурцы, а на самом дне, под газетой — пестрая банка из-под халвы: в ней таились выползки и мои несокрушимые надежды на день. Я переложил сумку в левую руку, а правой достал сигарету и зажег спичку. Я проделал это на

ходу и не стал оглядываться назад,— там раздавались лениво шаркающие шаги еще двух или трех переростков, тоже рассредоточенных на облаву. Мне нельзя было менять ни темпа шагов, ни положения рук, ни наклона головы,— в этом случае ночной грабитель смелеет и торопится, потому что воспринимает ваше приготовление, как замешательство и панику. Я лишь спустился с тротуара на середину мостовой и там, шагах в пяти от встречающих, коротко подумал, что на рассветах — в четыре двадцать зимой и в два сорок летом — немцы выводили на расстрел заключенных и что укус змеи в такое время смертелен...

Они показались мне на одно лицо, как четырняшки сплеховавшей лет семнадцать тому назад родительницы, и я напрягся и пошел сквозь строй парней левым плечом вперед, подвинув одного из них вежливым и в меру твердым толчком. Оглядываться в таком разе не стоит,— затылок и так все «видит» и чувствует, и я шел как на параде — стройно и чутко.

— Во, бляха, просквозил! Понюхали только!

Это было сказано обиженно, неверяще и сокрушенно — все вместе, и я остановился и сумел спросить, как давно надоевших родственников:

— Курить, что ли, хотите?

— А есть? — не сразу и снисходительно спросил кто-то один. К ним, четверем, издали направлялись еще двое, что ранее были в моем тыловом прикрытии. Тут нельзя было допустить, чтобы они все шестеро пошли ко мне разом: согласная сплоченность их в спящем переулке показалась мне ни к чему, и я двинулся к ним сам, а мне навстречу шагнул только один. Я достал сигарету и протянул ее на ладони вместе с коробкой спичек. Парень молча взял и то и другое, глядя на меня вприщур. Глаза у него были мягкие, синие и продолговатые, а ресницы редкие и длинные, как у всех застенчивых людей. В юности обладатели их обычно не хотят признавать за собой это далеко не порочное свойство характера и поддельваются под морских и сухопутных бродяг. Парень курил и критически-скучно разглядывал мою сумку и тренинг, давно утративший пору свежести.

— Возьмите своим приятелям,— сказал я и достал пять сигарет.

— А ты, оказывается, культурный! — ввернул он и изысканным манером сплюнул мне под ноги.— Мои мальчишки, видишь ли, не курят. Они только нюхают!

Мне показалось, что это было смесью упрека «мальчиков» в оплошности и призыва к действию, и я повторил все сначала — пошел к ним первым с сигаретами в руке.

— Кто хочет курить? — спросил я вполне своим голосом: ситуация, как говорится, сложилась для парней затруднительная, — даже бродячий пес не кусает мирно протянутую к нему руку. Сигареты взяли все пятеро — молча и угрюмо. Я понимал, что изъявление вежливости с их стороны почти невозможно, так как оно разрушило бы идею и замысел рассыпного строя, и я без всякой паузы сказал: «Благодарю». Наверно, можно было перекинуть сумку в правую руку и идти, и я перекинул ее, но не пошел: мне вспомнилось утро, как две капли воды схожее с этим, мирным, нынешним, и будто огромный паук — склизкий и мерзкий — обволок мое тело стыд за себя, за только что испытанный мелкий страх и суетливую угодливость перед этими шестерыми, что стояли и дымили моими сигаретами...

Тогда, двадцать один год тому назад, был такой же золотисто-шафранный июльский рассвет. Накануне к нам, восемнадцати партизанам, прибился Яша Ларве — пятнадцатилетний мальчик, бежавший из гетто. С его острых плеч нелепо и жалко свисал желтый широкий плащ, а на голове сидела какая-то немыслимая по форме и цвету шляпа. Яшкины босые ноги путались в полах плаща, а шляпа сваливалась на нос. Ему предложили кое-какую одежонку, но он сказал, что плащ и шляпа дедушкины, и заплакал. Винтовка, выданная Яшке, была немецкой и казалась сантиметров на двадцать больше его самого. Всю ночь, минуя шоссе, мы пробирались навстречу своим наступавшим войскам, а на ее исходе путь нам благословенно преградил брошенный лесной хутор. В сарае, стоявшем на краю придорожной канавы, была прошлогодняя солома, и командир разрешил группе отдых. Он наказал часовому разбудить его, если тот заметит в ночи что-нибудь подозрительное или чужое, но часовой не сделал этого и опростал автоматный рожок в небо, когда слышал будто бы немецкую речь на дороге. Нам понадобилась неполная минута времени, чтобы очутиться метрах в ста от сарая, где мы «временно оставили» все свое нехитрое бродяжье имущество, кроме оружия. Командиру хотелось знать, сонный стрелял часовой или бодрствуя, и тот клялся, что «чув германьской гомон». Было тихо и сумрачно. По земле стлался предзоровый зыбкий туман. Мы пошли к сараю открыто, — не пове-

рили часовому, и тогда со стороны леса, с дороги, раздался вопрошающий оклик по-немецки. Мы остановились, и командир подозвал Яшку. Оклик повторился, а Яшка чуть слышно сказал:

— Немец! Спрашивает, кто стрелял!

— Ответь по-ихнему: «Немецкий часовой!» — шепотом приказал командир.— Басом крикни, Яш! — попросил он.— Мы их...

Он, наверно, думал, что чудовищная непечатная фраза сообщит мужество ребячьему голосу, и Яшка выслушал ругань как молитву и пронзительно крикнул: «Дойче постен». Эхо отозвалось повторными, в пути нарастающими зовами; казалось, что сотни рассеянных взыскующих голосов подхватили Яшкин крик. В туманной дали долго молчали. Там, вероятно, совещались и прислушивались, потом к нам донесся чужой гортанный ответ.

— Зовут, чтоб шел к ним,— перевел Яшка. Командир поспешно разъяснил ему, что он — на посту, охраняет штаб, и какого, мол, черта! Яшка трижды еще перекликался с немцами, привставая на цыпочки, затем мы бесшумным броском достигли придорожной канавы и залегли. Нас будто никогда тут не было, а на дороге остался один Яшка...

Это предстало разом, будто я взглянул на ослепляющую картину, зачем-то снятую до того со стены и поставленную в угол ликом к потемкам. Мне нужно было мысленно досмотреть ее, но в это время к нам подошел тот с синими глазами, что закуривал первым. Он осведомился у своих мальчиков, нанюхались ли они, а у меня почти застенчиво попросил сумку.

— Временно. Подержать,— сказал он.

Я подал ему сумку рывком и сказал, что держать надо осторожно, потому что там водка и черви.

— Черви? — растерянно спросил он.— Какие?

— Лещевые! Выползки! — сказал я.

— Вот это блюдо! А я думал, китайские, маринованные! — обрел он прежний тон.

— Так вот слушай! — отдельно сказал я, подступив к нему, и он опасливо помигал на меня и выставил вперед мою сумку.— У Яшки были такие же ресницы! Точь-в-точь как у тебя! Он тогда остался один на дороге, и немцы приблизились к нему почти вплотную, черт бы вас драл!..

— Все понятно,— серьезно проговорил синеглазый.— Ровесник наш Яшка пустил в свое время под откос эше-

лон с живой силой и техникой противника! Верно? Прими своих червяков, рыбак... Мы ведь шутили!

— Геш, ты чего? А где его удочки?

Кто-то из «мальчиков» усомнился в истинности моей принадлежности к рыбацкому сословию, а заодно и в ценности содержимого сумки, но я сказал, что удочки мои в машине, черт возьми, а она ночует недалеко тут, в сарае. Синеглазый с непритворным уважением заметил, что я шикарно живу.

— И резиновая лодка там. Новая! — как дополнительную угрозу сообщил я. Это мое показное признание почему-то удручающе легло на парней, — они насупились и сникли, а синеглазый как-то внимательно посмотрел на меня и бережно, будто пожалел-приласкал себя, погладил ладонью косой срез своей белесой челки. Я пошел нарочито медленно, утверждающе ступая на каблуки, потом обернулся и безразлично сказал:

— Может, кто хочет порыбачить? Лодка на двоих.

Я смотрел на синеглазого. Он растерянно оглядел на себе куртку и что-то спросил у «мальчиков». Они засмеялись, и кто-то проговорил, чтобы я слышал:

— Давай, Геш! Он тебя с ходу забурит на перевоспитание!

— Обещаю не забурить! — сказал я. Как по команде, парни всунули руки в карманы брюк и пошли прочь, а синеглазый заколебался, вертя в руках не то штопор, не то перочинный ножик.

— Ну, решай быстрее, — сказал я, — а то заревой клев прозеваем!

— А это... честно? — вполголоса спросил он и оглянулся на своих скучно удалявшихся приятелей. Я утвердительно кивнул, и он крикнул:

— Жек, скажи потом бабушке, ладно?

— Чего?

— Что я поехал на рыбалку... К обеду, мол, вернусь, ладно?

— Но мы вернемся вечером, — предупредил я.

— Это ничего. Лишь бы она не волновалась, — сказал он. Дружки дважды окликали его, подзывая на какое-то таинственное и угрозное слово, но он повторил просьбу — сказать бабушке о рыбалке — и пошел со мной. Было заметно, что ему немного не по себе, и я недвусмысленно сказал:

— До озера сорок два километра. Через час будем в лодке. И нигде больше!

Он усмехнулся — понял — и ответил:

— Да я не боюсь... Вот только бабушке не передадут, а она... с ног собьется.

— Давай заедем и скажем сами,— предложил я.— Это далеко?

— Нет, тут вот,— уклончиво сказал он, не называя адреса.— Самому нельзя, не пустит...

— Как знаешь,— сказал я.

На ветхих воротах чужого сарая, где хоронился мой «Москвич», висел большой старинный замок, и когда я открыл его без ключа, синеглазый почему-то нахмурился. В машине он не то что присмирел, а как-то затаился и напрягся; мне показалось, что он не предпринял бы никакой попытки к отступлению, если б я завернул к центру города. Но я не завернул. Мы быстро выбрались на асфальтированную дорогу, и мой напарник освобожденно прислонился к спинке сиденья, и я видел, что сейчас ему самое время закурить. У нас все было серьезно и благопристойно — и «благодарю», и «пожалуйста», но для того, чтобы сохранить этот уровень взаимоотношения на весь предстоящий день, требовались кое-какие формальности, и я спросил:

— Геша — это кличка или имя?

— Генка, значит,— смущенно сказал он.

— В таком случае я буду звать тебя, если не возражаешь, Геннадием,— сказал я.— Ты тоже не церемонься со мной и называй меня по имени-отчеству. Согласен?

Он кивнул и стал глядеть в боковое окно, а минуту спустя спросил:

— Подтяжку креплений давно делали?

— Не помню,— сказал я.— А что?

— По-моему, хвостовик болтается... Или вы педаль сцепления отпускаете рывком.

Я не стал возражать, возможно, и рывком, и спросил в свою очередь:

— Бабушке-то твоей сколько?

— Под семьдесят,— подумав, ответил он.

— И она... не догадывается?

— О чем?

— Ты знаешь сам.

Шоссе было пустынным. Мы шли на девяносто, и надо было уже сворачивать на проселочную дорогу, а Геннадий все молчал и молчал.

— Жаль, что у нас нет картошки, а то б уху, может,

сварили,— отвлекаяще сказал я. Геннадий уперся руками в сиденье и медленно повернулся лицом ко мне.

— Моя бабушка ничему бы не поверила. Она правильная! — мечтательно сказал он и невесело усмехнулся.— Но я хотел спросить... неужели вот вы совсем-совсем ничего такого не делали в юности?

— Какого? — сказал я.

— Ну мало ли! Когда у тебя никого нету... Когда до смерти скучно, обидно, а тополя цветут...

Я посмотрел на него удивленно и, наверно, гневно, потому что он поспешно сказал:

— Вы насчет сумки? Конечно, это плохо... Но мы же нарочно, все равно вы о нас неправильно думаете!

— Кто это «вы»? — пряча свое «фронтное» раздражение, спросил я.

— А все, старшие.

— Так вот и все?

— Ну большинство. А пенсионеры — так сплошь!

— Что мы неправильно о вас думаем?

— Всё! Мы и такие, и сякие, и негожие. Не верим, не любим, не молимся на вас! Вот и вы... когда я пошутил с сумкой... Сразу о войне. А почему вы думаете, что мы не могли б так, как тот Яшка?

Он ждал ответа, а я молчал — тут нужны были какие-то глубинные, трудные и сердечные слова, а у меня на языке вертелись ладные, давно и не мною придуманные фразы с вывесочно-лозунговой неоспоримостью.

— Вот ты упрекнул старших,— попытался я начать издали,— но ведь бабушка твоя тоже из этого поколения.

— Так она же, может, одна такая на всем свете! — по-ребячьи восторженно и ревниво сказал Геннадий и чему-то засмеялся. Я выбился из русла начатого разговора и невольно завистливо спросил:

— Хорошая?

— Правильная! — мотнул он головой.

Проселочная дорога, на которую мы въехали, была узкая, и колосья поспевшей ржи с веским шорохом мелькали по крыльям машины. Вставшее солнце било в заднее стекло, и никель распределительного щитка вспыхнул зеленовато-рубиновым светом, отчего в кабине стало нарядно и празднично.

— А вы, если не секрет, где работаете? — почему-то невесело спросил Геннадий, и я вспомнил, как он приглаживал в переулке свою челку, когда услышал о моем



«шикарстве». Была пора поставить себя на свое собственное место, и я продекламировал:

Ни трудом и ни доблестью  
Не дорос я до всех.  
Я работал в той области,  
Где успех — не успех.  
Где тоскуют неделями,  
Коль теряется нить,  
Где труды от безделия  
Нелегко отличить...  
Ну куда же я сунулся?  
Оглядеться пора!  
Я в годах, а как в юности,  
Ни кола ни двора...<sup>1</sup>

Геннадий сидел тихий, задумчивый и какой-то успокоенный, и мне подумалось, что нам с ним пора закурить...

А озеро было, как зоревой сон в детстве. Оно курилось легким розовым паром, сверкало всплесками и метилось кругами,— резвилась малая и большая рыба. Из всего, что нам предстояло на берегу,— накачать лодку, перекусить, продолжить разговор и чуть-чуть, может, выпить,— сбылось только первое: было невозможно сладить с захватно-властным зовом предстоящего таинства лова. Очутившись на воде, мы сразу утратили ту сдержанно-вежливую степень взаимоотношения, что обрели в дороге: за какую-то мелкую оплошность я обозвал напарника тухой, а не рыбаком, но он не обиделся и будто не услышал, и сам называл меня по имени, как своего ровесника, и оба мы знали, что иначе общаться нам тут нельзя, не нужно. Мы плыли блуждающе,— приходилось то и дело невольно устремляться к тому месту, где возникал и не скоро таял круг всплеска.

— Решай, черт возьми, где статьи! — сказал я Геннадию, хотя греб не он.— А то будем елозить до вечера!..

Он не то что не умел насаживать выползка, а просто страшился взять его в руку,— у червя была цепко-шершавая расплющенная хвостовина, и весь он отливал змеино-радужным отвратным глянцем.

— Командовать мальчиками так ты мастер, а тут...— шепотом прикрикнул я, а Геннадий испуганно и брезгливо стряхнул с пальцев выползка и огрызнулся:

— Мальчики-мальчики! А что я сделаю?

— Так за каким дьяволом увязывался?

— Увязывался-увязывался...

---

<sup>1</sup> Стихи Н. Коржавина.

— Не ворчи, как старая баба! — сказал я. — Дай сюда крючок и червя.

— Крючок — пожалуйста, а эту гадюку...

Не простое это дело — забросить удочку на семиметровой глубине так, чтобы выползок лег на грунт, а поплавок стал торчком. Я проделал это за себя и за напарника и вручил ему удилице.

— Извольте. Подержать. Временно! — сказал я его тоном, когда он «просил» у меня сумку, но он вник в поплавок, и мы прочно умолкли. Не в лад с благодатью утра пронзительно и тревожно кричали чайки; стрекозы парили в воздухе и норовили усесться на замершие поплавки, и это странным образом рождало сомнение в удаче, подбивало на немую беседу с самим собой. «Ну и что? Совсем не обязательно, чтоб «он» клюнул. Все равно хорошо!» От пристального напряжения рябило в глазах. Освобожденность от всех минувших и грядущих забот сообщала телу оцепенение и невесомость. Было тихо и знойно. Напарник мой крепко спал, и его удилице лежало на борту лодки, как посох на гривке канавы, оброненный приморившимся странником.

Был уже полдень, когда малиновый поплавок удочки Геннадия колыхнулся и прилег на бок. Он как бы привял и свалился, но в этой его неподвижности угадывалась чуткая вороватость возни того таинственного и живого, что «работало» над выползком в синей глубине. Тут главным тогда оказываются не глаза и не руки, не голос и не слух, а сердце — ему одному предстоит справиться с волной смятения и радостного страха в ожидании того неуловимого мгновения, когда нужно будет подсечь. Тут главное — сердце: выдержит ли оно!..

Мое поступило тогда так: я неслышно привстал на колени и, заклинаяще глядя на спящего, поменял удочки. Я подумал обо всем — и что они совершенно одинаковые, и что ему, прогулявшему ночь в рассредоточенном строю, не справиться с «ним», и что вообще хозяин тут я. Поплавок в это время встал, подрожал и ныряюще двинулся в сторону, а я укрепился у борта лодки и рванул удилице вверх и вбок... Сразу мне показалось, что зацепилась коряга, после я подумал о ведре с илом, затем неизвестно о чем, потому что вдруг ощутил мягкие и поживому упругие потяги лески. Наверно, я как-нибудь нечаянно разбудил Геннадия: он неожиданно оказался рядом со мной, подняв подсачек, как стяг. Лещ завиделся издалека. Он был желтый и жаркий, как самовар, и влекся

согласно, плашмя, лениво повиливая хвостом. Я зажмурился, когда Геннадий подвел к нему плетеное жерло подсачка, потом ощутил свободно обвисшую на удилице леску и услышал тяжкий мокрый шлепок, колыхнувший лодку,— лещ был у нас! Мы сидели молча. Лещ тоже лежал спокойно.

— Видал, какой лапоть? — сказал я.— А как шел, варвар, а?

— У-ужасты! — пораженно проговорил Геннадий, и я понял, что это его «ужасть» — бабушкино.

Нам пора было поесть и чуть-чуть выпить. Разговаривать ни о чем не хотелось. Лещ лежал и вкусно чмокал ртом...

Домой мы возвращались в душных предгрозовых сумерках вечера. Кроме леща, у нас было еще несколько окуньков и плоток. Над белыми, истомленными засухой полями низко нависали плотные аспидные тучи. Нам обоим, наверно, хотелось пожаловаться близкому человеку на усталость и лечь спать.

— А что он сделал? — уже на подъезде к городу спросил вдруг Геннадий.

— Яшка? — понял я.

— Да.

— Он ходил часовым. Не стоял, а ходил по дороге, понимаешь? — сказал я.— На нем был желтый плащ и шляпа... Он подпустил немцев к себе вплотную и упал после того, как мы начали стрелять из засады...

— Вы его убили?

— Да нет,— сказал я.— Но Яшка потерял тогда шляпу, и мы не нашли ее, а он весь день плакал...

— Ну и что из того? — разочарованно спросил Геннадий.

— Все из того,— сказал я,— но это трудно сейчас объяснить. Куда ехать?

— Я вылезу тут,— сказал он.

— Как знаешь,— согласился я.— Запомни номер моего телефона и забери леща. Скажешь потом, понравился он бабушке или нет.

Геннадий засмеялся и лукаво сказал:

— Лещ клюнул не на мою удочку, тащил его не я, так что...

— Ты же спал, как сурок! — перебил я.

— И не спал я вовсе,— сказал он и опять засмеялся.— А леща не возьму. Нельзя мне!

— Почему? — спросил я.

— Плохо это получится у нас...

— Черта с два! — сказал я. — Леща ты возьмешь, а о замке на сарае и о машине не проронишь мне ни слова! Я и так все понял...

Он посмотрел на меня пытливо и длинно, потом сказал:

— Ох и удивится ж!..

Леща он понес перехлясь, в откинутой руке, — боялся запачкать брюки, и тот сиял, как самовар, и вырезной хвост его мелся по тротуару...

1965

## ДВА ГОРДЕЯ

Шел уже второй час моего блуждания, — сразу я свернул не в ту сторону, и теперь, исколесив тут все главные и побочные «дороги», приводившие то к богачам, то к завалам, ехал по просеке. Лес казался бескрайним и диким, полным первобытной тайны и непознанного значения, и я обзывал машину слепой нежитью и железной сволочью, потому что требовался виноватый. Она, бедная, выла, тряслась и подпрыгивала, и в зеркало я видел позади себя не две, а три колеи — диффер зарывался в песок.

Лося я увидел издали, снизу, когда переключил скорость, чтобы преодолеть подъем. Лось стоял наверху с краю просеки и глядел в мою сторону. Я посигналил и поздно сообразил, что этого не нужно было делать: зверюга вскинул голову, подтянул живот и пошел ко мне. Он ступал медленно, пружинисто и широко, и вся его могучая стать выражала величие и вызов. Он не прибавлял и не убавлял шага. Он был как ожившее изваяние древних и нес свою рогатую корону с непреклонным и устрашающим изяществом. Я уже хорошо различал его глаза — глубокие, синие и большие, устремленные на фары, — вероятно, их стеклянная несуразность возбуждала в нем презрение пополам с любопытством. У меня не оставалось никакого сомнения в намерении этого лесного гвардейца, — наверно, таким плацпарадным шагом они сходятся на поединки, — и я гадал, как он поступит: боднет рогами или ударит передним копытом, и что для меня лучше — оставаться в машине или, пока не поздно, лезть на ближайшее дерево? В заглушем моторе что-то

сипело и потрескивало, временами там возникали отвратительные урчания и всхлюпы, достигавшие, конечно, ушей лося и, как мне казалось, побуждавшие его к действию. Я поочередно и разом жал на педали, пытаюсь унять, задобрить мотор, и мне хотелось, чтобы фары — эти лишенные зрака бессмысленные бельма — зажмурились: тогда, возможно, лось пройдет мимо «нас». Я на всякий случай поднял боковые стекла и тогда же увидел лосиху — тоже наверху, но позади лося. В том, как она выступила из чащи на просеку, не было ни готовности к тревоге, ни понуждения к цели — она просто, наверно, удивилась, не заметив супруга на прежнем месте, и шла в недоумении, грациозно и бережно переставляя ноги, и голова ее под лучом солнца казалась бронзовой, а круп оставался в тени и отливал медовым теплым гляncем. Увидев машину, лосиха остановилась, трепетно раздула ноздри, а уши поставила торчком. Я убежден, что она «сказала» что-то лосю, потому что он оглянулся на нее, досадливо всхрапнул и встал. Нас — его и меня в машине — разделяло не больше десяти метров, но я смотрел на лосиху, мысленно заклиная ее оставаться там наверху. «Зови его назад, — молил я шепотом, — пусть сейчас же возвращается к тебе, слышишь?» Я произносил слова и кроме этих, а лосиха не двигалась, и лось растерянно стоял на месте. Мне нельзя было оставлять его совсем без присмотра, оттого я не заметил, что сделала лосиха: ударила ли она ногой о землю или явила какой-нибудь другой знак власти и каприза, только лось неожиданно свечой встал на задних ногах, переместился ко мне задом и побежал к лосихе, повинно клоня рога почти к самой земле.

Они подались куда-то вправо. Я смотрел на лосиху. В гарцующе плавной поступи ее и в гордом парении вольной головы было что-то от лебеди и от слышанного мною давным-давно какого-то неизъяснимого музыкального аккорда. У меня было тогда время для раздумья о неисповедимых тайниках человеческой души: я не испытал ни скрытой, ни явной благодарности ни небу, ни лесу за благополучный конец этой встречи. Наоборот, когда лоси скрылись, мне стало грустно и сумрачно, как бывало в детстве после большого весеннего праздника, который выпадал всего лишь раз на весь длинный-длинный год...

Оттуда, где вначале стоял лось, в сузившемся прогале просеки — далеко впереди и внизу — я увидел парующую полосу воды. Был резон развернуться и ехать

назад по своему же следу, но поскольку он все равно никуда не приводил, я двинулся вперед — какой рыбак не захочет исследовать новое озеро! Спуск к нему был крут, забит корчажником и валуньём, и я оставил машину на вершине просеки, а сам сбежал вниз. Озеро оказалось небольшим, круглым и настойно-синим, как лосиный глаз, и сырой пологий берег его — сплошь, на круг — окаймляли ракушки. Они были одной высоты — метра три — и одной толщи — в девичью руку, и, значит, им не превышало примерно пяти лет. В этой их одинаковости и размеренной рассадной проряди угадывалась какая-то парковская неволя, — тут, видать, не обошлось без человеческой колготни. У меня пропала надежда на первооткрытие — озеро, конечно, было обжито, а рыба, если она водилась в нем, напугана до меня. Я побрел вдоль берега и в том месте, где к ракушкам почти вплотную подступала водяная поросль, увидел в кусте камыша и аира затаившегося рыбака, — он сидел там на опрокинутом ивовом кошеле, глубоко утопшем в трясину, и удил. Это был старик с добротной ухоженной русской бородой, одетый в какую-то ансамблевского вида льняную рубаху с вышивом по вороту. На голове его крепко и, как мне показалось, нужно сидел кожаный картуз, сверкавший как каска пожарника, и на нем на самом центре макушки — неколеблемо млели две больших радужных стрекозы. То, чем удил этот куркульного обличья рыбак, не было собственно удочкой, а скорее походило на орясину, но легкую, видать, и хватную, как старинный цеп. Поодаль от старика, у самого обрыва камыша, из озера торчала стриженная мальчишья голова — неподвижная, желтая как лилия, и глядеть на это было страшно, потому что ничего другого, кроме головы, у человека не было видно. Он тоже удил длинной ореховой хворостиной, неподвижно лежавшей поверх воды.

Есть рыбаки, прямо-таки ликующие при виде другого рыбака, — это те из удоманов, кто стремится к скопу и табору. Пруды и озера они называют «водоемами», вместо «поймал» — говорят «зацепил», а бутылку с водкой величают «пузырьком». Но попадают еще настоящие жрецы одиночного ужения, совершающие в своем камышовом кусте тихую заутреню воде, земле и солнцу, и боже вас избавь помешать этой их торжественной службе! Тот, что блаженно сидел и покоил стрекоз на своем картузе, и тот, что с добровольной, видать, радостью до самого подбородка внулдился в эту лесную купель, не-

сомненно, были из самопосвященных жрецов. Я отошел за линию ракушек и присел. Наступал полдень. Зной обжигал кожу рук и щек, и его зыбучие светящиеся струи можно было различить в шаге от себя, если прищуриться. Было тихо — и тут, у нас внизу, и в лесу, и во всем поднебесье. Такую тишину невозможно долго вынести, если ты один, — сердце тогда чего-то пугается, но на стариковом картузе по-прежнему цепенели стрекозы, ребячья голова в озере была живой, и я все время помнил о лосе и лосихе, уходивших куда-то прочь от просеки...

Нас разделяло шагов тридцать, и выдал я себя, пожалуй, дымом от сигареты, — его всегда тянет к воде, а может, пристальным рассмотрением старика. Он завозился на своем сиденье и оглянулся. Стрекозы спаренно взмыли над ним, но далеко не улетели, потому что картуз больше не шевелился: его хозяин вперил в меня долгий, недоуменно-недобрый взгляд. Тут нельзя было ни отворачиваться, ни продолжать сидеть, ни молчать, и я встал и поздоровался. Старик что-то буркнул, скорее всего выругался, и в это время торчащая из озера голова скрылась из виду, а ореховая хворостина юркнула по воде вперед и вбок. Сам я неважный пловец, поэтому любой ныряльщик — даже спортсмен — всегда вызывает во мне какую-то суетную тревогу и желание кинуться ему на помощь. Так было и тогда, но мальчишка тут же выбросил из-под воды руку, сцепившую комель хворостины, изогнувшейся в дугу, затем показался его затылок и ребристая спина, — не то он плыл, не то полз к берегу. А старик даже не шелохнулся — как сидел на своем кошеле, так там и остался, только ворчливо посоветовал:

— На вывод правь!

По изгибу хворостины и боревым усилиям мальчугана было видно, что клонула большая упрямая рыба. Тут требовалась подмога, но старик сидел, не выпуская из рук своей орясины и лишь поучал-подбадривал:

— Та-ак, не яри его! Выманивай спрохвола!

Это оказался смуглый матерый линь с янтарным отливом по животу. Поймать такого красавца — дело нешуточное, и я до конца проследил всю операцию по съему его с крючка и водворению в непустой трепещущий садок-сумку, извлеченный из озера. Мне хорошо знакомо то предельно захватное внутреннее напряжение, с которым рыбак — особенно начинающий — вываживает крупную рыбу. Процесс этот состоит из двух частей-периодов. Первый заполнен изнурительным и неподвластным тебе стра-

хом схода рыбы с крючка, а второй — окончательный период — умиротворенно-притворным равнодушием к удаче и в то же время немного тщеславным ожиданием чьей-нибудь похвалы. Во всем этом присутствует, конечно, и известная доля промыслового азарта, но объем его зависит от характера рыбака, и не приведи господи видеть тогда глаза добытчика, остервенело подкараулившие жизнь. То, что проделывал со своим линем желтоголовый мальчишка, не подходило, пожалуй, ни к первой, ни ко второй части душевного настроения обычного рыбака: он присел близ самого берега, огородив линия коленями, и томительно-долго, затаенно и вкрадчиво принялся над ним возиться, — освобождал, наверно, от крючка. Потом лине засверкал и веско заворочался в его ладонях, и он что-то проговорил ему в раззявленный рот и засмеялся, и старик тоже засмеялся, а я стоял и кричал сердцем — «не упусти, не упусти, что тогда?..»

К машине на просеку, чтобы взять удочку, я на всякий тут случай пошел развальным начальственным шагом, но по мере удаления от озера я все непреложнее и отчетливей сознавал гибельность для себя такой походки — по крайней мере в этот раз: линей, оказывается, надо было ловить немедленно, сию же секунду, потому что не только через час, но уже через пять минут будет поздно. Поздно — и все!

К озеру я вернулся бегом. Старик и мальчик, бдешие на своих местах — один на кошеле, а второй в воде до подбородка, разом поглядели в мою сторону и, в явно согласной враждебности ко мне, заторопились в сборах. Ушли они куда-то в противоположную сторону просеки, и садок понес мальчик, а орясину и хворостину старик. Было досадно и обидно за себя, непонятого тут, и я мысленно обозвал старика моржовым хреном, а мальчишке сказал вслух то, что говорила когда-то мне мать, если я, в отместку ей, отказывался обедать:

— Губа толста — кишка пуста!..

Наживку срывали тритоны. Они накрепко уцеплялись за кончик червя и не отпускали его даже в воздухе, при взмахе удочкой. Часа через три я открыл, что когда солнце, свалив за полдень, оперяется какими-то библейскими веерно-косыми лучами, то они вселяют одинокому человеку безотчетную щемящую тревогу; что когда в лесном мире наступает исход дня и света, то вокруг нарастают непонятные звуки и шорохи и что если в озере водится мерзкая пятнистая тварь, похожая на маленького



крокодила и ты не знаешь дороги домой, а бензина только четверть бака,— то оставаться долго жрецом одиночного ужения очень трудно!..

После этого три дня стояла негожая погода,— шел обкладной мелкий дождь, который выманивает на тропинки тьму великолепных розовых червей. Я благодарно и бережно — как незабудки — насобирав их целую консервную банку и поддал им туда касторового масла — для очистки и анисовых капель — для пахучести. Наверно, это правда, что все обминувшее нас видится затем в непомерном объеме и значении: пойманный тогда мальчишкой линь увеличился в моем воображении раза в три. Правда и то, что все повторное неожиданно и безвозвратно лишается своей первоначальной оторапливающей тайны: тот самый лес, где повстречались мне лоси, казался уже одомашненным и привычным, потому что там были видны мои же следы. Лов предстоял генеральный,— я вез с собой надувную лодку, три складных бамбуковых удочки и добрых полкило тех самых облагороженных червей. Солнце еще заслонялось лесом, и над озером залегала прозрачно лазурная пелена.

Я сделал все так, как решил еще дома: встал на самой середине озера. Лот показал там всего пять метров глубины, но якоря утопили на полные семь. От банки с наживкой несло сладким смрадом, и я немного посидел смирно, вживаясь в предстоящее колдовство, потом первой наладил и закинул самую везучую свою удочку. Поплавок торопко выпрямился и замер, а затем его судорожными толчками, не окуная, а заваливая на бок, понесло к лодке. Я подсек и добыл увесистого плоского тритона. Он был расцвечен как голландский петух, и червя держал пастью впоперек, пониже крючка. Стряхивать его взмахом было рискованно,— он мог оторваться в воздухе и упасть в лодку, поэтому я оставил удочку на плаву. Тритон не уходил в глубь. Он возил червя поверху, пытаясь его заглотнуть, и вскоре к нему присоединились еще несколько штук. Они не боялись моих окриков, а дотянуться до них лопаткой весла я не мог. На втором и третьем забросе было то же самое. Я решил переместиться и огляделся. Под ракушками напротив кошеля стоял в трусах и желтой майке тот мальчуган, что поймал в прошлый раз линя. Он что-то соображал, глядя в сторону просеки. Белая старикова орясина лежала у него на плече как коромысло. Было бы ни к чему появление тут самого старика: я почему-то не то стеснялся его,

не то побаивался. Мне показалось, что парень не решается ни остаться, ни уйти, и я снова, как в тот раз, потолковал с ним насчет губы с кишкой и стал ждать, что он предпримет. Втайне я хотел, чтобы он остался и непременно залез в воду: во мне разорялась вера в то, что тут водится рыба.

И он не ушел. Не снимая с плеча орясины, он сел, вжался в колени и затаился там под ракишками, желтый, как одуван. Было ясно, что за мной наблюдали с какой-то непонятной ревнивой недоброжелательностью. Тогда я крадучись привстал в лодке, приподнял удилище, подсек и обеими руками перехватил леску. Она врезалась в ладони и, может, даже звенела, и протянутые руки напряженно, но плавно перемещались то влево, то вправо, то вперед, то назад, пока я не подвел «его», цыгановато-янтарного, к борту.

— Голубчик! — с искренним умилением сказал я. — Ходи! Ходи в сумку!

После того мне потребовалось немного отдохнуть и успокоиться. А на берегу — метрах в двухстах от меня — по-прежнему сидели в скорченной стерегущей позе, но уже без орясины на плече. Минутой позже я «поймал» второго линя, только чуть поменьше прежнего, и тогда мальчуган встал, поднял орясину и направился к кошелю. Он долго копался с наживкой, затем влез на кошель и, стоя на нем, закинул удочку. Уже изрядно припекало солнце. Вверху то и дело возникали взрывные гулы, — где-то там самолеты преодолевали звуковой барьер, и надо было обыскивать глазами небо и тревожиться за землю. И все же я укараулил тот момент, когда у мальчишки заходила в руках орясина. Я не мог различить, что он там выудил, да это было и ни к чему, — любой дурак мог теперь убедиться, что лини водились и клевали только там, в районе кошеля! У меня не было полной уверенности в том, что я поступлю достойным образом, пристав к обтопанному чужому месту, и все же, хоть и не прямо, а окольным путем, торкаясь по временам то в ту, то в другую сторону озера, я повлекся туда, где на кошеле стоял мальчишка — сияюще-желтый, как золотой памятник самому себе.

— Привет рыбаку! — независимо крикнул я издали. Он что-то ответил и не изменил позы. Было не разобрать, за чем он следил — за своим поплавком или за движением моей лодки, и я притабанил ее метрах в двадцати от него и опустил груз. Тут было помельче, чем на

середине, но ила хватало. Тритоны напали на меня сразу же, как только я раскинул удочки,— наверно, их прежде линей приманивала моя уснащенная пряностью наживка: они буквально кишели вокруг лодки и за червя цеплялись по два и по три одновременно. Некоторое время мальчишка молча наблюдал за мной почти сочувственно, но, когда я нечаянно обругался вслух, он припал на кошель, сморенный откровенным безудержным смехом.

— Очень весело, правда? — сказал я.

— Это ж... знаете кто? Это ж веретеницы! Тут их пропасть!

— А мне-то они зачем? — спросил я.

— Да они не кусаются... Живут себе, и все,— утешил он меня.

— Но сам-то ты небось только линей ловишь! — сказал я. У него тогда случилась поклевка — не тритоновая, настоящая, с благородным потягом поплавка вглубь, и он вскочил ногами на кошель, но подсечь запоздал: крючок оказался пустым.

— Снырнул? Хвалишься теперь там, «уку-усно»!..

Он, наверно, забыл про меня и проговорил это дурашливо-картаво, как разговаривают ребята, когда играют, например, с маленьким кубастым щенком, запрокинувшимся на спину и подставившим пузо для щекотки.

— Сорвался? — деликатно напомнил я о себе.

— А пускай,— смущенно сказал он, наклонив голову. Ему понадобилось не меньше трех минут на снаряжение крючка, и сидел он в это время ко мне боком, пряча руки,— не хотел, значит, делиться секретом наживки. Это не очень-то отрадно улеглось мне на душу, но, хотя дальнейшая попытка лова на своих маринованных червей казалась мне бесполезной, я все же продолжал оставаться на месте и наблюдать за чужой удачей. Он ловко, с высвистом, закинул орясину и бережно уложил ее комель на кошель промеж своих ног. Я сидел, смотрел и помалкивал.

— А вы всяких берете? — басом, весь насторожившись, спросил он меня. Речь, конечно, шла о тех моих двух, «пойманных» на середине озера. Я немного подождал и вполне серьезно сказал:

— Нет, только больших.

— Уха из линей невкусная,— заметил он,— так что маленьких брать незачем... А вы на чего ловите?

— На червяка,— сказал я.— А ты?

— Когда как,— уклончиво ответил он.

— На короеда, что ль?

— Да нет... Совсем не на короеда...

— А на что же? На опарыша, может?

— Не-ет... Я ловлю... на разное...

— Ну и не говори, раз не хочешь! — сказал я и стал сматывать удочки, — в конце концов, счастье не курица, его не прикормишь, а он неуютно потоптался на кошеле, присел на корточки и оглядел берег озера.

— Я знаете на что ловлю? На блины...

Он произнес это чуть слышно и сидел какой-то угасший и пойманно притихший. Мог ведь не говорить, раз не хотел, а теперь вот... Мне стало не по себе за это выманенное у него признание, — как выкрал!

— Я никому не скажу, слышишь? — пообещал я.

— Ла-адно, — согласился он. — Дедушка Гордей чтоб только не прознал... что я сказал вам про блины.

Вот оно что! Я мысленно увидел перед собой неприветный самочинный облик того старого черта с двумя стрекозами на картузе... Еще бы он прознал!

— А где он сейчас? — дипломатично выждав время, спросил я.

— Дедушка Гордей? — с торопливой готовностью переспросил он. — А дома. Рой, наверно, огребают. Уже вчерась пчелы гудели... Они ж как отродят другую матку, так и забунтуют!.. Теперь небось облепили все райдеревов!.. Знаете чего? Возьмите у меня блины. Во, целая лепеха!

— А ты сам не будешь больше удить? — удивился я.

— Не, я побегу лучше домой... Там, наверно, раешню надо держать...

С ним произошла мгновенная удивительная перемена, — он весь лучился каким-то неумным бурным нетерпением. Мне подумалось, что, как только я пристану к берегу, ему захочется посмотреть моих линий, обязательно захочется, и я украдкой, в воде, открыл запор на своем пустом проволочном садке и шумно поднял его вверх дном.

— Улытнули?! — радостно спросил он. Я трагично подтвердил, что ушли оба линия.

— Хор-рошие?

— Большие, — сказал я.

— Вот же жулики, правда?

Он подждал меня, нетерпеливо семеня ногами. На его левом плече лежала наскоро смотанная орясина, а

на правом висела мокрая холщовая сумка, и в ней как поросенок возился линь. То, что он называл блинами, на самом деле было тестом — круто взмешанным, пахнущим медом и подсолнечным маслом. Наживлять его следовало вот так, «куклёнком», чтобы прятался весь крючок, а забрасывать — на самое дно, потому что по-другому «они» тут не любят. Я слушал и все время помнил о своих «улытнувших» линиях, и мне все больше и больше становилось неловко, почти трудно, под его доверчиво откровенными глазами, — они у него были просветно синие, с золотистыми точками по зрачку, и от этого казались пестрыми, как птичьи яички. Мне хотелось сказать ему что-нибудь приветное, и я похвалил озеро и спросил, как оно называется.

— А не знаю,— неуверенно сказал он и заторопился.

— А самого тебя как звать? — уже вдогон ему спросил я.

— Меня? Гордеем,— отозвался он. Тогда я попросил его подождать — в моей старой бродяжьей сумке за несколько лет беспокойно отрадных рыбацких хлопот скопилась великая прорва разных крючков, немецких и чехословацких катушек с лесками, блесен, грузил и бог знает чего, давно, пожалуй, не нужного, но и не лишнего.

— Может, разживешься чем-нибудь? — сказал я и вытряхнул на траву содержимое сумки. По-моему, самым приметным были тут малиновые целлулоидные поплавки, но Гордей отнесся к ним безразлично: он издали, как к чему-то опасно живому, протянул руку к блеснам и двумя пальцами забрал там и тут же выпустил мой давным-давно пропавший складной нож.

— Ух ты-и! Какая лисица!..

Нож этот с выкрашенным под малахит черенком, изображавшим лису в погоне, я искал долго — не из-за черенка, а по другой причине, но надо было слышать, как произнес Гордей это свое «ух ты». Он не смог взять у меня нож так, как я давал — пустяк, мол, и слишком поторопился зажать его в руке и отвести ее за спину,— это вышло у него безотчетно, простодушно и хорошо. Я засмеялся и пожаловался на тритонов:

— Совсем объели меня твои веретеницы.

— Им тут раздольно, глюю много,— сомлевающим голосом сказал Гордей, и было неизвестно, чему он радовался больше — привольному житью тритонов или малахитовой лисице, настигшей поржавевшее лезвие ножа.

— Как же ты забредал в озеро, когда тут столько глею? — спросил я.

— А мне дедушка Гордей подставку там сделал, — сказал он и почему-то посерьезнел.

— Кошель, что ли?

— Не, мостик... Ну я, наверно, побегу домой... А ножик вы лучше возьмите обратно. Пускай он лучше будет у вас... пока вы приедете опять, ладно? Лучше я сперва возьму и расскажу дедушке Гордею... что признался вам про блины.

Он положил нож поверх блесен и провел по черенку ладонью, — погладил, а я сказал:

— Тогда заberi, брат, тесто, а то мало ли что тебе будет!

— Да мне ничего, а вот дедушке Гордею будет! — непонятно сказал он. — Как начнет теперь думать разное... А вы скоро приедете опять?

Я не знал, как ему ответить. Чего-то я не постигал, что-то тут было не под силу моему пониманию, — он говорил о деде легко и заботливо, с открытым устремлением к нему, а это никак не вязалось с его же собственным опасением на случай «прознания» старым хрычом про тесто. И о чем это он начнет теперь думать?

У нас выдалась затяжная пауза, но, когда я вытащил на берег лодку, а затем как ненужный хлам водворил в сумку непонадобившиеся сокровища, Гордей вдруг повинно сказал:

— А озеро знаете как называется? Божьей чашкой...

— Чашкой? — уточнил я.

— Ну чашей, — до конца признался он.

— Название небось сами придумали? — спросил я не сразу, но и не запоздало.

— Не, дедушка Гордей один... Давно уже. Когда плакучки посадил и линей развел...

«Ишь, куркуль, прибрал-таки озерцо к рукам», — подумал я о старике. Мне самое время было выбросить тритонам червей и хорошенько сполоснуть банку. Гордей на меня не смотрел, — опасался, наверно, приметить на моем лице какой-нибудь знак неуважения к названию озера. Он смущенно и почему-то уже внутренне замкнуто спросил, когда я приеду снова. Я ответил неопределенно, и мы расстались хуже, чем мне хотелось...

Тогда для меня на целый месяц выпал тяжкий жребий туриста-дикаря, — надо было втроем «отдыхать» в одинарной палатке — и если б только на одном месте, —

питаться кое-как, платить штрафы за остановку машины в недозволенном пункте и при этом быть веселым, чтоб не огорчать спутников. Домой мы вернулись вконец замученные, горько надоевшие друг другу, но стр-рашно довольные — зачем-то лгали сами себе.

К этому времени пропрянули первые летние боровики, — стоял июль с перепадами коротких парных дождей, и я в просторном немом одиночестве поехал за ними в «Черную дубраву», запакощенный стекольем битых бутылок и обрывками газет наш пригородно-дачный лес. Он был крепко захожен и залёжен, но я все-таки сыскал там полдесятка сизых бархатных поддубовичков, а на обратном пути, уже на въезде в город, нечаянно-негаданно увидел обоих Гордеев — малого и старого: они садились — последними — в маленький обшарпанный автобус. Он уже двигался, переполненный до отказа загородным людом, и Гордеи кое-как успели внедрить в проем его дверей свой пухлый серый мешок, а сами... Может, они и сели бы, если б впереди бежал не старый, а молодой Гордей, — тут прежде всего нужна резвость ног! Я развернулся и подъехал к ним. Гордей-младший узнал меня и понуро улыбнулся — застыдился своей оплошности с автобусом, а старик растерянно сказал:

— В маковку ж его так, а? Кладь увез, а самих вот оставил!

Лицо у него было просительное — не посочувствую ли? На нем жарко сиял картуз, и ворот белой рубахи был расшит красным гарусом, а борода растрепалась и сбилась на сторону. Они не очень-то поспешно забрались в машину, — суетились и чего-то робели — все вместе. В угон за автобусом мы ринулись на большой скорости, и в зеркало я видел, как Гордей-младший дважды пнул локтем деда в бок и как старик предостерегающе махнул на него рукой, показав на меня глазами, — дескать, затихни, а то возьмет и передумает! Мало ли?..

Мы быстро настигли автобус, но остановить его удалось лишь со второго захода. Шофером на нем оказался щуплый курносый парень, изнывающий от жары: на нем была новая, стеганная косой клеткой нейлоновая куртка. Я до сих пор не пойму, как в таком шибздике уместилось столько темной словесной лихости и мышечной силы: он, что называется, с ходу, одной рукой вышвырнул из автобуса гордеевский мешок, а затем еще ухитрился сыграть им в футбол — на лету кладь. Было непонятно, что его взъярило. Понужденная остановка?

Мое замечание, что он растерял пассажиров? Прометная дородная статья Гордея-старшего и собственная злая необходимость пыжиться по жару в заграничной зимней куртке? Может, я так-сяк и помешал бы ему тогда благополучно уехать, если бы не Гордеи со своим мешком. Они склонились над ним возле кювета, и старший принялся оберуч ошупывать его — вкрадчиво и вдумчиво, как живое тело, а младший в это время снял с деда картуз и, помахав им на ветру, надел сызнова, остудил. Я ждал их у машины. Старик наконец убрал руки с мешка и выпрямился.

— Все в порядке? — спросил я.

— Да вроде все цело, — неверяще сказал он. — Спасибочки вам, выручили. Теперь мы погодим тутотка, может, грузовик какой подберет?

— Но я ведь доведу вас быстрее, черт возьми! — не слишком вежливо сказал я, и Гордей-младший опять, как до этого, в машине, пнул деда рукой.

Они разместились на заднем сиденье, установив мешок посередине, и временами, на ухабах, там что-то вкусно побулькивало. Минут через пятнадцать мы догнали и обошли автобус. В зеркало было видно, как Гордей-младший пригнул к себе поверх мешка голову деда и что-то зашептал ему на ухо. Старик сказал «вот же согрешение» и забеспокоился. Я спросил, уютно ли им.

— Гордей Васильич я, Корнев, — не расслышав, по своему понял меня старый Гордей. — А вас, помилуйте, как же величать?

Мне хорошо и отраднo вошло в сердце это его скороговорно-человечное «помилуйте», как бы нарочно найденное сейчас в сумерках церемонной русской старины.

— Это ж нешто вы были в наших местах с месяц тому назад? Внушок вот Гордейка говорит, будто так, — с заметной досадой не то на внука, не то на себя спросил он.

Я подтвердил.

— Ах ты ж согрешение! — сокрушенно сказал он, а Гордейка засмеялся. Дорогу уже давно обступил лес, и на проселок мы свернули совсем не в той стороне, с какой я оба раза прибивался к «Божьей чаше», и он был не намного лучше той моей просеки, где я повстречал лосей.

— Осталось всего-навсего каких-нибудь верст семь, — заметил Гордей-старший. Его что-то угнетало, — наверно, тот нерадушный прием меня на озере, и он, всадив на



колени мешок, потому что там теперь булькало чаще и явственней, извиняюще сказал:

— Тутотка, видите ли, какое дело вышло: недели за две до вас, под самый Духов день, приехали на озеро четверо — и тоже, заметьте, на машинке, все честь по чести, а потом хроп тебе, надули пантон и давай с него бомбы швырять...

— Не-е, это они бутылки бросали! — свидетельски перебил деда Гордейка.

— Да какие ж то, к лешему, бутылки? А чего они рвались тогда под водой? — осерчал тот. Я предположил, что это были, наверно, бутылки из-под шампанского, заряженные карбидом, но делиться догадкой не стал: мне хотелось, чтобы рассказ про этих четверых на том и прервался, — на один день вполне хватало знакомства с шофером автобуса.

— Ну вот, — обратясь ко мне, с горьким упрямством сказал Гордей-старший. — Я, значит, к ним. Что ж это вы, говорю, делаете? Если, говорю, бога не страшитесь, то хоть закона побойтесь, я ить, говорю, лесник здешний...

— А они что? — совершенно глупо спросил я.

— Сразу в ругань, не хуже нынешнего, а после... Гордейка, как они сказали, чего такого не имеет озеро?

— Промыслового значения, — ответил он баском.

— Во-во! Пособирали мелочь и уехали. А большаки-то аж на третий день всплыли, белые уже...

— У каждой машины, Гордей Васильевич, номер есть. Спереди и сзади, — напомнил я.

— Так они, вишь, аж на просеке ее держали, где вы тогдась останавливались, — возразил он. — Но горе не в том. Там один... вроде знакомый был, прошлым летом разочка три ночевал у нас, к рыбке приснастился...

Было самое время вручить Гордею-младшему обещанный подарок, и я притормозил и достал из сумки нож-лисицу. Он взял его как вторично нашел — изумленно-недоверчиво и молча.

— Ну вот видишь! Все у тебя и сбылось! — пожурил его в чем-то Гордей-старший, а на меня посмотрел с каким-то странным, грустным и ласково взыскивающим вниманием.

Минут через пятнадцать мы были на лесном хуторе.

Между прочим, в мешке, промеж буханок хлеба, сидела бутылка «Столичной». Она была цела. Она-то и булькала!..

**Из архива  
писателя**

## ДНЕВНИКИ

17.09.46

Море мне не нравится. Если я приду к нему, и с хорошим настроением, то уйду от него подавленный его величием и сознанием своей мизерности, своего бессилия перед этой стихией, целые столетия перед которой прошли, как проходят передо мной серые дни моего сентябрьского отдыха здесь.

Скука тут — адская. Большинство отдыхающих — давным-давно загнанные в дороге жизни клячи; ни одной свежей мысли и нового желания, ежатся от новизны, как кролики от коршуна, и усиленно едят, до обжорства; по ночам стонут от изжоги и настойчиво требуют у сестер содовой воды. Это — руководящие товарищи, тот, кто «указует» и кому указывает одно, движущее ими: «не рипайся, не то...»

А море по утрам такое: черное, беспредельное. У берега оно всегда плещется, будь в воздухе мертвая тишь. К горизонту оно кажется застывшей каменной массой, и белые гребешки вспыхивающих небольших волн очень похожи на степных зайцев, в испуге удирающих от кого-то страшного и ими невидимого. Красивого я в нем ничего не увидел — это с берега. И не дай бог мне попасть на корабль — я умру с тоски в море.

\* \* \*

Это говорил отец: «От своего хвоста никуда не уйдешь!»

Такая скука тут — хоть караул кричи. А работать не могу, а ведь работать ой как надо, и очень скоро, и очень много.

Я, наверно, ленив или невоздержан — долго не могу усидеть за одним занятием. Нет, я где-то слышал, что деятельные натуры тяготеют однообразным занятием. Впрочем, это же чепуха. Я просто скучаю по В-е и Н-е,

и скорей бы удрать отсюда. Вот выздоровею от гриппа и уеду.

3.07.47

Помню: в детстве я читал чье-то «Письмо неизвестному другу». Я даже не помню, о чем там и на что советовал автор, но крепко почему-то припомнилось-запомнилось: «Письмо неизвестному другу». Теперь я знаю, что автор, писавший неизвестному другу, не имел «известного» друга. И когда душа его рвалась на части, распираемая необъятной грустью,— он не выдержал одиночества и сел за письмо неизвестному человеку и поведал ему свою печаль и свою, должно быть, горькую участь. Знаю потому, что мне тоже вот хочется написать письмо неизвестному другу!

И еще я помню следующее: когда мне было лет 8 или 9, в амбаре, который когда-то был лавкой нашего погибшего в 14 году дяди, на дощатой стене отчетливыми меловыми буквами было написано: «Тоска, тоска! А грудь — как стопудовый камень». Это писал мой отец. Я тогда уже знал, что я чужой ему, и с наивностью ребенка думал, что это оттого, что я ему чужой. Я любил этого человека и, умея уже читать, понял, что это значит — «Тоска, тоска» — моему маленькому сердцу было тяжело вдвойне от того, что я прочел. А теперь я знаю, что мой отец написал это — «письмо неизвестному другу».

\* \* \*

Было так:

Песчаная и пнистая проселочная дорога пролегла через лес, близ которого мы стояли. Откуда-то издали слышалась песня. Начинали ее мужские голоса, подхватывали в конце куплета женские.

— Ишь, черти, с самого ранья наклюкались! — сказал один.

— А можа, вертаются с балевки,— урезонил другой.

Песня приближалась. И из-за выступа леса (колесо дороги) показалась подвода. Телегу, обтыканную елками, везли понуро две рыжие клячи. На ней стоял гроб в окружении четырех крестьян. Всего было 13 подвод. На них сидели бабы, хор мужиков шел за передней подводой. Пропев, что им было положено, и пору-

чив допевать бабам, мужики разговаривали довольно весело. Бабы же в перерывах — ругались.

\* \* \*

Было так:

Нас, военнопленных, было человек 600, и мы срывали бугор земли, образуя железнодорожную насыпь.

Один из немцев-конвоиров вырвал из огорода морковь и дал мне. Я не успел еще оторвать листья ботвы от морковки, как толпа голодных пленных окружила меня, галдя на разные лады, требуя хриповатой стоголосой глоткой кусочек сокровища, что желтело в моих руках.

Я попросил нож. Со всех концов к моей голове, груди, животу, к рукам протянулись лезвия бритв, куски отточенного железа, ножи и даже бритвы. Я был вынужден взять первое попавшееся, назойливо и больно торкавшееся в мою руку. Маленькую колясочку морковки я быстро протягивал вперед, и десяток царапающихся рук, как коршуны, бросались на мою руку, выхватывали добычу, царапали до крови ладонь и пальцы моей руки и жадно настораживались для нового прыжка.

Через несколько секунд у меня в руках осталась верхушка морковки с зеленым пяточком оторванной ботвы.

— Но это мне! — крикнул я, и люди, огорченные и злые, начали расходиться по местам. И лишь один остался стоять передо мною и почти с ненавистью проговорил:

— Всем дал, а мне?

Может быть, неоцененная моя жертва (как же! целая ведь морковка!) обидела меня, и я до конца пошел на жертву, резко сунув свою дольку обозленному пленному, не проговорив ни слова.

Тот жадно скрючил ее желтыми же, как морковка, пальцами, но вдруг вскинул глаза на меня и... протянул кусочек обратно.

— На, не надо мне, — почему-то тихо проговорил он.

В первый раз в плену я заплакал почему-то и разделил с этим пленным грязный кусочек морковки.

С 31 августа по 17 октября 1971 г.

Я, не спеша, собрал бесстрастно  
Воспоминанья и дела,  
И стало беспощадно ясно:  
Жизнь прошумела и ушла.  
Еще вернутся мысли, споры,  
Но будет скучно и темно,  
К чему спускать на окнах шторы?  
День догорел в душе давно.

*Блок*

31.08.71

В этом году, в мае, умерла мама. Когда-нибудь я напишу, как хоронил ее в Москве на Ваганьковском кладбище. Как 9-го вез ее в гробу из Каширы на «газике». Шофер был пьян. Я с великим унижением нанял его за 40 рублей, и всю дорогу до Москвы он пел похабные песни, а перед Москвой, убоясь автоинспекции, отказался ехать. Была уже ночь. Я сказал, что у меня есть таблетки, уничтожающие запах водки, и дал ему несколько таблеток валидола. Он съел их и поехал. А в Москве некуда было деться. Шофер потребовал снимать гроб,— ему надо было до утра поставить незаметно машину в гараж. Я решил снять гроб на кладбище и там дожидаться утра, но оно оказалось запертым на замок. Я плохо соображал, сердце отказывало. За 10 рублей шофер согласился поехать от кладбища к моргу на Пироговской. Там я долго звонил. Наконец вышла дежурная девица. За десятку она согласилась принять гроб с мамой, но чтобы в восемь утра я забрал его. Как я сгружал гроб! Как все это было!.. А утром не на чем было везти. В похоронной конторе на Ваганьковском машину-катафалк могли послать только на второй день. Очередь, а машин мало. Я вернулся в морг. Какой там запах! Меня то и дело рвало, и я обессилел и ничего не мог... Оказывается, надо было дать 25 рублей санитару, чтобы он выдал справку, что труп заморожен. Тогда покойницу могла принять церковь для отпевания. Но везти было не на чем. Я снова поехал на Ваганьково, и — опять подсказали люди — за 25 рублей шофер катафалка обещал вечером, до шести часов, приехать в морг. К тому часу закрывалась церковь...

Нельзя об этом писать. Нельзя!

8.09.71

Кончилось и это лето. Я проклял и его. А не думал. Дни пусты. Пробую работать. Хочу написать цикл миниатюр о том, что было. «Заметки сердца». В этом месяце в октябре должна появиться в «Нашем современнике» моя обглоданная там, оглуплённая повесть «Вот пришел великан».

А писать невозможно. Как только я сажусь за стол, за спиной незримо встает редактор, цензор, советский читатель. Этот «простой человек», пишущий на меня жалобы в ЦК. Жить давно надоело.

Я уже с трудом переношу сам себя. Я мне противен, а порой жалок. Так и не уничтожил раба в себе.

9.09.71

Не работается. Лень мозговая. Пустынно в сердце. И ничего не хочется. Все-таки я боюсь, что уже всё. Я утратил вкус к жизни и не смогу писать. Чтобы не «соглашаться», я взял черновик «Великана» и долго читал. Хорошо. А на душе все равно тяжесть, тревога и тоска. Надо бы писать «Крик». Как хочу, как надо. В стол. Скоро ведь конец. И так просто удивительно, что я жив. Сколько мне пришлось! Как будто это я выдумал.

17.10.71

Нет, дневник вести невозможно, если все время помнить, что его каждую секунду могут прийти и забрать. А записывать здесь различный вздор, а не то, от чего волосы встали бы дыбом, не стоит.

А мне все снятся какие-то странные, яркие и сюжетно законченные сны. Может, так у всех к старости? Сейчас полночь. Я проснулся, потому что рыдал вслух, и лицо мое было мокрое от слез. И я отчетливо припомнил, что мне снилось. Какой-то длинный, серый, унылый, как лагерный или чумной барак, дом. Посредине его — обширная печка с высоким лоном — лежанкой. Там наверху возится человек в шубе и шапке. Он что-то делает — не то ладит бадью, не то крошит в нее топором бурачную ботву, а топор нужен мне, чтобы его обухом забить гвозди в крышку гроба. В гробу лежит будто бы знакомый мне человек. Юноша. Он открывает глаз в тот момент, когда я кладу на него — ничком, лицом к лицу — второго мертвеца, мальчишку, и говорит покорно, что, дескать, трудно ведь будет так. Я жду, когда он затихнет. И даже хочу, чтобы это случилось скорей, так

как жить ему нельзя все равно, у него будто бы нет внутренних. Как только он прикрыл веки, я укладываю на него мальчика и беру крышку гроба и закрываю ею гроб. Гвозди громадные, и вбивать их нечем, — тот человек в шубе орудует топором, и я отнимаю у него топор и заколачиваю гвозди, а он ворчит, что я мешаю ему жить.

Дальше снилось, что ко мне подошел мальчик и сказал, что вот у них где-то там умирают не так. У них выносят человека, разбивают палатку, зажигают в ней свечу и кладут в палатку умирающего, но еще живого. И ждут, пока он помрет. А вслед за этим приснилось, что вошла в этот сарай к гробу большая толпа мальчишек, одетых по-деревенски, как одевался в детстве я сам — в замашных портчонках и рубахах, босых и с непокрытыми головами. И они стали петь гимн живому среди них мальчику, которому исполнилось десять лет. Это было так грандиозно, язычески страшно, и хорошо, и торжественно, и печально. Я слушал их пение и рыдал.

Не так записал. Во сне все было значительней и страшней.

*19.08.74*

Сегодня исполнилось 32 дня со дня операции. Но я себя начинаю чувствовать все хуже и хуже. Боль в правой части затылка все усиливается, я теряю присутствие духа, боюсь сойти с ума. И не верю, что выживу, — стал не верить. И все чаще и чаще думаю, что могу запоздать, когда уже не буду в состоянии позаботиться о достойном уходе из жизни. Наверно, пора кончать. Все. Выхода нет. Книга — главная — осталась ненаписанной!

*22.08.74*

Мною все решено, как быть, если профессор найдет через два дня, что у меня рак. А то, что у меня рак, я убежден. Очень трудно ждать. Надо бы скорей, пока я сам держусь с достоинством, пока похож на себя, я боюсь сойти с ума. Жаль, что «Крик» не закончил, не написал. Это была бы хорошая книга. Так я думаю.

Сегодня мне совсем плохо. Но я знаю, что очень далеко и глубоко во мне живет надежда, что, может, все обойдется.



25.08.74

Завтра или послезавтра профессор-онколог скажет, рак у меня или нет. Собственно, он, конечно, не скажет правду. Но меня-то он ведь не обманет, я все увижу. Тогда мне нужно будет месяцев за 7—8, пока не начнутся дикие боли, написать свою последнюю книгу — то, что я видел, что знаю. А после уйти.

Удивительно. Вот в эти пять трудных дней я находил поддержку в том, что читал малыми дозами «Праздник, который всегда с тобой». Сейчас читаю Ремарка «Три товарища». Это тоже помогает жить. Не пускает к веревке.

31.08.74

Рака, говорят, у меня нет.

## ЗАПИСНЫЕ КНИЖКИ

В ночь на 27 июля в деревеньке Ченечи отряд обстрелял и расстрелял группу немцев. Собственных потерь нет. Среди фашистов есть убитые. В стычке особо отличились еврей т. Ларве и литовец т. Шауткулис.

На рассвете 27 июля разведка донесла о результатах ночной стычки. Мною из браунинга убиты 2 офицера и ранен один. На месте боя валялись офицерские фуражки, простреленные пулями моего браунинга. Это за Алекса Кидера.

. . .

Население деревни Трочки с радостью благодарит отряд за разгром немецкой группы. Утром в отряд прислали папирос, спирту, а также просили многие принять их в отряд. Но небооруженных я не мог принять.

1944

В вагон люди лезли шумно, «скопом», ругаясь и отрывая один другого от поручней площадки вагона. Впереди меня, прошмыгнув под моей рукой, вдруг оказалась девушка, одетая вполне прилично. Она упрямо лезла вперед, ругаясь выразительно и зрело, как, например, гвардейский ефрейтор, атакуя окоп. Приведя даже бывалых советских граждан в изумление ультрафиолетовыми тирадами, она пролезла в вагон. Кажется, последним протиснулся я. Примостившись в коридорчике, выкурил папиросу. А в купе, против которого я сидел на откидной лавочке, девичий мелодичный голосок томно жаловался на грубость и бескультурье людей, на их нервозность и невыдержанность. Девушка, рисуясь, проглатывала букву «л», заменяя ее буквой «в».

1946

## ПУТНИК

То утро, когда он увидел этот край, горело в лучах молодого яркого солнца. Луг, по которому шел путник, не боясь замочить ног, сверкал крупными и светлыми, как девичьи слезы, каплями росы; к путнику доверчиво и кротко тянулись головки цветов, и некоторые, наиболее яркие, он срывал и, даже не взглянув на них в руках, тут же выпускал смятые, истерзанные лепестки...

Воздух этого утра был свеж и прян; вокруг звенел стоголосый хор певчих птиц, солнце щедро источало снопы золота, путник был молод, горд и красив, а луг и в самом деле был радостной сказкой в этом утре.

В полдень по лугу разостлался сизый зной. Смолкли птицы, упрятавшись в густую вянущую траву. Назойливо жужжали оводы, и, раздражая путника, жалили его загорелые щеки.

В глазах путника луг потускнел и стал скучен. Путнику уже хотелось присесть в тень разлатого куста ивы. Но он продолжал идти и идти. Тогда же ему встретилась поляна, густо заросшая цветами. Путник не торопясь и равнодушно сорвал два-три цветка, но один уколол ему палец, другой дурно пахнул, а третий оказался не так уж красив. Путник бездумно бросил цветы и лениво пошел дальше.

На большом расстоянии от себя он увидел розоватый бутон. Он решительно направился к нему и порывисто вырвал его с корнем. И долго нес его в руках путник, оберегая от увядания, минутами закрывая им свое лицо от нестерпимо палящего солнца.

А тем временем солнце катилось к закату. Сумерки надвигающегося вечера скрадывали даль луга, делали серыми все цветы.

Путник, не бросая полуувядший цветок, старательно поднимал ноги, боясь замочить их, ибо наступал вечер и путник был уже опытен. Он был утомлен, раздражен и угрюм, но продолжал идти вперед, как будто впереди было прошедшее утро, а не ночь...

И лишь под самый вечер путник вспомнил вдруг утро, и колючая тоска сжала его сердце. Он стал вслух укорять себя за то, что так небрежно и равнодушно прошел лугом, смяв его шелковый расстил; за то, что без слов и мыслей рвал и бросал цветы, которые живут только в утре и только миг, никогда не повторяясь; за то, что не дышал полной грудью ароматами луга, не радо-

вался тому большому и радостному, навсегда померкшему солнцу.

Луг кончался. Вскоре путнику предстояло войти в глухое и мрачное ущелье. Издали уже тянуло сырým холодом, и путник старательно запахивал полы пиджака. И все шел и шел, как будто впереди был утренний цветущий луг, а не жуткое ночное ущелье...

И у начала ущелья, на дикой и голой скале, в сырой и темной расщелине, его встретил тихим пламенем свечи гордый и красивый цветок гор.

Путник замедлил шаги, поднял голову и, не отрывая глаз от цветка гор, остановился. А горный цветок, качаясь в ночи, манил его в прошедшее утро, неслышно нашептывал сверху золотые небылицы о голубом ничто...

И путник потянулся к цветку гор, но в руках его был свидетель утра и дня — роскошный и полуувядший цветок луга. Он алел в темноте, согревая дневным нерастратенным теплом путника, и с тихим укором следил за ним.

— Освободи руки и сорви меня! — шелестел цветок гор. — Я научу тебя обойти ущелье ночи и выйти в утро луга...

— Но ты взял меня с луга и принес в ночь, путник. Разве ты готов оставить меня в этом мраке? Нет, путник. Зной дня иссушил мои листья, но я берегу тепло прошедшего дня, чтоб согревать тебя в ночи, путник, — тихо рассказывал был прошедшего полуувядший цветок луга...

И бережно сжимая в руках алый цветок, стоял и стыл у преддверья сырого ущелья очарованный путник, зная, что роскошный розовато-алый цветок луга и гордый бледно-голубой горный эдельвейс никогда не составят его букета...

9.03.48

### МИЛАЯ МОЯ ДЕВОЧКА!

С тех пор как мы расстались, прошло почти пять лет. Я не знаю, где ты и что произошло в твоей жизни в эти годы. Но мне все чудится, что ты прежняя, та самая, что тихо смирилась перед неизбежностью разлуки... с грустными глазами и кротко поджатыми губами, познавшими скорбь... Мне все чудится, что ты по-прежнему живешь на Глуосню гатве, в синей своей комнатке, и на стене по-прежнему висит стеклянный квадратик, изображающий

лукавого мальчика, уворовавшего в чужом саду гроздь вишни.

Этот мальчик мне часто вспоминается. Он, шутливой иронией судьбы, составил яркую аналогию со мною. Я ведь тоже уворовал из чужого сада гроздь вишен и по-мальчишески был рад и горд, что это мне удалось...

С тех пор я проделал долгий путь с запада на север. В шахтах, в сурчинах с водой, по пояс в болотной воде, на берегах Камы,— и всюду твои скорбные губы произносили заклинание, позволявшее мне жить. Я ходил по горам и в тайге, чувствуя твою доверчивую руку в своей, и когда спотыкался — ты мне помогала встать на ноги и брести в неизвестное...

Теперь пятая моя зима на Каме. В моем бараке единственное окно, выходящее прямо на эту проклятую Русью реку. Она еще не замерзла на середине; вода до того иссиня-черна и холодна, что мне невыносимо больно от этой ощущаемой стужи. Река пустынна. По крутым, обмерзшим берегам стоят редкие и чахлые пихты, это такое северное дерево, богом сосланное сюда вместе с нами. А по краям реки, там, где уже образовалась кромка льда, вмержли бревна. Они неподвижны и черны. Они так отчетливо напоминают мне упавших собратьев моих на пути к работе...

...А у тебя на Глуосню, наверное, тепло. Ведь целая же та печка, что стояла прямо у двери? Ты, наверное, ее топишь часто и тебе тепло, да? Пришли мне хоть горсточку своего тепла в маленькой записке. Скажи мне, что тот лукавый мальчик уворовал вишни из своего сада...

1948

## ВО ГРОБЕ СУЩИЙ

Огромный, выкрашенный в грязно-желтый колер коммунальный дом. В доме нет квартир — только жилплощадь. Лестницы дома загажены отбросами еды и окурками, на ступеньках щетинятся голодные и злые кошки, на площадках пластается густой чад прокисших щей.

Ночами лестницы дома погружены в плотный мрак. Тогда коты в тягучем призыве леденят кровь в жилах слабонервных:

— Ма-а-аврр-рра!

— Аббрр-рр-а-аам! — отзываются кошки, и снова тихо, тоскливо и отчего-то жутко.

Спит желтый дом. Лишь кое-где в непромытых окнах тускло горит огонь — значит, там больной младенец или с сухими глазами и скорбно сжатым ртом ждет жена мужа из бара. Но к двум часам ночи свет гаснет всюду. Только в одном окне он горит всю ночь напролет. Там живет писатель...

...Тесная комната заставлена разнокалиберной мебелью, пыльным, когда-то бархатным диваном, который писатель называет почему-то «софкой», таким же креслом, названным им «фотелем», и еще разной рухлядью от десяти до сорока трех рублей за штуку. Но в углу, у самого окна, стоит свежеотполированный большой и уютный письменный стол, заваленный книгами классиков и рукописями самого писателя. Писатель бледен, высок ростом, с большим лбом и лихорадочным огнем в грустных, усталых глазах. Все в нем беспокойно и угловато. Только мочки ушей по-женски мягко округлены, и только они внимательному человеку могут дать повод к мысли о том, что этот тридцатилетний человек умел когда-то заразительно и ласково смеяться...

Тихо. В соседней комнате в жалобной и тихой позе спит жена писателя — студентка педагогического института. В щель неплотно прикрытой двери от настольной лампы писателя на кровать падает узкая полоска света. Она падает и освещает правую руку спящей. Писатель видит выпачканные в чернилах пальцы жены, вспоминает, как морщила она лоб над конспектом по диалектическому материализму, вздыхает и прикрывает плотнее дверь в спальню. Потом долго сидит, уставясь в стену, и вдруг зябко и испуганно вздрагивает.

— Ма-а-аввр-р-раа! — почти по-человечески взмяукивает кот на лестнице, и писатель выбегает в кухню, придушенно кричит.:

— Брысь, чертова сволочь! Брысь, пас-скудина!!

В холодной кухне — вода замерзает в чайнике за ночь — писатель нервно выкуривает дешевую сигарету, запивает ее стаканом ледяной воды из-под крана и идет к столу. И снова долго сидит молча и зловеще, потом начинает быстро писать:

«Вильно — старинный город. Улицы его тесны и извилисты, и пролегли они среди дружной и согласной рати приземистых плотных домов. Мало площадей в этом старом городе. А единственная «Лукишки», как и пять-

сот лет тому назад, остается поросшей придорожником, пыреем и еще какой-то несказанной литовской травой. Здесь будет, очевидно, отстроен памятник Ленину, и тогда площадь засеют незабудками...

На западной окраине этой площади шприцем проколло небо красномакушечный костел. Каждый день по утрам и вечерам в костеле коленопреклоняются молящиеся, слышатся печальные стоны органа и хор певчих, и в открытую дверь храма далеко видна горящая свеча у образа Спасителя. Свеча мерцает трепетно и прерывисто, и издали она напоминает дрожащую каплю яркой крови, готовую упасть к ногам Христа.

То свободно и широко, то печально и проникновенно звучит орган под сводами древнего костела, рассказывая богомольцам волнующую правду о ком-то, призывая их к добру и истине. А капля крови дрожит и дрожит на отрыве, плавясь и ненадолго застывая...»

Все это пишется вдруг, «не переводя дыхания», как любит говорить сам писатель. И ему нравится написанное — вложена ведь капля крови собственного сердца! На втором разе он брезгливо кривит губы, а после третьего прочтения отбрасывает лист бумаги в сторону, встает со стула.

— Это же эмигрантщина! Они так писали, черт бы их драл, обездоленных! А я — бездарная погань! Ну что это? Что?! Отчего герои этого самого... как его? Бабаевского... отчего они такие довольные и ими довольны? К черту! Брошу все! Это не то, не то-о!

А кто-то второй в писателе, дальний и тайный, кого он любит и боится одновременно, гордый, упрямый и смелый — тусклый прообраз самого писателя — страстно и гневно возражает:

— Нет, это — то! Ты — трус... Ты из породы тех современных, кто в безлюдных и темных переулках носит кукиш врагу в кармане! О каких героях грустишь ты? Где эти герои и все довольные ими? Укажи мне их, я на них плюну! Ты должен писать то, что начал. Я помогу. Мы создадим живых и недовольных!..

Двойник близко подходит к писателю и пальцами худых и твердых рук цепко забирает нервную ладонь писателя.

— Погаси свет, — приказывает он.

Писатель молча и покорно открывает ящик стола и достает свечку. Засветив ее и погасив электричество, си-

дят они вдвоем в полумраке, до капли внешне похожие друг на друга, молчаливые и внутренне будто смиренные. Двойник оглядывает стол писателя и кивает на фотографию «Толстой на пашне», вделанную в письменный прибор.

— Пашет великан?

— Пашет старик,— с кротким вздохом подтверждает писатель и повторяет с тоской и призывом:— Па-ашет!

И двойник угадывает мысль писателя:

— Все великое и даже мало-мальски значительное в литературе было создано в протесте... в оппозиции к тому духу времени, в котором оно создавалось...

— Ну, положим, не все,— пробует неуверенно возражать писатель, и двойник вскидывается:

— Хочешь примеры из русской литературы? Изволь: Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Герцен, Достоевский, Некрасов, Щедрин, Белинский, Добролюбов, Шевченко, Толстой, Чернышевский, Есенин и половина Горького!

— Отчего же «половина»?

— Во вторую половину своей жизни, в полосу «приятия», Горький ничего не мог создать! — Двойник наклоняется к писателю: — Фаддея Булгарина, надеюсь, знаешь?

— К чему ты мне говоришь это? — тоскует писатель.

— Ну не для того, чтобы искусственно создать бутор «желания славы» в твоём черепе! Я хочу, чтобы понял правду земли: толпа и гений несовместимы, как добро и зло, только люди творческой мысли и светлой и гордой души способны возвышаться над обществом своего времени и видеть и осуждать его пороки. Посредственность никогда не выходит из «круга приличий», и рык осатанелой твари «нраву моему не препятствуй!» всегда приемлет за откровение и милость божью! Писатель, павший до восхваления модной лжи и порока, обречен на презрение и проклятье его потомками... Какие это избитые истины! Но истину народ обретает не вдруг. За нее он всегда платился и платится лучшим цветом своим, самой пылкой и непорочной мечтою! Сто лет тому назад эти истины бытовали на русской земле в творениях литературы. Теперь духовно оскопленным в университетах только издали показывают эти истины, осторожно вынимая их из затхлого сундука истории нашей. Показывают опасливо и ревниво под надежной и незримой охраной автоматчиков и на фоне карты Сибири! Истины эти будто изжили себя у нас на Руси, но доро-



ги как приятные воспоминания о больших и смелых людях. И для обезвреживания эти истины густо пересыпаются вонючей пылью слов политического нафталина! О, какая гнусная ложь! Произнесшему эту истину сейчас как истину... ты знаешь, как поступают с такими? Сотни тысяч отрубленных голов! Миллионы. И вот, растленный и обезглавленный, притих мой народ, а болгарины и эти современные опричники литературы, мерзопакостники и стяжатели «премий» — этих ивано-грозненских вотчин! — все стряпают и стряпают на общей кухне ядовитую словесную похлебку для народа. О, как же мучительно хочется связать воедино всех этих «кавалеров золотых звезд», «троих в серых шинелях», «иванов ивановичей» и прочее и прочее и с «первой радостью» — радостью хозяйки, очистившей свою хату от мусора, — по «поднятой целине» русской земли оттащить их «далеко от Москвы» и утопить в самом глубоком и темном месте океана!..

Но как постыдны и отвратительны те из болгаринных, те из поваров, кто неумело еще стряпает свою словесную похлебку, кто по неопытности заправляет ее недостаточной дозой отравы. На пробе в дегустаторских камерах цензуры эта похлебка бракуется, и ее с оскорбительным окриком возвращают незадачливому повару, выплескивая прямо в покрасневшую от стыда морду его — дескать, жри сам! Такие — до физической ощущимости напоминают мне отвергнутых пьяным хамом проституток, хоть и подражались-то за рупы! О гнусные гады!!!

И вот, милостивый государь, — какое чудесное русское обращение, рожденное добром и благородством! — и вот я спрашиваю: чем же ты лучше последней категории поваров-опричников, болгаринных-стряпух? Не удалась ведь похлебка, а? Хлестнули прямо в морду тебе ее, в переносицу!! У-у, пас-скуда несчастная! Как же ты не видишь происходящего? И как ты находишь дозволенным для себя глядеть на Толстого и скулить в тоске по сторублевке — «па-а-шет»! Ты смеешь называть его «стариком» и идти с ним запанибрата? Это с полубогом-то, кто перед сонмом жандармов гремел миру: «Не могу молчать!»?

И двойник, сжав челюсти до скрипа зубов, раз и два больно бьет писателя по щекам, а откинувшись, гневно и с омерзением плюет ему в глаза.

Писатель хватается руками за лицо и чувствует, как

краска нестерпимого стыда заливает его бледные щеки и лоб.

— Не надо так... Не надо... О боже мой! — шепчет он и вдруг тяжело роняет голову на стол, и безудержное рыдание начинает бить его тело.

Плачет он долго и тяжело, а двойник сидит рядом и ждет. Наконец он мягко кладет руку на голову писателя и начинает гладить ее тихо и нежно.

— Перестань, — участливо произносит он, — перестань, друг. Где твоя повесть — этот унижительный позор твоей жизни? Подпалим свечкой — и все! Пусть сгинет мерзкий плод твоего минутного падения, отвратный ублюдок лживой мысли. Книги, большие волнующие полотна — пишутся только кровью сердца, а от созданного тобой разве не чувствуешь, как несет ядовитым духом заразы?

— Да, это так! — твердо соглашается писатель.

— Это так! — вторит ему двойник и, сощутив глаза, пронизывая ими писателя, отдельно и властно приказывает: — Тогда пиши клятву-эпиграф к своей большой и честной книге. Пиши:

Обруганное страшной матерщиной,  
Подло застигнутое нагим и девственным, —  
Мерзко ученое покупать и продаваться, —  
Сердце мое, человечье, измученное!  
Поклянемся на этом вместе мы:  
Да будешь ты мною казни предано  
За попытку солгать или струсить!

Писатель порывисто закуривает, хватая карандаш и записывает эпиграф. Потом минуту сидит притихший, и злорадная усмешка блуждает на его чувственных, но бескровных губах. Вдруг он размашисто выводит под эпиграфом:

«Бессмертие»  
Роман  
Книга первая

Двойник же неслышно встает, запахивает полы черного пальто, глубоко на глаза надвигает шляпу и, до жути одинокий в этой ночи, медленно уходит в предрассветный мир.

1949

1950—60 гг.

### ТИШКА СУРОВЕЦ

...Маленькая хатенка о двух оконцах. (Из пуньки.) Семья придурковатая, за исключением матери. Старший сын — Тишка. За папироску, в которую засыпали порох, босиком бегал по снегу 15 км.

Потом он женился. Полоска их земли подходила одним концом к лесу, где дед Большак вел пасеку. Так как пчелы в июле особо сердиты, то люди, чья земля прилежала к этому лесу, пахали, косили — с рассветом до тех пор, когда пчелы начинают сбор меда.

Но Тишка выехал метать пар (июль), когда солнце на дуб поднялось в небо. Не успел он объехать и круга, как на потную лошадь — пчелы не любят человечесий и лошадиный пот — сел целый рой пчел. Вместо того чтобы выпрячь из оглоблей сохи кобылу, и она бы или начала кататься по земле, или скакнула в кусты, — Тишка, оставив кобылу, не спеша направился трусцой домой за роевней.

— Птушка, Птушка, рой на нашу кобылу сел. Давай роевню!..

Жена заплакала (она была умна, но бедна).

Взяв роевню, Тишка побежал огребать рой. Подходя к полосе, он увидел вздувшуюся горой свою лошаденку, завалившуюся в оглоблях. Лошадь сдохла, зажаленная пчелами, сотни трупиков которых валялись на земле около околевшей кобылы.

Подумав с минуту, Тишка выломал из сохи оглоблю и, взвалив ее на плечо, ринулся в пасеку к деду Большаку.

— Сука-сын! Ты што распустил своих пчел!

И начал оглоблей охаживать дублятки деда.

### КАК ДВАЖДЫ ПОГИБЛА РАДОСТЬ

У меня был сильный жар. На заре я задремал, и мне приснилась долина цветов. Цветы обыкновенные — ромашки, маки, дикий клевер, васильки... Но я никогда наяву не ощущал так живо и светло (именно светло!) краски цветов, их оттенки, строение и малейшие трепетания лепестков. И оттого мне было легко и грустно, как не бывает наяву.

Но я сразу проснулся, и очарование исчезло. Тело ломило, во рту было сухо, а настроение погано. В окно пробивался рассвет. Он все синел и ширился, и от большой тишины, какая бывает обычно на рассвете, в моей комнате плавал тонкий звон. На улице был мороз, я стал глядеть в окно, не поворачивая головы на подушке, но вдруг внимание мое привлек один замечательный узор на стекле. Нет, не замысловатый, а сказочный. Было: наш сибирский таежный лес. И с луком в правой руке, непокрытый, в разрисованной гарусом шубе — Иван Царевич, как я привык его в детстве видеть на картинках.

А на самом широком верхнем стекле с поразительным мастерством была изображена баталия. На возвышенности, выбросив ногу в огромном ботфорте и со шпагой в руке, стоял усатый большой человек. Даже любой школьник, увидя его, сказал бы, что это Петр. И ясно было, что это — Полтавская битва.

Когда же из-за крыши соседнего дома выкатилось солнце, узоры на стекле брызнули таким ярким алмазным светом, что я невольно засмеялся вслух и закашлялся. Кашель бил меня долго. И когда я оправился от него и взглянул на окно — по стеклам сверху вниз тянулись длинные безобразные потеки — солнце растопило и Ивана Царевича, и Полтавскую битву.

Стало скучно и тоскливо, как бывает только наяву в наши дни.

\* \* \*

— Насчет радостей... Это дело такое — кому что. Вот я как-то наблюдал такую штуку. Заметил я на оконной шибке малюсенькую мошку, меньше булавочной головки, она чуть заметна. Думаю: ну что за смысл ей жить! Ну какие в ней могут быть потребности, чувства, так сказать, желания? Никаких! Без смысла живет. Думаю и наблюдаю за ней. А она, шельма, за какие-нибудь три минуты пару раз из конца в конец пересекла шибку. Да с таким восторгом перебирает ножками, так энергично подрагивает крыльшками, что просто диву даешься! И ведь что! Я тогда и понял — есть у ней радость бытия. Огромная. Она ведь покрыла по стеклу свои сотни тысяч километров за эти три минуты. А эти наши минуты для ней вечность, может, целая... — Рассказчик умолк.

Я спросил:

— Ну, а потом!

— Что потом?

— Ну, конец этой мошки проследили вы?

Рассказчик ответил не сразу, уже более смиренно:

— Проследил... В углу окна сидел небольшой паук. Ну и того, заметил ее, стервец... убил одним махом.

— Вот видите?

— А что ж тут. Все законно получилось,— обрадовался найденной логике рассказчик.— И жила радостно, и гибелью своей другому удовольствие сделала. Законно все.

### СЦЕНЫ С НАТУРЫ

Сегодня 5 ноября. По городу вывешиваются флаги, дует холодный ветер, и идет первый снег. На здание консерватории, где с балкона члены местного правительства приветствуют в праздники демонстрантов, поднимается огромный портрет-барельеф Ленина и Сталина. Его тянут на трех блоках несколько человек, а командует ими, отойдя на противоположный тротуар, маленький юркий человечиска. Взмахивая жороткими ручками, он подпрыгивает и кричит:

— Раз-два — взяли! — и сам делает вид, что тянет. Но портрет тяжел и не поддается усилиям.

— Раз-два! — прыгает человечиска.

И в этот момент сверху, от группы тянущих рабочих, глухим голосом скатывается:

— Вот потянул бы ты сам их, как мы, тогда узнал бы, как оно...— и закончил угрюмой матерщиной.

Прохожие торопятся и делают вид, что не слышат.

\* \* \*

Было поздно, и я долго стерег такси. Наконец я поймал его, и когда сел, то шофер, молодой, с волевым чистым лицом, погнав «Волгу» километров на 80,—улицы Москвы были почти пустынные. И вдруг нас бархатным рокотом обошла «Чайка». Шофер покосился на нее и сказал чисто и жестко:

— Слуга народа поехал.

Я промолчал. Искоса оглядев меня и решив, видно, что я тоже имею отношение к этим «слугам», он выска-

зался до конца, с удовольствием, сознавая безнаказанность свою:

— Раньше, бывало, придет агитатор, и чуть что — он тебе: «Вам что, Советская власть не нравится?» А теперь: «Ну, слушайте, идите отголосуйте — и конец вольтынке! Один ведь хрен!» Ну и идешь. И все по-прежнему.

\* \* \*

Ну что, Воробьев, гибнешь?

— Нет, я еще держусь, это мне надо... жить надо, а то, что пистолет постоянно рядом, что мне стоит протянуть руку — и я прекращу эту глупую возню, — это мне помогает жить. Я всегда свободно, по собственному желанию, уйду отсюда, и никто, никогда, ни за что не заставит меня уйти из жизни, если я того не захочу сам!

\* \* \*

Лишения, страдания и унижения у нас возведены в некую доблесть. Об этом всевозможные жулики от так называемой советской литературы написали множество баллад, романов и еще черт-те чего.

(...) Тихонов написал:

Гвозди бы делать из этих людей,  
Крепче бы не было в мире гвоздей!

Все это в угоду одному: лжи, всесветному обману. Страдания и лишения никогда и никому не приносили ни счастья, ни успеха. Горе человека не красит, и Тихонов это знает, что «несчастливые эгоистичны, злы, несправедливы, жестоки и менее, чем глупцы, способны понимать друг друга». Это Чехов сказал.

\* \* \*

— Ты писатель, — сказали мне. — А это плохо. Нельзя ничего выдумывать в жизни, пусть даже это будет красивое. Нельзя врать!

\* \* \*

Седой, пухлый, похожий на раскормленного мальчика старик со значком лауреата, увидев при подъезде к Туле раскаленную груды — огненную лаву, — воскликнул:

— Что это?!

— Шлак,— сказал его собеседник-военный, тот, что говорил про паровозы, что они смазаны, законсервированы и оставлены на запасных путях «на случай войны», а в простонародье называют это кладбищем.

— Шлак?! — восхищенно воскликнул лауреат.— Ах, какой красавец!

Он был именно божий одуванчик, не божий, конечно. Восторженный младенец-негодяй, получивший за свой порок награду.

\* \* \*

У нее было ярко-оранжевое платье, и она, директриса, проходила по залу как хозяйка великосветского салона — надменно-приветливо и гордо-снисходительно к тем, что сидели за столами.

Куда ты денешься от себя, человека из норы!

\* \* \*

Вошел человек, что-то женско-мужское, бледно-землистое, что-то свиное, от летучей мыши.

\* \* \*

За столом напротив сидела группа из четырех человек. Женщина в черном, тонкая, худая, потрепанная, но сама не согласная с этим, с гладко зачесанной головой — маленькой, как у змеи. Курила она жадно, с затяжками, и я понял, что она — окололитературная бабочка.

\* \* \*

Написать рассказ о тех, кто сулит рай в будущем. Природа этого. Жить тем, что будет после тебя? В этом страшная ложь. И люди должны противиться ей. Человек должен сделать себе радость при своей жизни. Себе. И это останется потомкам. Это очень просто.

\* \* \*

Если не вдохновит тебя тишина, закатная заря, одиночество в лунной ночи или пронизанная солнцем лист-

ва, — иди и удавись: выше и торжественнее этого ничего на свете нету!

### ЭТАПЫ ПИСАТЕЛЯ

Вначале — горячее поощрение — в тебя не очень верят.

Затем — ирония — «неужели ты всерьез думаешь о себе?».

После — «мы его вытащили, он бы так и продолжал торговать дегтем».

Предпоследнее: обида, учет каждого твоего шага, желание и ожидание твоего первоначального «положения», предположение о твоем мнимом богатстве, подозрение в аморальности, самоуверенности, пьянстве, разврате, пижонстве, эгоистичности, скупости, — словом: рьяная зависть, и если ты средний, если ты то дерьмо, которое нужно твоему времени, — ты удовлетворишься этим подаванием, будешь сытым, гибким, внимательным, лысым и приятным, — но и только.

А надо: послать всех, — особенно тех, кто тебя «вытащил», к такой матери, ибо «вытащил» тебя — ты сам, и написать такое, которое повергнет твоих «друзей» в состояние удивленного, молчаливого, тайного или явного — это их дело — восхищения.

Тогда они и в самом деле поверят в тебя.

1960—73 гг.

\* \* \*

Кузнецов, стало быть, не любил Родину и свой народ. Я и без него знаю, что написать три антисоветских романа при пяти верноподданнических значительно легче, чем написать один «возможный» к публикации «Чертов палец». Я знаю это потому, что положил жизнь на это. Еще бы! Пожалуй, за «Момича» и за «Это мы, Господи!» я получил бы там денег больше, чем Кузнецов, но...

Он совершил смертельную ошибку. Если он в самом деле талантлив, то больше трех лет там не продержится физически: или сопьется, или сойдет с ума. А кроме того...

\* \* \*

В Библии сказано, что ничто не остается и не останется без возмездия — и это хорошо, потому что безна-



казанность преступления по своей сути аморальна, она разлагает человека, общество, наконец — нацию, ибо является прецедентом для повторения зла.

\* \* \*

Д. — командир партизанского отряда. По окончании войны ему предложили работу в НКВД. Он сообщил об этом своему старику отцу. Тот, подумав, сказал:

— Тебе сейчас нельзя.

— Почему?

— Вначале надо операцию сделать.

— Какую?

— Совесть вырезать.

Д. не пошел.

\* \* \*

Пленный над умершим плачет горькими, безутешными слезами, причитая по-бабьи: «Братишечка мой милый, дорогой...»

Он обращается к пленным и даже к полицейским с просьбой помочь ему похоронить «по-людски» братика, и все отходят, и, оставшись один, плакальщик догола раздел покойника, а вечером уже «торговал» его обмундированием. Славянская подлость!

Тот не был ему, конечно, братом. Уловка, рабская, уничижающая мерзость.

\* \* \*

Ночью освещенные коробки домов были похожи на громадные соты. Только это, конечно, не мед и не пчелы!

\* \* \*

Он говорил о море, как о женщине: то безбожно выдумывая и привирая, то застенчиво утаивая и храня, и в зависимости от смысла слов у него менялось выражение глаз: то они были нахальны и бессмысленны, то задумчивы и серьезны.

\* \* \*

Он стал просыпаться рано, а иногда среди ночи, и, как ни старался, не мог заснуть до утра. Старость.

И вот однажды он проснулся от какого-то необъяснимого страха. Лежа в темноте, он чувствовал, что этот страх не проходил. И он вник в него и понял, что это страх за прожитое,— как прожил он свою жизнь. Неряшливость жизни. Случай легкомыслия. Но именно это выдвинуло его над всеми.

Что было бы, если бы он поступал, как все? Была бы обеспеченность. Сытость. Покой. Свинский хлев.

И когда он это понял, он успокоился. Страх прошел. Может быть, потому, что в окно пробивался осенний рассвет?

\* \* \*

Когда он проезжал мимо кладбища, ему вдруг стало плохо с сердцем, и он тотчас же выжал газ до предела...

\* \* \*

Он должен думать, что не прав, когда смотрит на них с гневом и презрением, что надо с любовью и участием, но участия не было. Любви тоже.

\* \* \*

Все, что я видел, не годилось для записной книжки: тут земля не была в цвету, а те радости, что начинались во дворах и хатах, стоили слишком дорого и никак не окупали себя.

\* \* \*

Я не могу писать. Не хочу жить. Да свершится все, чему суждено, и противиться смерти не надо.

## СЮЖЕТ

Человек из б. высшего общества бежит от этой жизни. Становится рабочим сцены. Видит жизнь ту, от которой бежал.

Ходит, носит бревна. Люди эти смотрят на него с интересом, и он чувствует, что это ему льстит.

Вопрос — ну а дальше что же?

Он повесился ночью на сцене.

\* \* \*

Я любил этого человека, но каждое утро в меня все-лялось облако тоски, и я приносил себя мрачного, некрасивого — к нему, и он думал, что это моя нелюбовь к нему, и мы ссорились.

\* \* \*

Да, в самом слове «Аргентина» все это есть,— немеркнувшее солнце, тонкая лазурь неба, неумолчный шум океанских волн...

\* \* \*

Это звучит маняще и загадочно, как слово «Рио-де-Жанейро».

\* \* \*

Романтический бунт во имя несбыточных грез.

\* \* \*

Он уже давно не мог засыпать без путешествий в свое детство. Или он залезал на дуб, или бродил по болоту в поисках утиных и чибисиних яиц, или запружал ручей под «Грибакиными», или гнал в ночное мерина, или собирал в «Большом лесу» пазабник (так называлась в Шелковке земляника).

\* \* \*

Широкая, поросшая травой дорога. И бойко катится по ней телега. И путник все время оглядывается назад, и почему-то ему кажется, что уже не встретить на дороге того, что было, чему он был свидетель...

В тревожной дымке неизжитого теряется близкий конец пути-дороги. Что-то там?

А позади — радости незабвенных встреч, зелень весны и беспричинный смех дерзновенной юности...

\* \* \*

Говорил он спокойно, ласково, почти нежно, и до того бесстрастно, что было страшно. И хоть бы рассердил-

ся, накричал, вспылал. Нет! Ведь такие угрожают любое дело, любого человека — и с улыбкой и нежностью. Гад!

### РАНЕНАЯ БЕРЕЗА

Это было в апреле 1940 года в Польше в лесу. На стройной березе, начавшей распускаться, было несколько грубых топорных ран. Из них крупными светлыми монистами стекал сок — кровь березы или слезы. Береза плакала горько и безутешно. Я сидел под ней 40 минут и видел эти слезы.

\* \* \*

Какое-то порочное убожество мысли, какое-то злое мещанство и желание видеть в жизни людей подрывные стремления.

Если проследить природу подобных тенденций, то можно безошибочно сделать следующее заключение — человек, во всем выскивающий «крамолу», непременно сам отягощен каким-то непотребным для нашего общества грузом. И мнимая «крамола» нужна ему для воровского приобретения некоего политического капитала.

\* \* \*

Да, конечно же! Опустошенность не что иное, как одна из стадий нравственного развития. Отречение от ложных богов, признавать которых и проще и выгоднее, требует от человека исключительного мужества и нравственной высоты. Чтобы достигнуть нравственности, писатель должен забыть все то, чему его учили, а он должен научиться смотреть своими глазами, «видеть все ясно и цельно», как говорил Хэм.

\* \* \*

Он мог назвать их палачами и выродками, а сердце упрямялось поверить в их людоедскую жестокость, потому что в физическом облике их все было от обыкновенных людей.

\* \* \*

Я заметил, что так называемые руководящие товарищи вместе с должностью и чином обязательно приобретают глупейший способ передвигаться пешком. Тогда они ходят вперевалку, как селезень, голову держат ни высоко, ни низко, никогда не поворачивая ее, а вертят всем корпусом; в ходьбе неторопливы, носки ног ставят вразброд, а ноги чуть враскоряку, давая возможность расти даже в пути на службу своему животу.

\* \* \*

В самом деле, что же такое современность? Конечно же, это часть нашего прошлого и будущего, и взаимодействие и борьба этих частей — суть современность.

\* \* \*

Изумленно-напуганный взгляд круглых, как синие монисты, глаз, четыре пухлых пальца, раскрытый рот и четыре зуба внизу.

\* \* \*

Искренность его недовольства равнялась глубине его невежества.

\* \* \*

Здесь друг друга едят и тем сыты.

\* \* \*

Прискорбные умом сотрудники!

\* \* \*

До чего же унылый и рабский мотив:

А снег идет,  
А снег идет!

\* \* \*

Она курила, затягиваясь чересчур жадно, как-то въедливо, по-женски. Он был толстый, с ленивой истомой в движениях и словах, а она окидывала его мрачным, тронутым сумасшедшинкой, тоской и голодом глазами, и трудно было понять, что она хочет: попросить денег или доброго слова.

\* \* \*

Он заметил, что в тесных и грязных домах живут некрасивые и кривоногие люди.

\* \* \*

Они пили водку и закусывали подснежниками.

\* \* \*

Писатели — это та часть общества, которая никому не нужна. Ни при жизни, ни после. Кто сейчас читает Толстого и Достоевского? Бунина? Чего они добились в жизни? Чего добился я сам?

#### О ПОВЕСТИ «ВОТ ПРИШЕЛ ВЕЛИКАН»

И вот я закончил эту повесть. И вижу, что в нее вошло 60% того, что у меня было. И даже не 60, а 55 или 56: я все боялся, что все не опубликуют, не примут, а мне так хотелось рассказать или пожаловаться людям. О чем же я умолчал? Чего боялся и кого страшился? Ну, страшился и боялся, понятно, прежде всего редактора, цензора, среднего грамотного читателя, который сразу же пишет в «Литературку» протесты, негодования и пр., а я хочу ведь, чтобы повесть опубликовали.

\* \* \*

Рассказ должен быть нарядным, я не люблю видеть нагой не только повесть, но и женщину.

\* \* \*

Жизнь очень тревожна, люди в ней напоминают мне голубей, которых кормят на веранде ресторана,— кто больше и скорее клюет.

\* \* \*

— Ну?! — крикнул он.

Тот сидел и изумленно-растерянными глазами глядел на допросчика, и тогда он быстро выбросил руку и погасил окурок папиросы в глазу того.

\* \* \*

Русский человек любит порассказать о своих страданиях. Если их не было — выдумывает и говорит о них с тайным упоением и радостью. Между прочим, эта же черта наблюдается и у евреев. Это оттого, что эти народы в самом деле много и долго страдали и страдают. Они уже не верят в хорошее. И получается, что без страдания нет достоинства. Страшно!

\* \* \*

Это был молодой клен. Он рос, тесно прижавшись к липе. Я увидел его в конце октября, и его листья поразили меня чем-то: они были желтые и в темных круглых пятнах. Они напоминали мне что-то далекое, забытое, грустное. Я вспомнил: то было платье.

\* \* \*

Стояли сухие, почти жаркие дни августа, свет был прозрачен, негуст, и в тени тянуло прохладой, и во всем проступала печаль по изжитому, ушедшему.

\* \* \*

Марево всегда было голубым, синим, и оно всегда струилось, как речка, и от этого было чуть-чуть тревожно, но не опасно.

И там виднелась пелена той самой лазурной мглы, что никогда не была доступна суетному глазу советина.

\* \* \*

Вороха битого стекла блестели зеленым льдистым светом.

\* \* \*

А под Москвой было лучше, тише, уверенней как-то, над крышами деревянных домиков вился дым — голубой, прозрачный и легкий, и грязно-желтый, плотный. Первый вился в небо кисейной струей. Вторым падал на крышу и слетал вниз грязными клубами дурно пахнущих помоев.

Первый — дым от березовых звонких поленьев, второй — угольный, грязный, тяжелый дым.

\* \* \*

Я не требовал наград за свои дела, потому что был настоящим русским.

\* \* \*

Он считал, что за 50 лет его жизни 20 лет сердце могло не биться, — годы прожиты тяжело, неправильно, гнусно.

Но сердце не знало об этом. Оно билось, и жило, и думало, верно, что жил и тот, для кого и в ком оно билось.

\* \* \*

Это какая-то мстительная злобность, свойственная бездарным людям, нечаянно, по праву безвременья оказавшимся в силе делать свои пакостные заметки на чужих рассказах. К ним уже стало невозможно относиться с брезгливым пренебрежением, потому что они назойливо и откровенно (потому что «работают» безнаказанно) утверждают, что они — враги всех и каждого, кто мыслит. Кто не знает, что есть жемчужные мухи, водка «Российская», что можно посмотреть отчужденно, а что-то сказать миролюбиво, что можно ощутить царапную боль в сердце; и есть ладанно-горький запах, и можно непростудно кашлянуть, что можно рыдать судорожно, редко и трудно.



У Анны Андреевны Ахматовой есть такое стихотворение:

Не отбиться от рухляди пестрой.  
Это старый чудит Калиостро,—  
Сам изысканный Сатана:  
Кто над мертвым со мной не плачет,  
Кто не знает, что совесть значит  
И зачем существует она.

Строки эти были написаны в 1969 году, когда рассказ «Чертов палец» был возвращен редакцией журнала «Наш современник» с многочисленными пометами на полях рукописи.

\* \* \*

Чтобы идти в этом мире верным путем, надо жертвовать собой до конца. Назначение человека состоит не в том только, чтобы быть честным,— он должен открыть для человечества что-то великое, утвердить благородство и преодолеть пошлость, среди которой влачит свою жизнь большинство людей.

\* \* \*

Коллектив влечет за собой, в ущерб лучшим умам, торжество приспособленчества и посредственности. Коллектив может уравнивать лишь потребности желудка, но не умов.

\* \* \*

Писатель обязан быть следопытом причин и следствий.

\* \* \*

Этот партдеятель привык давно уже пробуждать, убеждать, готовить, просвещать и укреплять других.

\* \* \*

Меня всегда удивляет то, что среди современных даже чинных чиновников есть такие, которые с уныло-тор-

жественным видом очень серьезно и длинно беседуют по ничтожнейшим пустякам.

\* \* \*

Три породы голубей — лесные, городские и домашние. Эти уже похожи на кур: сидят взаперти, вылезают на прогулку и поспешно возвращаются в свою конуру, — продались за горсть худого корма.

Так и люди.

\* \* \*

В описании советскими писателями военных фитури-нелей бесстыдно выпирает холопское «чего изволите-с» и «сколько дадите-с?». Подонки!

\* \* \*

Это те, кого уже не убедишь, что Христос воскрес, кто не знает, что такое тихая ночь, и луна, и звезды, и покой в мире.

\* \* \*

После полувекового черного гнета русский народ отворил чугунные ржавые двери всероссийской темницы... И вот взору его в этих бескрайних гулких подвалах представилась груды (вместо радостного ожидания встречи с заточенными) серых костей. И они, люди, оплакивают, отпевают хором погибших.

\* \* \*

Это был обыкновенный шалман, но там уже по западному образцу стояли высокие круглые столики — почти до подбородка, — и он встал за одним спиной ко мне и начал есть колбасу, кефир и булку, пританцовывая, сгибая ноги в коленях каким-то непристойно-вожделенным приемом, и при этом толстые, на вате, плечи габардинового макинтоша топорщились на нем, а он все приплясывал, ел и пил, и я подумал, что советской власти не будет конца.

\* \* \*

На Руси были страшные времена, но позднее моего времени не было. Сохрани, Боже, последние единицы, укрой их и защити!

\* \* \*

Не стало личностей, индивидуальности. Страх личной смерти, неспособность на подвиг и жертву, готовность на любую обиду,— лишь бы жить, читать газеты и совокупляться. Таким обществом легко руководить: делай что хочешь, грабь, режь, жги, торгуй родиной, только дай жрать и радио. Такие подлые твари, что заселили сейчас Россию не способны на избавление от рабства.

Самолубийство — это уже божественный подвиг. (...)

---

Соцреализм — это полное лишение права писателя показывать действительность.

---

Дело было в том, что нельзя было не видеть глубокой порочности всего сущего, подтверждающего, как велик и уже необратим процесс распада человечности в этой гнусной антинародной и антижизненной системе власти.

---

Мы, русские, то есть коммунисты я хочу сказать, разорив в 29—30-х годах церкви, казнив священников и охулив перед народом веру в Бога, низвели этот народ до степени мерзостного стада обезьян.

---

Стоит только подумать, что эта кучка ничтожных людей, чужих России, могла так изгаляться во времена, жуткие для русского народа, и станет ясно, насколько они, эти «гениальные», мелки, своекорыстны и отвратительны.

Никто из них — и первый Эйзен — даже не помыслил соблюсти хотя бы минимальную честность по отношению к своей человеческой сути, устраивая свои дела-делишки в то время, когда мы захлебывались кровью<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Эти слова написаны после прочтения книги «Эйзенштейн в воспоминаниях современников» (М.: «Искусство», 1974).

## ЖИВОЙ ТРЕПЕТ СЛОВА

В столичном издательстве «Московский рабочий» недавно вышел в свет стотысячным тиражом сборник повестей и рассказов Андрея Платонова. В силу прискорбных обстоятельств имя этого замечательного русского советского писателя, творившего в тридцатые и сороковые годы, мало сейчас известно широкому кругу читателей, хотя вот уже несколько лет наши толстые и тонкие журналы как бы оспаривают друг у друга право на публикацию платоновской прозы — случилось то, что по праву большой человеческой правды не могло не случиться: народ-языкотворец в конце концов отыскал в сумерках прошлого имя своего подголоска.

Хотя это было бы и кстати, но здесь нет нужды приводить унылый и длинный перечень имен беллетристов, писавших в одно время с Андреем Платоновым, то есть имен тех, чьи пухлые книжки, сочиненные в лукавстве сердца, не выдержали испытания временем и канули в Лету бесславно для их авторов, не вызвав даже у современников ни сожаления, ни усмешки.

Итак, к удовлетворению художнической истины, оправдалась народная мудрость в его лаконичном изречении — не все то золото, что блестит, и нам остается с уважением и благодарностью к таланту Андрея Платонова раскрыть его книгу. Возможно, что определения «талант» здесь недостаточно; от чрезмерного, небрежного, а порой и недобросовестного его применения в литературных оценках оно в большой мере утратило свой первоначальный смысл и значение, превратясь в степень, равную обычным школьным отметкам. И все же мы произнесем здесь это слово, памятуя, что оно вмещает в себя понятие о совокупности многих высших духовных проявлений художника, в том числе, разумеется, и мужество, ибо, как сказано в послесловии книги, быть писателем великого народа немислимо без подвижничества.

# ПИСЬМА

## I

СОТРУДНИКУ ЖУРНАЛА «ПЯРГАЛЕ»  
т. ИОСАДЕ

Уважаемый товарищ, мне стало известно ваше суждение по вопросу, о котором вы имеете весьма гнусное понятие. Речь идет о вашей попытке доказать знающим меня людям, что литературное творчество и работа в советской торговле — несовместимые вещи и что в писателе важна прежде всего, дескать, честность. Таким образом, вы, прежде всего, выразили сомнение в наличии у меня, занимающегося литературным трудом, а потом и у огромной рати не занимающихся этим людей, но занятых в торговле, этого непеременимого качества человека.

Скажите, стоит ли вам доказывать всю эту дремучую абсурдность, которую вы вложили в это обвинение? Очевидно, не стоит, и я не об этом намерен говорить с вами.

Видите ли, вы причастны в какой-то мере к литературе, и поскольку это так, поскольку в состоявшемся разговоре вы выступали не обывателем, а компетентным человеком от литературы, то позвольте и возразить вам с этих позиций.

Я считаю, что вы окажете себе большую услугу, если поймете, что писателю необходим прежде всего талант. А талант — это совокупность многих высших духовных проявлений человека, в том числе, разумеется, и честность. Но, обладая только этим, обычным и непеременимым в нашем человеке духовным элементом, писателем еще не сделаешься. Ведь вы-то вот честный человек!

И мне кажется, товарищ Иосаде, что человек, обладающий этим букетом высших духовных проявлений (можете быть уверены, я говорю не о себе), уже одним этим избавлен и огражден от тех аморальных поступков и проступков, которые возможны при отсутствии такого обычного в нас качества, как честность, и он может работать где угодно и быть писателем.

Что же из того, что Кольцов и Никитин были торговцами! Разве Короленко нам менее дорог оттого, что

в свое время торговал на пароходной пристани пассажирскими билетами? Я бы мог привести вам для вашей же пользы десятки примеров того, как нашим и чужим, большим и малым писателям приходилось, да и приходится, заниматься подчас одиозным трудом, но это не потому, что они извлекали и извлекают из этого корысть и удовольствие, а потому, что надо жить и писать!

И вот, как говорят канцеляристы, на основании вышеизложенного я считаю, что плохо не то, что среди торговцев были, есть и, конечно, будут писатели, а скверно то, что в среде писателей есть торговцы. <...>

10.01.56

К. Воробьев

ГЛАВНОМУ РЕДАКТОРУ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ».

Копии: Михаилу Александровичу Шолохову — Дон.

Товарищу Б. Гафурову — Таджикистан.

Дорогой товарищ Кочетов!

Не могли бы Вы взять на себя труд ознакомить пенсионера товарища А. Гиндина с этим письмом, так как нам не известен его адрес?

Уважаемый товарищ Гиндин!

Мы, группа читателей «Литературной газеты»<sup>1</sup>, твердо убеждены в том, что Вы — действительно существующий человек, что Вы — пенсионер и старый коммунист, что в момент, когда Вы писали тов. Гафурову о речи Михаила Александровича Шолохова на XX съезде партии — Вами руководило искреннее чувство, т. е. что письмо Вы сочинили самостоятельно, по движению собственного сердца. Не так ли?

Очевидно, до этого Вам не приходилось публиковать в «Литературной газете» своих писем, и это Ваш первый, так сказать, эпистолярно-литературный труд. В таком случае разрешите Вас поздравить: Вам повезло — Вас тиснули, как говорят, с ходу, хотя не только публиковать, но и писать такого письма Вам не следовало.

Вы уверяете тов. Гафурова, а он и рад этому, что письмо свое написали от чистого сердца. Позвольте нам усомниться в этом на основании нижеследующего.

Вы, причисляющий себя к передовым людям, не можете не помнить той очевидной истины, что М. А. Шо-

<sup>1</sup> Текст письма написан К. Д. Воробьевым.

лоховым как на писательском съезде, так и на съезде партии двигало светлое чувство — любовь к Родине и своему народу и тревожная честная забота о состоянии нашей литературы.

Вы то и дело выкрикиваете что-то в своем письме от имени народа: «Это мнение огромного большинства народа», «показало перед народом его малую самокритичность» и т. д. Понимаете ли Вы, старый человек, что вот это и есть чистейшей воды демагогия, если не хуже! От имени какого народа Вы изволите говорить? Почему Вы — народ? Если бы Вы хоть чуточку знали народ и его отношение к Шолохову, Вы бы, говоря народным языком, не кукарекали, как плохой петух, проспавший на нашесте рассвет нового дня.

Вместо того, чтобы порадоваться живому и честному человеческому слову писателя Земли Русской, вместо того, чтобы заставить себя понять скрытую скорбь слов его и разглядеть за ними страстное и боевое желание исправить катастрофическое положение в нашей литературе и в искусстве вообще, Вы престарелой девицей из плохой оперетки делаете вначале книксен перед Шолоховым, а затем, оглядываясь на стан «обиженных» Шолоховым, опрокидываете ему под ноги свое ведро с помоями.

Ваше ведро, опрокинутое под ноги Шолохову, нехорошо пахнет, т. Гиндин. От него несет скверным духом: Вашим желанием приписать Шолохову антипартийность, и мы не уверены в том, что этот «букет» — следствие несварения Вашей головы. Напротив, нам кажется, что Вы — премудрый пескарь. Вы, оказывается, знаете, что такое демагогия, чем можно заткнуть отдушину, через которую вырвалась гремящая струя свежего воздуха в ту протухлую избу, название которой «Союз советских писателей».

Да, это протухлая изба, и Шолохов предложил навести в ней порядок! Эта организация оказалась, мягко говоря, ублюдком. В свои младенческие годы она сулила еще что-то, но затем, накопив опыт бытия под солнцем сталинской конституции и множество служащих, превратилась в обыкновенное бюрократическое и бестолковое учреждение. Оно, это учреждение, не только не растило писателей, но наоборот — мешало этому росту.

Мешало тем, что добросовестно глушило молодую и талантливую литературную поросль, не допуская ее (из-за боязни известной) в журналы и издательства;

мешало тем, что издавало известного рода циркуляры о «Так держать!» и ссылало их в низы;

мешало тем, что слаженным хором и на протяжении многих лет дисканило «аллилуйю» тому, чему надо было петь «анафему»;

мешало тем, что наплодило — и уж во всяком случае не препятствовало этому — кучу пройдох и глумливых выжиг, писавших «кавалеров золотых звезд». За этими «кавалерами» ходить в народ не надо было. Их там не было. Там было другое, увиденное партией потом. Авторы «кавалеров», т. е. той самой пресловутой серятины, жили легко, вольготно и весело. Ежегодно стяжая сталинские премии и легко и почетно издаваясь и издеваясь над народом, они окопались в местах, могущих предоставить им максимум комфортного житья. Они считали, что царству их не будет конца. Но конец наступил. Жизнь потребовала — и потребует дальше — правдивого и мужественного отношения к себе, и наша партия правдиво и мужественно отнеслась к этому. А как же господа пузырьки, то бишь вышеуказанные писатели? А они никак.

Вы просто, т. Гиндин, человек прошлого. Вы обыкновенный раб того самого культа личности, в пропаганде которого так удивительно резво для своих лет обвиняете Михаила Шолохова. Вы как тот сиделец из «Тихого Дона», что вез арестованного Штокмана. Когда Осип Давыдович хотел помахать жене рукой, сиделец, «подпрыгнув, склешил на его руке грязные пальцы, дичалым, хриплым голосом крикнул:

— Сиди! Зарублю!..

В первый раз за свою простую жизнь видел он человека, который против самого царя шел».

В первый раз за свою жизнь Вы, т. Гиндин, увидели человека, который против «самого» Фадеева и «самого» Суркова шел, и Ваше холуйское сердце испугалось!..

В заключение позвольте посоветовать Вам для Вашей же пользы хорошенько вдуматься в следующее изречение Ф. Энгельса: «От того, что сапожную щетку мы зачислим в единую категорию с млекопитающими,— от этого у нее не вырастут молочные железы».

10.03.56



## Э. МЕЖЕЛАЙТИСУ

Товарищ Межелайтис,

полгода тому назад я обратился к Вам с заявлением о квартире. К этой просьбе я был вынужден трудными условиями, в которых живет моя семья. Трудности эти заключаются в том, что в квартире из 6 комнат, кроме моей семьи из 7 человек, проживают еще 3 семьи, не связанные ни родственными, ни профессиональными отношениями. В этих условиях 4 семьи, состоящие из 16 человек, на протяжении ряда лет разделяют невеселые радости пользования одной кухней, одной туалетной комнатой, единым временем, которое каждая семья намерена все-таки использовать согласно своим духовным и физическим запросам, а разделяющий семьи коридор и двери не являются, к общему сожалению, преградой для всеобщего невольного участия в самодеятельности каждой семьи.

Помимо этого, для всех нас пока трудным является и другое. Отец моей жены, пенсионер, болен туберкулезом. Чтобы уберечь здоровье детей, ему следует быть изолированным. Стало быть, из трех комнат, занимаемых моей семьей, полезными для 6 человек остаются 2, и выделить из них себе комнату для вечерней работы я не могу.

Мне казалось, что этих обстоятельств было достаточно, чтобы попросить Вас тогда о помощи. Побуждали меня к этому шагу и наши личные с Вами взаимоотношения: они казались мне проникнутыми обоюдной симпатией.

Но случилось так, что должен признаться себе в своей ошибке на этот счет. Вы сочли достаточным для меня никак не ответить до сих пор на мое заявление — ни письменно, ни устно.

Когда квартиры в доме писателей были уже распределены, я попытался повидаться с Вами, но Вы не захотели этого. Между прочим, я не был намерен говорить с Вами о квартире, зная, что мне в этом отказано. Но я испытывал острую потребность поговорить с Вами о выдвинутой кем-то и Вами принятой причине к этому отказу: квартирная комиссия под Вашим председательством вдруг оказалась убежденной в том, что я будто бы дебошир и пьяница, хулиган и развратник, истязатель жены и детей и что хлопочу о квартире для того, чтобы поселиться в ней с... новой женой, а

свою семью оставить, как говорится, в прежнем черном теле.

Говорят, будто эти «сведения» притащили Вам близко знающие меня люди. Поверить тяжело, но можно. Ведь вот переводчик Канович тоже близко знает меня и, видно, на том основании, как член ССП и член бюро русской секции, уверил начинающего писателя А. С. Демидова, что свою повесть в «Неве» я опубликовал за взятку редактору этого журнала писателю С. Воронину.

Итак, оказалось вполне достаточно пошлой, неоригинальной сплетни, чтобы Вы потеряли веру в человека. Ваша вера в это злое и нечистое дело настолько оказалась прочной и незыблемой, что Вы «пощадили» и меня, и мою семью: Вы отказали ей в просьбе и забыли, что работаю в республиканской газете, где, кроме неизбежных в жизни «доброжелателей», есть редактор, его заместители, парторганизация, общественность; что я дружу со множеством уважаемых и заслуженных людей; что моя жена работает преподавателем в Высшей партийной школе; что я живу на виду у четырех семейств,— все эти люди, надеюсь, подали бы голос в мою защиту против гнусной клеветы, и все для Вас обернулось бы самым неожиданным образом, как обернулась моя просьба к Вам.

Очень странным является и то, что Вы не попытались переговорить и со мной о возведенных на меня обвинениях. Почему же Вы лишили меня слова защиты? Ведь я Вам коллега по перу, выполняю при Союзе писателей обязанности председателя творческой секции,— откуда вдруг такое недоверие?

Все это для меня, как говорят, трудное блюдо, и человеку, обладающему бóльшим юмором, чем я, едва ли с улыбкой переварить его. Но это не мешает мне видеть, как пакостная клевета оказалась неуклюжим предлогом для отказа в моей просьбе. А ведь этот отказ можно было выразить мне просто, по-человечески,— я бы все понял. Зачем же понадобилась тихая расправа?

Я не мог не написать Вам это частное письмо и не сообщить Вам, что я лишен жизненной возможности хотя бы в малой мере и задним числом «оправдать» Ваши убеждения: давняя болезнь сердца не позволяет мне пить; предаться разврату, дебоширству и хулиганству мешает отсутствие нужных к этому душевных наклонностей, да и творческая работа (я за три года подряд опубликовал 3 книги и заканчиваю работу над четвертой) не остав-

ляет свободной минуты для этих высоких занятий; истязать же жену и детей мешает мне одна небольшая причина — я их хорошо, радостно и взаимно люблю.

Вот, собственно, и все. Что касается Вашего нежелания встретиться со мной, то и сам я не ищу уже случая к этому. И все-таки мне трудно понять Вас — как Вы могли принудить свое сердце к бездумному враждебному движению против человека, который ничего худого Вам не сделал!

1958

*К. Воробьев*

### Г. СЕРЕБРЯКОВОЙ

Это письмо вы никогда никому не покажете, а я, по понятным причинам, лишен возможности обратиться к вам с ним через газету или журнал. А нужно было бы именно так. Гласно. Это, возможно, заставило бы вас ответить на те вопросы, которые здесь содержатся. Можно себе представить, что это были бы за ответы, — от них за версту несло б застарелой, еще сталинской гнилью лицемерия, криводушия, холуйства и ублюдочества. Ничем другим, кроме этой рваной и латаной ширмы, вы не смогли бы загородиться от серых глаз русского человека. Ничем! Ибо нет у вас другой защиты.

Итак, ответьте хотя бы сама себе, тайно: как могло случиться, что вы — конечно, по ошибке, — попав в свой лагерь, то есть вынужденно и надолго оказавшись рядом и вместе с лучшими людьми России (вас же посадили не за проституцию, надеюсь? Вас же обвинили — конечно же, напрасно! — за «участие» в том, в чем вы не повинны были ни сном, ни духом: в политике!) — как это вы смогли на виду таких праведников и великомучеников сбересть ту самую ширму, о которой мы так сдержанно и, надеюсь, впечатляюще говорили выше? Ну да, речь идет о ваших, с позволения сказать, книгах, о «Прометее». Ведь вы там их сработали? И как? Вам была выделена для этого специальная клетушка? Понедельно или помесечно выдавал вам комендант бумагу? А в каком количестве? Под расписку или под ваше «честное» слово? Ежедневно ли отбирал у вас надзиратель исписанные листы? Все ли в ваших черновиках приходилось по «ндраву» гулаговцам? Или были купюры и теперь они безвозвратно

погибли? А как обстояло дело с «поощрением»? Сколько вам причиталось лишней баланды за труды? Котелок в день? Или больше?

Серым русским глазам небезынтересно в этой связи и другое: «закошенная» таким образом вами баланда была ведь из общего котла? Значит, тот беззубый старец-апостол, что клал пайку на чистую тряпицу — помните его? — каждодневно недополучал своей порции?..

Ведь это страшно и отвратно, что вы сейчас делаете: вы плотоядно хихикаете, читая это письмо. Вы не можете ни заплакать над ним, ни обозлиться, ибо здесь нет и намека на неправду, на желание оскорбить вас: здесь все истина — горькая, тяжкая, неизбывная. Вы это отлично знаете и... хихикаете. Так ведь? Нет, не так. Спихватясь, уличенная, вы вытаскиваете ту самую ширму — ветхую, пыльную, в каких-то мерзких пятнах — пронесли ведь через всю жизнь-лагерь — и укрываетесь за ней и что-то бормочете из «Прометей»... <...>

Как стыдно и обидно за слово, произнесенное вами на русском языке. <...>

26.03.64

#### А. Т. ТВАРДОВСКОМУ

Дорогой Александр Трифонович!

В эти дни смуты и разврата в нашей литературе я испытываю глубокую потребность обратиться к Вам вот с этим письмом и сказать Вам великое спасибо за Вашу голубиную чистоту, мужество, заботу и тревогу о всех тех, кому дорога честь русского писателя и судьба Родины.

Не могли бы Вы в этом своем трудном подвижничестве прибавить себе силы и уверенности в сознании той полноты любви к Вам, которой живут сейчас самые лучшие, самые честные люди!

Нужно ли Вам говорить о том, что таких людей великое большинство — людей, не свершавших моральных и физических преступлений перед Советской властью, сохранивших веру в правду на земле, а стало быть, и не боящихся расплаты за отсутствие у себя бугра подлости и глупости.

Я с упрямым удовольствием обратился бы к Вам с этим заявлением печатно, через любую нашу газету, но этой возможности нет.

Примите же мой низкий поклон и благодарность за Ваше человеческое сердце, ум и доблесть.

Ваш *К. Воробьев*

11.08.63

В РЕДАКЦИЮ «ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ»

«Литературка» не раз пыталась очернить и унижить Александра Солженицына, но всегда в этом случае с газетой получался конфуз: гонимый писатель всякий раз вырастал в глазах русского мыслящего читателя как поборник правды и чести, и дело тут в том, что у газеты нет и не может быть иных средств борьбы против правды, кроме как лжи. Притом лжи жалкой, неуклюжей и бездарной, так как для этой «работы» могут быть привлечены лишь морально неполноценные субъекты.

Дело, которому добровольно и так изумительно доблестно служит А. Солженицын, исторически праведно; обретя, благодаря заступничеству мировой человеческой совести, неприкосновенность для физической расправы над собой, он в меру своих сил пытается приоткрыть покрывало над пороком и преступлением, захлестнувшими его родину, приоткрыть не для собственной славы и обогащения, а во имя сыновьей любви к России, во имя святой памяти тех — миллионов и миллионов лучших русских людей, погибших в застенках ВЧК — ОГПУ — НКВД — КГБ, во имя утверждения жизни и правды на земле.

Но что же такое подрывное совершил Солженицын? Если бы у нас существовала гласность, то мир содрогнулся бы и онемел, прочтя свиток бессмысленно жестоких и кровавых деяний различного рода заплочных мастеров, бесовствующих на русской земле во все годы Советской власти, и если сущность этой власти заключается в попрании Порядка, Совести, Бога и Истины, то с такой властью надобно бороться как с величайшим злом человечества.

Получилось невероятное: А. Солженицын создал — один, как перст, заметьте! — какой-то могущественный и величественный синдикат духа и мужества, перед которым оказались бессильными КГБ, Цензура, «сумасшедки» и тому подобные чертуугодные заведения, осквернившие его Россию. В чем же тут дело? Как это могло случиться? А произошло это так: А. Солженицын создал вокруг себя некий пояс заклатья и неприступности, привлекая к себе

сердца и мысли лучших людей земного шара, и поскольку нельзя его физически убить, как убивали и конечно же продолжают убивать у нас инакомыслящих, но неизвестных миру, то «борьбу» с ним препоручили вашему заведению. Вам, разумеется, оказали доверие — там знают, кому и что поручать, а вы с этой «работой» справляетесь совсем дурно. Рассмотрим, однако, на фактах, говоря вашим бездарным языком, почему вы дурно справляетесь со своим поручением. Передо мной «Литературка» за 12 апреля 1972 года, где треть полосы вы уделили А. Солженицыну. Ну, слишком, во-первых, бездарен, потому что уязвим для серьезной мысли, заголовков подборки — «По какой России плачет Солженицын?». Уязвимость этой шапки обнаруживается сразу же, как только прочтешь все эти там «достойные отповеди» и «истоки озлобления». Кто их подписал-то? Белорус Прокша, киргиз Жаризабаев, армянин Ордян, молдаванин Михалевич, азербайджанец Мамедов и смертно перепуганные два еврея — Розенфельд и Орляндер. Правда, есть и два русских — какой-то герой Рыкунов, у которого «дед, опухший от мякины крестьянин Пензенской губернии», и еще Якшин из Москвы будто бы. Вот и все оппоненты А. Солженицына. Не густо и не весомо, верно? И становится очевидным, понятным и свято уважительным плач Александра Солженицына о русской России.

Из этого примера вы можете вынести урок — ваша борьба с А. Солженицыным, то есть с его праведным и святым делом, — смехотворна, ибо у вас на вооружении негодные средства — клевета, мстительность и, как вы только что могли убедиться сами, бездарность. Печатая нерусских джентльменов и леди, «осуждающих» под вашу диктовку действия русского Исаевича, вы, надо полагать, имели в виду «великую сплоченную семью», но в данном случае семейного хора не вышло. Получился просто-напросто сволочной сброд, которому чужда и безразлична судьба России.

О том, что отклики стряпались молодцами из «Литературки», свидетельски кричит следующий факт: ведь никто из них не читал романа А. Солженицына, а стало быть, никто из них не имеет даже приблизительного понятия, о чем в нем речь. А романа они не читали потому, что не видели в глаза эту книгу, ибо она не была у нас опубликована, она у нас запрещена. Таким образом, судьи картины художника оказались слепыми, и разве не ясно, что им требовался суфлер из «Литературки»? Есть

сомнение, что этот суфлер сам читал «Август четырнадцатого».

Разумеется, вы не от хорошей жизни довольствовались какими-то микроименами под своими откликами, — русский человек с именем и совестью не пойдет к вам на такое пакостничество. Не пойдет, нет! А те двое были рады чечевичной похлебке от Чаковского... <...>

И все же как вы панически боитесь правды, и как вы отвратительны в своем страхе.

*12.04.72*

## СОДЕРЖАНИЕ

### Повести

Генка, брат мой... <i>Записки таксиста</i> . . . . .	6
Вот пришел великан . . . . .	35
«... И всему роду твоему» . . . . .	223

### Рассказы

Дорога в отчий дом . . . . .	338
Седой тополь . . . . .	354
Немец в валенках . . . . .	370
Уха без соли . . . . .	380
Чертов палец . . . . .	388
Большой лещ . . . . .	408
Два Гордея . . . . .	419

### Из архива писателя

Дневники . . . . .	434
Записные книжки . . . . .	441
Письма . . . . .	468



Литературно-художественное издание

**Воробьев Константин Дмитриевич**

**СОБРАНИЕ СОЧИНЕНИЙ В ТРЕХ ТОМАХ  
ТОМ ВТОРОЙ**

Повести, рассказы,  
из архива писателя

**Составитель Воробьева Вера Викторовна**

Редактор **М. И. Вострышев**

Художник **В. С. Комаров**

Художественный редактор **А. Ю. Никулин**

Технический редактор **В. М. Котова**

Корректоры **В. Н. Лыкова, И. И. Попова**

ИБ № 6009

Сдано в набор 19.06.90. Подписано к печати 06.03.91. Формат 84x108<sup>1</sup>/<sub>32</sub>.  
Гарнитура Таймс. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. кр.-отт. 25,25.  
Усл. печ. л. 25,2. Уч.-изд. л. 27,97. Тираж 100 000 экз. Заказ 304. Цена 5руб.

Издательство «Современник» Министерства печати и массовой информации  
РСФСР и Союза писателей РСФСР  
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Министерства печати и мас-  
совой информации РСФСР  
445043, г. Тольятти, Южное шоссе, 30

